

103
1116

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

1



1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(849)

Январь, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — У ног лежащих женщин, повесть	3
ИННА КАБЫШ — Место встречи, стихи	41
ЛИЛИЯ СТРЕЛЬЦОВА — Колымские истории	50
ЛЕВ РУБИНШТЕЙН — Невозможно охватить все существующее, стихи	69
ЮРИЙ ЧЕРНЯКОВ — Последний сеанс, рассказ	80
ЛЕВ ГУМИЛЕВ — Диспут о счастье, стихи. Пояснения к публика- ции И. Питляр	88
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
ДЖЕЙМС ВЛАДИМИР ГИЛ — Окладбищенство, рассказ. Пере- вел с английского Дмитрий Чекалов. А. Кушнер. Под швейцар- ским флагом	91
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Мертвым не больно?	107
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. ВОЛКОНСКИЙ, Г. ПИРОГОВ — Российская экономика на рас- путье	117
Е. СТАРИКОВ — Новые профсоюзы перед соблазном фашизма	132
ВРЕМЕНА И НРАВЫ	
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Моя ностальгия	140
СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — Дом сталинского лауреата	145
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Н. КОРЖАВИН — В соблазнах кровавой эпохи. Часть вторая	152
ТОМАС МАНН — Из дневников. Перевод с немецкого, предисловие и комментарии Игоря Эбаноидзе	181
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА — Между. О месте критики в прессе и лите- ратуре	203
ПО ХОДУ ДЕЛА	
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Пепел остывших полемик	215

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

218

Павел Басинский. ...и его армия.
Андрей Арьев. Свидание после развода.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АСКОЛЬД СИЛИН — Телевидение без берегов? 227
НАДЕЖДА ЛЕБЕДЕВА — Как «лечить» национальную психологию? 232
Л. Г. ЧУДОВА — О «Воспоминаниях» Е. Р. Эйгес 239

КОРОТКО О КНИГАХ:

Галина Башкирова. — I. Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII — XX вв. II. Уездный город Богородскъ на старых фотографиях. 241

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ:

Рената Гальцева. — Ален Безансон. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества 244

КНИЖНАЯ ПОЛКА 247

ПЕРИОДИКА 250

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 254

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА



У НОГ ЛЕЖАЧИХ ЖЕНЩИН

Повесть

...И только когда небо становилось линияло-серым, и на нем появлялись конопушки звезд, и Коновалиха спускала на длинную цепь Джульбарса, чтоб он мог добежать до забора и, став на задние лапы, радостно гавкнуть миру о ночном послаблении собачьей жизни, а люди беззлобно отвечали ему: «Чтоб ты сдох, Джульбарс! Как вечер, так нет от тебя покоя. Коновалиха сама дура из дур, и собака у нее такая же».

...так вот, когда это все случилось, они выходили.

Конечно, справедлив вопрос, выходили бы они, не случись на небе звезд... Или, наоборот, случись у Коновалихи расстройство желудка, и ей было бы не до Джульбарса. Так вот, вышли бы они в этом случае или нет?

Должен был сложиться пасьянс из неба, собаки и Коновалихи... Без этого — нет.

Не вышли бы... А там — кто его знает...

Но так как историю надо начать, начнем ее с момента сложившегося пасьянса. Конопухи звезд слабенько мигают, и Джульбарс стоит на задних лапах. Народ желает ему сдохнуть по совершенно нормальному свойству народа желать собакам именно этого. Такой народ — другого не завезли.

Значит, все по местам и занавес истории подымается.

Они выходят и останавливаются точно там, где им пометил режиссер их жизни, —

посерединке улицы.

Сорока, Панин и Шпрехт.

Трое, скажем, негеройского возраста. Случись война, уже не взяли бы...

Одышливый Сорока никогда не снимает фартук. Он у него от мадам Сороки, а она женщина крупная. С Зыкину, но на голову выше. Потому фартук у Сороки кончается там же, где кончаются и штаны, которые у Сороки короткие и старые, а кто это дома носит новые и длинные? На голове у Сороки шляпа, потому что есть понятие — выходить на улицу в головном уборе. Сорока вообще человек строгих понятий. Первым делом он спрашивает:

— Ты, Панин, конечно, мое поручение не выполнил. У тебя с ответственностью слабо. Тебе говори не говори...

Панин худой и черный лицом, одеждой, глазами и, надо сказать, мыслями тоже. Это давно ни для кого не секрет — чернота его мыслей.

Интересно, как на черном лице проступает краснота. Впечатление, что Панин загорается изнутри.

— Что еще вам от меня надо? — спрашивает он пронзительным голосом навсегда обиженного человека.

— Я про звезду тебя просил узнать, — говорит Сорока. — Бачишь? Она против всех ярче. Кто она?

— Сто раз говорил — Вега, — кричит пронзительно Панин. — Сто раз!

— Что ты мне лопочешь, роли не имеет. Ты мне обещал показать книжку.

— Где я ее вам возьму?

— Сходи в библиотеку, — спокойно отвечает Сорока. — Ты в ней записан.

— Запишитесь и вы, — возмущается Панин.

— Все брошу и побегу...

— Ну вот и я вам так же отвечу.

Шпрехт переминается с ноги на ногу. На нем драные спортивные штаны, сквозь которые видны волосатые синие ноги, всунутые в розовые с помпонами женские тапочки. Нежность их цвета оттеняет грязноту ног, особенно вьевшуюся над пятками. Тема грязных ног Шпрехта — это тоже предмет разговора, как и звезда на небе. Никогда не знаешь, с чего начнет спикер Сорока. Он всегда успевает со словом раньше других, у него большой стаж по произнесению слов. На этот раз виноват Панин, и ноги Шпрехта утихомириваются в топтании на месте. Далась они Сороке, можно подумать, у самого чище. Вот руки у Шпрехта точно чище, он их всегда протирает «Тройным» одеколоном — и дезинфекция, и лечение суставов. «Тройной» замечательно помогает. Ни водка, ни «Шипр» не идут в сравнение. У Шпрехта два ящика «Тройного». Этого не знает никто, он нес его по улице под видом глицерина. А то бы уж не спастись. Силу «Тройного» народ знает. И для втирания в кость, и от простуды на грудь смоченная тряпочка, ну и, конечно, для дезинфекции. Это в их случаях дело наипервейшее.

— Плохо играл «Спартак», — говорит успокоившийся звездным поворотом разговора Шпрехт. — Без настроения, не то, что раньше.

— Все разваливается, — отвечает Сорока. — Купил хлеб, а он внутри сырой, прямо мокрый. Я случай помню. После войны один раз неудачный хлеб испекли, так зава хлебозаводом на другой же день посадили.

— Это ваши методы, — говорит Панин, — а сорок лет прошло — и что? Хлеб так и пекут сырой.

— У футболистов нет материальной заинтересованности... — идет своим путем Шпрехт.

— Это у них-то? — кричит Сорока. — Когда на всем готовом?

— Тоже ваши методы — все готовое. А мне не надо ваше готовое! — Панин уже совсем зачернобагрел. — Мне оплати как следует мой труд.

— После войны шахтерам платили будь здоров, — вздыхает Шпрехт. — Ценили. А потом все выкинештейн. Сравняли с наземными работами.

— Правильно сравняли, — говорит Сорока. — Вы заелись. Как короли тогда жили. А что, другие вас хуже? Тот же наземник Панин.

— Так не Панину же шахтерские деньги отдали, а вашему брату. Чинодралу райкомовскому.

— А вы без нас — пыль. Были, есть и будете. Временная буза кончится — и станете по линеечке. Как миленькие.

— Мы уже не встанем. Мы пар отработанный. Наше дело судна выносить. — Шпрехт снял розовую тапку и вытряс из нее камушек. Грязную ногу при этом поставил на землю. Кривые пальцы мяли ее и получали от этого удовольствие. Что он мучается с этими помпонами? Снял и вторую тапку, радостно погружаясь в жирную пыль.

— Так потом и ляжешь в кровать? — спросил Сорока.

— Помою, — успокаиваясь, ответил Шпрехт. — У меня от стирки вода в тазу осталась, мыльная, хорошая.

— Целую машину сегодня перекрутил, — вздохнул Панин. — Валик стал барахлить. Заедает материю. Приходится раскручивать назад.

— Вы ленивые, — говорит Сорока. — Я этих машин не признаю. Никакой буль-буль ничего не сделает, пока на доске не потрешь руками как следует. И обязательное кипячение. Обязательное!

— Вы, Сорока, здоровый человек, потому что не выработались, разве нас можно сравнивать? Шпрехт всю жизнь на подземных работах, я на поверхности, вы один среди нас ля-ля...

— Захотел бы, вас бы давно не было, — беззлобно отвечает Сорока. — Мы вам рисовали линию, направление... Нормально же жили!

— Спортсмены первые стали бежать, — сказал Шпрехт. — Потому что увидели, как люди живут, где Сороки не рисуют линии.

— Вот именно! — закричал Панин. — Это вам из горной выработки голос. Не с поверхности!

— У тебя детский крем есть? — поверх темы обратился Сорока к Шпрехту. — Ты запасливый.

— А что, у вас нет?

— Не скажу нет, но к тому идет. Махнемся на персоль?

— Я махнусь, — встрял Панин.

— Махайтесь, — сразу успокоился Шпрехт. У него было сто с лишним тюбиков детского крема. Была и персоль в подобном же количестве. У Шпрехта было все, но он не любил меняться и не любил, когда у него просили. Чего это ради отдавать или меняться? Недавно закопал в огороде три килограмма старых дрожжей. Тесто от них не просто не поднималось, оно кисло растекалось по столу, и его нельзя было собрать ни в какую форму. И то сказать, сколько им было лет? Лет пятнадцать, не меньше. Из Москвы привез, из Елисеевского магазина, вернее, с его крыльца. Выбросили тогда к празднику, ну, он и покрутился, раз пять подходил к мороженщице. Той женщине, видимо, дали заработать.

После этого он, конечно, подкупал свежие, а эти, елисеевские, пришла пора зарыть. Иногда надо открывать обе створки буфета, там у стеночки можно многое найти, чтоб закопать. Но он это не любит. Это уже крайний случай, когда начинает вонять или покрывается мохом. Шпрехт даже не заметил, что, отдавшись мыслям, остался один, что в одиночестве стоит и мнет землю. А они тут же и появились с вытянутыми вперед руками. У Панина тюбик крема, у Сороки пачечка персоли.

Вырвали друг у друга.

— Ему сто лет, — сказал Сорока, тиская тюбик. — Твоему крему.

— А у вас не персоль, а камень, — ответил Панин. — Неизвестно, есть ли в ней сила.

— Сын письмо прислал, — сказал Шпрехт. — Отдыхать едут в Прибалтику.

— Это опасно, — отвечает Сорока. — Там все и начнется, если не выпрямят линию. У них давно голова на Америку повернута.

— Бог их благослови, — говорит Панин.

— Вы не правы, — вмешивается Шпрехт, — мы им всего настроили, а теперь отдай?

— А их спросили? Их спросили? — как всегда, кричит Панин.

— Тоже мне! — смеется Сорока. — Этих спроси, потом чукчей, потом... как их... басмачей, до евреев дойдем... И всех будем спрашивать. Не хотите ли, мы вам построим завод или стадион?

— Каждый народ имеет свой собственный кусок земли. Ему его дал Бог, — не унимается Панин. — Пусть сам и строит.

— У евреев земли нету, оттяпали у арабов с нашей помощью, — смеется Шпрехт.

— Ты тут Бога приплел, — строго сказал Сорока Панину, — вот это самое плохое, что ты мне мог сказать. Ты меня, Паня, напрасно хочешь унижить. Я, Паня, не унижусь, потому что авторитета Бога у меня нет. Вернее, я сказал неправильно. Формулирую точно: не авторитета нет, а Бога нет. И ничего он никому не дал. Землю человек отвоевал у птеродактилей и мамонтов. Потом побился друг с другом и уже тогда укоренился окончательно.

— Значит, вы признаете, пусть без Бога, закрепление за народом определенной земли? Зачем же мы захватили их Прибалтику?

— А передел земли никогда не кончается. Это движущая сила истории, Паня, борьба за территории. Во всем мире так...

— Что да, то да, — вздыхает Шпрехт. — Я думаю, придет время — и немцы пойдут опять. Они ж в хороших условиях размножаются, им каждому по комнате дай и еще место для машины. А сколько там этой ФРГ? Они захватят демократов, а Польша сама им ворота отчинит. И все пойдет по новой. Яволь, геноссе!

— Ты-то будешь рад, — сказал Сорока. — Ты их язык не забываешь...

— Я способный к языкам, — смеется Шпрехт. — Когда колхозы создавали в Марийской автономной, я быстро стал понимать. И в Грузии когда жил. А немецкий легкий... Машиненгеверен... Это пулемет... Ди зонненшайн... Это значит солнце... Фатер... Мутер... Ложится на язык...

— На поганый твой язык, — отвечает Сорока. — А мне вот гордо лялякать по-ихнему.

— Вы, Сорока, не были в оккупации, — кричит Панин, — вы, Сорока, драпанули за Урал...

— А ты что, на передовой был? — Сорока не обижается. — Ну, драпанул... — Он объяснял им в свое время: нету у меня храбрости, такая моя природа. — Но в тылу я работал по двадцать часов. — Конечно, можно это повторить, но Сороке неохота. Ему вообще неохота спорить, ругаться. Он за свою жизнь столько этого имел! А эти беспартийные Панин и Шпрехт от слов не освободились, они в них еще пенятся, шипят. Конечно, и время пришло, что у всех языки развязались. Можно позвонить Миняеву в органы, он хоть там и никто, но напугать этих старых пердунов может. У всех ведь дети... Намекнуть, что может прекратиться их рост по службе, если отец язык мылом не вымоет. Надо, надо будет подговорить Миняева. Поставить ему стакан самогона и устроить тут цирк и баню.

— Про Миняева слышали? — спросил Шпрехт. Сорока чуть не подпрыгнул — это же надо! Он ведь сейчас думал именно про него!

— А что? — спросил Сорока. — Я ж сегодня никуда не выходил.

— Умер, — ответил Шпрехт. — Встал утром на ноги, за штанами потянулся — и шпрехен зи дойч.

— Воздержусь от комментариев, — сказал Панин.

Сорока же был как бы в ступоре. В голове его столкнулись и не могли разойтись мысли. О встрече с Миняевым на случай пугнуть этих трепачей Панина и Шпрехта, хорошая рисовалась встреча, веселая, с самогоном и идеей, и это все напоролось на падающего замертво Миняева, которому судьба даже времени на одевание штанов не оставила. «Это нехорошо», — думал Сорока, одновременно продолжая думать живую мысль, как они сядут за стол с Миняевым и придумают эту хохму с пуганием. Хорошая хохма могла получиться, все в ней где надо лежало, а Миняев, получается, спрыгнул. Сачканул раньше времени.

— Вы так не переживайте, — сочувственно сказал Шпрехт. — Оно ведь... Смерть хорошая... На подъеме... На вставании. Форвертц...

— Подвел меня Миняев, подвел, — сказал наконец Сорока. — У меня с ним дело было...

— Лучше ничего не задумывать, — ответил Панин. — Жить одним днем.

— Так и дня ж может не быть! — вдруг заплакал Сорока. — Еще штаны были не надеваны, а день возьми и кончись...

Он косолапо, старо уходил от них, путаясь в длинном фартуке, закрыл за собой калитку и снял шляпу.

— Пойду и я, — вздохнул Панин. — Почитаю газеты.

Шпрехт еще постоял посреди улицы. Голым ногам было хорошо на земле, он чувствовал, как пульсирует кровь в мякоти пальцев. «Капиллярная система в порядке, — думал он. — Застойных явлений нет».

Он медленно уходил, размахивая руками с розовыми тапками.

Почему-то ему стало спокойно. Конечно, если разобраться, то Миняев этому поспособствовал. Пережить человека из органов — вещь приятная, что там говорить. Это рулетка жизни. Хотя Миняев особо ничего плохого

ему не сделал, ну, беседовал пару раз на тему интереса к немецкому языку, но лицо не ломал.

— Ты, Шпеков, имеешь хорошее русское фамилие. Из бедняков, рабфаковец. Откуда в тебе эта фашизма?

— Я человек способный к языкам, — как всегда, отвечал Шпрехт. — Я раскулачивание в Марийской автономной области проводил на их языке.

— Такого языка нету, — говорил Миняев. — Что это за язык — марийский? Скажи еще — ивановский... распространяешь невежество...

И ничего плохого. Поговорили — и разошлись. А вот на тебе — приятно организму, что Миняева нет, а Шпеков-Шпрехт есть. По дальнобойной программе жизни так быть было не должно. Но заел у них механизм, заел. «Хорошие новости», — сделал вывод Шпрехт, закрывая калитку. Если так пойдет дело, то и Сорока уйдет раньше. Они с Паниным его отнесут и закопают и полотенца через плечо повесят, но мысль будут думать одну на двоих. Заломалось у них все к чертовой матери, битте вам дритте, камарады чертовы.

Шпрехт пошел мыть ноги в тазике с мыльной водой, оставшейся от стирки полотенец. Вода была холодная, жирная, Шпрехт не наклоняясь тер ногу об ногу.

Наступала ночь.

ЛЕТЧИЦА

...Она молодая и летит. И ее тошнит. Каждый раз она боится, что тошнота сделает свой результат и тогда — все. Ее выкинут из аэроклуба. Втайне она этого хочет, она даже делает горлом «б-э-э-э!», чтоб убрать спазм и дать волю внутреннему движению, но странное дело: тошнота, какая бы ни была, блевотиной никогда не кончается. Никто даже не подозревает, как ее мутит и крутит!

Ей же не хватает мужества и совести признаться. За время тошноты она разлюбила инструктора, из-за которого приперлась в этот аэроклуб. Все-таки любовь на пятьдесят процентов состоит из понимания, а на пятьдесят — из нижних дел. Так вот нижних дел у них не было, она была воспитана в такой строгости, что даже до целования с ней нужно было долго и долго морочиться. Поэтому она в отношениях с инструктором упор делала на понимание. Она просто мечтала, чтоб он скумекал, дурак, до какой же степени ей не нужен самолет! Понял и тактично отстранил от полетов. Он же — инструктор — добивался ее тела внеплановыми вылетами, он думал, наоборот, что если сделает из нее рекордистку, то она сама упадет ему в руки голая, как спелая груша. И она его возненавидела, но так как за ней числились высота, часы и километры, то уже неудобно было подводить весь летчицкий отряд. Такое было понятие.

Но до сих пор она чувствует, как мучается, как внутренним криком кричит оттого, что летит и ее тошнит.

Она просыпается в поту, по подбородку бежит липкая слюна, она держится встать к умывальнику и все вспоминает.

Летчица, мать ее так! В ней сто пятьдесят недвижных килограммов, намертво спаянных с твердым настилом кровати.

— М-м-м-м, — мычит она.

Куда подевался Сорока? Он должен почувствовать, что нужен, что ей плохо и ее нужно вытереть. Сила Сороки — в отличие от инструктора — в понимании. Это ведь он, в конце концов, ее спас.

Как было? Он нашел ее после полета. Она сидела на траве. Они знакомы не были, но так получилось, что, пока она мучилась в небе города Сталино, Сорока переехал в их поселок, познакомился с ее мамой и мама попросила его передать, когда он будет в Сталине, вигоневую коричневую баядерку для дочери на пяти пуговицах. Сорока по делам часто ездил в центр, а дочь-летчица приезжала домой редко. А холода вот-вот...

Сорока и увидел девушку на траве, под крылом самолета. И подумал: «Ну и ну! Какая страхолюдина».

Он положил сверток к ногам летчицы Зины и ушел в разочаровании, потому что была у него идея пригласить ее на танцы. Не то что у Сороки были проблемы с барышнями — никогда и никаких, но вскормилась идея танцев с землячкой. Пока ехал на «кукушке», намечтал себе девицу статную, с переливчатым смехом. И чтоб дрожало у нее от смеха горло-горлышко — Сороку это очень возбуждало в женском роде.

Но получился провал. Синего цвета лицом, в зеленой одежде, большая и нескладная деваха некрасиво сидела на жухлой траве, а в глазах ее тусклых стояла смерть. Сорока так понял боль, потому что сам был парень здоровый на все сто и все больное вызывало в нем отрицание и отвращение. А отрицание и отвращение и есть смерть. Так понимал Сорока.

А вечером на танцах он увидел девушку, которую себе намечтал, пока вез вигоневую баядерку на пяти пуговках. Высокая, с тонкой талией и с той самой попой, которую Сорока в женщине уважал. Двумя частями себя барышни могли брать его голыми руками: дрожащим от смеха горлом-горлышком и попкой — чтоб была круглая, направлением вверх, чтоб во все стороны шла от попки искра и чтоб платице на ней было внатяг.

Сорока аж задрожал. И кинулся через площадку наперерез судьбе. Когда он вел красавицу в фокстроте и она плавно покачивалась в его руках, слова девушки: «А как там мама? Не болеет ли?» — до Сороки дошли как вопрос о его маме, которой у него не было с младых ногтей. Сороку тронул сам ход мысли — от него к его матери. Потому что всякие девицы встречались и по-разному ощупывали. Он уже открыл рот, чтоб сказать, что он сирота, но девушка в его руках вздохнула, и он узнал этот вздох. Та, на траве, дышала так же, но чаще...

— Ах! — сказал Сорока. — Я чуть не вляпался. — И он рассказал, какую он увидел на траве страхолюду, а тут такая красавица, что даже вполне можно рассказать о первом впечатлении — ей ничего не повредит. Девушка засмеялась, и горло-горлышко было у нее самое то!

А потом Сорока приехал и сказал, что с самолетами надо завязывать. Война на носу, и аэроклубовцы пойдут первыми.

— А как же! — гордо сказала Зина.

Но Сорока патриотизм летчицы заломал на корню. Не потому, что Сорока был человек плохой и родину не любил. Любил! Любил! Но и войны боялся тоже. И в голове своей он все давно нарисовал на случай нападения, мобилизации и прочее. Такими мыслями не поделишься даже с самым лучшим другом, но пребывать в тайном капитулянтстве в одиночестве было тоже неудобно. Сороке нужен был кто-то, кто не осудил бы его, а понял. Зина была стопроцентно тем человеком. Выводя ее из будущей войны, он делал ее как бы своей соучастницей, хотя на самом деле, по разумению нормальному, не траченному идеологией, поступал Сорока правильно. Девчонка погибала в своем аэроплане, ненавидела его, а сказать стеснялась. Он пошел куда надо и сказал, что берет Зину замуж, потому как он человек порядочный. Зина в первую минуту была в полном охлупении, потому что мысль, что она *такая*, была для нее столь же невыносимой, что и тошнота в самолете. Но опять же здоровый смысл, помимо верхних, поверхностных, чувств, какими бы значительными они ни казались, провел свой тайный и правильный подсчет: выйти за вполне симпатичного Сороку приятнее, чем быть летчицей-мученицей, даже если ради этого придется пройти через стыдливое покраснение лица от возможных намеков. Войны ведь еще не было, и если, не дай Бог, случится, то тогда будет другой разговор. Она комсомолка. Она с понятием. Может, и полетит снова.

Они и поженились. А когда уже загрохотало на самом деле, Сорока в два часа устроил им эвакуацию, а себе белый билет на туберкулезной основе. К тому времени Зина уже понимала: муж у нее мужик непростой. Иногда хотелось вникнуть, нырнуть как бы в глубину сорокинской сути,

но что-то ее останавливало. «Не хочу знать!» — говорила она себе, и была очень и очень права. Потому что чем дальше, тем больше любил ее за это Сорока. «Какая женщина!» — думал он о собственной жене, когда она мимо глаз пропускала все его шашни, гульки, а то и просто распутство, в которое Сорока время от времени впадал, как в грипп. В последние годы, когда они выстроили дом, когда женили сына, когда зацвели во дворе у Зины все невероятные цветы, Сорока просто с катушек полетел — ширинка у него уже не застегивалась, а бабы вспархивали из-под него, как пуганные курицы, так вот, даже тогда Зина величественно и индифферентно к сорокинским страстям носила свое необъятное тело. Пусть его... Он все равно приходил и угревался рядом, и она придавливала его своей могучей рукой, а он, в каком бы ни был состоянии, целовал эту руку, покусывал ее губами, урчал, так и засыпая с причмокиванием. Зина лежала в темноте и улыбалась. Она знала мужа как облупленного, хотя никогда не лезла к нему ни в душу, ни в карман. Этот мужчина, придавленный ее рукой, был главным Сорокой. Случись что с ней, ему без нее не выжить...

— ...М-м-м, — мычала Зина, — м-м-м...

Но Сорока все не шел. Она знала, как это будет: горячим варом зальет ей голову и она перестанет соображать. Очень может быть, что она еще останется живой, но знать про это уже не будет. Вот этого она боится больше всего. Конечно, для Сороки не изменится ничего. Он ведь не знает, что она думает, чувствует, понимает, что она все помнит и даже переживает какие-то другие, непрожитые, жизни. И ей это интересно! Например, она прожила от и до жизнь с инструктором. В этой жизни ее не тошнило от самолетов и у нее была дочь — не сын, — такая беленькая куколка с родиночкой над губкой. Свадьба дочкина была очень! Она ее выдавала за космонавта Джанибекова. Очень красивый мужчина, и дочка с ним смотрелась, как Людмила Целиковская в фильме «Сердца четырех». Интересны были и другие варианты и с Сорокой. Сорокой-военным. Сорокой — секретарем обкома. Сорокой — известным артистом. Но на этом варианте она сбивалась. Сороку вытесняли знаменитые лица, и получалось — жизнь не с ним, а, к примеру, с Дружниковым, но тут ее мечты сбило. Ведь Зина строила их из костей и мякоти реальности, прочитанной, подсмотренной, а актеры... Что она про них знает? Какие они утром? Как пахнут их внутренности? Они же люди... Ходят в уборную... Бывают запоры... Гнилостные насморки...

Вот почему она боится горячего вара в голову: кончится пусть неподвижная, но жизнь, а Сорока не идет и не идет... Зина начинает нервничать, и у ее губ вырастают пузыри.

Сорока успел. Вбежал зареванный, схватил чистую хусточку, вытер Зинины губы, привычным жестом ощупал пеленку.

— Молодец! Умница! — сказал и сел рядом. — Я чего пристрял. Миняев умер. Помнишь Миняева из органов? Он еще под меня рыл при Хрущеве. Просто так... Чтоб рыть... Это в нем было главное... Я ему тогда тоже подложил. Пока сам отмазывался, про меня забыл. Это мы так любили поиграть... Любили... Вот и нету мужика... За штанами потянулся... и кранты. Я вот думаю: почему это часто связано с одеждой? Вон и у тебя случилось, когда ты платье надевала... Хоть ходи голый, ё-моё... Ходи ты тогда в халате, может, ничего и не было бы... А тебе зачем-то понадобилось напялить это чертово польское платье. Спалю завтра же... Все равно ведь ножницами разрезано, чего лежит?

Никто не знает, что Сорока до сих пор спит с Зиной. Ложится рядом на твердый широкий щит, который они сбили с Паниным, ложится, чтоб лицом прижиматься к недвижной Зининой руке. Рука теплая, мягкая, в общем, живая рука. Она только не может подняться, чтоб накрыть Сороку. Но это ничего... Это не так важно... Важно, что она живая. Хотя и мертвая. Сорока убежден, что Зинин мозг не фурычит.

МАШИНИСТКА

Шпрехт вошел в комнату на цыпочках. Его сбил с толку маленький свет, свет ночничка-грибочка, который ночью никогда не выключался. Значит, Варя спит. Шпрехт — человек не очень умный, а значит, жену не понимал. Иначе он бы грохотнул в прихожей ведром, подал бы голос и сбил с толку кургузый ревматический пальчик, что на изготовку лежал на кнопке торшера. На голос Варя подала бы голос, а на шаг цыпочкой Варя выплеснула свет двухсотсвечевой лампы под блеклым и жженым абажуром. Шпрехт на пальчиках, в розовых тапках с помпонами, с завороченными до колен штанами и с расстегнутой ширинкой — а чего ее туда-сюда смыкать, если он идет спать? — имел вид нормального идиота, а Варя испытала нормальное удовлетворение человека, который и в этот раз выиграл партию.

— И в таком виде ты ходишь по бабам? Хорош же у тебя контингент!

Женщина-машинистка хочешь не хочешь выучивает за жизнь много лишних слов. Шпрехт, считая себя способным к иностранным языкам на уровне «яволькамарадегамарджоба», в русской речи был слаб. Оттого всю жизнь боялся всех речевых мероприятий — собраний там, митингов. Он просто стыл от слов типа «учение всесильно, потому что оно верно», потому что всякую круглость в слове считал враньем, втайне считал. Насмешка же судьбы была в том, что женился он на женщине, говорящей кругло и красиво, да еще и с вкраплением чужеродных слов, которые Шпрехту не поддавались. Вот, к примеру, «контингент». Это же не «континент»? Слово, которое Шпрехт выучил хорошо. Страны и континенты. Черный континент. Арктический. Континент труда и зарплаты. Нет, не то... Коэффициент труда и зарплаты...

Но вот что имела в виду Варя, связывая непонятное слово с бабами, с которыми он якобы... Шпрехт устал за день как сатана, а тут еще соображай слабой мыслью.

— Дура старая, — сказал он жене. — Дура. Я соседям рассказывал, что Миняев умер. Сорока же сегодня не ходил за хлебом, и Панин по вторникам дома.

— Скажите пожалуйста! Корреспондент нашего времени. А то я не слышала, чем ты занимался. Уж если ты имеешь дело с проституткой, то не под окнами жены. Отведи ее хотя бы в сторону!..

— В какую сторону? — уныло спросил Шпрехт, зная, что этот разговор надолго. Варя же спит днем, и после завтрака поспит, и после обеда. А сегодня она ходила по-большому, после этого она спит особенно крепко. А он за день не присел, помидоры подвязывал, хорошие, крупные идут, и кучно, пока наставил палок, пока туда-сюда... За окном зашебаршилось, засопело, завзвизгивало.

— А! — сказал Шпрехт. — Вот что ты имела в виду. Розка под домом оценилась. Я и не заметил, где и когда. А теперь топить поздно, большие кутята. У них там такой цирлих-манирлих.

— Идиот! — закричала Варя. — Кто щенят возьмет от дурной Розки?

— Пристрою! — сказал Шпрехт, радуясь, что ушли, кажется, в сторону от больной темы и все завершается мирно и быстро. — Давай сходим по всем делам и будем спать. Я сегодня устал...

— Меньше занимайся бабами, — ответила Варя, умащиваясь на судне, — а то все запустил. Шторы уже черные от пыли.

— Постираю, постираю, — быстро соглашался Шпрехт. — Утром замочу, а вечером повешу. И окно протру заодно. Молока попьешь? Или кефира?

— У Миняева ведь жена осталась? — спросила Варя. — Ты ее знаешь?

— Конечно, — сдуру сказал потерявший бдительность Шпрехт. — Она в аптеке работает. Раньше была в рецептурном, а сейчас в готовых формах... В рецептуре ведь нужна точность, там мелкие дозы, не айн, цвай,

драй... А когда возраст, глаз не тот, опять же и дрожание в руках может быть...

Что его повело, старого дурака, на фармацевтические подробности, о которых он сроду не думал?

— Откуда ты столько про нее знаешь? — закричала Варя. — Про ее тремор?

«Какой такой тремор?» — совсем расстроился Шпрехт.

— Я про него ничего не знаю, — закричал он. — Я просто размышлял про аптечное производство. Ферштеен? И все! И не заводи меня больше.

Он уходил с судном, а в спину ему летела продукция аптечного производства — пустой флакон от настойки подорожника. Флакон ударил Шпрехта прямо в косточку локтя. Туда, где у Шпрехта жил, много лет мучая, бурсит.

Боль пронзила всего Шпрехта, судно накренилось и — прощай розовые помпоны.

— Тебя наказал Бог, — удовлетворенно сказала Варя, и лицо ее стало светлым и умиротворенным. Как будто она на самом деле была на прямом контакте с высшим департаментом по выдаче наград и наказаний и их рукой был пущен, летел и попал в цель флакон.

Шпрехт стоял на крыльце и плакал. Он все вымыл и вытер, даже постирал тапки. У Сороки и Панина уже не горел свет. Угомонился и Джульбарс, не издает подозрительных, похожих черт-те на что звуков и Розка со своими кутьками. И даже Варя спит. Потому как поздняя ночь...

Шпрехт плачет. И это странные слезы. «Матка-шайзе», — думает Шпрехт, но это тот самый случай, когда внешнее и звучащее не имеют никакого отношения к тому, что есть Шпрехт на самом деле. Даже та ненависть, которая клокочет в его горле и выходит слюной, имеет абсолютно другой молекулярный или там экзистенциальный состав, чем Шпрехтовы слезы. Одновременно Шпрехт пребывает в двух (а может, и трех — кто его знает?) полярных состояниях, но эта невыразимая путаница — не горе, не страдание, а самое что ни на есть Шпрехтово счастье. И хоть он ни черта в этом не может понять, а про психоаналитиков просто сроду не слышал, но он испытывает сейчас ненавидимую любовь и самое что ни на есть счастливое горе. И из этого компота получаются слезы, которые не идентичны Шпрехтовой слюне.

Шпрехт плачет и думает о майонезной баночке, что стоит у него в сарае на самой высокой полке, за коробкой с некондиционным гвоздем.

В баночке порошок с ядом. Быстрым ядом, секунда — и нету тебя, как и не было. Шпрехт давно решил, что если Вари не станет, то он пойдет в сарай. Это не важно, что она кричит и бросает в него предметы аптечного производства, — это все равно ничего не может изменить. Без Вари ему не жить. Никого, кроме нее, у него не было и нет. Он не Сорока, который всю жизнь по этому делу. Варя — это все, даже сейчас, когда пульсирует локоть и воняют вымытые от мочи тапки, насаженные на черенки лопат. Это не важно... Не важна боль и не важен запах.

Шпрехт думает: «Ёксель-моксель... А если б я тогда не заболел? Как бы я жил без нее?»

В конце апреля сорок первого молодой горный инженер Шпеков, едва приступив к работе по назначению, загремел в больницу с прободной язвой. Сейчас уже и не упомнишь, что там у него резали и шили. Главным было состояние детского сиротства. Никто к нему не приходил — не успели узнать, никто не жалел — не успели привыкнуть, легко было умереть в состоянии полной отчужденности от людей, что он и делал несколько раз в тот май, который предшествовал тому июню. Он лежал, отделенный белой простыней возле почему-то зарешеченного окна, он думал: старая мать вряд ли сумеет приехать из Тюменской области, чтоб его похоронить, и даже радовался этому, что у нее не будет этих хлопот с гробом и чтоб зарыть. Начальник участка, куда получил назначение Шпеков, уже взял на

работу другого, потому что хирург больницы сказал: «Не... не жилец... Ему жить нечем... То, что я ему оставил, тоже с гнильцой... Траченный весь изнутри... Будто клеваный...»

Вот его и загородили простыней, чтоб окончание жизни шло для других незаметно. Больные ведь не любят умирающих: смерть их может неправильно сориентировать.

Но замечено: долго умирающие люди, как правило, выживают. Шпрехт умирал до самого начала войны, до момента, когда пришел приказ больницу переориентировать в госпиталь и больных срочно стали выписывать.

Шпрехт завис в воздухе. У него никого не было.

Шахтная машинистка Варя проходила мимо. Проходила мимо хирургии, из которой выходили, как могли, всякие разные перевязанные, в лубках, в гипсе, а руководила процессом выкиданса знакомая Варина гинекологша, которая не раз и не два чистила Варю, потому что Варя была женщина свободная, разведенная и ее маленький рост в то время был моден и считался красивым. Варя просто обхохатывалась над женщинами высокими и с длинными ногами, считая это уродством.

Гинекологша сказала Варе: «У меня мужик бесхозный. Высшее образование... Для тебя скажу: *членистый*... Может, даже и выживет, раз до сих пор не умер... А главное, Варвара, на фронт не гош абсолютно. Наши сестры уже стали кумекать... А я тебе говорю по дружбе — бери, пока они не расчихали преимущества язвенника перед здоровым желудком». Варя сказала: «Оно мне нужно — чужое горе?» Смехом рассказала эту историю родителям, которые растили ее дочь Жанну, пока Варя прыгала из койки в койку. «Представляете?» Родители представили. На их взгляд, это был замечательный вариант — от блуда дочери. От возможного прихода немцев — те перли недуром. Они мечтали об упорядоченности жизни беспутной дочки, люди старого закала, они не принимали живущую без морали власть и уже стали бояться за внучку.

Варина мать сходила в больницу и посмотрела на Шпрехта. Нормальный умирающий. Без мяса и веса. Но в глазах что-то есть — печаль и даже как бы стыд за свое положение лежа.

Одним словом, родители Вари привезли Шпрехта и положили в сарае — дело ведь шло летом. Внучка носила ему еду — жидкую манную кашу на снятом молоке и рисовые супчики на воде. И это не по жадности, а по диете. Девочка ждала, пока Шпрехт досёрбает до доньшка и отдаст ей тарелку, а пока он ел, она рассказывала ему истории из своей жизни. Шпрехт не подозревал, что девочка была выдумщица и ничего подобного в ее жизни не происходило. Она не была княжной, ее не крал половецкий хан, не освобождал Руслан на белом коне. В заторможенном от долгого пребывания в предбаннике смерти мозгу Шпрехта сказка и явь сплетались в один узор, что потом отразилось на всей жизни Шпрехта: он плохо ориентировался в забубенной действительности, но как-то ловко проходил по лабиринтам обстоятельств чрезвычайных.

А все началось с девочки, которая кормила его синеватой кашей. Он называл ее сестренкой и не мог понять, почему это не нравится хозяевам сарая, которые кричали ему, что у девочки есть имя. «Жанна! Жанна! — возмущались они. — Какая она тебе сестренка?» Правильно говорили — никакая... Жанна стала его дочкой, когда от беленой воды встал Шпрехт на ноги, а немцы тут как тут, и над гуленой Варей возникло множество опасностей как в личной, так и в общественной жизни. В немецкой комендатуре их расписали. Это был первый акт ее оккупационной деятельности, какой-то немецкий чин даже пожал им руки и сказал: «Яволь! Яволь!» После чего у Шпрехта открылось горло на повторение разных слов, а потом так и закрепилось. И он придумал байку, что и в Грузии, и в Марийской автономной чужой язык у него шел без задержки, что очень он к этому делу способный, но по бедности жизни не обученный. Варя же сказала просто: «Ты какаду!» Но жить стали хорошо, кашу стали замасливать, а ради куриного бульона завели цыплят. Пока война,

оккупация, туда-сюда, Варя перестала крутить головкой в сторону проходящих мужчин. «Вошла в пределы», — говорила ее мать. Жанна попробовала на язык слово «папа», но у нее это дело не пошло, а Шпрехт не настаивал. Так и остался дядей Ваней. Шпрехта звали Иваном Ивановичем Шпековым. А в конце войны родился сын, Варя стала похожа на беременную тумбочку, такой осталась и дальше. Но выпяченный живот носила гордо, а длинноногие женщины вызывали у нее по-прежнему здоровый независтливый смех. Шпрехт любил ее живот, на полюсе которого торчал круглый, как пуговица, пуп. Он поглаживал его нежно, ради этого следил за руками, умащивал их солидолом там или бутылочными подонками от подсолнечного масла. Это когда еще вазелин появился, чтоб не детям, а на себя можно было тратить. Варя постанывала от его округлых ласк, а Шпрехт заходил от мысли, что лучшая на свете женщина — его. Иногда на шахте после душа какая-нибудь вдовая откатчица задевала его как бы ненароком частью своего тела и делала знак глазом там или ртом, Шпрехт на это ошеломлялся. Он думал, как же эти странные женщины не понимают, что человек после белого хлеба с маслом не возьмет в рот плесневую корку: его и стошнить может, и отравиться «пара пустяк». Он смотрел на всех одиноких и голодных с жалостливым отвращением, чем нажил со временем приличное число врагов именно среди женщин, как он говорил, возраста потерь. «Мне не жалко, — думал Шпрехт, — я же понимаю: хенде хох. Но я ж не смогу. Я просто не смогу».

А вот Варя как раз могла. И у нее случались иногда пируэты на сторону, и Шпрехт знал про это и боялся только одного — серьезного варианта, варианта «Шпрехт — вэк!». Он говорил себе: «Солнце ведь не может светить одному, я не должен быть в претензии». Но, слава Богу, такого мужчины, чтоб Шпрехта — вэк, Варе на пути не встретилось, а потом само собой все кончилось. Кончилось Варино буйное время.

Жанна давно жила далеко и отдельно, жила, по меркам Вари, плохо, бедно. Сын работал в Москве; вот у него как раз было все хорошо и богато. Варя им гордилась, в Москву ездила с важным видом, всегда возвращалась в чем-нибудь новом, соседки цокали зубом над обновками, хотя и мало что в них понимали. Тряпки были с невесткиного плеча, из тех ультра модных вещей, которые живут хорошо если сезон, а то вообще миг. Низенькая Варя появлялась в клетчатом одеяле с дыркой посередине — называлось пончо. Она становилась похожа на передвижной шатер, конечно, смешно со стороны, но не смеялись: щедрых невесток уважали, не каждая мать имела подарки от дочерей, а Варя имела от чужой, можно сказать, бабы. Какой уж тут смех! Уважение...

Шпрехт был счастлив Вариным счастьем, он примазывался к этому как отец удачного сына. Хотя Варя махала рукой и говорила: «Твое дело было минимальное. Это я его воспитала. Я».

Другой бы спорил... Шпрехт же улыбался. Это ж надо, как вовремя его прооперировали в том мае. Ему досталась лучшая женщина на земле. А то, что она сейчас кидается тяжелыми и не очень предметами, так пусть! Она после этого крепко спит, дает покой сосудам. Бурсит же поноет, поноет — и уляжется, это болезнь не смертельная.

Шпрехт возвращается в комнату и подсмывает одеяло на похрапывающей жене. «Дай тебе Бог здоровья, дорогая, дай тебе Бог! Ревнует, дурочка, неизвестно к кому. Значит, любит?» Шпрехт сладко плачет: за что ему такое счастье?

УЧИТЕЛЬНИЦА

— Людочка! Это я! — не своим голосом кричит Панин, вытирая ноги о половик. — Это я, моя детка!

— Мяу! — слышится из комнаты. — Мяу!

Это ничего не значит, ничего. Так она может отвечать и когда в себе. Она у него кошатница-мяучница. Панин влезает в радостную улыбку, ко-

торая висит у него в прихожей на крючке. На этом крючке ничего другого не висит. «Здесь мое выражение лица для Людочки».

Панина не любят именно за такие вещи. За кандибоберы. Фокусы. Может поцеловать женщине руку — а какие у них руки? Чем они пахнут? От такого поцелуя целый день потом не находишь себе места, как если б тебя застали на корточках. Подумаешь, маркшейдер. Это только слово, и ничего больше. Теперь завелось много профессий. Все, кому не лень, имеют высшее без среднего, как у них говорят. Так вот как раз у Панина высшего нет, у него образование — техникум. Но строит из себя! Газет выпи-сывает шесть штук, журналов... Ну что за дела: старый человек, жена парализованная, сумасшедшая, а лезет с поцелуями рук, прости, Господи!

Панин это все знает. Так случилось, что ни в школе, ни на фронте, ни после войны в лагере, ни после лагеря в уже нормальной жизни его не любил окружающий его народ. Ну не нравился Панин народу, и все тут. В детстве он разглядывал себя в зеркале, искал в лице изъян там, не то строение. Нет, нос у Панина рос на месте, отведенном носу, и за пределы возможного не выходил. Ровный такой, без горбинки, но и без курносости. Простой, правильный, грамотный нос. И глаза у него не пучились, не сидели глубоко, тем более не косили и веком не дергались. Вполне доброкачественные глаза. У Панина можно было проинвентаризировать все, вплоть до стыдного. Все было в норме, не больше, но и не меньше, без кривизны там или отекаемости. Народ же... Народ не любил Панина, как если бы он как раз отекал. Хотя Панин встречал в своей жизни отечных, которые как раз и были любимцами народа.

Из этого всего Панин сделал вывод: нелюбовь в расчет не брать, как вещь иррациональную, а жить как бы в любви. Но для такой жизни как минимум нужен хотя бы один единомышленник, одна сродственная душа, которая все-таки будет немножко любить Панина, а он уже сообразит, как распространить эту маленькую любовь на большое пространство. Что ли нет опыта по разгону крупинки сахара на пол-литровую оловянку? (Сравнить с подобными мыслями Сороки. А считают себя противоположностями.)

Одним словом, вопрос женщины, любовью которой можно будет загородиться от всеобщей нелюбви, стал уже после лагеря для Панина краеугольным. Немолоденький был народный нелюбимец, тридцать пять уже стукнуло. Ни кола, ни двора, ни любви, ни-ко-го...

Инстинктивно он отверг неудачницу по жизни. Разведенку там или деву. Деву почему-то не хотелось особенно.

Но то, что случилось, было даже для неудачника Панина чересчур. Он женился на разведенной деве. Но это позже.

Сначала Панин взял участок для постройки дома. Хороший получил участок. Напротив работник райкома Сорока, слева горный инженер Шпеков, справа тоже уважаемый человек из ОКСа. Он помогал им всем с материалами. Конечно, одному строить дом, пусть и маленький, было трудно. И уже у Сороки стены стояли и у Шпрехта, а он все колготился с фундаментом, хотя люди и говорили: «У маркшейдера не фундамент, а игрушечка. Такой тщательный, такой тщательный!»

Дом шел частями.

Когда уже появилась комната и кухня, Панин посчитал, что можно приводить в дом хозяйку. В этот момент он и нарисовал образ. Пусть немолодая. Пусть вдовая. Пусть с ребенком. Пусть бедная.

Правда, Панин не хотел уступать в вопросах внешности. Абы какую он не хотел. Не такая, как у Сороки, — лошадь, и не такая, как у Шпрехта, — колобок.

Однажды он увидел женщину и сказал: «В таком роде...»

Она работала в школе учительницей географии и, по мнению Панина, не могла быть бесхозной. Оказалось, была. Ему рассказали, что географичка с мужем приехали в город после войны. Муж — контуженый физик; и дети — что с них взять? — когда время от времени на уроках лицо его сво-

дила судорога, начинали смеяться, отчего судорога каменела, физик цеплялся за стол и ждал ее конца, а ученики вели себя как последние сволочи. Физика перебросили на тихую работу — в парткабинет, но и там это случилось — перекошенность и замирание, — и часто в неподходящий момент, когда шел какой-нибудь важный семинар о борьбе за мир или Апрельских тезисах Ленина, а лаборант кабинета на какое-то время становился уродливым экспонатом на фоне портретов и диаграмм.

Ему не могли найти места, где бы он не портил хорошеющий год от года пейзаж, а потом кто-то умный придумал отправить его глубоко в деревню, где добрые колхозники-пейзане, животный мир коров и свиней и природа-красавица-мать окажут правильный терапевтический эффект. И физика-лаборанта увезли явочным порядком. Жена его должна была закончить учебный год и ехать к мужу. Но она никуда не поехала.

Людмилу Васильевну народ не осуждал. Хотя замечено, что те, у кого рыльце в пушку, особенно любят искать другого виноватого, тут же — нет... Получалось, что так ему, контуженому, и надо, что как бы противоречило слухам о высокой морали некоторых людей, но тогда людьми же была придумана история как причина: физик Людмилу Васильевну как бы бил. Соседи слышали, как она вскрикивала ночью, а потом, видимо легонько, не до смерти, придушивалась подушкой. В каждом слухе есть доля...

Панин понял: он готов отступить от своего требования не брать разведенку. Потому как был идеальный вариант по внешности. Мужчине не должно быть все равно, какое лицо и тело просыпается с ним утром. Очень существенно, что увидеть, открыв глаза.

И Панин купил цветы гладиолусы у Зинаиды Сороки для красивой учительницы.

Людмила Васильевна была робка (на самом деле забита жизнью) до невозможности. Она и пряталась от Панина, и писала ему нервные записки на тему «нет, никогда!», и даже плакала, умоляя оставить ее в покое.

Но Панин, как говорят, залупился. По мере сопротивления материала (сопромата) в нем росло и брякло упрямство. И народ, который Панина не любил, в случае сопромата взял его сторону. И уже школа, улица, магазин, аптека, клуб, парткабинет, машбюро шахткома — все, как один, оцетинились на несчастную Людмилу Васильевну. Чего тебе надобно, дура? — вопрошал народ. Какого рожна? Дом в процессе увеличения, маркшейдер непьющ и вежлив (эти качества, конечно, подчеркивались несколько неуверенно — качества ли это вообще?), а годы, как птицы, летят. Сколько тебе уже лет, дорогая ты наша географичка? Не двадцать и не тридцать. Слазали куда надо, посмотрели. Тебе почти тридцать два, и ручек твоих нежных уже коснулась сухость возраста, и шейка твоя стала стекать в горловую ложбинку. Вроде еще не заметно, но ежели хороший свет, то уже видно: неустойчива шейка, неустойчива.

Женщина сдалась народу. После регистрации, под веселым взглядом соседки Вари и пристально-изучающим Зиной, она прошла в строящийся дом, вечером, как человек, сбегала в уборную, потом погас у Паниных свет...

И вот тут-то и случилось у маркшейдера главное потрясение в жизни. Молодая немолодая, бывшая разведенка, оказалась-таки девой. У Панина на этой почве (потом выяснилось) случился даже микроинфаркт. От неожиданности...

Когда же отошло сердце и вытекли у Людочки все слезы, Панина накрыло такое сопереживание и сочувствие к собственной жене, что он понял: его нелегкая жизнь на воле и в тюрьме ничто с тем, что пришлось пережить ей. Десять лет ведь — не хухры-мухры... Бегала от гинеколога как от чумы, чтоб не узнали... Кричала ночью в подушки (что и слышали люди) и сама же утешала физика великими русскими словами «не это главное». Ему бы полечиться, но разве мужчина, учитель, партиец, пойдет

на такое признание? Из ночи в ночь... Десять лет... «Ах ты, Господи! — шептал Панин. — Надо же такому быть?»

Потом у них родился мальчишечка, и все было хорошо, замечательно до того, как стало плохо. Вначале Людочка просто заговаривалась. К примеру:

— Что-то у меня суп не получился... Картошка, что ли, водянистая? Я ракушек подбросила, а они все с червоточиной...

Панин к супу — нормальный. Ничего в нем лишнего. Какие ракушки?

Снял жену с работы, а потом перестал выпускать на улицу. Неловко получалось.

— Варя, Варя! — кричит Людмила Васильевна. — Что это у вас из окон птицы вылетают? Такими черными стаями... Надо вызвать из области орнитолога. Это же уникальное явление...

И уйдет себе, поет тихонько, и все нормально до следующего раза. Заговаривалась жена Панина, как правило, на тему природного мира — сказывались обширные знания по географии.

Очень переживал сын. Стеснялся матери, хотя и жалел ее по-своему. Потом, слава Богу, хорошо поступил в институт, закончил. Сейчас в областном центре главный архитектор города. Красиво все делает, с учетом рельефа, а про озеленение и говорить нечего. Из Европ к нему едут смотреть, какие у него на спуске к никакой, можно сказать, речке растут розы. Он эту малепусенькую речонку так обыграл, будто она не тьфу ручеек, а какая-нибудь Миссисипи. Людочке же это все мимо. Завела кошечек — это на здоровье, песни им поет. Временами такая умная, ясная, но уже ненадолго. А когда отнялись у нее ноги, то дело стало совсем плохо. Но Панин врачей не вызывает. Людочка здоровыми руками творит теперь всякое. Раздеться может... Горе, одним словом.

Вот сейчас она кричит: «Мяу!» Господи, помоги ей...

Людочка, видимо, начала раздеваться, но что-то ей помешало. Она сидела в кофте с полуспущенными рукавами, и лицо у нее было твердым, сосредоточенным.

— Не надо раздеваться, детка! — сказал Панин. — Простынешь... Не смотри, что лето... У нас климат континентальный.

— Коля! — тихо сказала Людочка. — Коля! Я хочу на улицу. У меня не ходят ноги? Да? А почему? Что со мной случилось, Коля?

— Ерунда! — ответил Панин, испугавшись и обрадовавшись сразу. Давно не было у нее мысленной здравости, он уже и забыл когда. — Пойдут твои ножки, пойдут! Хочешь, я тебя вынесу на воздух?

— Да! Очень, — тихо сказала Людочка.

Он поставил на резное крыльцо вольтеровское кресло, которое давным-давно снял с чужой помойки. Сейчас на нем была перекидаина, сделанная специально для Людочки. Он усадил ее, задвинул палку, закрепил. Положил на плечи жены платок, ноги обул в отрезанные валенки.

— Смотри, деточка! Звезды!

— Я вижу, — ответила Людочка. — Как тихо.

Панин присел у ее ног. «Вот если есть Бог, — думал он, — то мне ничего не надо, ничего. Пусть она не ходит, пусть. Пусть у меня будет болеть и печенка, и селезенка, пусть сгрызет меня ревматизм... Но пусть ее не покинет разум». Панин мог отдать за это и жизнь, но он боялся, что эта замена может быть опасной для Людочки. Что тогда с ней станет? Конечно, сын у них хороший, но ведь и не настолько, чтоб носить мать на руках. Таких детей теперь, считай, и нет. Поэтому ему надо жить. И надо, чтоб у него были руки-ноги.

— Коля! — тихо сказала Людочка. — Коля! Какой же я тебе крест!

— Нет, — закричал Панин, — нет. — И взбаламутил тишину. Загавкал Джульбарс, ему ответил товарищ по роду и племени, хрюкнула где-то свинья, хлопнули у кого-то двери, там и сям зажглись окна. Панин зажал рот рукой. «Ах я идиот, — думал он, — я сбил ее с ума!»

Но не сбил. Людочка жадно прислушивалась к забытым звукам. И лицо ее было под стать звездному небу — оно было умиротворенным и вечным. И Панин закричал снова, давя собственный крик кулаком. Он испугался вечности Людочкиного лица как знака ухода. Вот почему она «в себе», вот почему попросила себя вынести. Она уходит, уходит...

Панин обхватил ее ноги вместе с ножками кресла, а Людочка гладила его волосы...

— Раскричался, — говорила она. — Раскричался, как молодой. Ты, Коля, держи себя в руках... Держи, миленький...

Потом Панин отнес ее в кровать, а так как страх не проходил, он решил лечь рядом с кроватью на раскладушке.

Они заснули, держа друг друга за руку.

Слеза Панина затекла в ухо, а свою слезу Людочка слизнула.

Вечером они сошлись на улице снова. Сорока в шляпе, Шпрехт в галошах на босу ногу, Панин, как всегда, в диагональных штанах, которых в природе давно нет, но Панин носит вещи долго.

— Миняева ховают завтра, — сказал Сорока, — на старом кладбище.

Шпрехт вынул ногу из галоши и внимательно посмотрел на большой палец с янтарным ороговевшим ногтем. Странная реакция на сообщение Сороки, даже в чем-то неуважительная. Смерть — и палец.

— Хам, — сказал Сорока Шпрехту, — хам, и другого слова на свете нет.

— Яволь, яволь, — ответил Шпрехт. — Ноготь — сволочь... дает воспаление под собой... Парил, парил...

— Вы ходите в больницу, пусть вам его срежут, — посоветовал Панин. — Чтоб не было общего заражения.

— Я пойду на кладбище, — сказал Сорока. — Она как раз у меня в это время спит... Миняев был нормальный мужик. При его должности много мог подлости сделать, а он зря не цеплялся...

— Не скажите, — Панин занервничал, — не скажите...

— Ты, конечно, про себя... Но ты сообрази, откуда ты приехал. Сообразил? Миняев же на бдительность был поставлен. Это надо понимать... Думаешь, всех тогда правильно выпустили? Компанейщина была. Абы-абы...

— Тут я согласен, — сказал Шпрехт. — Хоть забирать, хоть отпускать — это у нас чохом. Лишь бы больше. Гросскомпания. Мы народ количественный. Мы без дробей считаем.

— Это надо договориться, что считать дробью, — ответил Сорока. — Если я или ты, то и нечего нас считать. Пропаций для страны материал. Я уже не помню, когда на партсобрание ходил. Хорош? Я и есть дробь.

— А я нет! — тонко прокричал Панин. — Я не дробь и не позволю так себя называть. И больная моя супруга не дробь...

— Это вы зря заноситесь... — Шпрехт ни с того ни с сего занервничал. — Личность — это голова. Копф. Деятельность мозга. У вашей уважаемой жены отказал мозг...

— Кто вам сказал эту глупость? — засмеялся Панин. — Кто? Личность — это душа. Это сердце. Мозг — это инструмент жизни. И у Людочки он присутствует.

— Личность — это прежде всего польза, — рявкнул Сорока, — а от нас всех пользы народу нету. Это ж кем надо быть, чтоб такое не понимать?

— Получается, по-вашему, мы лишние люди. — Шпрехт вылез из галош и зарыл ноги в пыль. Легчало сразу, мгновенно, ступне делалось радостно, и она даже как бы попискивала от удовольствия. Физическая приятность ослабляла мысль, и не хотелось больше спорить с Сорокой. Они сроду на разных платформах были и есть, но глупо выяснять это сейчас.

— У вас огурцы завязались или?.. — спросил Шпрехт сразу двоих, ввинчиваясь пятками поглубже в землю.

— Слабо, — ответил Сорока, — огудина большая, а завязи нет.

— А у меня пошло дело, — гордо сказал Панин. — Я же вам предлагал семена.

— Оно и лучше, если не уродит, — вздохнул Шпрехт. — Огурец — вода. Только для засолки, а у меня в эту зиму половину банок рвануло.

— Ты банки некачественно моешь, я видел. — Сорока снял шляпу и почесал голову.

— Напрасно вы ее носите, — сказал Панин. — Летом это не полезно. Кожа головы должна дышать.

— Интересно, в каком костюме положат Миняева? — задумчиво сказал Сорока. — Коричневый мы с ним вместе шили. Это сразу, когда Хруща пуганули. Хорошая ткань, сколько лет — и ничего ей не делается. А в гробу блеск на жопе не будет виден. Но у него еще и синий есть. Румынский.

— Я вот про чужие костюмы не знаю, — гордо сказал Панин. — Не мое это дело.

— Ты как живешь в диагоналевых, так в них и ляжешь. У тебя, кроме них, ничего и нет, — засмеялся Сорока.

— У меня есть бостоновый костюм, — сказал Панин, но уверенности в голосе у него не было. Костюм висел, это да, весь в тряпочках с нафталином. Лет десять тому назад он попробовал надеть его на свадьбу сына, но не смог застегнуть ширинку. Пришлось купить брюки — дрек-товар, он в них теперь уголь носит, — а сверху сын дал ему свою куртку. Получилось молодцевато. Панин долго стоял перед зеркалом, пытаясь сообразить, какая мысль-идея торкнулась в голове, когда он увидел себя в куртке нараспашку. Да, была странная, не по возрасту радость от вида себя. Людочка тогда была в плохом состоянии, и с ней нельзя было обсудить эту тему: Панин и куртка.

А хотелось... Хотелось легко пройти по улице, чтоб ничего в руках и в голове. Просто идти, как счастливый человек, у которого есть куртка... Не в том смысле, что он шмоточник, нет! А в смысле... вот этот самый чертов смысл Панин и хотел сообразить и, как человек неглупый, подозревал, что это ему — тьфу! Соединить в единую мысль себя, куртку и легкое движение по улице без умственной и физической тяжести. Но рождалось недостойное его, панинской, личности соображение, что человек должен прожить хорошо одетым и что это не противоречит главному предназначению. Не противоречит — вот ключевое слово, которое возникло тогда.

— Диоген был дурак, — ни с того ни с сего брякнул Панин. — Нет такой идеи, чтоб она была убедительнее из бочки. Большевики и есть диогены двадцатого века и засрали мир.

— Жаль, что уже нет Миняева, — скорбно сказал Сорока. — Он бы тебе показал твое место в мире.

— Я там был! Был! — закричал Панин. — Я всюду был и все видел. И еще живу. А Миняева Бог прибрал за ненадобностью. Кончилось его время! Кончилось! И он вместе с ним.

— Завтра магнитная буря, — сказал Шпрехт. — И ветер северо-западный. Чернобыльский. Вот если начнут завязываться помидоры, покушаем стронция.

— А я не боюсь, — засмеялся Сорока. — Мы тут такого надышались, что, может, он нам и полезен будет, твой стронций.

— У меня моча идет толчками, — сказал Шпрехт. — Долго стоять приходится.

— Но идет же! — философски сказал Сорока. — Вот когда закоротит, тогда караул и кричи. Ладно, черт с вами. Пойду. — Сорока покосолапил домой, а Панин и Шпрехт остались. Шпрехту не хотелось выбираться ногами из мягкой и ласковой пыли, а Панин хотел ему сказать, что со вчерашнего вечера Людочке как бы стало лучше. Этим очень хотелось поделиться, но трудно было решить, с кем...

Дело в том, что многие годы — это сколько же лет? если считать со строительства домов, уже, считай, тридцать... — так вот, Сороки, Шпрех-

ты и Панины все это время считались заклятыми врагами. А когда в одночасье, надевая платье шестидесятого размера, упала Зина, а до этого за два месяца перекосило Варю, Сорока и Шпрехт пришли к Панину, чтоб рассказал, как их, тяжелых, поворачивать, ведь у него, Панина, был опыт на этот счет. И Панин пришел. И показал на Зине. Пришел и показал на Варю. Дома, переноса свою легкую мяукающую Людочку, Панин благословил судьбу, что у него такая ноша. Людочка, тоненькая и чистенькая, казалась птичкой, благоуханным цветком супротив неподъемных жен Сороки и Шпрехта.

И Панин им простил все. У Панина было инстинктивное чувство меры. Он брал в жменю ровно восемьдесят граммов фарша, и ошибки не было никогда. Он на глаз определял все — количество и любое соотношение.

Трагедия у соседей не вызвала у него сочувствия — он сам хлебал горе. Но не вызвала и злорадства. Он увидел чужую ношу беды и понял: отяжелять ее дурными мыслями грех. Он помог Сороке уложить Зину на щит, для чего посоветовал убрать ножную спинку кровати.

А для Вари принес колокольчик, который когда-то спрятал от Людочки. Все-таки Варя была в разуме, а Людочка звонила бесконечно. Он научил Сороку и Шпрехта искусству подмывания при помощи клизмы и несколькими способам спасения от пролежней.

Народ улицы с интересом наблюдал сближение непримиримых врагов. Столько ведь лет не разговаривали! И хоть сейчас это уже не имело никакого значения и смысла, время от времени люди вспоминали, как полетел в сторону Сороки кусок кирпича, брошенный Мариной рукой, и как кричала на всю улицу Зина: «Пададь! Пададь! Ты пададь, Варвара!» Как, возвращаясь от очередной беседы с Миняевым, Панин остановился у штакетника Сороки и помочился прямо на цветущие анютины глазки, как злая и пенная струя сбивала с ног нежные цветы, и он прибывал их к земле и прибывал, окончательно и бесповоротно: хватило накопленного в гневе.

Многое было. Оттяпали у Панина и Шпрехта сотки, потому как именно в конце их участков хорошо завязался виноград «Лидия», а у Сороки виноград не хотел приниматься, хоть ты его режь. Ну что ему стоило отстукать решение исполкома и прислать землемеров? И отрезали плодоносный конец. Сейчас там мусорная свалка, уже горой встала и травой поросла. Совсем недавно, уже когда они все замирились, отдали свалку какому-то шахтеру. Третий год ковыряется мужик, добираясь до сладкого места, на котором когда-то рос виноград. Шпрехт и Панин в четыре руки возвели против «нижнего» соседа высокий забор — мало ли, кто он и что? Сорока же за это время расширился влево, явочным порядком, ночью передвинув забор на целый метр. Благо с той стороны стоял государственный дом. Люди встали утром и увидели, что под окнами стало места меньше. Но ничья земля, она и есть ничья, а с Сорокой лучше не спорить. Он на свой забор там и сям навесил звезды, которые поснимал со старых предметов наглядной агитации. Забор со звездой сразу приобретал политический ранг, на него голой грудью не попрешь.

Варя считала Зину душой, Зина Варю — непорядочной, обе считали Людочку придурочной (с этим спорить было трудно), Людочка, в свою очередь, когда ее посещал разум, говорила Панину, что Варя — хитрая женщина, а Зина — подлая. Варя считала, что она самая красивая на их улице, а Зина — из лошадей лошадь. Зина, в свою очередь, удивлялась, как таких пузатых и коротконогих носит мир. Обе считали, что «эта Паниха» неизвестно что о себе думала, когда что-то соображала, а на самом деле — ничего же женского, ни грудей, ни, извиняюсь, зада. А что это за женщина, если у нее одно «место отправления» и никакого антуража, никакой округлости и мягкости?! Несчастный Панин! За что он держится? Людочка же в разуме просто из себя выходила от массы тел Вари и Зины. «Ладно, пусть много... Но должна же быть хоть какая-то линия в массе?»

Народ улицы имел на все свою точку зрения. Сороки такие, потому как напились людской крови, вот их и несет вширь. А Шпрехты — хитрованы, себе на уме. Дурачками прикидываются, но выгоду свою знают. А Панины — что? Вонючая интеллигенция. Солому жрем, а форсу не теряем. Задница светится, но в библиотеку запишусь. Нет в них простоты, нет. Сколько лет живут на улице, но стол Панин так ни разу и не накрыл... Правда, Сорока и Шпрехт не накрывали тоже, но Сорока всегда мог зайти к другому и выпить как человек, как свой. Шпрехт же пил только свое вино, правда, если зайти к нему, наливал в пластмассовый стаканчик, такой облапанный, что некоторые, горящие душой, но брезгливые, шли к нему со своей тарой, хотя Шпрехт все равно отмерял своим стаканчиком, а то ведь некоторые могли заявиться с пол-литровой кружкой. В этом деле мы народ неостановимый.

Итак, они остались вдвоем — Панин и Шпрехт.

— Ну как Людмила Васильевна? — спросил Шпрехт.

— Вот же! Вот же! — захлебнулся словами Панин. — Что я и хочу вам сказать! В такой ясности, как никогда! Выносил ее вечером, посидела в кресле. Хорошо так говорила, жалела меня! — Панин всхлипнул. — Как будто это главное! Как будто мне не счастье ее на руках носить...

У Шпрехта защипало в носу. Как же ему понятно это было, как понятно! Но непонятно другое: как можно любить Людмилу Васильевну, разве ж ее можно сравнить с Варей, у которой и в руках все горело, и ум такой, что он, Шпрехт, всю жизнь ему удивляется, а о внешности и говорить нечего. За что ему такое счастье, за что?! А вот у бедняги Панина — бледная немочь Людмила Васильевна. Но пусть их! Пусть! Пусть живут!

— Может, погода действует? — сказал Шпрехт. — Я лично не люблю, когда дует из Африки. Нашему телу это вредно...

— Я же ничего не хочу от жизни, — скороговорит Панин. — Пусть не ходит ногами, пусть... Только чтоб мыслила... Чтоб поговорить с ней... Пусть бы пошумела, как ваша Варя...

— Да! Моя умеет, — радостно сказал Шпрехт, испытывая волну такого невыразимого счастья, что он даже как-то крутнулся на месте, как бы взлетая, вспархивая, во всяком случае, пыль вокруг его босых ног клубнулась, взвихрилась и осыпалась в пустые галоши.

Надо идти к ней, Варе, что это он тут расстоялся, гребет землю, надо идти.

— Надо идти! — сказал он строго. — А то мы вяжем языками, вяжем...

— Да! — сказал Панин. — Да! Я уходил, а Людочка попросила альбом. Я его как раз привел в порядок, купил уголки для фотографий.

— Ну, тогда пока, — сказал Шпрехт, хватая руками галоши. — Привет передавайте Людмиле Васильевне.

— Спасибо вам огромное! — кричал ему Панин. — Огромное!

ЛЕТЧИЦА

Когда на улице дул ветер, который Шпрехт считал ветром из Африки, а окно не было закрыто, Зина слышала улицу. А так как за долгие годы она знала ее как облупленную, то ей хватало отдельных слов, скрипов, стуков, чтоб знать все. Вот вчера у Люськи-учительницы случился умственный просвет, — Панин стал говорить не своим голосом, тонким и глупым. Ах, Люська, Люська! Жалко тебя, дуру, а с другой стороны, так тебе и надо.

Зина вспоминает то время, когда она от нечего делать пошла работать в школу завхозом. Тогда была еще жива ее мама, и она буквально отняла у нее все домашние дела. С полгода Зина позвенела школьными ключами, а потом сказала: «Оно мне надо, это сраное имущество?»

Но именно в эти полгода появилась в их школе Люська со своим контуженным физиком. Шерочка с машерочкой. Он ничего был собой, физик.

Высокий, плечистый. Когда же его скручивало, куда все девалось. Он превращался в рассыпанного человека, над которым смеялись дети. Зина одного особенно смешливого даже выпорола, мол, как тебе, сволочь, не стыдно, человек за тебя кровь проливал! Правильно все говорила, даже родители ее не осудили. Вот после этого случая физик и пришел к ней в кладовку как бы сказать: детей бить не надо. Ни за что. Пусть они тебе на голову, а ты терпи от цветов жизни. Он ей это промямлил, она хотела ему ответить как понимает, а началось другое, непредвиденное.

Он к ней полез. Кладовка, почти мрак, она в сарафане — жарко было, он слова свои идеальные не договорил — кинулся, как собака на кость.

Сразу она чуть не умерла от смеха. Потому что дать отпор любому мужику ей, летчице-пилотке, ничего не стоило. А вмазать контуженному тем более. Еще ее смех разобрал оттого, что вел себя физик, как пацан-малолетка, который не знает, что, для чего и где...

Зина его скрутила, он увял, она отсмеялась, а он ей возьми и все расскажи. Что на фронт попал мальчиком и там так *этого* и не случилось. После контузии женился, думая, что все у него по этой части как у людей, ан нет... Живут с Люсей столько лет как брат и сестра. Не получается у них. Рассказал физик и заплакал.

Зина аккуратно закрыла щеколду, он про это, конечно, не подумал. Тяжело вздохнув, как перед полетом на ненавистном аэроплане, она сняла с себя большие синие сатиновые трусы с карманчиком, в котором держала деньги, когда один раз ездила в Москву.

— Давай, — сказала она ему просто и прямо. — Делов!

Сумасшедшее время! Сумасшедшая страсть среди поломанных стульев, стертых досок, ведер и метел. Она сама ему давала сигнал, когда все шли на урок. И он сбегал от учеников, дав им контрольную или задание выучить следующий параграф.

А потом Зина забеременела, а считалось, что у нее детская матка. Иначе ведь не объяснить, с Сорокой уже восемь лет жили.

Зина крепко задумалась. Она не сомневалась, что ребенок у нее из кладовой. Физик уже звал ее за себя. Он ей признался, что даже теперь у него с женой не получается. Что он ее стесняется и боится, и она его тоже, и что развестись им — самое то... Правда, Люся почему-то от такого предложения кричит и плачет.

Зина думала: скажи она ему про беременность, он, может, и контуженым перестанет быть... Это особенно хорошо виделось — физик высокий, плечистый и не больной.

А куда девать Сороку? Об пол? Сороку, который ни в чем перед Зиной не виноват. Дом большой собирается строить, тещу уважает. Не брать это в расчет может только идиот.

И мысль уперлась лбом в решение: ребенка Зина родит Сороке и физик никогда об этом не узнает.

Был плохой период, когда надо было с ним завязывать. Пришлось шепнуть Сороке, мол, сущее наказание школе этот контуженый, вот тогда и нашли ему место в парткабинете. Уже там среди портретов вождей, а не среди школьной рухляди, Зина сказала физику: «Все! Я тебя обучила, дальше — сам!» Он кричал и даже замахивался на Зину, что опять у нее вызвало здоровый смех. На нее? Силой?

Отъезд физика на лоно природы, к пейзажам и пейзажкам, — это тоже было дело рук Зины. Все-таки она боялась рожать у него на глазах. Мало ли на что это его может толкнуть? Начнет считать, подсчитывать своим высшим образованием.

Уже потом, потом Зина навела справки. Физик женился на тамошней ветврачихе, потом они уехали к ней на родину в Бурятию. Вот тогда Зина зашла в спальню и трижды широко перекрестилась на портрет Сороки, крупно снявшегося на фоне Мавзолея. А детей больше у нее не было, хотя, когда она рожала, врач сказал ей, что тело ее имеет исключительные свойства для деторождения. Такое широкое, мощное, сильное. Мальчик

просто выпрыгнул из нее без всяких там мук и страданий. Просто бульк — и готовое дитя.

Когда Панин и Людмила Васильевна стали соседями напротив, Зина стала испытывать мучительное любопытство к бывшей жене физика. И так, и эдак разглядывала ее. Потом остро ждала, кто у них родится. Сравнивала своего крепыша сына с «панинским маломерком». Ничто просто так не сходило с рук Людмиле Васильевне, ни плохое, ни хорошее. Казалось бы, зачем столько сердца ты на нее тратишь, Зина? Зачем? Но остановиться было трудно. А тут еще сыночек вырастал весь в физика. Лицо в лицо. Только придурочный Сорока мог видеть в его лице свое. «В меня сыночек, в меня! — стучал он по спине высокого и красивого парня. — Просто капля воды!»

Шел сыночек по улице, а в калитке жметесь телом Люська. Интересно, видит она схожесть или нет? А если не видит, то где у нее тогда глаза, в какое место они у нее вставлены? Ведь у сыночка над губешкой с правой стороны возьми и объявись физикова родинка, черно-коричневая, с пушком... Надо быть совсем слепой...

Сорока храпит рядом... «Ах ты, Сорока-ворона, — думает Зина. — Интересно, живи я с физиком, случилось бы со мной *это*? Настигла бы меня тяжесть, которой я до смерти буду придавлена? И что бы с нами вообще было?» Тут Зина замирает, потому что это все равно что дойти до бездны и пытаться в нее заглянуть. Назад, назад... Бог наградил ее сыном и наказал болезнью. Физик же... Физик же, получается, кругом только наказанный. Без награды. И это ее вина. Зина допускала, что у него могут быть дети. Ну и что с того? Такого мальчика могла ему родить только она. Только!

И Зина начинала мычать от свалившегося на нее счастья-горя.

МАШИНИСТКА

— Кислого молочка попьешь? — спрашивает Шпрехт у Вари.

— Попью, — отвечает та бодро. — Чего тебе там Панин лялякал?

— У Людмилы Васильевны просветление, — говорит Шпрехт. — Фотокарточки смотрит.

— Ну и пусть смотрит, — снисходительно говорит Варя. — Человеку нужны маленькие радости.

Шпрехт всегда столбенеет от Вариных выражений. Проживи он хоть тысячу лет, ему не сказать так умно и складно. «Человеку нужны маленькие радости». Надо же! У Вари каждое слово хоть записывай, конечно, когда она не ругается и не кричит по-черному. Тогда лучше не записывать.

Он приносит ей на деревянной разделочной доске чашку густого кислого молока и кусок черного хлеба. Варя только что не урчит от удовольствия. Шпрехт садится на краешек постели.

— Знаешь, — говорит Варя, — когда я встану, мы сделаем перестановку. Я прочитала в журнале, надо спать с севера на юг. И потом... Ты помнишь, как я у трюмо отпилила верхушку? Найди ее. Надо ее приставить. Я была тогда дура, а сейчас понимаю — в тех завитушках был самый смысл.

— Где ж я найду эту верхушку? — ужасается Шпрехт. — Столько лет прошло. Да, может, мы спалили ее, к чертовой матери!

— Поищу, — говорит он тихо. — Но, Варя, могу ж и не найти... Столько лет...

— Найди, — строго сказала Варя. — Непременно найди. Завтра ты меня поставишь на ноги. Я попробую постоять со стулом.

Когда хорошо, то хорошо... Шпрехт массирует пальцы, покряхтывая от боли и наслаждения. Варя лежит на спине, сложив на высоком животе руки. Светится прямоугольник трюмо.

...С ним было так... Эвакуировалось начальство. Среди начальства был один еврей — начальник ОРСа и один немец — замначшахты по добыче. Их не хотели вообще брать, но взяли при условии: без вещей. То есть по минимуму. Жена немца была в их машбюро старшей. Она сказала: «Варя! Заберите нашу мебель. Вернемся, я оплачу вам хранение. Не вернемся — будет ваша». Родители Вари были против категорически. Нельзя брать чужое, и все тут, даже если об этом просят. А Шпрехт, которого только-только привезли и положили в сарай на окончательное излечение, наоборот, Варю поддержал. Тогда она взяла тачку и поехала. Но припозднилась — все уехали, а соседи уже заканчивали разгром квартир. Еврей и немец жили как раз рядом.

Не осталось практически ничего. Какая-то посуда и нижний ящик комода с проломленным дном, наполненный фотографиями. За Варей тогда увязалась дочка Жанна, села на тачку — и ни в какую. Вот она-то ринулась к ящику и просто с ума сошла, дурочка, от открыток с расписными яичками, с кудрявыми девочками в кружевах и розовыми ангелами с крошечными пипишками. Собрала все. Потом так и возила с собой, сначала в институт, потом по назначению. Когда Варя была у нее до удара, то увидела: фотографии семьи у дочери лежат абы как, а эти — в особом альбоме. Она Жанне: «Объясни». Жанна: «Это для меня как кусок астероида. Или Атлантиды. Ты ведь никогда не читала, что написано на обороте открыток». — «Читала, — ответила Варя. — Поздравительные открытки. Христос воскрес...» — «Не знаю, — сказала дочь. — Для меня это много больше...»

И спрятала альбом от матери. Варя поняла так: если я живу хорошо, если у меня муж, дети и достаток, если у меня есть с кем поговорить об умном, зачем мне чужое воскресе? У меня есть свое. Значит, у дочери не все в порядке, одна видимость благополучия. Варя не любила в людях *жалкость*. Ну, не любила, и все тут. Сдвинутый на чулке шов, шарфик с обтрепанными концами, сломанный зуб в улыбке, перчатки с затянутой не в цвет дыркой. И, с точки зрения Вари, дочь шла в этом направлении. В направлении жалкости. Причем нехорошо шла. С вызовом ей, матери, и всем!

Тогда у Вари первый раз зашкалило давление. «Купи себе красивые туфли и хорошие духи!» — кричала она дочери. А та стояла перед ней в своих стоптанных дешевых мальчиковых ботинках, и у нее дергалось веко. «Мне не платят на красивые туфли и духи!»

У Вари все слова под языком были, все! Про мужа дочери, который протирает где-то штаны вместо того, чтобы крутиться по жизни. Про нее самое — дочь, которая вся из себя гордая и в поясице не гнется. Варя сама гордая, еще какая, но ведь она давно поняла: мир захватили Сороки. Их дурить — легкая радость, все равно что, извиняюсь, два пальчика описать. Не побеждать их — это и есть самая жалкая жалкость. Вот она...

Варя засмеялась громко и весело; хорошо, что умаянный Шпрехт храпел, а то бы примчался.

Она отсмеялась и подумала: «Вот так человека может довести интересная мысль и до дури... Что это я хотела подумать? Что я такое победила в жизни? Смешно даже говорить такое лёжачи...» Вся-то ее заслуга, что родила сыночка. И вот в нем осуществила свои мечты. Такой красавец и умница! Такой образованный. Вежливый. И ботиночек у него начищенный в любую погоду, и рубашечка с галстучком всегда в тон. Выглядит! Это уж не говоря о том, что и машина, и квартира дай Бог каждому. А главное... Ни-ни жалкости... Ни-ни... Конечно, есть противность. Есть! Он, в сущности, работает Сорокой на областном уровне. Но, храни Господи, ничего же общего с малахольным соседом, ничего!

Впасть в молитву о сыне — это все равно как поступить ненароком с теми же двумя пальцами. Легко и просто. Дал бы ему Бог еще и умную жену, но тут — полный прокол, чурка с глазами. Ах, была бы она с ним рядом. Она бы ему напоминала: «Вот есть Сорока. Образец. Но, сынок,

двигаться вперед можно от любого места, даже от такого». И она бы ему рассказала, как можно украсить собой место Сороки. Жанна просто зашлась от смеха, когда она ей рассказала, что ничего страшного в партийном продвижении сына не видит. «Это я родила его в этом месте и в это время. И я его родила на счастье, а не на серый будень». — «Так не говорят», — ответила Жанна. «Знаю. Я нарочно. Я подчеркиваю смысл».

Варя смотрит в зазеркалье трюмо. Видно свисающее с ее дивана одеяло. В темноте такое же серое, в какое было это трюмо завернуто тогда, в сорок первом.

...Значит, так... Жанна стоит вся красная от своей открыточной добычи. Плохой у нее тогда был глаз, с сумасшедшиной. Надо было бы отнять у нее этот «кусочек астероида», может, не забились бы памороки.

Народ же, вернувшись по второму и третьему разу в брошенные квартиры, совсем спяченый от дармового добра, уже брал и негожее. Унесли ящик от комода, вытряхнув оставшиеся от Жанны фотографии. В Варю тогда накипало. Все дело было в тачке. Все-таки с ней приехала, что ж, пустой возвращаться? С другой стороны, не в ее понятиях мародерствовать. Старшая машинистка Эльза ведь сама ей сказала: «Забери вещи». Варя просто не успела, пока препиралась с мамой, пока обувала тачку в колеса, пока получала моральную поддержку от Шпрехта. Вот и явилась: «Где стол был яств, там гроб стоит». Чего-то так ей вспомнилось, она еще удивилась, откуда это пришли слова и при чем здесь гроб.

А тут как бы его и несут. Не из немецкой, а из еврейской квартиры.

Было это цинковое корыто, которое привязали серым одеялом к трюмо, видимо для сохранности зеркала. Полное впечатление гроба, Варя аж вскрикнула, а народ стал разбираться с предметом. Ждали большего, чем нашли. Корыт теперь у всех было по два, по три, по шесть, по восемь, да и зеркал как бы уже наелись: у немца и еврея висело, считай, в каждом простенке.

Вот тогда и проявились лучшие качества нашего народа, его безграничная ширь и доброта. Народов глаз увидел пустую тачку и Варю-колобка, оставленную не по справедливости ни с чем.

— Отдать женщине с ребенком, — проревел народ, и на Варину тачку лег гроб из корыта и зеркала. Потом стали проявляться и другие безгранично прекрасные свойства: народ стал отрывать и от себя. Кто-то принес кастрюлю, «чуть подпаять — и вари», кто-то матрац с безмолвно говорящими желтыми разводами, кто-то заварной чайник без ручки.

Не своим голосом заорала Жанна на такую человеческую щедрость, но и Варя, вначале слегка прибалдевшая, пришла в ярость чувств. Она просто-напросто поставила тачку на попа, и все соскользнуло, и корыто отвязалось от зеркала и с хорошим звуковым сигналом шмякнуло обземь. Посунулось и трюмо, но уперлось резной верхушкой в землю и затормозилось. Это была уже судьба: Варя привезла его домой и спрятала в сарае, за Шпрехтом.

И лежало оно там, и лежало до самого времени, пока не построили дом. Варя и забыла о нем, пока не испугалась. Шпрехт возился в сарае, вынес трюмо, чтоб не мешало, и приставил к стене. А Варя шла себе мимо. Шла и увидела толстую тетку с ведром, идущую ей навстречу. Тетка была ей знакома, знакомой была и дорога, по которой та шла. Но случилась странность. Странность в освещении. Варя шла по солнцу, а та, с ведром, шла как бы по серой погоде. Варя, умная, хоть и вздрогнула сразу, поняла: зеркало. Но оно отражало как бы другой момент жизни. Она подошла к нему вплотную, буквально носом торкнулась в собственный нос. Нет, ощущение несовпадения времени не проходило.

— Испортилось, зараза! — закричала она копошащемуся в сарае Шпрехту.

— Что? — спросил Шпрехт.

— Да зеркало! — ответила Варя, дуя на него и тут же стирая пелену. — Залежалось и пропало.

Шпрехт вышел из сарая, посмотрел в зеркало, повернул его к солнцу. — Нормально! — сказал он. — Зер гут!

Но и Варя уже видела, что все нормально. Но внутри нее остался комочек холода, он метался среди ее горячих внутренностей и мозжил.

Варя хотела внести зеркало в дом, но оно не проходило по высоте. Надо было пилить или снизу — раму, или сверху — витиеватый фронтон. Варя взяла ножовку и одним присестом ликвидировала грязную верхушку в комках еще той грязи, в которую верхушка уперлась в момент дармового обогащения и падения корыта. Варя содой помыла раму, дотерла до сущности дерева, до бегущих в никуда его застывших волокон. Потом она стала искать зеркалу место. Она знала какое: которое имело бы чудное свойство отражать не совсем то...

И нашла. Показателем правильности места оказалась Жанна. Она как встала перед ним, так и замерла. А когда отошла от него, то молча ушла вниз, к тому месту, где всюду набухала «Лидия». Сорока тогда еще не превратил эту плодоносную землю в помойку. Варя кинулась к зеркалу и своими глазами увидела, как что-то метнулось в глубине. «Это же я сама, — думала она, — задела портьеру, а она колыхнулась в зеркале». Все, конечно, так, но и не так тоже. Зеркало жило своей жизнью, и сейчас, например, оно держало в себе серый цвет одеяла, хотя у Вари одеяло глубокого бутылочного цвета. Конечно, надо просто зажечь свет. Но Варя никогда не уличает зеркало во лжи. Никогда. Если оно выдаст ей серый цвет, значит, так и надо.

«Завтра встану на ноги и пройду со стулом один метр», — говорит она себе. Метр — это расстояние до окна. Она хочет посмотреть на дом Сороки. Она хочет увидеть окно этой лошади Зинаиды, которая лежит колодой. Варя думает: «Мне надо разойтись ногами. Я же сильная. Метр за метром... Метр за метром... С завтрашнего дня. И я приду и посмотрю Зинаиде в глаза».

УЧИТЕЛЬНИЦА

Людмила Васильевна рассматривает фотографию красивого лейтенанта. Она знает — это ее первый муж. Его звали Игорь. Игорь Олегович. У него была сестра Ольга Олеговна. Она ее никогда не видела, потому что Ольгу Олеговну в семнадцать лет 22 июня убило бомбой в Киеве вместе с папой и мамой. Игорь остался сиротой. Сиротой ушел на фронт. Сиротой вернулся. А она тогда мечтала спасти всех сирот. Воображала город, в котором стоит огромная скульптура Матери и весь город ходит к ней, сидит у ее колен, прижимается к ее руке. Здесь много детей, цветов, всегда нежная музыка, старики и дети лижут розовое мороженое, у взрослых в руках рейсшины, тубусы, глобусы... Хотя странно, зачем взрослому ходить с глобусом? Чтоб не заблудиться, что ли? Людмила Васильевна тихо смеется своим юношеским мыслям. Глупые мысли, но какие же хорошие!

Она была несчастлива с первым мужем. Да Бог с ним, когда это было! Не надо про это вспоминать, не надо... Это может увести ее в темноту, мрак...

Но что-то заставляет ее держать в руках фотографию. Что-то, что не имеет никакого отношения к городу с каменной Мамой, с неудачным ее замужеством и, как ни странно, с ней.

«А! — думает она. — Я хочу представить другую жизнь Игоря. Пожалуйста... Представляю. Во-первых, он вылез из контузии». Но тут ее начинает колотить мелкая дрожь, и Людмила Васильевна со всей своей возможной силой отшвыривает фотографию лейтенанта. Эффект бумеранга — полетав, она приземляется на кровати. Теперь Людмила Васильевна смотрит на лейтенанта как бы сбоку, со стороны его родинки над губой.

Панин тихо скрипнул половицей, заглядывая в комнату. Он видит нежный и хрупкий профиль жены, тень же ее головы на стене — разухабистая, смелая, почти нахальная. Это потрясает Панина. «Ей бы в жизни

чуток смелости, — думает. — А она — агнец безответный. На стене же, на стене — черт знает что! Как не она».

— Людочка! — говорит он тихо. — Людочка!

Хоть и тихо сказал, а спугнул: дернулась Людмила Васильевна в испуге.

— Да что ты, детка! — кинулся Панин. — Это же я! Я!

— Вижу, не волнуйся! Я просто задумалась! — Людмила Васильевна смотрит на Панина серьезно и почему-то строго. — Скажи, пожалуйста, — говорит она, показывая тонким и ломким пальцем на лежащую в ее ногах фотографию лейтенанта. — Кто этот человек?

Ах ты, Господи! — весь спохватывается Панин. Ведь выбросил он все фотографии физика, выбросил. Собственными руками рвал на мелкие кусочки и выбрасывал, рвал и выбрасывал.

Откуда же эта?

— Я сейчас ее выброшу, — говорит Панин, — сейчас, детка. Это чужой нам человек. Как он тут оказался, понятия не имею.

— Это не Игорь. — Людмила Васильевна говорит опасным голосом — голосом приближения к забвению и мраку. Панин убить себя готов, что дал фотографии, что не перелистнул для страховки альбом. Идиот, старый идиот. Что же ему сделать, чтоб удержать Людочку тут, в этом совместном с ним месте и времени, как не отдать туда, куда ему нет дороги и где она одна-одинешенька. Как? Сказали бы ему: «Разбегись, Панин, на скорость и ударься головой об стену, вот и будешь всегда с ней — в свете и во мраке», — он бы так разбежался, он бы так выставил лоб, чтоб уж точно достичь цели, наверняка.

— Не Игорь, — повторяет Людмила Васильевна. — Это другой человек, и я его видела и знаю.

— Так столько же похожих людей на свете, деточка, — шепчет Панин. — Вот сосед наш Сорока вылитый гетман Скоропадский, я, как увидел, просто обмер. Ну и что? Вариант природы. Не больше того...

Конечно, он не ожидал крика. Совсем наоборот, он возлагал надежды на Скоропадского как на ловкий исторический маневр. Людочка зацепится мыслью за гетмана и удержится тут и сейчас.

Она же закричала, и такого еще не было.

— Сын Сороки! — кричала она. — Не сын Сороки!

Панин побежал за тазиком, за полотенцем, за шприцем, за ампулой.

Панин знал, что делать...

— Миняева заховали в сером костюме, — сказал Сорока. — Я про эту вещь не знал.

— Исподнее тоже проверили? — ехидно спросил Панин. — Знакомы ли вам, пардон, трусы, майка?..

— Ты выступаешь как вечный, — спокойно отвечал Сорока, — а я смотрю с точки зрения собственной смерти. Вот ты, к примеру, приготовил себе костюм *туда*?

— Не собираюсь, — ответил Панин. — В голову не беру.

— Надо брать, — вмешался Шпрехт. — Надо. Генуг, он всем генуг. У меня в одном пакете — мое. В другом — Варино. Она так сказала, а я понял: правильно. — Без перехода Шпрехт добавил: — Мы сегодня с ней стояли со стулом. Она так решила. Варя расходится обязательно, у нее характер — о-о!

— Место ему тоже хорошее дали, — продолжает смертную тему Сорока. — Рядом с Ваней Губенко. Правда, пришлось чуть сдвинуть оградку у Иванчука, но тот размахался на том свете, как какой-нибудь космонавт.

— Иванчук — выдающийся хирург, — возмутился Панин, — а Миняев ваш... Хватаете где можете! Живое и мертвое! Когда же вы насытитесь?

Но Сорока сегодня не спорщик. Он думает о Миняеве. Как тот лежал в гробу. Хорошо выглядел, между прочим... Не скажешь, что труп...

— Я решил, — говорит Шпрехт, — кислород держать наготове, когда Варя начнет двигаться. Сила у нее, конечно, есть, но как бы слабость не победила.

— Ну и не экспериментируйте, — строго советует Панин. — Или давайте я приду, подстрахую, если что...

Шпрехт машет руками.

— Я тоже думаю, — вмешивается Сорока, — нечего вставать. Прилив может быть к голове... Зальет разум... Сейчас у Миняева вовсю поминки. Если б не такой случай, надо бы сходить... Я его помяну сам... Перед сном...

— Такое обстоятельство, — вздохнул Шпрехт, — что да...

— А как дела у вашего сына? — ни с того ни с сего спросил Панин.

— У нашего? — удивился Шпрехт. — Хорошо, слава Богу!

— Да не у вашего! — рассердился Панин. — Кто не знает вашего сына! Я вас спрашиваю, — громко обращается Панин к Сороке. — Вас!

— А чего тебе мой сын? — удивляется Сорока. — Я так думаю. Если у меня в жизни что-то было не того, то сынок, он все оправдал. Мой меня продвинул по природе.

— Это в каком же смысле? — спрашивает Панин. — Такого учения я еще не слышал...

— Ты много чего не слышал по причине своей глупости, — засмеялся Сорока. — А учение такое. Есть природа семьи — от и до бесконечности. И некоторые фигуры протягивают семью дальше по движению вверх. Вот твой сын розы сажает. Это не вредно. Можно сказать, полезно. А ты маркшейдер. Тоже полезно. Но это все-таки одна линия... Линия Паниных, скучная линия жизни... У Шпрехта, конечно, ситуация получше... Но не сравнить с сыном Сороки, который вперед и выше.

Сорока поднял лицо вверх, к звездам, и радостно загоготал своему счастью.

Сын Сороки, Толя Сорока, был доктором наук, завкафедрой института, мастером спорта по шахматам и плаванию, знатным преферансистом и первым кобельеро города Днепропетровска. Он был умен, весел, бесшабашен, он умел все руками так же, как головой, у него была жена, красавица еврейка (трудное место для радости Сороки), но если теория, придуманная Сорокой-старшим о продвижении в природе, имела под собой какие-никакие основания, то Толик Сорока род свой подвинул точно. Вперед и выше.

Тут так и хочется сказать, что незнание первоисточников жизни значительно лучше знания.

— Дети у нас слава Богу, — сказал Шпрехт. — По нашему времени, когда такая кругом пьянь... Взять хотя бы сына Миняева... Я тут ему подал возле булочной. Прямо весь синий, аж дрожит...

— Это ж не его сын! — закричал Сорока. — Не его! Он же свою взял с дитем. А это ж дело небезопасное — чужой корень.

— Я, например, Жанночку очень люблю, — сказал Шпрехт. — Она мне своя, как и сын.

— Это брехня, — ответил Сорока. — Так не бывает, чтоб чужое любил, как свое...

— Если любишь женщину, — сказал Панин, — будешь любить и ее плод.

— Я бы не смог! — Сорока взмахнул рукой как отрезал. — Вы оба брали женщин и уже немолодых: а я взял девушку. Нецелованную и нелапаную. Какая ж крепкая у нее была девственность! Прямо броня. Когда с этим столкнешься, особое чувство возникает.

Шпрехт хихикнул с непристойным оттенком.

— Я не желаю, — сказал Панин, — участвовать в этом разговоре. — И он ушел, худой, гордый старик, и смолodu не умевший говорить на эти темы.

— Зануда! — сказал ему вслед Сорока. — Зануда!

- Он, наверное, — ответил Шпрехт, — из баптистов. Но скрывает.
 — А кого это сейчас колышет? — спросил Сорока.
 — И то верно, — согласился Шпрехт. — Миняев уже умер...

ЛЕТЧИЦА

Вчера ветер дул из Африки, окна были открыты, и Зинаида слышала, как Людка-соседка дважды прокричала: «Сорока! Сорока!»

«Поздно до тебя дошло, дура», — думала она. Конечно, может, крик безумной и не имел никакого отношения к рождению Толика, а просто так — крик соседской ненависти, но и другое тоже ведь может быть!

...Она помнит, Толичек уже был студентом, приехал на каникулы и шел с автобуса. Солнце ему было в спину, и он шел как позолоченный. Она ждала его у калитки и увидела: идет ее золотко.

А у другой калитки стояла Людка Панина, тоже сына ждала, из школы.

И вот Толик приближается, приближается, и ничего нельзя изменить: идет копия его отца. У нее тогда сердце — тук-тук-тук... Сейчас, думает, все со мной и произойдет. В смысле — смерть. Она первый раз почувствовала, как огнем горячим распирает ей нос и идут, идут толчки в голову. Пока Толя дошел, она уже чуток успокоилась. Не потому, что Людка ничего не скумекала, а потому, что вдруг поняла: ничего она не боится. Ничего. Даже если явится физик и его скособочит у всех на глазах или не скособочит... Не важно. Толик-золотце — уже есть! Он умница и красавец, и пусть зайдетя в припадке и Сорока (жалко, конечно, будет — он ей муж хороший, лучше не надо), но никакие чувства-переживания ни его, ни Людки, ни физика не могут изменить того, что Толик случился, а ведь могло его и не быть. Вот ведь ужас-то был бы! А он есть! Есть! Как же умно — как будто знала, что по улице потом — потом! — будет идти золотко, — она повела себя в кладовке. Ей тогда указала путь жалость — совсем неплохое чувство. Хотя учили ее наоборот. Не жалеть, чтобы как бы не унижать. Все равно что не мыться, чтоб быть чистым. Одним словом, глупость.

Никто не признал в Толечке сына физика, хотя он ходил в ту же школу, где была та самая кладовка. А бывшая неумелая в простом деле любви жена жила просто напротив Сорок и вязала на шею банты сыну маркшейдера Панина и никого и ничего кроме вокруг не видела. Зине интересно было смотреть на маркшейдера, который оказался вроде бы ловчее физика и научил-таки эту плотвичку географичку совершать дела природные. Даже совершили мальчика. Да живите и здравствуйте, интеллигенция! Не жалко. Золотко-то досталось мне...

Чего ж она, Людка, кричала вчера ночью? А если все-таки, дура, сложила два и два?

Зинаида как бы смеется. Получается ведь, что... Выплыви все наружу, она, Зинаида, все равно для них недосягаема. Она на своем щите и неподвижности как в каменном замке. Ну, придут ее спрашивать-допрашивать... (Хотя кто? Ну, скажем, Сорока.) Ну и?.. В жизни без движения и звука есть своя сила. Слабость — это по поверхности. Поэтому хрен ты меня возьмешь, Сорока, если Людка откроет тебе глаза. Хрен! Да и зачем тебе меня брать? Твоя тайна, Сорока, страшной моей...

Сорока с холодными от мытья руками и ногами умащивается рядом.

— М-м-м, — мычит Зинаида.

— Ах я дурак! — спохватывается Сорока. — Я ж тебя не пописал! Это, Зиночка, оттого, что я выпил. Помянул Миняева. Все-таки столько лет плечом к плечу. Вот умница, хорошо справилась! Ты молодец, Зинка моя, молодец. Дай Бог тебе здоровья. Между прочим, Шпрехт сегодня ставил на ноги свою Варвару с упором на стул. Я не одобряю. Панин предложил себя для страховки. Против падения. А я считаю, может случиться при-

лив... Но ты же знаешь, Шпрехт слова своего не имеет, что ему Варька скажет, то ему и правильно. А она всегда была на месте не сидячая. Тырпыр... Не обстоятельная женщина. Ну вот и все... Я ложусь тоже... Раньше до кладбища было дойти — раз плюнуть, а тут чего-то устал. Спи, Зина, спи... И я буду...

МАШИНИСТКА

Варя лежит сжав в кулаке пепельницу. Когда она сегодня встала на свои никудышные ноги и поняла, как жалко они дрожат, как готовы обломиться и уронить ее оземь, она успела одно — подвинуть к себе пепельницу. Шпрехт кудахтал вокруг и маневра не заметил. Потом она сунула пепельницу под подушку.

Когда уже легла, когда прыгающее сердце вернулось в привычную скорость, она подумала, что у трофея под подушкой цели нет. Зачем спрятала?

Затем, что рано или поздно, а полетит пепельница в Шпрехта. В кого же еще?

Варе жалко Шпрехта. Как он за ней ходит! Но она знает: внутри ее живет какой-то зверь, у которого свое расписание выходов в свет. И ей с ним не совладать! В какой-то из дней она просыпалась с чувством всепоглощающей ненависти, которое причудливо концентрировалось в Шпрехте. *И ее как ветром несло...* Хорошо, если ненависть прикидывалась ревнивицей, — это был легкий вариант. Но Варя, думая о себе-звере, знала, что в один прекрасный от яркости последствий день он подожжет шторы и они полыхнут так, что чертям станет тошно. Или набросит на шею Шпрехта галстук, который давно заныкан под матрацем, и дойдет до радости убийства, а потом положит Шпрехта рядом и запалит одеяло. Варя не боялась всего этого, ничуть, и дурным это не считала. Ибо не считала себя ответственной за это живущее в ней Нечто. Более того... Более... Втайне Варя любила эту свою ненависть, эту неистовую жажду разрушения. «Я умру, а он, они все — живи?» — гневно спрашивала она себя. Когда Жанна однажды на это сказала (проговорила ей Варя, проговорила), что нечего Бога гневить, не так уж мало пожила... Сколько, она думает, было Лермонтову? Варя твердо решила: спалю все сегодня. Ее затвердевший, казалось, без света глаз, в котором было столько силы, но не было жизни, напугал Жанну, и она закричала: «Мамочка! Мама!» — и вернула Варю из дьявольских пределов, где она ходит босиком по огню, где по ее спине плещется черная нечесаная грива, а во рту вкус крови и соли.

— Перестань выть, — сказала она дочери. — Мало ли чего я говорю? А если б ты знала, что думаю! Что у меня осталось, кроме как позволить себе слова и мысли?

— Это тоже энергетика, — ответила Жанна, — а слово все... Может, еще бóльшая опасность, кто его знает?

— Я знаю, — говорит Варя. — Слово, оно и есть слово. Не расстраивайся. Хотя если ты думаешь, что мне все равно, что я умру, а вы будете жить, то пусть меня извинит Лермонтов. Не все равно. Я от этого знаешь как злюсь?

— Ты будешь жить долго, — ласкает ее Жанна. — У тебя такой ясный ум... Направь его на созидание своих же сил...

— Соблазняет разрушение, — тихо отвечает Варя. — Это как с женщиной... — Жанна краснеет. Чертова ханжа, думает Варя, как она получилась у таких штукарей этого дела, как она и Жанин отец? Какие же они были асы в поединках на панцирной сетке! Даже от воспоминаний голова идет кругом! Шпрехта обучить мастерству ей так и не удалось. Он восхищался женой, но уж очень робел. Старательно выполняя все указания своей царицы, он не смел ничего добавить своего в исполнении урока. Не смел.

— Удушю! — тихо говорила ему Варя, и это было еще когда-когда!

Вот почему случилось все дальнейшее. Уже пошел в школу сыночек, а ей передали из шахтной конторы письмо от бывшего непутевого мужа. Первое, что почувствовала Варя, — это горячий сок, побежавший по ноге. Она юбкой перехватила его по дороге, не дала выскользнуть.

Письмо было без содержания. С приветом, и все. В нем не было вопроса, не нуждается ли в чем его дочь Жанна. Не по этому делу он был, чтоб беспокоиться о дитяти. Стало ясно: первый хочет между «здравствуй» и «прощай» спросить, не одна ли ты кукуешь, женщина, и не примешь ли в старое стойло. Ничего, конечно, прямо написано не было. Ничего! Просто как она там, Варюха. А зачем это тебе — как я тут?

Нет, горячий сок больше не выплеснулся. Сок — не дурак. Варя взяла страничку «в арифметику» и написала как отрезала. Замужем. Имею сына. Жанна хорошая девочка. Не нуждаемся. Но алименты ты обязан.

Исполнительный лист сизым соколом пошел следом.

Через какое-то время снова пришел конверт. Варя сжала ноги и рванула заклею. Там было чужое, коряво написанное письмо с просьбой «сообщить, чи не живе в йих мисти Евген Сорока, а може, Юхим Грач. Якщо да, то хай йому скажуть, шо жена та диты живут тамотки, де и жилы».

— Вот это да! — закричала Варя. — Вот это да! — Даже не обратила внимания на приписку первого мужа: «Исполнительный получил, но исполнить не могу. Не работаю и не хочу. Жарко».

Но это было Варе неинтересно. Она и не ждала от него никакой помощи.

Варя толклась во дворе, не находя себе применения. Тогда она еще жила в послевоенной мазанке, а для дома вывели только фундамент. Сороку она знала как облупленного, да кто ж его не знал? Знала и Зинаиду, но так... Поверхностно.

Кивали на улице друг другу, хотя была и встреча по-теплому, когда выяснилось, что участки у них напротив друг друга.

— Будем соседкувать, — сказал тогда Сорока.

«Деревенщина!» — подумала о нем Варя.

Самое простое — что? Взять и отдать письмо Сороке — и все дела.

Варя сунула ноги в лосевки, сняла фартук и пошла. Ей сказали, что Сорока проводит конференцию в колхозе. Варя вышла на улицу, думая, что могла бы воспользоваться и секретаршей. Но понимала: это конец Сороке. Терпеть она его не могла, презирала за потные лапающие руки, за хамство, за все про все, но делать его жизни окорот, да будь он и в мильон раз хуже, она не стала бы ни за деньги, ни за славу, ни за любовь.

«Многое могу, а это нет», — сказала она себе и прямым ходом пошла домой к Сороке, к Зинаиде, и вручила через порог письмо.

Та удивленно поблагодарила и закрыла перед носом Вари дверь: на широком столе столовой закройщица местного ателье кроила ей нечеловеческой красоты шифон, полученный для главных женщин города.

Кто такая была Варя, чтоб пялить на это глаза.

Прочти Зинаида письмо сразу, она бы не то что закрыла за Варей дверь, она бы окутала ее шифоном с ног до головы.

Но Варя ушла. Закройщица клацала ножницами, письмо шевелилось от сквознячка, лежа на комод.

— Всегда можно угадать почерк старика, — сказала закройщица, поглядывая на комод.

Это закройщица сама рассказала Варе, когда ей вдруг решительно предложили уйти и прийти в следующий раз.

— Соображаешь? — возмущалась закройщица. — Шифон же нежный. У меня все разложено, все помечено, а она как спятила, начальница. Уходи и уходи!

Поздней ночью Зинаида пришла к Варе.

И Варя поклялась молчать, не оскорбившись, что ее заставляют клясться и жизнью, и детьми, и домом, и всем-всем-всем. Варя понимала значение этой клятвы в жизни Сорок, она их жалела и людоедом не была.

— Напишу им, что он умер. Я ведь — не поверишь — тоже ничего не знала.

— Не брещи, Зинаида, — сказала Варя. — Ты ж не дура, чтоб не знать подноготную. Нельзя нам про них чего-то не знать. Это важнее, чем знать про себя... Но ты права: ему не говори. Дети уже большие. Им не кормленные, а выросли... А твой еще малой, его еще подымать.

— Забудь про письмо, — сказала Зинаида.

— Ну, это зачем! — засмеялась Варвара. — Сказать никому не скажу, а забыть — не забуду. Я интересное долго помню.

Пока Варвара шла по двору, Зинаида убила ее трижды. Лопатой, воткнутой в землю возле сливы. Топором, который только-только Сорока наточил. Серной кислотой в глаза, в лицо, в рот, чтоб спалилась вся криком — и с концами.

Варвара же — как назло! — шла от Зинаиды медленно и задницей своей широкой на низких ногах делала то влево — швырк, то вправо — швырк, — на тебе, Зинка! На! На тебе мой выход с перебором!

Сороку же, дурака, Зинаиде было жалко. Чего ж он за собой хвосты не подмел? Столько времени прошло, а след тянется. Два раза, как сказала бы Варвара, «подноготная Сороки вылезала». В эвакуации на улице какой-то дядька кинулся: «Юхим, ты, чи не ты?» — «Я извиняюсь, вы ошиблись», — ответил Сорока, а сам пошел желтым цветом, а потом и потью. Наорал на нее как бешеный, а потом Зинаида своими глазами видела, как Сорока с дядькой на дровах сидели и Сорока говорил, говорил и руками махал.

И еще был случай. Уже после войны. Они первый раз в жизни поехали с Сорокой в санаторий «Уголь». Зинаида с ума спала от счастья, что ходит по берегу Черного моря под ручку туда-сюда, туда-сюда, а баночки для анализов ждут ее под дверью. Идешь по коридору, а моча от солнца аж медом горит. Тоже какой-то тип стал ковыряться в Сороке, мол, откуда вы есть и будете, личность мне ваша знакомая. Но тут Сорока как отрезал. Ходил, правда, надутый.

Нет, Зинаида в пупок мужу не лезла. Не надо было ей знать его подноготную. Плохо, что ее знала Варвара. Хорошо бы та умерла легкой смертью, чтоб раз — и нету. Конечно, можно было взять за грудки Сороку, тот бы распорядился и Варварой, и всей ее семьей, но что было бы потом? Зинаиде хорошо было *так*, лучше ей не надо было. А если и надо, то пусть оно вырастет *из того, что есть...* Черт его знает, каким макарон обернется *другое*.

Зинаида крепко держалась за то, что имела.

— Не надо это никому знать, — твердо сказала Зинаида. — Я ему ничего не скажу, а то сгубится...

— И мальчику хорошо, — добавила Варя.

— И мальчику! — согласилась Зинаида. — Я тебе никогда этого не забуду. И если что надо...

Один раз Варя воспользовалась тайной. Когда после школы у Жанны возникли проблемы с характеристикой. Сорока на каком-то пленуме сказал, что бывшие в оккупации народы должны черным трудом и черным хлебом доказать свою приверженность. Ретивая директор школы с радостью начала гнусничать.

И Варя сходила к Зинаиде.

Характеристики были выданы всем.

Хотелось еще сходить, когда волею Сороки отрезались у них с Паниным сотки. Но случай оказался не тем, да и вообще все было уже не то. Ну, прожил Сорока жизнь с чужой фамилией — ну и что? Стал он от этого счастливей? Все перепуталось. Все. Ее русский муж всю жизнь играет роль немца-полудурка, совестливый Панин рядится в принципиального хама. А Жанночка как-то сказала, что хорошо бы взять папину кличку Шпрехт как фамилию, выправиться в еврейство и с концами уехать в Израиль. Все равно, мол, тут, на этой Богом забытой земле, жизни не будет.

«Это она только сказала, — думает Варя. — Все живут не за себя, а за того парня. Никто не живет в себе как в доме, а как голые и на морозе. Шатуны...»

...Зинаида пришла, когда ее, Варю, разбило параличом и она лежала и мычала. Вот тогда и пришла Зинаида, и в глазах ее было *успокоение* оттого, что уже не надо бояться Варвары, которая лежит так недвижно и некрасиво. А через какое-то время ударило и ее. Только много шибче. У Вари от мозгов-то отошло, а Зинаиду залило напрочь.

Вот почему ей, Варе, так хочется войти к ней и посмотреть. Может, Зинаидин ум еще не умер, тогда он поймет, зачем она пришла.

«Я же вас не предала, — скажет ей Варя, — чего ж тебе так надо было, чтоб я рухнула? Это мне вместо спасибо?»

Посмотрит, скажет и уйдет.

Зацарапался Шпрехт.

— Я помочиться, — сказал он. — Тебе не надо?

— Надо, — ответила она.

— Не спишь чего? — спросил Шпрехт.

— Откуда ты знаешь?

— Не храпела. Я люблю, когда ты храпишь. Тогда я крепко сплю.

— Я засну, — сказала она, оглаживая под подушкой пепельницу. — Ты мне голову завтра помой, а то зачесалось.

— Помою, помою, — сказал Шпрехт.

Он уходил не подымая ног: човг-човг... човг-човг...

Зеркало отразило, как шевельнулись портьеры. Глаза Вари лихо сверкнули. «Придет твоя пора, — сказала она зеркалу. — Интересно, успеешь ли ты отразить свою смерть?»

Пожалуй, она заснет. С пепельницей в руке и с зеркалом в башке. Впрочем, возможны и другие варианты. Комбинировать предметы и людей — занятия не для слабоумных.

Варя засыпает, жалея Зину и Людмилу Васильевну, Сороку и Панина тоже...

И Шпрехта, Шпрехта, Шпрехта... Дурачка неумелого.

УЧИТЕЛЬНИЦА

...Она зацепилась за самый краешек сознания. В окутавшем ее мраке была узкая яркая щель, которая резала, щипала глаза, но вела в свет. Поэтому нельзя закрывать глаза, даже если они вытекут. Надо держать эту щель взглядом и думать, думать, думать...

...Мысль: Сороки украли ребенка у нее и физика. Это виделось в подробностях. Она несет кулечек, а они вырывают его из рук. У нее всегда были такие слабые руки. Даже кружка с водой была ей тяжела. А тут ребенок, он оттягивает ей руки, оттягивает... И тогда Сорока выхватывает у нее ребенка. Она так хорошо это помнит! У Сороки большие сильные руки и огромные часы на запястье, повернутые внутрь. И ребеночек головочкой ложится прямо на часы.

Щель готова закрыться, свет из мира так тонок, так узок, ей приходится напрягать больные плачущие глаза.

...Физик. Он был такой несчастный из-за своих приступов. Она сказала себе: «Я не должна думать о том, что он мне неприятен. Это позор — так думать. Неужели я такая подлая? Ведь он же пришел с войны!»

Как она хотела ребенка, мальчика, который вырастет и у него не будет дергаться лицо!

И вот Сороки его отняли! Отняли!

С криком приходит мрак. Полный.

Панин держит ее на руках, маленькую, хрупкую, такую единственную, что, урони он ее — и конец ему, Панину, потому что жить-то он, может, и останется, но смысла в этой жизни уже не будет. Шпрехт го-

ворил, что у него на случай смерти жены есть циан, а Сорока сказал, что у него есть пистолет, еще с войны, но он его всю жизнь чистит и проверяет. Для случая.

«Мы не сходимся ни в чем, — думает Панин странную мысль, — кроме невозможности жить без наших жен».

Не будь у Людочки острого состояния, он бы подумал над этим еще и еще. Он бы записал свои мысли для сына, чтоб в том утвердилась гордость за силу отцовской любви к его матери. Сын — хороший мальчик, не познавший мук. Как все послевоенные дети, с которых обстрелянные фашизмом отцы или отцы, вернувшиеся из мест весьма отдаленных, сдували пылинки и высаживали в них зерна счастья, о котором сами не знали, не ведали, какое оно есть. Правда, сейчас Панин вдруг подумал: а как я мог угадать в зернах, что они для счастья, если не ведал, каково оно? Как? Как они выглядят, счастливые зерна?

Панин баюкает жену. Что же ее так испугало? Кричала о Сороках. Но ведь, может, и просто о птицах? Она в них хорошо разбиралась, не то что он, знающий только воробьев и ворон. Людочка говорила, что из всего Божьего мира птицы — самые красивые, самые совершенные.

— Ты посмотри на курицу — сколько в ней достоинства!

— Людочка! — говорил Панин. — Курица же чемпион по дури. Это же общеизвестно.

— Кто тебе сказал? — возмущалась она. — Кто? Что мы знаем о том, что курица знает?

Как же ему было интересно с ней! Даже о курицах говорить было интересно.

Как-то ее обидела Зинаида Сорока. Неглупая, конечно, женщина, но без культуры.

У Людочки из рук улетел на улице глобус. У нее такие слабые руки, а ветер был как в трубе, она хотела перехватить ножку глобуса, ну и не сумела. И глобус покатился, оторвавшись от основания. Людочка за ним. Смешная, конечно, картина: учительница географии, догоняющая глобус.

Все это видела Зинаида и пошла наперерез земному шару и ногой поддала его в сторону Людочки. Надо знать ногу Зины Сороки. Глобус распался на Азии и Африки. Освобожденные от притяжения материки взлетали в воздух автономно и радостно. Это было полное веселье географии, и нечего было Людочке из-за этого плакать. В сущности, глобус был старый и она несла его домой, чтоб Панин его подклеил изнутри.

Людочка закричала на Зинаиду за этот пас ногой, а та ей ответила вульгарно:

— При чем тут я, Людмила Васильевна, если вы раззява по всей своей жизни? Вы ни глобуса, ни мужчины держать в руках не способны.

Вот это «ни мужчины» очень задело Паниных. Что имелось в виду? Людочка даже плакала, а Панин сказал:

— Это хамство и больше ничего, просто хамство. Ты меня очень держишь, очень...

Они не здоровались лет десять. Первым пришел мириться Сорока. Ему тогда исполнилось пятьдесят, и он накрыл во дворе стол для соседей.

— Панины! — закричал он им через забор. — Может, хватит холодной войны? Ведете себя! Я вас зову — и не вздумайте!

Людочка тогда как раз была в ясности, хотя уже давно болела. Сейчас, если вспомнить, так, может, все и началось с того глобуса, а может, и нет... Ведь еще только родился сыночек, Людочка шла из консультации, первый раз сама, без Панина, и чуть его не уронила, хорошо, что рядом чисто случайно оказался Сорока — он тоже приходил в поликлинику на рентген, — он их и подхватил, Людочку и сыночка. И машиной своей их довез, а потом на этой же машине привез и Панина. Так это когда было! Глобус был много позже. А еще через десять лет Панин привел Людочку во двор к Сорокам, и Зинаида кинулась им навстречу, как родным, и по-

садила рядом с собой и глаз с Людочки не сводила. Как же он тогда радовался радости Людочки, которая в доброжелательстве просто расцвела! А потом Сороки пели украинские песни, и именно тогда он обратил внимание, что Сорока — вылитый гетман Скоропадский, но мысль эту не высказал — понимал ее опасность.

Людмила Васильевна снова зацепилась за щель. Ее ребеночка украл Сорока. Мальчика, похожего на контуженого мужчину, но совершенно не контуженого, совершенно! Такого, какого она намечтала, когда шла замуж как на подвиг. Когда целью виделось исправление изъяна в природе и восстановление справедливости к несчастному лейтенанту, от которого в институте бегали все девчонки. А она не убежала. «Мой муж в сраженьях изувечен» — это же так прекрасно и благородно. Она ведь даже купила себе малиновый берет.

Ах, Боже мой! Почему, почему *в эти моменты* у него всегда появлялся спазм на лице, который превращал ее тело в камень-булыжник? И она начинала биться в его руках, и с этим ни-че-го — ничего! — нельзя было сделать.

Панин чувствовал, как меняется в хрупком теле его жены положение души. Вот сейчас было вполне хорошо — и вдруг опять, и снова она вытянулась так, как и представить невозможно, и ему кажется, что душа ее выходит горлом, что она не может, не хочет находиться в своем теле, и Панин целует трепещущее горло и просит душу: «Не уходи. Я тебя прошу: не уходи!»

Сорока стоял и смотрел на маленькую звездочку на небе. Она занимала его. Занимала непонятностью сущего. К примеру, есть она, звездочка, или ее давно нет, а есть ее свет, который пока, сволочь, дошкандыбает, доковыляет до Сороки, но принесет ему уже сплошную брехню о небе. Скажет ему: «Сорока! Привет тебе от звезды!» А звезды-то — тю-тю... Хорошо, что Сорока это понимает. А не понимаешь?! Он бы, дурак, послал ответный сигнал: «Я, Сорока, стою посреди улицы и шлю тебе привет». Пока бы послание ехало на малой скорости, его, Сороку, уже бы похоронили, отгуляли на его поминках, поставили памятник со звездой (пятиконечной в смысле), потом памятник свергли бы, на месте кладбища построили бы стадион, потом стадион зарос бы, и посерединке вырыли бы котлован для большого дома, ковшом бы зацепили берцовую кость Сороки, отложили бы в сторону как *нечто*, возможно, положили бы на стеклянную полку с этикеткой «Кость неизвестного строителя коммунизма»... Пришли бы на Землю марсиане, порушили бы все к чертовой матери, кость увезли бы с собой, положили бы в свой музей, что-то там под ней написали, сами же собой заселили нашу Землю, приспособились, размножились, на этой улице жил бы какой-нибудь зелененький и кислый, и вот только в этот момент и пришел бы звезде от Сороки теплый привет. И она, вежливая, села бы писать ему письмо. А он уже не он, а берцовая кость, которой письма не нужны, потому что пришли на Марс сатуриане и размолотили кость в порошок... Как гадость...

Нет, сказал Сорока, мир должен быть устроен иначе, потому что если так, то пошел он тогда к черту... мир...

— Пошел он к черту, — сказал Сорока Шпрехту, с которым не соскучишься: он сегодня вышел погулять в подрезанных чесанках.

— Кто? — спросил Шпрехт. — Панин? Вы зря, Сорока, так против него имеете... Зря...

— При чем тут Панин? — разозлился Сорока. — Я про другое... Про общий вопрос.

— Уже поздно, — печально сказал Шпрехт. — Общее уже не понять. Оно, Сорока, от нас не зависит. Я думаю, и мелкое все больше само по себе и тоже от нас не зависит... Ноготь растет в мякоть, хоть ты тресни.

Получается, и он тебя сильнее, а ты его паришь, солидолом мажешь, а он тебя, извиняюсь, посылает на х...!

Сорока испытал чувство глубокого удовлетворения. Вот конкретный случай мысли двух людей: он, Сорока, идет от Звезды, а Шпрехт от Ногтя. Никто специально не подстраивал, а все проявилось. Хотя Варвара, жена Шпрехта-Шпекова, бывало — и не раз — грубо намекала, что он, Сорока, темный и необразованный, семилетка и весь багаж, а за плечами у ее мужа Горный институт.

Ноготь же все проявил. Смотрите, сказал ноготь, у кого что в голове.

— Ты бы еще и кожух надел, — с удовлетворением сказал Сорока Шпрехту. — Самое ведь время! Лето...

— Распух до неузнаваемости, — пожаловался Шпрехт. — Варя умела срезать как надо. А сейчас у нее руки слабые совсем. Да и ноги тоже. Не выдерживают минуты стояния... Сразу заваливается. И сердится на меня. Вот горе!

— Вон идет твой Панин! — сказал Сорока. — Опаздываешь, сосед, на конференцию опаздываешь...

— Людочка плоха, — ответил Панин. — Опять сбилась с памяти.

— Мяукает? — сочувственно спросил Сорока.

— Да нет же! Вас вспоминает... Помните, как она чуть не упала, а вы подхватили ребенка?..

— Это было, — ответил Сорока. — Очень она была малокровная, очень... Надо было только что убитую, живую кровь пить, а ты умничал... Говорил, что я варвар. Думаешь, не помню?..

— Ну, в общем-то, варварство, конечно, — ответил Панин. — Что мы — вампиры? Но, скажу вам, если бы сейчас сказали — надо... Дал бы... Все бы дал, все...

— Бабку бы ей... Чтоб пошептала, — сказал Шпрехт. — Раньше это умели...

— Нет, Шпрехт, — ответил Сорока, — твой ум ниже нормы. Такое сказать. Бабку!

— Я бы и на бабушку согласился, — вздохнул Панин. — На все согласился бы. Да и вы, думаю, тоже. — Это он сказал Сороке.

И сбил того с легкого опьянения чувством превосходства, ибо не мог Сорока не согласиться с Паниным. Пошел бы и к бабушке, и к дедке, и к черту в ступе. Даже зная, что все пустой номер.

— Эх, Панин! — сказал он. — Разве ж нет!

Шпрехт вынул ноги из чесанок и зарылся ими в землю.

— И-и-иии, — вышло из него горлом наслаждение, — и-и-иии...

— Вы осторожней, внесете инфекцию, вы же ковыряли ноготь, — сказал Панин.

— Вот именно, — добавил Сорока. — Тебе сейчас заражение самое то...

— Айнс, цвай, драй, фир, фюнф, зекс, зибен, ахт, нойн, цен... А потом эльф, цвэльф — и концы... И что тут можно сделать, если мне написано умереть от заражения крови? — философски ответил Шпрехт.

— Не совать лапу с нарывом в землю! — закричал Сорока. — Дураку ума! У него за плечами Горный институт! Горный институт! — Сорока голосом передразнил Варю, и очень похоже.

— Институт тут ни при чем, — сказал Панин. — Но ногу лучше будет продизенфицировать в марганцовке.

— Найн! — звонко закричал Шпрехт. — Найн! У нее под подушкой пепельница, чтоб меня убить. Так я умру сам! Не буду я ее затруднять. Ей нужны силы, пусть побережет. Она будет плакать, вы увидите, будет! Она поймет, как я ее любил, а она меня не любила, нет! Я ей просто достался по жизни. Она любила того... первого... А я оперированный насквозь. На животе нет живого места.

— Нет, Варя любит вас и всегда любила, — тихо сказал Панин. — Она мне сама об этом сказала. Я не спрашивал.

Но Шпрехт как не слышал. Зарываясь все глубже больной ногой в пыль и грязь, он кричал громко и, как ни странно, радостно. Наверное, так, по обыкновенной птичьей дури, орал буревестник, а молодой, сильно увлеченный ассоциациями литератор присел на выброшенный на берег топляк и вообразил себе невесть что. Шпрехт же кричал и кричал на публику, и ему было не важно, что публика не запоминает и не записывает за ним.

Но и это еще была не вся правда жизни. А правда была минутой позже. И Шпрехт ее точно рассчитал — в тот день ветер был не из Африки. Ветер был нордический, с холодком. Раздался звон стекла, и голос Вари прозвучал в разбитое окно спокойно, ласково и как бы рядом:

— Иди домой, дурак...

— Пепельница, — сказал Шпрехт с удовлетворением, совывая ногу в валенок. — Больше ничего тяжелого возле нее нет. — И он побежал, подхрамывая, радуясь и удивляясь чувству неизвестности, которое его ожидает. Разбитое окно не страшно. У него нарезаны стекла и готова замазка. Варя может еще и еще запустить в окно легкие и тяжелые предметы. Хуже, если это будет зеркало. Собственно, о нем он больше всего беспокоился. Боялся дурной приметы.

— Глупый человек, — сказал вслед Шпрехту Сорока. — Институт ума не дает. Я тут до тебя о звезде думал...

— Подумайте лучше о совести, — резко обрезал Панин. — Вам обидеть, оскорбить человека не стоит ничего. Вы пропитались этим насквозь... А Шпрехт хороший человек. Вырастил и дал образование Жанне. К Варе так относится... Хотя она с характером, не то что Людочка... Но она его любит, любит! Она сама мне говорила, когда у него врачи предполагали страшное. Она сказала: «Если что у меня в жизни было хорошее, то это — Шпрехт».

— Чего ж она от него гуляла? — спросил Сорока.

— А вы стояли со свечой?

— Мне Миняев рассказывал... Она ему давала...

— Не верю! — закричал Панин. — Как не стыдно о больной женщине...

— Я тебе, Панин, скажу правду. Она тогда выручала Шпрехта: на него катили за то, что при немцах работал. Варвара надела шелковые трусики и пошла к Миняеву, и от Шпрехта отстали. И было это не раз и не два...

— Несчастная! — Панин почти плакал. — Как же вы смеее квалифицировать такое горе непотребными словами?

— Конечно, да, конечно, нет, — вздохнул Сорока. — Но лично свою жену я в такой ситуации не представляю. Она у меня в половом смысле гордая.

— Ну и выражения у вас, — сказал Панин. — Неотесанный вы человек, темный хохол.

— Нации оскорблять нельзя! — строго поправил Сорока. — Взяли манеру!

— Ну, извините меня. Я не хотел вас обижать. Я согласен с вами: мы все под небом и звездами люди без национальности.

— У меня невестка — еврейка. Замечательная женщина и мать, между прочим.

— Значит, у вас внуки евреи.

— Этого я не признаю, — сказал Сорока. — Все идет от мужчины, женщина просто сумка.

— Не слышат вас женщины, — покачал головой Панин.

— Скажете такое! Внуки — евреи...

— Что ж тут такого? — спросил Панин. — Сами же говорите, что нации обижать нельзя.

— Конечно, — сказал Сорока. — Я на этом настаиваю... Но чего вы приплели моих внуков к еврейству? Это на голову не наденешь...

— Так мы же, кажется, договорились, что все люди без разницы.

— Это да. Правильный подход. Я еврея пальцем не трону. Но при чем тут мои внуки?

— Ладно, кончим, — махнул рукой Панин.

— Уже на попятную... Знаю эти ваши номера. Да, невестка — еврейка. Но мы все ведь — украинцы. Количественно. Я, сын, моя жена... Нас трое против одной...

Панин смеется, глядя на звезды.

Сорока топчется на месте. Он не знает, как лучше. Завершить ли скользкую тему или отважно биться дальше за правое дело. Чего смеется дурачок Панин? Как будто не с этой земли и не понимает, что все равны, кто ж спорит, но оттенки есть... Конечно, сын у него не спрашивал, на ком жениться, он вообще всегда был неслух, а если б спросил... Черт его знает, как бы Сорока поступил. Теперь, когда перед глазами внуки, сквозь них не видно, что было бы, если...

— Я тут о звезде думал... — говорит Сорока. — Я не верю, что нам правильно объясняют устройство. Конечно, Земля и три кита — тоже глупо, но не глупее, чем эта относительная теория. За нее не зацепишься умом... Ни с какой стороны... Вот она есть, эта ваша Вега, или ее уже нет?

— Есть, — ответил Панин.

— Неуверенно говоришь, — вздохнул Сорока. — Неуверенно... может, и нет? Вот я и говорю. Что-то тут не так. Ну да ладно. Надо идти. Интересно, нарезал Шпрехт стекло впрок? Надо будет завтра ему подмогнуть.

— Спокойной ночи! — сказал Панин. — Чувствуете ветер? Покалывает север, покалывает...

— Зине лучше, когда прохладно, — ответил Сорока. — Так что пусть покалывает, пусть...

Варя спала крепко и не слышала, как, цепляясь за острия стекла, рвался и трещал тюль. Пришлось закрыть ставни. Ослабшая в саморазрушении ткань висела вяло и даже как-то стыдливо.

— Сволочь, — сказал ей тихо Шпрехт. — Сволочь.

Теперь уже никуда не денешься, придется и стеклить, и стирать... И все под неусыпным Вариным глазом, потому как в ее комнате, но это ничего, это даже хорошо. Конечно, он узнает про себя много нового, какой он косорукий и безголовый, точно определится место, откуда у него растут руки. Шпрехт тихонько смеялся, представляя все это. Пусть! Пусть! Он ее любит и такую, может, такую даже больше. То, что она прятала пепельницу, так ведь ее понять можно. Жизнь у нее ограничена в движении. А такой характер — да в колодки? Она же всегда такая моторная, все у нее в руках горело. И на тебе!

Взять ту же Зинаиду Сороку... Лишнего шага не делала, лишний раз рукой не шевелила. Если бы Бог не отнял у нее разум, так само лежание никакое ей не горе. Конечно, это со стороны... Все равно, конечно, горе... Но Варе это больше чем горе — это сущее наказание. Вот она и бросается. Полетом брошенных предметов она как бы совершает собственное движение...

Шпрехт даже рот открыл от понравившейся ему мысли. Это Варя его научила, Варя. Выражать свои соображения. Он принес детский, оставшийся от Жаннинных детишек, матрасик и лег в ногах жены. Здесь, на полу, пахло пылью и горшком, но Шпрехта это не беспокоило.

В зеркале трюмо он видел свисающее с Вари одеяло и ее голое плечо. Он помнил его запах, помнил шелковую округлость в ладони, помнил след бороздки от лифчика и как он выглаживал его пальцем. Тогда у него руки были не то что сейчас. Сейчас одни бугры и мозоли, терка, а не рука. Зачем так устроено, чтоб человек к старости хужел и хужел? Неужели не достаточно самой смерти? Слезы застилали глаза Шпрехта... Вот и это у него появилось — тонкослезость. Раз-раз — и уже бежит сопля-слезка, ну дело ли?

Шпрехт вытер нос и глаза рукой. Надо спать. Завтра вставлять стекла. Панин придет, поможет. А Сороку он просить не будет. Если, конечно, тот не явится сам... Тогда пусть... У него вино есть... Нацедит...

Сорока уместился возле жены. Слава Богу, дышит спокойно. Интересно, снятся ли ей сны? Вот ему сны снятся очень редко. А то, что снится, никому не скажешь. Сорока старается сразу проснуться, чтоб не видеть. Организм не принимает сна как такового. Потому что он, Сорока, материалист. Он пробовал представить себе веру в Бога. Не смог. Его голова это отторгла сразу. Как бред. Ничто в его жизни даже намеком не указывало на Бога. Кадры решали все. Хорошие кадры решали хорошо. Плохие — плохо. И ни разу не было со стороны Бога ни наказания, ни поощрения. Так как же можно в него верить?

Сегодня Сороку эта тема саднила. Панин сказал, что у него внуки — евреи. Это же надо такое придумать?

У Панина мозги устроены вредно, против людей. Ну, имеешь калеку жену, так что? Надо подьедать других? Вот он и есть еврей. Панин. Если б можно было копнуть. Жаль, нет уже Миняева, чтоб по старым каналам поковыряться в фамилии. Панин вполне может быть и Панич. А «ич» — это уже чистая вода национальности. Это ему один умный человек объяснил уже потом, когда он бежал из Желтых Вод и выкинул свои бумажки на Юхима Грача, чтоб как бы умереть для новой жизни. Он объяснял потом, что бежал от голода. Конечно, конечно... И от него тоже... Но до того, до того... Его бедняк-отец пристроил сына батрачить в семейство, которое работало с четырех утра и до черной ночи и ходило круглый год босиком. Ну и эта Феня... Сама прижала почти малолетку каменной пяткой. Возле гребли и случилось. Старый Грач аж зашелся от счастья такой родни. Потом эти дела с раскулачиванием. Он, бывший батрак, тогда спас беременную Феню, женившись на ней. Всякий другой хрен бы стал это делать. Мужики с кобурами тогда пришли крепкие, без соплей. Но он женился, а старый Грач умер от неправильного расчета жизни, отца Фени сослали, а сама она после девочки родила сразу парня и как бы не заметила перемены в жизни. Так и шлендрала голой ступней, которую не брал гвоздь, хоть по навозу, хоть по морозу. Он решил — надо бежать, потому как у него внутри образовался камень нежизни и стал расти. Голод подошел вовремя и был уважительной причиной для Фени: идти на шахты и там искать работу. Где-то в районе Пятихаток у одного покойника на дороге вынул документы на Евгения Сороку. Все подходило по возрасту и по портрету. Свои бумажки Юхим спалил тут же рядом с бывшим Сорокой, который тоже, бедолага, куда-то шел, шел, а не дошел.

А земля все-таки, зараза, маленькая. В эвакуации столкнулся с одним из тех, что был тогда с кобурой. И тот, сволочь, его вспомнил. Пришлось принять свои меры: посодействовал отправке на фронт. Но долго думалось, что не каждого же убивало на войне. Мог сохраниться, напакостить. От него Грач-Сорока узнал, что почти все в их деревне померли. С кобурой даже как бы видел, что хоронили и Феню. А дети — что дети? При советской власти, думал Сорока, дети, если живы, не пропадают. Детдом дает и обувь, и профессию. И вообще, те дети, они как бы и не его. Феня была в их отношениях мужик: сама брала мужа и имела, когда хотела. Грубо, между прочим, как насильник. Он только успевал качать насос. Он уже потом расчухал, что это за дела и как можно с воображением и без грубости. Правда, Зина никаких фокусов не позволяла. И он за это ее уважал. Не всякой женщине это личит, не всякой. И дети от полововоздержанной матери рождаются качественные. Как их сыночек. И ум, и красота... Да что там говорить!

Но Феня — именно она — нет-нет, а приснится. У нее на ноге большой палец был очень большой и смотрел чуть в сторону, а остальные были маленькие и как бы жалась в кучку. Вот эти мелкие пальцы доводили его почему-то до жалости.

Она и снится ему, Феня, именно черной ногой на черной земле, а лица у нее как бы и нету.

Не надо об этом думать. Не надо. У одного известного командарма тоже брошена на хуторе жена с детьми. Других, московских, детей он выводил в люди и с ними снимался на фотку.

Просто у командарма две разные жизни. Как и у Сороки.

А то, что Феня снится, так это от половой воздержанности. Днем крутишься, а ночью железы дают о себе знать, и тогда снится гребля и пальцы в кучке.

Такой, и только такой, может быть материалистический ответ.

Сорока крепче прижался к Зининой земной руке. Он не знал, что она не спит, а слушает, как он прерывисто дышит и что-то бормочет...

Зина слышала, как у кого-то разбилось стекло. Интересно, у кого? У Паниных? У Шпрехтов? Сорока, дурачок, ничего ей не рассказал, она задремала, он и лег сразу и ерзается, ерзается. Ладно, она не объявится, что не спит. Она лучше подумает о сыночке, Толечке, о внученьках-красавцах. Господи, спаси их и сохрани. Тенью возникает перед Зиной мужчина со странным, нехорошо застывшим лицом. А! — думает она. Живой ли ты? Мертвый? Невмеха... Надо же, с Людкой всю жизнь она прожила, считай, рядом.

Сорока спит, и ему снится сон. Он идет по пустыне, а навстречу ему Бог.

— Я тебя не признаю! — кричит ему Сорока.

— Я тебя тоже, — отвечает Бог и проходит мимо.

Сорока кричит и плачет во сне от испуга одиночества.

Панин всегда беспокоится: не переборщил ли он с успокоительными? Людочка спит, это хорошо. Но она так слаба, что выйти из необходимого ей сна для нее может оказаться трудным. Поэтому он не спит. Сторожит сон. Лежит рядом на раскладушке, и у него все готово на все случаи жизни. Камфара. Кардиомин. Но-шпа. Рука его лежит рядом с Людочкой, и он чувствует нежное Людочкино тепло.

Панин думает о треугольнике жизни, который недавно вычертил. Ничего особенного, обыкновенный разносторонний. Просто в каждом его углу по недвижной женщине.

Вот так расскажи об этом постороннему, а то еще напиши в газету, никто не поверит. Он, Панин, не думает, что это судьба. Нечего на нее валить. Может, для Зинаиды Сороки и судьба рухнуть с ног от количества еды и малой подвижности, а вот Людочке за что? За что у нее помутился разум? Она же не грешница — святая. Варя, конечно, грешница, хотя он и не позволяет Сороке говорить лишнее... Нет, что-то тут не так. Не так... Может, разлом Земли какой зловредный в этом месте, а может, комета пролетала? Дурака кусок ты, Панин! Дурака кусок... Что ли остальные не на разломе? Нет, была какая-то ядовитая тайна, была неясность жизни, которая дана была ему в размышление.

Почему трое пожилых, да что там, старых мужчин, один из которых в галошах, другой в шляпе, третий в диагональных брюках, сходятся в центр треугольника каждый вечер? Что это все значит? Случайное стечение строителей домов? Сила притяжения судеб? Неизученная инфекция, ударившая локально?

О чем у них говорят в магазине и на базаре? О том, что лежат треугольником три известные в их городке женщины, не подруги, нет, а их мужья — такие из себя разные — носят за ними горшки, ходят за ними, как за маленькими, берегут пуще глаза своего. Возникает недоумение: если на здоровых жен плюют и не жалеют, то, может, виновато само место? Конечно, никто сроду с ними не поменяется, ни с лежачими, ни с носящи-

ми горшки. Но задевает это народ крепко. Зачем-то они возникли почти одновременно в таком своем виде?

Уже объясняют дорогу так:

— Пройдешь автобазу, магазин, потом школу, свернешь налево, мимо «лежачих женщин»...

— Дальше понятно, — отвечает интересующийся дорогой.

Панин хотел прекратить эти топонимические нововведения в местную географию, но можно ли прекратить народ?

Проходящие мимо вертят мордой лица, интересуются «лежачими женщинами» и бывают разочарованы тем, что их не видно. Получается, что название месту дали, а где доказательства? Лежачие, лежачие, а где они?

Панина оскорбляло человеческое любопытство, но больше всего это веселое непонимание горя. Но опять же... Когда три случая на одной улице... Поставь себя, Панин, на место народа.

И Панин ставил. Потому что был человек с понятием. Он сам всю жизнь бился головой над разными вопросами. Бит был за это. Судим. Оправдан. И снова бит. И снова судим. Так и не понял, не разобрался в течении природы, вещей и людей. Когда же жизнь подсунула ему испытание в виде полубезумной горячо любимой женщины, то Панин окоротил себя в стремлении к познанию. Жизнь встала перед ним во всем своем могуществе тайны и непредсказуемости. И Панин сказал: «Пусть! Значит, так тому и быть». Он полюбил с этой минуты не только Людочку, но и жребий, который выпал. А когда увидел три жребия на одном пяточке, то ошеломился судьбой и странноватым, колющим в подреберье ощущением зло-счастья. Он тогда написал эти слова по отдельности четким почерком чертежника и сказал себе: «Панин! Сообрази! Даже Лев Толстой хоронил детей. Даже Пушкина унижали. Даже Достоевский стоял на эшафоте. Тебе же досталась прекрасная женщина, и она родила тебе сына. А сам ты дожил до старости».

А теперь вот и Миняев умер, а он еще смотрит на Божье небо. Разве можно роптать?

Он представил себе Сороку, Шпрехта, Варвару, Зинаиду, улицу, дома, звезду по имени Вега, не дающуюся в познании неразвитому умственно Сороке, песок и грязь земли, в которую прячет калечные пальцы Шпрехт, и тихие слезы радостно зазмеились в глубоких черных морщинах лица, как будто они не слезы, а дети-игруны и им самое то — бежать и скользить наперегонки по бесконечности человеческого лица...

Над «местом Лежачих Женщин» загоралось утро... И оно еще не было последним в их жизни...



ИННА КАБЫШ

*

МЕСТО ВСТРЕЧИ

На краю

1

— Но ведь нельзя жить без Пушкина! —
воскликнула Марья Ивановна,
и я взорвалась:
— Да пропади он пропадом, ваш Пушкин! —
и она испуганно выскочила за порог, бормоча,
что ты мне так и не ответила,
когда ты собираешься вернуться в школу, —
а я захлопнула за ней дверь
и пошла в комнату делать маме укол.
А Ванька, игравший на полу коробками из-под лекарств,
спросил:
— Кто приходил? —
и я буркнула:
— Пушкин, —
и мама закричала,
что вот, вот,
никогда-то ты не закроешь дверь как следует,
понапустила крыс,
и они теперь грызут мне спину,
и Ванька, строя башню, сказал:
— Нужно взять у бабы Дуни кошку, —
и у мамы началась истерика,
и я прижала ее к себе,
и когда я услышала, как хрустит ее позвоночник,
я решила взять мышьяк
и отравить маминых крыс,
потому что она терпеть не могла кошек,
а уколы больше не помогали.
И я встала и пошла к бабе Дуне.
— А для чего тебе мышьяк? — спросила она.
Я ответила.
И баба Дуня отпрянула от меня
и, прикрывая рот ладошкой, прошептала:
— Это же... злодейство.
— Злодейство, — закричала я, — позволять
человеку страдать!
— Бог терпел и нам велел, — скороговоркой
пробормотала баба Дуня.
— Так он терпел для дела, а маме зачем? —
спросила я в упор.
И баба Дуня вздохнула:
— Да ведь тебя в тюрьму посадят!

— И пусть, — ответила я, — хоть выплюсь. —
И тогда баба Дуня сказала:
— А Ванька? Ты же ему теперь вместо матери!..

И я молча повернулась и пошла в это место,
в наш дом на краю,
и вдруг поняла, что мое место теперь на краю,
потому что Ванька может упасть, —
и разревелась,
потому что я не хотела быть матерью —
я хотела быть маленькой
и спать у стенки.

Но у стенки спал Ванька,
и я попросила маму научить меня печь пирожки.
— Значит, я умираю? — спросила мама
и, глядя в окно, добавила: —
Вот и яблоня моя не зацветает...
обычно в это время она стояла вся белая...
Нужно взять муку
и прогнать крыс,
потому что, когда они доедят меня,
они примутся за пирожки
и Ванька будет плакать,
потому что он очень любит с повидлом...

И я хотела сделать маме укол,
который не помогал,
но она замахала руками
и стала обирать с себя крыс,
а они не кончались,
и я подумала, что на бабе Дуне свет клином не сошелся
и что, хоть я и наорала на Пушкина,
пойду-ка я к Марье Ивановне за мышьяком.
А маме сказала,
что пойду угощу ее пирожком.
И пошла.
И когда проходила мимо церкви,
столкнулась с батюшкой,
и он спросил, почему я перестала приходить,
и я ответила, что не могу же я прийти в церковь,
если хочу убить свою мать,
потому что люблю ее.
А батюшка сказал строго,
что ты любишь мать больше Бога,
а я возразила, что Бога любят многие,
а маму я одна,
потому что отец от нас ушел,
а Ванька еще маленький,
а батюшка сказал, что Бог дал — Бог взял,
а без Бога человеку нельзя,
как нельзя без отца,
а я перебила, что жили же мы без него столько лет,
но это не значит, что его нет,
сказал батюшка,
а я сказала,
что дело не в том, что он есть,
а в том, что мамы не будет,
когда я ее убью,
чтоб она не мучилась,

и этого я ему никогда не прощу, —
и пошла к Марье Ивановне со своими пирожками.
И Марья Ивановна удивилась,
что неужели своими руками,
и сказала, что вот и молодец,
потому что это очень важно,
чтобы у твоего Ваньки были пирожки.
И яблонька с яблочками,
и молочная речка с кисельными берегами.
Потому что детство — это не время, а место,
и его для ребенка нужно обустроить,
чтобы потом,
когда его будут клевать и гнать
разные гуси-лебеди,
ему было куда приткнуться,
а что подгорели,
так это ничего,
потому что первый пирог —
всегда за порог, —
и тут на пороге появился Ванька
и, всхлипывая, сказал,
что, когда я ушла,
мама надела свое новое платье
и стала рыться в шкафу,
повторяя, что никак не может найти простые чулки,
а потом бросила,
умылась, причесалась —
и легла спать,
и когда он, Ванька, стал пить молоко
и разбил мамину любимую чашку,
мама не проснулась
и не заругалась...

И я сказала Марье Ивановне,
что мне больше не нужен мышьяк,
и, взяв Ваньку за руку, пошла к бабе Дуне
и попросила,
что пусть Ванька побудет у тебя
и дай мне простые чулки,
потому что у мамы их никогда не было,
ведь она была молодая,
но что теперь никому ничего не докажешь,
а стало быть, баба Дуня, выручай,
а я тебе новые куплю —
не простые, а золотые.
И баба Дуня молча вынула из узелка
пропахшие нафталином чулки
и протянула мне.
И я взяла и пошла домой.

И когда я стала натягивать на маму чулки,
крысы почуяли нафталин,
вылезли одна за другой
и, длинной вереницей пройдя мимо меня,
скрылись за дверью.
И я поняла, что маме больше не больно,
и подумала, что, слава Богу,
не мышьяком, а нафталином,
и впервые за много дней
почувствовала себя спокойной.

А яблоня зацвела на третий день.
 И отец пришел рыть могилу.
 И Ванька играл новым вертолетом,
 который он ему подарил.
 И батюшка говорил, что отец наш благ,
 а я подумала, что просто нужно принимать его
 таким, как есть.

А когда прозвенел звонок
 и кончился Пушкин,
 уже на поминки
 зашла Марья Ивановна
 и, погладив меня по голове, сказала,
 что ничего не бойся
 и возвращайся скорей,
 потому что не стоит сердиться на Пушкина.
 И я кивнула,
 ибо как я могла теперь сердиться на Пушкина,
 если он был там же, где мама.

А бояться мне было нечего,
 потому что я знала, что мама там все обустроит,
 чтобы, когда прозвенит звонок,
 мне было куда вернуться.

2

— Ешь, ешь, — сказал управдом с порога, —
 Жизнь есть жизнь.
 Крепись, мужайся и держись...

И я подавилась.
 Потому что за последние дни мне столько раз говорили эти слова,
 что они в меня больше не лезли...

И управдом дал мне воды и сказал,
 что насчет увековечения памяти не волнуйся:
 это плевое дело,
 потому что на могиле отца плита уже есть,
 а значит, Васька с первого этажа
 добьет мать чуть пониже — и все,
 ничего страшного, так многие делают,
 только нужно дать ему отцовы инструменты,
 потому что у твоего отца были такие инструменты,
 что и его пережили,
 и мать твою пережили...

«И меня переживут», —
 подумала я с ненавистью.
 А управдом сказал,
 что теперь они твоя собственность.
 И земля. До рябины.
 Потому что твой отец посадил ее как раз на краю,
 а мать все потом поливала...
 Земля хорошая. Жирная...
 — А рябина? — спросила я.
 — Что рябина?
 — Тоже моя собственность?
 — Разумеется, — ответил управдом, —
 так что вступай в наследство,
 детство кончилось. —

И я побросала в сумку книжки и пошла в школу,
где не была с детства,
потому что последний раз я была в школе,
когда уже не было отца,
но была мама —
и это было еще детство.
А на доске было написано:
«Космизм Лермонтова»,
и учительница говорила,
что Лермонтов был такой гений,
что первый сказал, что земля голубая,
чем внес большой вклад в развитие космонавтики,
и что она читала в одном журнале,
что Лермонтов был пришелец с другой планеты
и потому —

 так близкó было небо ему,
а на земле было скучно и грустно...
А я подумала, что не пришелец он был,
а круглая сирота.

И что, когда у ребенка умирает мать,
ему физически некому руку подать,
и что в день смерти матери детство кончается,
а поскольку детство Лермонтова — Тарханы,
а Тарханы для ребенка — вся земля,
то кончается земля —
остается только небо,
а когда там оказывается и его отец,
небо становится отчизной,
откуда он смотрит на землю...

— ...на краю которой растет дуб, —
сказала учительница, —
посаженный самим поэтом.
Вернее, рос.
Потому что я недавно прочла,
что в него попала молния...

«И хорошо!.. — подумала я, —
потому что это невыносимо,
что людей переживают дубы.
И рябины.
И если у меня взяли отца и мать,
то почему в меня не попадает молния,
и раз не забирают с земли меня,
пусть заберут у меня землю,
потому что после смерти родителей
она стала пустой,
а какая же это собственность,
если она не стоит выеденного яйца,
и если ее не забирают,
я верну ее сама...» —
и, выскочив из-за парты,
я побежала домой.

У отца были действительно хорошие инструменты.
На все случаи жизни.
И я взяла топор
и пошла рубить рябину.

Потому что, если срубить рябину, растущую на краю,
край исчезнет.

И моя земля, слившись со всей остальной,
станет круглой,
и я скажу ей:
«Катись!..»

Топор был широкий, острый:
отец покупал,
мать точила.

А я рубила.

Как бы мне, рябине, к дубу перебраться...

Рябина была крепкая
и такая высокая, что подпирала небо.
И небо было совсем близко —
рукой поддать.

И я толкнула дерево рукой,
и оно упало —
и разбилось,
потому что лежало в гнезде,
которого я не заметила.

И мать упала,
как звезда с неба,
рыдая и жалуясь, покружила над разбитым яйцом
и взмыла вверх.

И из глубины неба ей отозвался Лермонтов,
оплакивавший свой погибший дуб...

И я подумала,
если звезда с звездой говорит о земном,
значит, земля чего-то стоит
и мне придется признать ее своей собственностью,
а стало быть, полюбить,
потому что своим
может быть только то, что любишь.

И я посмотрела на свою мертвую рябину
и увидела,
что земля действительно круглая.

* *
*

Было все, одной лишь смерти кроме.
На полях сраженья моего
сколько слез я пролила и крови,
что теперь хочу лишь одного:
пусть ничто не повторится снова.
И, не накопивши в сердце зла,
говорю спокойно и сурово:
Слава Богу, молодость прошла...

* *
*

К нам равнодушна родина — Бог с ней,
и эта боль уже переносима.
И берег, что похож на берег Крыма,
теперь мне с каждым годом все родней.

Тот берег только издали скалист —
вблизи же он поблескивает влажно,
и что-то, что — совсем уже не важно,
подъем или отбой, — трубит горнист.

Там солнце светит, и звезда горит,
и смуглый мальчик что-то говорит,
и рыбаки вытаскивают сети,
и весело сгружают свой улов,
и так шумят, что мне не слышно слов.
Но мальчик не нуждается в ответе.

* *
*

Он строил «Ад», «Чистилище» и «Рай»,
как строят дом — за камнем камень, —
где будет и собачий лай,
и детский смех, и чье-то «Амен»...

Божественный он строил дом
на случай, если Бога нету,
чтобы не мыкаться потом
с подругой

по пустому
свету.

* *
*

Рай — это так недалеко...
Там пьют парное молоко,
там суп с тушенкою едят
и с Дантом за полночь сидят,
там столько солнца и дождей,
чтоб вечно алы были маки:
рай — это там, где нет людей,
а только дети и собаки.

* *
*

1

Маме.

И, сидя с книгой, на тебя, родная,
порой взгляну из своего угла:
не так, как бы примерно сроки зная,
а так, как будто смерть уже прошла.
И ты, держась за подлокотник кресла,
неторопливо кутаешься в плед
не потому, что ты уже воскресла, —
меж двух миров стена сошла на нет.
...И вот уже ничто не отделяет
мой быт крошечный от небытия
так,
что, когда в прихожей пес залает,
ты вздрогнешь раньше, может быть, чем я.

2

А мертвые беспомощны, как дети,
 друг к другу жмутся и глядят нам вслед.
 И ты глядишь,
 в сиреновом берете,
 и падают снежинки на берет.
 И даже с места сдвинуться не в силах,
 все ждешь, когда я за тобой приду...
 Так ждут нас наши мертвые в могилах,
 как дети у забора в детсаду.

* *
 *

Я при своем была рассудке,
 тем коридором проходя
 с бельем и книжкой на сутки:
 я шла убить свое дитя.

И не было назад дороги...
 Когда за мной закрылась дверь,
 я в небеса уперла ноги —
 и вдруг пошла.

 Я шла теперь
 стерильно чистым коридором,
 и кто куда, как в детсаду,
 за дверью дети пели хором.
 И знала я, зачем иду.

Я шла не чтоб меня пустили
 казенной двери на порог.
 Я шла не чтоб меня простили,
 а чтобы взяли узелок.

Шла, веря своему везенью,
 отдать гостинец: мармелад,
 баранки, сушки, воду, землю...
 Но все вернули мне назад.

Когда займетса отовсюду
 и всяк предстанет налегке,
 у ада детского я буду
 с тем узелком стоять в руке.

* *
 *

Нынче ты кутаешь в облако плечи,
 а я в твой зеленый плед...
 Но ведь должно же быть место встречи —
 между! —

 ни тот

 и ни этот свет.

Малая родина, пядь, полпяди,
 дырка, гнездо, где лишь ветра свист
 и никого ни вверху, ни сзади,
 карточный домик,
 бумаги лист.

* *
*

Цвела картошка у сарая
лиловым, белым, голубым...
Я в детстве так боялась рая,
где будешь ты любим любим
и устремят родные души
к тебе несметные стопы, —
я пряталась на старой груше.
...Я и теперь боюсь толпы.

* *
*

Небо черно надо мной или ало
или в сплошном беспросветном дыму...
Так я под небом смертельно устала,
что не влечет и к нему самому.
И хоть еще надлежит ему треснуть,
дабы нам свет воссиял голубой,
мамочка!

Я б не хотела воскреснуть,
если б не встреча с тобой...

На 28-ю песню Дантова «Ада»

Так он останется в веках:
кровоточит на шее рана,
а голова горит в руках —
так Данте наказал Бертрана
де Борна:

так один поэт
казнил другого пред рассветом:
так отнял жизнь — на весь тот свет
и дал бессмертие — на этом.

* *
*

Это ты научил меня ждать,
как никто во всем свете не смог бы:
не как новорождённому мать —
как сухая смоковница смоквы.

Ждать без всяких на это причин,
ждать безвременно, ждать безнадежно,
с тою верой, с какой не мужчин
и не смертных, но чуда лишь можно.



ЛИЛИЯ СТРЕЛЬЦОВА



КОЛЫМСКИЕ ИСТОРИИ

АЛЕКСЕЕВ

Теплицу Алексеев отстроил за лето. Разрешения властей на это не требовалось, земли много, выбирай за поселком место и обустройся. Хозяйственные мужики так и делали: ставили тепличку, выращивали в ней помидоры, огурцы, зелень, а то и цветы. Некоторые увлекались, придумывали что-нибудь особенное: дыни, например, через увеличительное стекло растили, арбузы. А проходчик Генка Захарченков увлекся до страсти и хужествовал с томатами. Их он выращивал не первый год, знал все существующие сорта, выписывал специальную литературу, а свою теплицу называл лабораторией. У него и правда вырастали диковинные помидоры — то длинные, как огурцы, то желтые, как лимон. Сам Генка более всего уважал сорт «бычье сердце». Год от года получал он эти «сердца» все огромней и мясистей и никому не выдавал секрета своих достижений. Вообще-то работал Захарченков в одной смене с Алексеевым. Принесет, случилось, похвастать — две такие помидорины на килограмм потянут, — разломит на всю бригаду, как хлеб: «Да не жуйте сразу, вы поглядите на нее сначала. А? Прямо светится... Краса-авица». Мужики поглядят, съедят с чувством розовую зернистую мякоть: «Овощ — что надо...» Генка не унижается: «А дух какой, а? То-то!» Захарченков, словно бы не доверяя похвалам, требовательно заглядывал в лица смачно жуящим шахтерам, притихал, вслушиваясь в негромкое их почавкивание, деликатно отщипывал от своей доли малый кусочек и, любуясь им на свет, приговаривал: «И это еще что... Вот на следующий год это будет настоящая королева». Алексееву не нравились Генкины экспонаты потому как раз, что выращены были не для еды, толстая шкура будто напарафинена, и вообще, считал Алексеев, правильнее было бы завести простое тепличное хозяйство, без выкрутасов, чтобы, главное, иметь зелень и овощи на столе, в магазине-то и летом не бывает. Такой и у большинства других мужиков подход к этому делу был, выращивали овощи неприхотливых сортов, которые быстрее и в больших количествах успевают за короткое лето созреть. Им помогали жены, дети; для малышни даже соорудили на пятачке у тепличных застроек качели из листовенничного ствола, укрепленного серединой на железной бочке; облепив по двое-трое концы бревна, дети визжали в восторге, возносясь высоко вверх, и прижимались к шершавому стволу покрепче, в то время как противоположная сторона его стучалась неизбежно об землю. Алексеев, когда пошел выбирать себе участок, постоял у этого аттракциона, посмотрел недолго. Сказал: «Грамотеи...», согнал детей с бревна и приколотил на оба конца по две ручки, просто поперечные гладкие дощечки. Подергал, проверяя на прочность, на всякий случай еще прикрутил их накрепко ве-

Лилия Владимировна Стрельцова родилась в Донбассе, в семье горного инженера. В 1970 году, вместе с родителями, переехала на Колыму, в шахтерский поселок Кадыкчан. В 1995-м окончила Литинститут (семинар М. Лобанова). Живет и работает в Москве.

Печатается впервые.

ревками. Сказал мальчишкам постарше: «А теперь подкопайте неглубокие ямки, вот здесь и здесь, а то задницы поотшибаете». И пошел смотреть дальше.

Место для тепличных застроек люди выбрали не случайно: здесь протекал ручей. Никто не знал, в реку ли он впадал или уходил под землю, был он неширок и прозрачен, а русло — глубоко. Иные верили, что это и есть исток самой Колымы, хотя географические карты такую версию прямо не подтверждали. Хозяйки носили воду из ручья для поливки, в нем же отмывались руки, лица, детские расшибленные колени. Ручьевую воду с удовольствием пили, кипяченую или так. Лучшие места, ближе к воде, давно уже были освоены, и Алексеев площадку выбирал лишь бы поровнее и поближе к уезженной КамАЗами колее.

К строительству Алексеев отнесся обстоятельно: для начала походил, посмотрел другие теплицы, выбрал самые из них по виду крепко сработанные, порасспросил хозяев, где, что и как берется из материалов, сколько чего потребуется, как закладывать фундамент, чем лучше утеплять короба, и еще много чего полезного узнал он от мужиков. Когда дошло до дела, соседи сами заходили к нему на участок, советовали, сочувствовали — Алексеев строил серьезно. Работал он один, весь свой большой отпуск за северный год вредной подземельной работы ковырялся на площадке. Не спешил, как иные, не имевшие для такого дела других дней, кроме выходных. У Алексеева времени было даже с запасцем, он мог, например, взять еще отгулы.

Но он и так успевал. В июне ночи стали белыми, и можно было работать хотя бы и сутками, были бы силы. Алексееву даже понравились такие ночные смены, и он на какое-то время полностью переселился в сколоченный первым делом сарайчик, к которому должна, по правилам, примыкать теплица. Такой сарай необходим по двум причинам: во-первых, для прогрева воздуха и земли в холодные дни и, во-вторых, для хранения нужных в тепличном деле предметов. Главное место в этом помещении занимает печь, сделанная из железной бочки. Алексеев принес матрас для отдыха, чайник, полотенце, бритву и мыло и так обустроил себе все необходимое для жизни. А сахар, чай и консервы закупал в поселковом магазине раз в неделю, когда и домой заходил — проверить почту.

С таким явлением, как белые ночи, Алексеев столкнулся в своей жизни впервые, и когда однажды, заработавшись, посмотрел вдруг на часы и обнаружил, что далеко уже за полночь, он только и удивился: надо же, а светло как днем, тихо и окружающее пространство просматривается во все стороны до самого горизонта. В поселке кое-где горят тусклые желтые пятнышки, окна; а сами дома будто углем на сером бетоне отчетливо обрисованы. То же и с теплицами, сараюшками, обступившими Алексеева вплотную — словно на картине огромной всем нашлось место; и даже пустому дощатому ящику, что валяется в стороне, дан какой-то смысл. В светлом сером небе нет никакого движения, застыла тайга, и черный дым шахты издалика также бездвижен. Солнца нет — и тени нет, потому все такое плоское на вид, догадался Алексеев. Он поглядел на свои руки, пошевелил пальцами. Замахнувшись, бросил наугад небольшой камешек, чтоб просто звук услышать. Камень, как по заказу, стукнул в стену соседского сарая, откуда тут же послышалось недовольное шевеление потревоженных кур. Одна дольше всех не успокаивалась, вскрикивала сонно и обиженно, когда сам Алексеев, улыбаясь, уже похрапывал на своем матрасе.

Самый ближний сосед его по строительству, Андрей, держал не только овощное, но также и животное хозяйство: в его сарае все лето квохтали, копошились куры. Когда Андрей или жена его Маша выпускали их погулять, существа эти бродили задумчиво в огороженном невысоким заборчиком пространстве, светя голыми, без перьев, задами, блаженно затихали, попадая под солнечное тепло. «Чего это они такие голые?» — спросил как-то Алексеев у Маши. «Кальция им не хватает, вот и ходят, как проститут-

ки», — пояснила она. Маша каждый день давала им толченой яичной скорлупы в надежде восполнить недостаток кальция, но у птиц перьев не прибавлялось. «Что, очень уродливы?» — спросила Маша у Алексеева, заметив, что он задерживает всякий раз шаг возле гуляющих кур. «Ерунда, — отвечал Алексей, — так их даже удобней ощипывать. Главное, вон какие жирные». Из теплицы подошел Андрей, поздоровались. В его присутствии Алексееву делалось шумно и тесно, словно бы небольшая толпа любопытных людей окружала его, тормошила за пуговицы, заглядывала в глаза, задавала вопросы, шутила, сама же смеялась своим шуткам, зазывала в гости, сама напрашивалась, хвалила, советовала, критиковала. Маша с непонятной улыбкой смотрела на мужа. Странная это была со стороны пара: небольшой поджарый Андрей, с узким состаренным лицом, — и Маша, женщина-гора на высоких тонких ногах, с огромными грудями, изпод которых победно торчал тугой живот, и вся прямая, будто приплюснутая, сзади. Осанка у Маши величественная; когда стоит, откинув слегка назад голову, — каменная баба, древняя, нерусская. А ходит, напротив, не солидно, чуть не вприпрыжку. Ходит, случается, и с синячищами на лице — а лицо у Маши как раз самое главное, оно как будто все тонкой кисточкой выведено на белом шелке, брови, глаза с ресницами, немного длинный прямой нос, розовые сухие губы. Маша немолода, как и ее муж, и тело ее, сразу видно, немолодо, и особенно руки. А лицо как от другого человека, нежное. И Андрей, когда много больше обычного портвейна выпьет, люто ревнует Машу, бьет. Маша, если сумеет вырваться, убегает к какой-нибудь ближайшей по расстоянию знакомой, прячется, плачет, отмачивая свинцовой водой ушибы: «Дурак, хоть бы водку, как все люди, пил. А от портвейна этого дурь одна. Ох, зверюга-а...» — «Да брось ты его. Уезжай к детям в Москву и живи с ними», — советует привычно знакомая, зная наизусть, что Маша, поплакав и поругавшись, затуманится потом, улыбаясь через боль в лице: «А что Москва, это же его квартира. И дети такие ж его, как и мои. Чего уж там, его понять можно, другой давно и убил бы... Пойду я, а то еще искать станет...» Андрей же, проспавшись, плакал, просил прощения, клялся, что больше ни капли этой отравы в рот не возьмет, они мирились и ходили, сияя, под ручку — до следующего раза, который случался обычно уже недели через две. Все в поселке привыкли к этим скандалам, Машу без удивления прятали, давали передохнуть и отпускали, вздыхая вслед: «Непутевые... За сорок уже, а толку...» Известно было, что Андрей, опьянев, не мог простить Маше давний побег, когда ее вместе с двумя малыши детьми прямо с московской улицы забрал офицер внутренних войск и привез сюда, на место своей службы. Офицера поразила красота молодой тогда Маши и то, что в двенадцать часов ночи она сидела в сквере на лавочке, уложив с двух сторон на колени головки спящих детей. Офицер не стал расспрашивать ее о причинах такого печального положения, он отвел всех троих в свой гостиничный номер, а сам, пока они спали, просидел в холле. Утром он сделал Маше официальное предложение, которое она приняла и о чем никогда потом не пожалела. И когда через недолгое время ее офицер сам застрелил себя, Маша, тоскуя, винулась: «Ну как же не уберегла...» Один товарищ офицера утешал ее, что дело не в ней, а во всем и что ее муж был просто слишком по нынешним временам совестливым человеком, но этого Маша понять не могла и все равно винула себя одну. Из лагерного поселения она с детьми перебралась в ближайший поселок, где и осталась жить. Здесь ее и отыскал первый муж, Андрей. Так на новом месте они заново начали свою семейную жизнь. Пока дети жили при них, Андрей хоть и выпивал по субботам обязательно, но ничего лишнего себе не позволял. Кричал, бывало, что он бы *этому* сам голову свернул, что жаль — не довелось встретиться. Маша, видно, своего мертвеца в обиду не давала, и дети рядом, так что Андрей и засыпал, ничего не доказав. А закончили дети школу, уехали в Москву — Андрей словно бы наедине со своим соперником остался. Смотрит на Машу — мерещится: *он*. Пьянея, уже как наяву его

видит. А Маша — тоже, нет бы покаяться, объяснить по-хорошему, что силой, обманом взял, — куда там, чуть ли не в святые его записывает. «Это, — говорит, — был самый лучший человек, кого я в жизни знала». Поэтому Машу, конечно, жалели больше женщины, а мужья их — Андрея.

В поселке все обо всех знали, и Алексеев, не интересуясь специально, тоже каким-то образом знал о таких семейных делах своих соседей. Потому и странно ему было видеть, как Маша, возвышаясь царицей над своим мужем-пустобрехом, смотрит на него неотрывно, улыбается. Алексееву сделалось даже не по себе от этого ее взгляда, он быстро отделался от Андрея и чуть не бегом отправился к своей стройке. За спиной, он слышал, они сразу забыли о нем, Маша что-то сказала Андрею, он — ей, какое-то движение, он, громче: «Ну идем, ну Манюнь», смех его и ее. Алексеев уже оседлал, обтесывая топориком, верхнюю перекладину, когда эта парочка, приветственно помахав ему, прошла мимо, в сторону тайги. Шли они медленно, под ручку, и если Маша оступалась, соскальзывая ногой с кочки, Андрей с испугом обхватывал обеими руками ее широкую талию, будто именно сейчас, упади она, все ее тело разобьется на мелкие кусочки. Сверху Алексеев мог их долго видеть, весь их торжественный ход, пока не скрылись за деревьями. Он не то чтобы следил, но поневоле, отрываясь от работы смахнуть со лба пот или просто передохнуть, искал глазами их мелко чернеющие в яркой зелени фигуры. Алексеев показался вдруг себе старым одиноким человеком, давно схоронившим не только родных, но и всех друзей. Есть же где-то у него жена, Татьяна. Какая из себя? Первое, что вспомнилось, — темно-синее платье из панбархата, его она надевала только «на выход». Название материала Алексеев легко запомнил, потому что Татьяна — наполовину полька, и он, выбирая для нее в универмаге платье, остановился на этом «пане». Платье стоило дорого, и Татьяна вначале даже брать в руки его не желала, сейчас же, говорит, отнесем обратно, на эти деньги можно два пальто купить, и Таньке, и Наташке. Любит ли он ее? Если у Андрея с Машей любовь или у Маши с тем офицером была любовь, то этого всего Алексееву и даром не надо. Пусть называется как угодно по-другому, да и зачем слова-то искать. Он знает, например, точно, что никогда не продырявил бы себе голову, перевернись хоть весь белый свет, потому что они без него никуда. А он без них. Плохим был только последний год, врозь прожили, хоть он и деньги посылал, и переписывались. Теперь скоро приедут.

Алексеев ждал с материка семью. Получалось, что второй год уже он ее ждал. Вначале Алексеев надеялся заработать в скором времени хоть маленькую, но отдельную квартиру. Домой он сразу же по приезде написал, что все устраивается пока неплохо, он работает, живет в общежитии и, как только получит отдельное жилье, пришлет вызов. А пока что будет высылать деньги с каждой зарплаты. Хотя это и меняет их первоначальные планы, насчет машины и прочего. Жена прислала рассудительный ответ, в котором во всем с Алексеевым согласилась, добавила только, что если долго ждать придется, то лучше пусть возвращается, ну обойдутся они и без машины, а тем более без этих кресел-диванов-стенок югославских, тем более что бабушка сильно после его отъезда сдала и дом на нее одну оставлять страшновато и тем более еще, что у младшей, Таньки, кашель до сих пор так и не проходит — ее бы в Анапу свозить, а не на Колыму. Танька и Наталья тоже приписали по две строчки — ходят ли, спросили, там по улицам белые или хотя бы обычные медведи и видел ли он уже северное сияние (Танька). Написали, что скучают «безумно-безумно» и копят деньги на аэросани (Наталья). Они так и представляли свою северную жизнь: летят в этих санях, распутивая белых медведей, а над ними переливается северное сияние. Таньке одиннадцать, Наталье тринадцать — скоро невесты, для них же все. Алексеев идти на попятную не собирался, возвращаться, если уж добрался сюда, смысла не видел. Писал домой письма, в которых рассказывал дочерям о бурундучке, встреченном по дороге на работу, кото-

рый встает, завидя человека, столбиком на кочке и ожидает угощения, печенья там или просто хлебца; что медведь здесь, говорят, бродил один неподалеку, но так и не решился зайти в поселок, ушел в тайгу, его потом целый отряд мужиков искал с ружьями — не нашли; а вот воробьев здесь сроду не бывало, ни воробья, ни голубя не встретишь. Супруге, Тане-старшей, советовал, какие покупки сделать на посланные деньги, какие вещи здесь им понадобятся. Когда они приедут, когда он получит квартиру. Теще неизменно сообщал самую низкую за последние дни температуру, обманывая в сторону тепла, и желал здоровья.

Жил Алексеев нелюдимо. Всего и было у него во весь тот год что работа и письма эти. Даже покурить на общую кухню не выходил — не курил. А варил себе сам супы из консервов на электрической плитке прямо в комнате. Кроме этой плитки ничего себе не купил, только из одежды необходимое, зарплату почти полностью посылал домой почтовым переводом. Соседи, привыкшие к родственным между собой отношениям, невзлюбили Алексеева, посчитав его человеком гордым и жадным: никуда не ходит, работает в две смены, а спросишь денег взаймы — говорит: «Дам, только немного», как это понять — «немного»? Он что, за бичей их держит? «Не нравится он мне, и вот как с первого раза глянула — так сразу и не понравился. Что-то ставит из себя, а сам-то... Немного... Сам он немного — того», — говорила толстая Макаревич маленькой смуглой, точно поджаренной, Гале Колеговой. Обе соседки подогревали на кухне ужин мужьям, и Макаревичиха, оскорбленная даже не за себя, а как бы сразу за всех избегаемых Алексеевым соседей, говорила громко, чтобы он слышал там в своей конуре. Галя взглядом пыталась урезонить толстуху: «Неудобно же!» — но та только больше распалялась: «А коридор, между прочим, не моет! И толчок! Хоть и носит грязь уже четвертый месяц! А что ты мне моргаешь, мне бояться нечего! Вот пусть только попробует отказаться, его очередь подходит, пусть только мне. Тоже — барин. Вдовец соломенный, вот кто!» Алексеев ее не слышал, он отсыпался на своей железной сетчатой кровати после тяжелой смены. Кровать эта, как и грузный искорябанный стол, а также табурет, сколоченный кем-то явно по самодеятельному вдохновению, — все это досталось Алексееву по наследству от бывших жильцов комнаты и составляло ее обстановку. Одежда хранилась в чемодане, задвинутом под кровать, и на спинках этой же кровати. Занавесок не было, да и ничего не было, потому что Алексеев сам не хотел обживать такое жилище. Так, до квартиры переждать. А неутомная Макаревичиха, углядев обстановку в замочную скважину, Гале доложила: «Все ясно с этим фруктом. Огрызок жизни. Что бросили Зайнуллины, когда съезжали, тем и пользуется». На том и успокоилась. Не переменила своего мнения, даже когда от почтальонши узнала, что он каждый месяц отсылает почти что всю свою зарплату на материк. Письма он получал оттуда так же регулярно, раз в месяц. «А я так и знала — сам-то небось не нужен такой, а денежки чего ж не принять. Я так и сказала про него — вдовец соломенный, огрызок жизни».

Через полгода Алексеев решился честно все написать Татьяне про квартиру, что получить ее они смогли бы, но для этого вся семья должна быть прописана здесь, в этой комнате в общежитии. По правде говоря, душа его разрывалась пополам, когда писал он это письмо. Будь Алексеев другим человеком, все давно уж решилось бы просто и ясно. Ведь не первый же он приехал сюда с одной главной целью — заработать побольше денег, за этим и другие здесь, но с такой разницей, что они живут семьями, с детьми и женами, и ничего — живут. Через общежитие проходят почти что все, за исключением тех, кого присылают сюда руководить. Для них поселок является глухой ссылкой, и в утешение их хотя бы в квартиры отдельные сразу поселяют. Но и остальные из общежития очень скоро, через два-три года, а случается, что и раньше, все равно потом переезжают в нормальные дома, только бездетные живут там постоянно. Когда

Алексеев впервые вошел в этот дом, плотно населенный людьми, будто поезд приморского направления в разгар сезона, он и почувствовал себя как на вокзале и тогда твердо решил, что дочерей своих и супругу сюда он забрать не имеет права. В Донецке у них свой дом в четыре комнаты, с яблонями и абрикосами-дичками в палисаднике, у Татьяны — работа, у девчонок — музыкальная школа, пусть уж сидят пока дома. Да и если сделанного, то есть его отъезда, не исправить — лучше все теперь оставить как есть. Они пусть живут дома, а он здесь поработает еще года два-три, скопит на машину и вернется. Такое соображение высказал Алексеев в своем честном письме, а душа его рвалась надвое, потому что честнее было бы написать, чтоб приезжали, что он здесь зиму прожил один, а как другую переживет — не знает, что люди все чужие, будто тени вокруг, и жизнь такая ему хуже тюрьмы. Поначалу Алексеев так и написал, но, перечитав прыгающие строчки, с досадой порвал этот листок, вырвал из тетрадки новый и ровно, словно записывая под медленную диктовку, изложил свое другое соображение, которое и должна была, вместо уничтоженного, узнать Татьяна. Алексеев отнес письмо на почту и стал ждать ответа как приговора.

Алексеев утешал себя, перебирая старые письма. Они были недлинные, деловые — о домашних хлопотах, о том, на что потрачены его деньги (одежда-обувь-палас, Наташка просит магнитофон, но это уж слишком, она сама столько не стоит: две тройки в четверти). Жена Алексеева была хорошей хозяйкой, она и в самые худые их годы умудрялась за всем уследить: накормлены, обуты-одеты, гостей есть чем принять, все как у людей. И что не жилось? Чего еще требовалось Алексееву? Накопить денег столько, сколько нужно для полного устройства жизни, со стенками-полами, креслами-диваном, холодильником-телевизором. Они купили бы все и так, в рассрочку, постепенно, по записи и занимая недостающие суммы у соседей и знакомых в долг. Все это, но не самое для Алексеева желанное, не машину. Где бы взяли горный инженер и медсестра городской поликлиники, с двумя дочерьми и мамой-пенсионеркой, такую сумму, хотя бы половину ее, чтобы приобрести самое прекрасное, что может купить за деньги простая, но уважающая себя семья, — автомобиль? Где? После недолгих споров-разговоров Алексеев настоял — надо ехать на Север. Девчонки визжали от радости, романтическая теща будто даже совсем оправилась от старой болезни почек, глаза заблестели, оживилась, будто бы это ей предстояло лететь. Спорила-говорила только Татьяна — что, может быть, за те же десять лет он и здесь на заводе дождался бы своей очереди на машину (а деньги? — возражал Алексеев), что дети учатся (а там что, школы нет?), что она работает (с такой зарплатой лучше дома сидеть), что бабушка останется одна (но ей всего шестьдесят, и к тому же они скоро вернутся), — Алексеев видел в ее возражениях лишь природную робость женщины, всю жизнь прожившей на одном месте, только в летний отпуск выезжающей с детьми к двоюродной сестре на море. Татьяна не хотела раздражать своего Алексеева и потому не могла долго с ним спорить. Он был главный в их доме, ему и решать.

На деньги, отложенные для отпуска, они купили билет до Магадана; адрес поселка, где должна была пригодиться его горная специальность, дал Алексееву институтский товарищ, и, в две недели покончив со всеми необходимыми делами, он вылетел в уверенности, что вот только так, стремительно, и следует добиваться своей цели.

«Дурак, какой дурак», — бормотал Алексеев, читая письма, и так утешался.

Ответ пришел телеграммой. «Приедем августе», — прочитал пораженный Алексеев, сел на свою койку, глаза закрыл. От странной смеси чувств, его охвативших, он впал словно бы в оцепенение. Он и действительно заснул на короткое время, а когда проснулся в сумерках — в его комнате, как показалось, что-то сдвинулось и переменялось. Был апрель, месяц

ухода больших снегов, еще холодное по материковым меркам время года, но в воздухе уже ясно различались запахи жизни — земли, деревьев, южных ветров. Эти запахи заполнили скудное жилище Алексеева, а за окном ясно различались детские крики, смех, призывы какой-то мамы: «Люська-а! Домо-ой!»

Алексеев засмеялся, перечитав телеграмму: «Приедут в августе... а сейчас-то апрель... телеграммой...» Не включая света, он походил по комнате туда-сюда, посидел на табурете, лег наконец в кровать и стал рассчитывать, что следует купить и что сделать за это время.

Переписка продолжалась своим чередом, только роли теперь, как-то само собой получилось, поменялись: Татьяна распорядилась, а Алексеев соглашался. Так он, по ее указанию, впервые не выслал домой деньги, но купил две широкие деревянные кровати с мягкими матрасами, «полуторки» — одну для девочек, вторую для себя и жены. Купил стол, стулья и две тумбочки. С другой зарплаты купил шкаф для одежды. Теперь комната ему и самому нравилась. Занавески и все прочее Татьяна потом сама устроит, но и так было совсем другое дело. Старый стол Алексеев водрузил на кухне, потеснив онемевшую Макаревичиху. Та, опомнившись, только пробубнила: «Ишь жеребец-то... Забил копытом...» И больше к Алексееву не цеплялась, ни в глаза, ни заглазно.

Кровать он выбросил, а матрас и табурет решил приберечь, что и пригодилось, когда дело дошло до теплицы. Теплицу же решил строить как бы и неожиданно для самого себя, сначала — чтобы занять отпуск, а когда понял, что уложится к приезду Татьяны, — чтобы удивить ее и порадовать, подарок сделать. Размеренно, шаг за шагом продвигая свое строительство по задуманному плану, в августе Алексеев закончил самые трудные плотницкие работы, оставалось только застеклить.

Люди по-прежнему интересовали Алексеева мало, но зато он обнаружил в себе неизвестную раньше способность испытывать чувства к природе. Возможно, что он и полюбил этот северный край за его терпеливое ожидание короткого расцвета и спокойную готовность к новому ожиданию. Первый снег выпал в начале августа, ночью; утром на солнце от него остались только кое-где между кочками белесые горстки, и весь день тайга напоминала прохудившееся ватное одеяло. А на закате вдруг засияла как ни в чем не бывало.

Август был счастливым месяцем для Алексеева. После обычного своего обеда из рыбных консервов с хлебом и крепкого сладкого чая он, захватив пластиковое ведерко, уходил в тайгу собирать бруснику или голубику. Ягоды было много. Быстро наполнив ведро, Алексеев с сожалением оглядывал немеренные богатства, рассыпанные сплошь под ногами. Ложился прямо на бугристую прохладную землю, устланную рыжей лиственничной хвоей, и поедая ягоды своим особым способом, снимая их аккуратно с тонких черенков губами, наполняя так рот, после чего долго, до оскотины, перемалывая во рту сочную мякоть. Это простое удовольствие, случалось, спугивали какие-нибудь другие ягодники, и Алексеев, слыша поблизости их резкие голоса, торопливо поднимался с земли, забирал ведерко и уходил прочь, достраивать свою теплицу. Собранные ягоды Алексеев отдавал Маше. А с сумерками обнаруживалась и другая его странность: заглядываясь на близкие звезды, Алексеев подолгу бездумно сиживал на дощатой ступеньке своего сарая, как бы и пропадая совсем.

В один такой вечер, когда Алексеев созерцал небо, запрокинув по привычке голову, его сильно напугал сосед Андрей, лицо которого вдруг черной глубиной нависло сверху, глаза в глаза. «Фу-ты, черт! — отпрянул Алексеев. — Я и не слышал, как ты подошел. Чего надо-то?» Андрей был сильно пьян, но держался на ногах цепко. «Где Манька?» — спросил. «Не видел я ее... — мирно отвечал Алексеев. — Как ягоду отдал, так потом и не видел». — «Тут она, я знаю. — С пьяным упрямством Андрей отпихнул Алексеева, вломился в сарай. В руке у него был топор. — Манька, выходи! Выходи, говорю, хуже будет! — орал он, в темноте натыкаясь на разные

полезные в тепличном деле предметы. — Выползай, гадюка, а то я сам... А-а, гадина, ты так!..» Андрей, как понял Алексеев по звуку, зацепился за гвоздь, на котором висел чайник; упав, чайник загремел следом, а затем и грабельки с лопатами, с которых, в свою очередь, полетели железные ведра и тазы. В наступившей после долгого перезвона тишине Алексеев засмеялся. Он не хотел обижать Андрея, но и не мог справиться с собственным смехом. И только когда Андрей возник, размахивая руками, белея рубашкой в темном дверном проеме, с перекошенным безумным лицом, смех Алексеева только тогда иссяк, выпущенный дурным топором из груди вместе с сознанием.

Рана оказалась неглубокой, но Алексеев потерял много крови. Очнувшись он уже после операции, которая состояла, как незамедлительно сообщила ему молодая рыженькая медсестра, из одного лишь наложения швов, а чуть бы поглубже — и в самое сердце бы зарубил. «Зарубил?..» В голове у Алексеева то прояснялось, и тогда он отчетливо мог разглядеть свою руку на весу, с прозрачной трубкой, воткнутой в вену, детское лицо медсестры с мелкими кудряшками из-под белой косынки, понять ее слова затемненной словно бы картинкой, где он видел себя, смеющегося, обезумевшего соседа, летящий топор, то возникали, спугивая сознание, ужасающе яркие изображения чудовищ, людей не людей, зверей не зверей. Их рыла, наплывая в тесноте друг на друга, скалясь безмолвно, придвигались к его неподвижному лицу. Этих чудовищ Алексеев хорошо помнил и приходя в полное сознание и не решался поделиться своим сомнением с девушкой в белой косынке — сон ли это был.

— Сегодня что? — спросил он у рыженькой.

Встрепенувшись, девушка быстро приложила палец к губам:

— Вы поменьше пока разговаривайте, у вас во-от такая дыра в груди, ну, зашитая, конечно. Гусев сказал, так совпадает раз в сто лет, чтобы ничего не повредилось, ну, кроме крови. Кровь вам перелили, тоже совпадение раз в сто лет, что быстро нашли с такой же группой, а надо же было срочно, редкая у вас кровь, Гусев говорит. Но и народу ведь было, все шли за вами сюда. Что было! А этот, ну этот, сам вас на руках нес, кричал все время, что убил, через весь поселок и донес до больницы, ну а народ, кто с улицы, другие из домов повыбежали, все тоже сюда. Не расходились, а когда я вышла к ним и сказала, что нужна кровь, все — представляете? все! — вызвались, и из всех — представляете? — только у двадцать какого-то подошла и группа, и резус, вот какая вероятность. Да он с вами же и работает, то ли Захаров, то ли Захаренко, в журнале там записано, теперь, считайте, кровный брат вам. И сам Гусев в больнице оказался, это уж точно чудо, и не пьяный, ночь ведь была, и воскресенье... А, ну да, вы же спросили, понедельник сегодня, Гусев говорит, через пару недель будете как новенький, а тот всю ночь под окнами сидел, в крови весь, теперь подевался куда-то, а вчера просил, чтоб и его, но от него как от холеры все, тетка одна, смешная такая, плевалась в него, ну хоть бы в милицию сдали, сбежит ведь... — Рыженькая передохнула, оглянулась на дверь. Лицо ее было как детская книжка с картинками — и рассказано, и нарисовано. Ей было велено обеспечить необходимый больному покой, а сил не было сдержать собственное волнение. Она, видно было, изо всех сил крепилась с минуту, наконец попросила, коснувшись висячей руки Алексеева:

— Пожалуйста, пошевелите большим пальцем. Не трудно? Ну тогда, пожалуйста, если я вас утомлю, сделайте так, хорошо? Гусев сказал, что, если болтать буду, он мне язык пришьет. — Она прыснула в ладошку. — Ну шутит, конечно. Пугает просто. Но вы все равно пошевелите пальцем, если что, хорошо? А к вам уже с утра приходили, и Захаров, и другие еще, но я не впустила — нельзя пока. Продукты просили передать, но после операции нельзя, только минеральная вода. Ну, если честно, уговорили передать кое-что, но обещайте, есть не будете! Только на третьи сутки!

А сейчас закройте глаза и откройте на счет «три». Раз. Два. Три! — Медсестра считала шепотом, а последнее слово будто лишь и выдохнула ликующе. Алексеев открыл глаза. На вытянутых руках ее, едва уместаясь в обеих ладонях, покоилась, играя солнечными бликами, просвечивая живыми соками сквозь тугую кожицу, Генкина мечта — королева «бычьих сердец». — Я этот помидор вот здесь, на тумбочке, положу, хорошо? Тс-с! Молчите, вам лучше пока не разговаривать, глазами покажите. Болит?

Алексеев шевельнул пальцем. Рыженькая захлопала круглыми глазами, прижала оба кулачка к груди, прошептала: «Простите...» — и затихла. Он почувствовал, что засыпает хорошим наконец сном, перед которым подумалось вяло: «Обидел девчонку, зря...»

ДОЧЬ КРЫЛОВА

Небогата красками Колыма. Но в конце лета высветляется небо, и несколько дней кряду тайга слепит невыносимым сиянием каждого своего деревца, каждого к земле пригнутого куста — ярче северного солнца. В тишине слышно, как иголки лиственниц, легко царапая по ветвям, ссыпаются на сухую траву; а ягоды голубики так много, что собирать ее люди устали, и она опадает гроздьями, скапливаясь между кочками в ложбинках, затянутых даже летом ледком вечной мерзлоты.

В 197... году, как раз в конце августа, приехала издалека в поселок Аркагала Нина Ивановна Крылова с сыном Колей. Аркагала — название якутское, но жили здесь люди пришлые, «с материка» — из центральной России, с Украины, а также осевшие с недавних времен бывшие ссыльные. Жили в разных домах; были в поселке скособоченные черные «халабуды», сколоченные словно бы на один день, но со временем обросшие необходимыми утеплениями, были уважаемые дома в два и три этажа, деревянные и кирпичные. Времянка считался единственный в поселке пятиэтажный блочный «пентагон» — семейное общежитие.

Мужчины поселка работали на шахте или в «разведке» — так называли поселение геологов, прилепившееся на окраине Аркагалы, со своей конторой, длинными, как поезд, бараками и магазинчиком. Все остальное — детский сад, школу, больницу, клуб, ресторан и два магазина — поделили женщины. Мужчине в Аркагале устроиться на работу проще: в шахту возьмут всегда; а вот женщине — в продавцы или хотя бы санитаркой, если посчастливится. Нина Ивановна не могла знать, как ей повезло, что в полученном ею специальном приглашении есть такие слова: «Жилье и устройство на работу гарантируем».

Автостанция, больница, клуб, «разведка» очерчивали жилую границу Аркагалы, а позади этой границы сразу начиналась реденькая лесотундра (в поселке ее называли тайгой) из карликовой березы, лиственницы и крутых косматых кочек, переходящая в стланиковые бока ближних сопок. Смыкаясь вокруг поселка, они защищали его от всех ветров, как в ковше исполинских ладоней. На одной из сопок день и ночь дымила шахта, к ней вела дорожка из мелкого камня и песка.

Другой крайний угол поселка, автостанция, связывает Аркагалу с остальным миром. Автобус из районного центра ходит раз в сутки, и это неудобно в сентябре — октябре, когда возвращаются отпускники. Чтобы добраться с материка, они по несколько дней просиживают в московском аэропорту Домодедово, родственно помогая друг другу — за детьми присмотреть, поесть купить; потом — в Магадане, панически соображая: самолетом до Сусумана быстрее, но Сусуман не принимает; автобус идет больше суток и билетов уже нет; может, на попутке через Усть-Неру? Ну а вдруг через час объявят посадку? — и посадку, через час или через несколько дней, объявляют, и люди добираются наконец до своего района, где один автобус в сутки, и каждый уже сам за себя. А летом и даже еще в конце августа пассажиров мало.

Из автобуса вышли двое — высокая женщина в легком светлом плаще и десятилетний мальчик.

— Мы приехали, мама?

— Приехали, — сказала женщина, поставила на землю чемодан и пригладила рукой коротко стриженные черные волосы. Нина Ивановна посмотрела вокруг: куда теперь идти? Адрес будущего жилья она выучила наизусть, но надо было найти свою улицу.

Огляделся и Коля:

— Здесь красиво. Горы как на Черном море... А где дедушкин самолет? Он далеко отсюда? Мы посмотрим его сегодня?

Коля сыпал вопросами, не получал ответа и тут же спрашивал снова.

Последние часы их большого путешествия Нина Ивановна проспала, уложив голову на плечо сына. И пока автобус, петляя по сопкам, вез их к Аркагале, Коля все смотрел в окно. Кто-то еще в Сусумане сказал, что вся колымская трасса построена на человеческих костях, и он изо всех сил всматривался в эту страшную дорогу. На одной из остановок он даже сошел к обочине и незаметно ковырнул скучную каменистую землю.

Еще Коля узнал, что Аркагала переводится как Долина смерти. Теперь он рассматривал невысокие дома поселка, близкую тайгу и ничего опасного не видел. Сопки были похожи на больших спящих собак.

— Мне нравится Аркагала, — сказал Коля. Еще ему нравилось само это слово, как оно кругло перекатывалось.

— Ты не устал? — тихо спросила Нина Ивановна. — Осталось только дойти до дома.

К домам вела единственная дорога — центральная улица, мощенная уложенными попарно строительными бетонными плитами. Это было необычно и, может быть, удобно, если бы не торчащие по углам каждой плиты петли, хвосты и закорючки арматуры. Центральная уходила прямо вперед, и от нее, как от ствола, расходились все остальные улочки, тоже прямые, но поуже и попроще, без бетона.

— Найдем. — Похоже было, что мальчику действительно все здесь нравится. Коля опередил мать, поднял с земли чемодан и шагнул на плиту, как на ступеньку.

Скоро весь поселок знал, что приехала дочь одного из погибших летчиков, Ивана Алексеевича Крылова. Летчики погибли давно, в войну, они перегоняли самолет из Америки на восток, на фронт, и когда пролетали над Аркагалой, произошло что-то, навсегда для людей неизвестное, отчего самолет разбился, а пилоты погибли. Спустя много лет на место катастрофы случайно наткнулись геологи. Останки летчиков были захоронены недалеко от поселка, около обломков самолета. На могиле поставили обелиск, у которого каждый год в День Победы школьники проводили торжественный митинг. Еще пионеры разыскивали родственников погибших летчиков — писали письма, получали ответы, опять писали, и так продолжалось несколько лет. Нину Ивановну Крылову они нашли.

Крыловым дали комнату в «пентагоне». Снаружи дом как дом, а жить внутри его было тесно. У каждой семьи — своя комнатка и шесть таких же комнаток с соседями, на один общий коридор, общую кухню, душевую и туалет. Правила жизни были просты: душем пользуйся в свой час, коридор и все остальное общее убирай в свою очередь. Была и традиция: в праздничные дни каждая семья выносила в коридор свой стол, и они сдвигались в один длинный состав. Включали магнитофон. Дети, радуясь, ползали под столом, выныривая, только чтоб ухватить чего-нибудь сверху — кусок колбасы, шоколадку. Их никто особенно не ругал — отцы гудели об авариях в шахте, новых и давнишних; хозяйки, разомлев, рассказывали о своей другой, материковской жизни, о здешних преимуществах: можно жить без замка и ключа, капуста в бочках всю зиму на лестничных площадках стоит — и никто ее не тронет; а случается, наоборот, что-нибудь

страшное происходит — пятиклассницу отец изнасиловал, она забеременела, мать сошла с ума; или вот старший брат Перцов зарубил под Новый год младшего топором, хитростью заманив в тайгу, пойдём, дескать, стланика нарубим для елки, и зарубил; а с весны объявление на входе в магазин висит — из зоны убийца сбежал, может, и теперь еще где-нибудь возле поселка кружит, детей беречь надо.

Крыловы жили тихо. Коля ходил в школу, после уроков бежал к матери в поселковую библиотеку. Поначалу каждое воскресенье они ходили к обелиску, но в октябре выпал снег, и он не растаял, а выпадал все чаще и чаще; Нина Ивановна сильно простудилась, и они решили, что теперь уже надо ждать до весны.

Из библиотеки Крыловы возвращались вместе. По вечерам в ресторане пела красавица Лариса Муравская, местная знаменитость: «Чайки, не кричите, сердцу больна-а... Чайки, успокойтесь, ну дово-о-льна...», и ее хриплый сильный голос разносился далеко по заснеженному поселку.

— Тебе здесь нравится? — спросила одним таким вечером Нина Ивановна у сына.

— Жить можно, — ответил Коля.

Нине Ивановне обещали к лету отдельную квартиру. Это было хорошо, потому что Коля подрастал, ну а пока жизнь в «пентагоне» ее не тяготила. По ночам только она подолгу ворочалась в постели, не могла заснуть, мешали стуки, шорохи и приглушенный женский смех за стенкой, где жила супружеская пара: безногий сапожник Володя и его молоденькая жена Надюша.

Однажды утром, когда Нина Ивановна уходила на работу, Володя окликнул ее:

— Соседка, подь сюда.

Он, как всегда, сидел на ковровом половичке у своей двери, здесь он работал — кроил, сшивал, подбивал, клеил, насвистывая сквозь цыганскую кудлатую бороду мотивчик. Нина Ивановна, встречая его в коридоре, всякий раз немного пугалась: природный рост его был, вероятно, огромен, но без ног он едва доходил ей до пояса.

— Что-нибудь с кухни принести? — спросила она, не двигаясь с места.

— Да подойди, говорю, — скомандовал Володя и, когда она приблизилась, приказал: — Разувайся.

Нина Ивановна оцепенела: не грабить же он ее собрался?..

— Да мне на работу...

— Вот и переобуйся, а то загнешься в своих баретках. — Володя протягивал ей сапожки удивительной красоты, сшитые из оленьего меха особым узором, шашечками, с бисерной вышивкой. А руки у соседа были огромные, не такими бисером вышивать.

— Ну, Володя... — Она опустилась на обувную полку рядом с сапожником. Взяла в руки унты; пальцами, как сослепу, ощупала узор. — Это чудо. Неужели все сам?

— Ну так... — Володя заулыбался гордо. — Да ты обувай. На материке, поди, таких сроду не увидишь.

Нина Ивановна вздохнула, поставила сапоги на пол:

— Не могу купить такие. У меня денег нет.

— Ну анекдот! — Володино лицо омрачилось; он секунду поколебался и вдруг ловко, обхватив одной ладонью ее ногу у колена, сдернул легкий сапожок. Нина Ивановна слова сказать не успела, а он то же самое сотворил и с другой ее ногой. — А теперь обувай эти. И носи. Разбогатеешь — вспомнишь, а нет — тем более носи, не то загнешься. Пройдись, не жмут?

Нина Ивановна подчинилась. Ноги, от нежданной роскоши, вдруг сделались будто сами по себе. Они восхитились, сладко охнули, зарылись в теплый мех, крутанулись, пританцовывая, засмеялись; они возмутились: ты хочешь отнять у нас *это*?

— Но я не могу... — начала было Нина Ивановна и замолчала. Володя не смотрел на нее. Он низко наклонил голову и что-то уже делал, какую-то свою работу. — Теперь-то уж я обязательно разбогатею, — хотела пошутить Нина Ивановна, но он едва кивнул, не отрываясь от своего занятия. — Спасибо, Володя, — сказала Нина Ивановна, и он расхохотался, подняв наконец к ней лицо.

— Ну, теперь все правильно. На здоровье.

— Так я пошла?.. — Нина Ивановна неожиданно для себя самой приотпнула ногой и, смутившись, выскользнула на лестницу.

Ночью она долго, тревожней обычного, вслушивалась, что там за стенкой, и ей было стыдно, потому что там было тихо, а она все слушала.

К весне морозы ослабли; Нина Ивановна часто повторяла вслух: «Неужели зиму пережили?..»; это, казалось, удивляло ее больше всего. «Неужели скоро апрель?» — отвечала ей с театральным ужасом на кукольном личике Володина жена Надюша, она училась заочно в педагогическом институте, и в апреле у нее начиналась сессия. Надюша часто заходила к Нине Ивановне в библиотеку, вечером к ним присоединялся Коля, и все вместе пили чай. Надюша болтала, за окном потрескивали от мороза деревья и даже, кажется, дома, и от этого чай казался необыкновенно вкусным.

— Неужели вы раньше не знали, что я пионервожатая? — часто искренне недоумевала Надюша. — А школа мне направление дала в институт, до диплома еще три года тянуть. Если бы не муж — не выдержала бы, уж не выдержала бы, это точно. Закончу — будет двадцать семь, кошмар, да? Двадцать семь, ужас. Конечно, не пионерский возраст. А Вовику знаете сколько? Ну сколько дадите? У него борода такая, а сам он не такой уж старый — сорок семь уже!

Нине Ивановне нравилось слушать эту быструю бестолковую речь, а еще больше нравилось смотреть на Надюшу, тоненькую, нежнолицую, с золотистыми волосами, заколотыми на затылке узлом. Волосы выбивались из прически, и Надюша постоянно трогала детскими пальчиками упрямые светлые стружки вокруг лба, на висках, за ухом.

— А в каком шоке все были, особенно мои мамуля с папулей, когда мы поженились, а это, если по правде, лично я его на себе поженила. А кто здесь есть вокруг? — алкоголики, зеки, подлецы или женатые, у меня один такой подлец был, первый, нет, лучше Вовика не бывает, он настоящий мужик, и знаете, сколько зарабатывает, он мастер, в Магадане был нарасхват, ну и здесь, конечно, но здесь глухомань, я здесь вначале медсестрой устроилась, после медучилища, но медики все алкоголики, чистый спирт пьют, а между прочим, это я Вовика сюда приехать уговорила, чтоб никуда не делся, здесь я спокойна...

Иногда хотелось отключить Надюшу, как телевизор, чтобы только смотреть, но долго злиться на нее Нина Ивановна не могла.

В апреле Надюша уехала сдавать сессию. По утрам, выходя из комнаты с полотенцем и зубной щеткой, Нина Ивановна неизменно заставала Володю уже за работой. Насвистывая, он кроил, сшивал, клеил, подтачивал. Кивал соседке: «Здорово». — «Доброе утро», — улыбалась она в ответ. Нина Ивановна не могла вспомнить, чтобы с того дня, когда он подарил ей сапоги, между ними был еще какой-нибудь разговор больше нескольких обычных слов. И все же, странное дело, он казался ей вторым после Коли родным человеком. Десять слов на день — это не так мало, но главное — его присутствие рядом. Нину Ивановну уже не тревожила ночная жизнь за стенкой, она не прислушивалась к шорохам, смеху и раздраженным голосам, а соседи, бывало, крепко ссорились; и тогда, различая их голоса, низкий монотонный и высокий жалобный, Нина Ивановна хотела только одного — заснуть, чтоб завтра все вернулось на свои места. Ей было покойно оттого, что всегда рядом, за тонкой стенкой есть сильный человек, которому не все равно, загнетса она или будет жить.

— Доброе утро! — приветствовала она Володю утром, проскакивала в душевую и улыбалась, ловя губами упругую воду. Она напевала тихонько и внезапно со смехом обрывала себя: мелодия оказывалась украденной только что у Володи.

А то, проходя рядом с ним, Нина Ивановна замедлялась, но о чем говорить? Так люди, прожившие вместе многие годы, понимают все без лишних слов. Однажды Нина Ивановна впервые увидела его на улице. Володя как раз выбрался из продуктового магазина, на спине его горбатился рюкзак, он натянул перчатки и на минуту как бы задумался не двигаясь. Потом — раз — поставил руки на грязную землю, два — выкинул вперед свое тело, три — шлепнул его, это шаг. И так зашагал, отвечая весело кивком головы на приветствия встречных прохожих. Нина Ивановна догнала его без труда: «Добрый день, Володя!» — «А-а, соседка, здорово, что это ты так рано с работы, а я вот к праздникам закупаю, клади давай свою сумку сверху, доставлю...»

Близилась майские праздники. Пора уже было вернуться Надюше.

Надюша не ехала.

— Может, заболела? — спросила Нина Ивановна у Володи. Он промолчал.

Первого мая коридор гулял. Не было двух столов, Володиного и Ниного. Володю с утра она не встретила на обычном его месте, но это можно было объяснить всеобщей вокруг суетой и беготней — не поработаешь... А если заболел, упал, руку сломал, отравился, да что угодно? Был бы здесь Коля, Нина Ивановна послала бы его узнать, но Коля ушел гулять, а сама она — ну конечно, по-соседски, по-дружески, почему же так трудно, но был один случай, давно, но был, и никто, кроме их двоих, не может об этом помнить, как он разул ее насильно, ухватив ладонью плотно ногу под коленом, сначала одну, а потом другую, это разве ничего?

Нина Ивановна прижалась ухом к стене. Там было тихо. В коридоре — очень шумно, а за стеной — молчание. Она приложила к уху обе ладони, чтоб шум не мешал. Что-то было? или показалось? Нина Ивановна стукнула в стену, тихонько, одним пальцем. Еще раз — погромче. Прислушалась.

Услышала. Надюша смеялась. Приехала Надюша. Нина Ивановна легла на кровать лицом вниз, накрыла голову подушкой.

В день 9 Мая тепла не было, в воздухе метались льдистые крупинки, и пока продолжался митинг, они пригоршнями засыпали букеты цветов. Большой снег уже сошел, и обломки самолета выпирали из стьлой земли гигантскими потемневшими костями.

Крылова стояла у обелиска в своем легком светлом плаще, с непокрытой головой, не слушала, что говорят пионеры и их вожатая Надюша, не смотрела на них, не слушала и не смотрела, и когда холодной крупой особенно сильно сыпануло ей в лицо, Нина Ивановна закрылась руками и заплакала. Мальчик, читавший стихотворение, сбился, попытался продолжить, но сбился опять и замолчал, и никто уже больше ничего не говорил, а она все плакала, сильнее и сильнее, вскрикивая жалобно: «Папочка!.. Ах, папочка...»

В другие годы Нина Ивановна Крылова хоть и волновалась, но прочитывала до конца заранее подготовленную речь, и митинг у обелиска всегда проходил по намеченному.

САШИНО ГОРЕ

— Старо-ой! На выход!

«Полицайка старая... — вздрогнул на больничной кровати Саша Старых. — И чего орать-то...» Он поспешно пошарил ногой под койкой в по-

искал шлепанца, шепотом ругая санитарку: «Сколько ей повторяешь: Старых, Ста-рых — назло все тут же забывает, бендера чертова...» Он нащупал наконец твердую подошву, сунул холодные ноги в тапки. Шерстяные носки не греют, окна забелены морозом. Зябко ужав свое маленькое тело, Саша поднялся с кровати. Кто еще мог прийти к нему на ночь глядя? Милиционер уже все узнал, что ему нужно было, жена в такой час — вряд ли: темно, холодно, за пятьдесят, если не врет термометр за окном. Не хочу ее видеть, не пойду, решил Саша, а бабке надо про бича сказать...

— Спишь, что ль? Не спи — замерзнешь! — хохотнула старуха, заглянув в палату. — Ступай к жене, она там в приемной сидит.

В углу зашевелился Иван Иваныч, единственный Сашин сосед по палате. Его поместили сюда для лечения истощенного организма, а подобрала случайно во дворе больницы сама санитарка Невзорова. Не ковырня она перед ночным дежурством странный сугроб на краю протоптанной тропинки да не заподозри под панцирем обнаруженной телогрейки живую душу, лежать бы старому бичу на том самом месте до апреля, когда из-под полугодовых сугробов начинает оголяться промерзлая земля. Старуха волоком доставила блаженно бесчувственного Иван Иваныча в приемный покой, где очкастая медсестра, с одного взгляда установив личность больного, запричитала: «Куда нам его? Это ж бич, Иван Иваныч! Ну сгинул бы сам по себе, мало ли их таких, а теперь что с ним делать! А если у нас прямо здесь и окочурится? Кто отвечать будет, кто?» Невзорова, не желая понимать своей ошибки, принесла охапку снега, принялась растирать им лицо старика, отчего с него сошла примороженная беспечная улыбка и синие губы расклеились, выпустив мучительное: «А-а-а...» Его переодели во все больничное, поместили в палату с диагнозом — истощение организма, стали колоть витаминами и кормить теплой пищей. Документов у старика не имелось, его в поселке и так все знали. Летом он обычно где-то пропадал, и о нем успевали позабыть, однако с первыми холодами Иван Иваныч неизменно объявлялся, устраиваясь на зимовку в деревянной будке автостанции, холодной, но с электричеством. Его оттуда не гнали. Еду он промышлял обыкновенно на заднем дворе ресторана, где кухарки по доброте оставляли ему отдельный пакет с отбросами, в стороне от общего помойного бака, кормившего бездомных собак и кошек. Ресторанные кормилицы и прозвали старика Иван Иванычем, а настоящего его имени никто не спрашивал. А он, казалось, и говорить разучился. Никому Иван Иваныч беспокойств не причинял, проживая так до лета. Когда исчезал — ну, думали, помирать ушел в тайгу, и забывали. Но он возвращался, напоминая собой о приближении зимы. И вот, полежавши безмолвно с недельку на больничной кровати, Иван Иваныч произнес вдруг как бы в пустоту: «Потерпите, милые... Недолго осталось...» После чего и вовсе непонятно заговорил, не по-русски. Саша был в палате и даже на какое-то время забыл о собственных горестных мыслях, так поразили его слова и дальнейшая чуждая речь Иван Иваныча. Он оцепенел, как если бы вдруг заговорила голая тусклая лампочка над его головой. «Ты чего это?» — спросил он быстро шепотом. Иван Иваныч вздохнул дребезжащей грудью глубоко, затих. Саша прислушивался, не решаясь подойти к старику, и как раз собирался позвать кого-нибудь, чтобы, если умирает дед, не оставляли их на ночь вдвоем, когда громкий бас Невзоровой позвал его на выход, а затем в дверь просунулась и сама ее усатая физиономия.

Саша сказал: «Моя фамилия Ста-рых. А во-вторых, посмотрите там на деда, он разговаривать начал. Помирает».

Саша поплелся по коридору. Сложенные крест-накрест руки он спрятал под больничным халатом. Толсто забинтованные, ладони были словно бы в боксерских перчатках. После ампутации целыми остались только большие пальцы, остальные отрезаны на две трети, а мизинцы — оба подчистую. Когда Гусев кромсал ему под местным наркозом руки, Саша слышал хруст костей, и до него все не доходило, что это хрустят его собственные пальцы. Когда увидел их скрюченными, почерневшими, отброшенными

ми в медицинскую урну — дошло. Один палец зацепился за край железной воронки нестриженным ногтем и все не падал в черное отверстие урны, и Саша заплакал, узнавая этот свой палец, левый указательный, с давнишним шрамом от пореза. И пока он не упал, стукнув, Саше все казалось, что это сам он висит, уцепившись за скользкий край пропасти, пропадая вот так даром помойным отбросом. «Мужик ты или кто. Радуйся, что живой остался», — сказал Гусев. А Саша и в палате не мог еще долго остановиться. «Мои руки, мои руки», — приговаривал он, всхлипывая, прижимая забинтованные культы к груди. Горе его было сильнее даже боли, которая не замедлилась, едва наркоз начал отходить. Он еще кричал, требовал, чтобы отрезанные пальцы не выбрасывали на помойку, где их съедят крысы или собаки, чтобы отдали их ему, а он уж знает, как с ними поступить. Потом ему сделали укол, и Саша заснул.

Плакать Саша стал часто: как посмотрит на руки свои — так слезы сами и начинают сочиться. Хуже всего, что сами, ничего он не мог с ними поделать. Приходил милиционер Вишневский, расспрашивал, как дело было, записывал, и Саша, глядя на авторучку в толстых пальцах Вишневского, покрытых густым черным волосом, вспомнил свои, красивые. Захотелось тут же послать милиционера ко всем чертям, но пересилил себя, только слезы утер. Вишневскому он рассказал всю правду: что вскочил он себя не помня в машину и погнал по трассе, да не превысил, просто занесло, лед же, и прицеп позади болтался. Почему машину во дворе поставил — все так делают, если в смену с утра. Был бы пьян — не пополз бы, на одних ведь пальцах и полз километров пять, пока не подобрали. Вишневский все записал, захлопнул свою тетрадку, помолчал и спросил смущенно: «Зачем погнал-то?» До этого простого вопроса Саша словно бы и не вспоминал последнего вечера, он был последним в прошлой жизни, утерянной вместе с пальцами, и было уже не так важно, зачем и почему. Но Вишневский спросил, и Саша вслух повторил: «Зачем?» Милиционер, потя, обтирал широкое лицо аккуратным белым платком, поглядывал, как показалось Саше, с нестерпимой жалостью.

«Тебя как звать? — спросил он милиционера. — Петром? Ты, Петр, не обижайся, но сказать я тебе не могу. Про дорожное происшествие я тебе все честно ответил, тем более что не погиб никто, а про это мне самому еще подумать надо. Да и какая разница». Петр поморгал коровьими глазами и тяжело поднялся со стула: «Как хочешь. Я и спрашивал просто, чтоб понять, у тебя же семья, зачем было губить себя». Большой, мягкий, Вишневский походил скорее даже на женщину, поросшую по недоразумению природы кустистой шерстью.

«Эй, Петр, — окликнул Саша милиционера, когда тот уже был в дверях. — У тебя почему кольца на руке-то нет?» — «Холостой я. — Вишневский опять обтер лицо. — Не везет никак. Ну, поправляйся». Он тихо и плотно закрыл за собой дверь.

Маленько соврал он Вишневскому, конечно, насчет алкоголя. Это было, но это было когда еще, днем. В диспетчерской провожали старый год. «Сашуня, штрафную!» — потребовали, когда он ввалился с мороза в тепло застолья, украшенного гирляндами, блестящим елочным «дождиком» и ветками стланика. Саша посидел, как положено, с коллективом. Засиделся, конечно, разомлел. Куреньшкина звала к себе продолжить, но Саша отказался. У нее, понятно, свой интерес, а ему как потом с Зойкой объясняться? Домой приехал затемно, поставил машину у подъезда. Эта новогодняя ночь, он предупреждал Зойку заранее, будет сухой — с утра его смена. Она же сама будто и радовалась — не готовить салатов-холодцов, хоть выпимся. У Зойки, как зима, одно желание остается — выспаться, поспать, доспать. Когда сын в мореходку поступил, и вовсе обленилась. Хозяйство запустила, раньше хоть пельмени лепила, а теперь как студента кормит мужа, супчики какие-то из концентратов, котлеты из полуфабрикатов кулинарных. Саша и вошел в дом, ожидая увидеть там Зойку с обычным хотя бы ужином. А что он обнаружил? Пустую квартиру,

даже как бы и нежилую, темную и остывшую. Поначалу решил — спит, должно быть, лентяйка, ей бы медведем родиться. Свет зажег везде — пусто. Чисто прибрано, а только еще хуже от этого, будто в насмешку. Зойки дома не было. На кухонном столе нашел записку: «Я у Лазуткиных, с Новым годом». Саша бросился к телефону, звонить Лазуткиным. Все хотел ей высказать: что свинство так мужа встречать, что в последнее время она вообще что-то ему не нравится, то срочные вызовы на работу, то бесится ни с того ни с сего, психует, я, говорит, всю жизнь из-за занавески проглядела, а то пластинку одну и ту же заведет и крутит ее, и крутит, обеды кое-как готовит, спать, говорит, давай отдельно, храпишь сильно, это пятнадцать лет ничего, не мешало, а теперь вдруг мешает? Может, тревожился Саша, узнала она про Куренышкину, кто-нибудь сболтнул, и теперь мстит? Но на Зойку это не походило, Зойка — простая душа, раньше она, если Саша давал повод, не таилась, а прямо лезла с кулаками. Ну какие там у нее кулаки, со спины Зойку за пионерку принимают. Телефон у Лазуткиных не отвечал. Саша решил было уже плюнуть на все и залечь до утра, но въедливая, как червь, картина так и вставала перед его растерянным сознанием: Зойка, хмельная и нарядная, какой она давно уже не бывала, танцует с каким-то мужиком, глядит ему в лицо, смеется. Лазуткины и всегда собирают к себе на праздники чуть не полпоселка, им что — молодые, бездетные, но Зойка-то, Зойка, в ее-то сорок? О другом Саша старался не думать. Тогда пришлось бы сводить воедино это ее отсутствие и произнесенное однажды сгоряча кем-то из них, теперь уже неважно кем, слово «развод», за которое оба затем цеплялись уже при каждой ссоре, грозили им друг другу, и это слово, как ковровая палка-выбивалка, всегда было под рукой, висело в самом воздухе их жизни последних лет. Поначалу и правда поругаются, пошумят — как пыль выбьют из своего поблекшего супружества. Мирились по-хорошему, считай ведь, жизнь прожили. Потом злее стали упреки, Зойка даже на его, Сашины, мужские достоинства намеки делала ехидные, после чего и мириться у него пропадала охота. А Зойка сама хороша, вечно сонная, не улыбнется, растянутый спортивный костюм не снимает с себя, вон полный шкаф платьев — для кого бережет, да хоть бы и халат простой надела. «Ну кому ты нужна, чучела, — как бы шутя говорил ей Саша. — Ну давай разводишься, ищи себе принца на раздутых парусах, вот посмеюсь-то». Но, говоря это, Саша и в голове не держал, что возможно так запросто: чик — и разрезать надвое их общую жизнь. Ну, скучно им вдвоем, особенно без сына теперь, иногда днями не разговаривают, и не тянет друг ко другу, как в молодости, ну и что же? Не разменивать же из-за этого квартиру, ложки-вилки делить. Саша, правда, заглядывался иногда на других женщин, нравились ему они, молодые, веселые, ну а какому живому человеку такие не нравятся? Тем более если сама подойдет, разговаривает, в глаза глядя, и руку его со спины не сбросит, будто не замечая. А только Зойку он никогда бы из-за них не бросил, чужие бабы — они и есть чужие, даже и безмужние. От Куренышкиной он вон как бежал, как только ванну ее загаженную увидел, так и своротило его, разве ж это женщина. У Зойки с этим строго. Опять же, и другую свою вину перед женой Саша признавал. Когда в последний раз хотя бы в кино с ней ходил? Да просто подарок какой-нибудь, помаду там или еще что. Зойка сама покупала. Саша еще раз набрал номер. После первого гудка в трубке щелкнуло, и она заорала голосом Лазуткина: «С Новым годом! Ур-ра!!! А ты кто?» Вопрос он произнес уже как бы утомленно, с пьяной наглостью. Память подсказала отчество Люси Лазуткиной, и Саша зачем-то измененным тонким голосом попросил: «Людмилу Васильевну, будьте любезны». В наступившей тишине отдаленно звучала музыка, Саша напряг внимание в надежде услышать людские голоса праздничного застолья — нет, только эта мелодия. «Шура, — сказал Лазуткин, — Люся уехала, еще на прошлой неделе, насовсем. К родителям на Сахалин. Понимаешь? Люся — человек, все поняла. А Зою я тебе не позову. Хочешь — приходи, поговорим». Тогда Саша и закричал. Что он приедет, не сомневайтесь. Что

раздавит их обоих, как гадливых червяков, и никто его не осудит. Что в новогоднюю ночь, сволочи, в новогоднюю ночь. Он им покажет новое счастье, как червяков подавит.

Обстоятельный Петр наверняка спросил бы, зачем же это тогда Саша погнал машину по скользким сопкам, если у Лазуткина квартира в кирпичной трехэтажке, в центре поселка. «Ладно уж, какая разница, теперь все равно, — бормотал Саша, часто останавливаясь передохнуть. — Все-рав-но, все-все-все. Какой длинный этот коридор, потом еще обратно ползти...» Злости он не держал, она осталась в той его, как теперь оказывалось, благополучной жизни, где здоровым людям все чего-то не хватает, и они маются, не понимая — чего, и злятся, обвиняя друг друга. Теперь для Саши многие важные раньше вещи сделались микроскопическими, далекими, как в перевернутом бинокле. И наоборот. Что санитарка прямо перевирает фамилию — злило всерьез, а что Зойка от него уходит, работа потеряна, может, еще и судить будут — какая разница, не имеет значения, все равно... До лестницы он добрался обессиленным. Перед глазами плавали, мерцая, белые точки, сердце стучало в самое горло. Забывшись, Саша ладонями облокотился о перила...

Зойкино лицо было близко над ним. Она редела без стеснения, не вытирая слез, ладони подстелив под Сашину голову. Тянула громко носом, захлебываясь, звала к потолку: «Ну кто-нибудь... Нянечка, ня-неч-каа... Ну пожалуйста, кто-нибу-удь...» Саша молча смотрел на жену снизу. Вязаная шапка съехала на затылок, сколько лет ее носит. Слезы, скатываясь быстрыми каплями по Зойкиным щекам и подбородку, забрызгали уже, кажется, всю лестницу. Порывисто передохнув, она шмыгнула носом, посмотрела на него, замерла, позабыв закрыть рот. «Дура ты у меня, Зойка, — сказал Саша. — Сказка о потерянном времени. По щекам надо было пошлепать, сразу».

Вместо эпилога к трем историям

В том поселке прошло мое детство, с восьми до шестнадцати лет. Поэтому, описывая события почти что двадцатилетней давности, я не ручаюсь за достоверность фактов. Тем более что все написанное здесь — не что иное, как мозаика, составленная памятью и воображением под впечатлением нескольких случайно сохранившихся любительских фотографий. Моя лучшая подруга Таня Алексеева не расставалась со своей «Сменой». Алексеевы жили на одной с нами лестничной площадке, и Таниного отца я хорошо помню. Это был красивый человек, крупный, черноволосый, с чистыми синими глазами, обведенными, как у всех шахтеров, несмываемой угольной пылью. Лицо его даже зимой выглядело загорелым. Танин папа разъезжал на «авто» — мопеде, какие имелись почти что у всех поселковых пацанов. А летом, работая в теплице, он никогда не снимал с себя красную клетчатую рубаху, стеснялся уродливого шрама на груди. Он и на фотографии — сидит на крыше своего сарая, кулак победно вскинул вверх, улыбается, щурясь против солнца, верхняя пуговица на рубахе расстегнута. Позади него виден еще клочок тайги, где просматривается совсем уж неопределенное светлое пятнышко, — это я загораю, потому и фото получила на память.

Маша и Андрей — были, но после истории с Таниным отцом Андрей исчез из поселка — бежал, наверное, в страхе попасть под суд. От Маши люди стали держаться подальше, «она, конечно, баба незлая, — говорили, — но ведьма...», да и не от кого уже ей было спастись у соседок. Пожила так какое-то время опустелой жизнью, никто и не заметил, как спилась до смерти.

Алексеевы покинули поселок, когда обе дочери, поменяв фамилию, зажили своими семьями, в разных городах страны. А родители их, откладывая окончательный отъезд — то из-за надбавок, то по необходимости подкормить на приданое дочерям, поддержать их студенческие семьи, а потом

чего уж, двадцать лет колымского стажа кому помешают, — так и прошли потихоньку известный этот путь северных старожилов.

Крылова — это фото торжественное, Танька постаралась для школьного архива. Погода была удачная, солнца много. У Нины Ивановны глаза опущены, губы поджаты. Прядь черных волос выбилась из незамысловатого узла, как женщины обычно на скорую руку справляются с длинными волосами, и застыла, вскинута ветром, поперек лица. С ее сыном Колей мы учились в одном классе. Рядом с Ниной Ивановной стоит Надюша, наша маленькая пионервожатая. Она беременна, плащ топорщится над животом, и кажется, что Надюша растерянна и ничего не понимает, зачем она здесь, кому она здесь понадобилась, почему декретный раньше не дают, хотя бы с пяти месяцев, хотя бы пионервожатым. Стоят еще рядом с обелиском участники войны. Живы ли они теперь? Герой Советского Союза Крыловский, кавалер трех орденов Славы Жуковский (фамилии действительные, а имена-отчества позабыла), оба высокие, седые. Между этими двумя богатырями смешно маленькой выглядит бессменная председательша поссовета Екатерина Петровна Трусова, Трусиха, как ее называли в поселке. У Трусихи вся грудь в медалях. Остался за кадром, жаль, разбитый самолет, и все мы, читающие эстафетой по несколько строк поэму Роберта Рождественского: «Помните...» Мы подносили им цветы, это были тюльпаны. Помню такую неловкость: протягиваю Жуковскому букет, а он наклоняется, вроде хочет поцеловать. Теряюсь, отскакиваю, рискуя сломать хрупкие стебельки, торопливо всучиваю ему цветы и чуть не бегом возвращаюсь в свою шеренгу.

Из каких воспоминаний, фантазий и фактов образовалась история Саши Старых, мне и самой не распутать до конца. На фотографии — автостанция, ни души. Не похоже, что это Танькиных рук дело, она все больше людей запечатлевала. В этом деревянном крашенном известью домишке, в его зале ожидания, зимой спасались от морозов бичи и бичихи, ими мамы пугали детей: «Гляди, есть не будешь — бич прибежит, унесет», «С твоими двойками (твоей ленью) прямая дорога в бичи», и самым большим оскорблением для любого нормального человека было сравнение с этими несчастными людьми. По разным причинам они оказывались бездомными и безработными, не все ведь из них добровольно выбрали такую свою долю. «Иван Иваныч», например, самый старый бич, потерявший даже имя свое, давно утратил надежду вернуться на родину в Латвию, где его никто и не ждал — вся семья погибла. А санитарка Невзорова притащила его, замерзающего, в больницу, когда старик был вытеснен из обычного своего зимовья более молодыми и правда способными на жестокость бичами. Умер он в больнице, и похоронили его мать и сын Невзоровы на поселковом кладбище, «как человека». Старуха и поведала, что покойный был не Иван Иваныч, а — латыш. Хотя имени его так и не разобрала, трудное имя.

Саму Невзорову называли «бендерой», можно сказать, по наследству. Сын ее, бывший солдат генерала Власова, остался после отсидки на Колыме, проживал в собственноручно сколоченном, похожем на сарай домишке и место выбрал на обочине дороги, за поселком. Что он был за человек — я не знаю, помню только, как мы с отцом несли саженцы помидоров для теплицы, завернув их в одеяла, весна, холодно, а нести надо было километров пять-шесть, и когда проходили мимо дома Невзорова, он кричал нам: «Поморозили, все поморозили! Можете сразу бросить, на дорогу прямо!» Отец даже не посмотрел на него, зло шептал: «Власовец проклятый, предатель недобитый...» Мать приехала к Невзорову с материка, помогала ему жить. Могучего роста и сложения старуха, она первым делом пошла к Трусихе, требовать угля к зиме. «Я свое в жизни отбоялась, — сказала она громогласно. — Как люди будем жить». Трусиха недолго колебалась: вмиг возникшая симпатия к старой матери пересилила в ней ненависть к сыну,

и Невзоровым был доставлен грузовик с углем. Старухе — тоже исключительный случай — скоро подыскали место санитарки в больнице. «Из ума наша Трусиха выжила, что ли? — ревновали женщины. — Бендеру прямо на руках носит...» Но Невзорова знала правила первой помощи при обморожениях, а также, что было не раз проверено, имела свой безотказный способ мгновенно протрезвлять человека, натирая ему уши ладонями. Другие пробовали — не то... И с «бендерой» смирились. На Колыме она прожила года три-четыре. Может, организм ее был не таким уж крепким, как казалось по виду, а может, решила так сама, что пора: в их доме поселилась другая женщина. Если б это была обычная девка, какие по трассе туда-сюда промышляют, оседая передохнуть у любого случайного порога, такую она и на дух не подпустила бы к сыну, от таких только новые несчастья. Но женщина оказалась хорошая, непьющая. Отчищать принялась сковородки, до которых у самой старухи руки не доходили. И сына, Семёна, при ней как подменили, ласково так иногда погладит мать по голове — чего с ним с детства не бывало. Старуха Невзорова померла успокоенной, что в хорошие руки своего сына, страдальца, передала.

А пальцы — их потерял мой собственный отец, при иных обстоятельствах (в сравнении с Сашей Старых, которого и не существовало) и с иными, по большому жизненному счету, подробностями — о чем имею право умолчать. А как он слышал их хруст и видел их уже отрезанными — рассказал в первый же вечер, когда мы с мамой и братом пришли к нему в больницу.

Автостанция — и ни души. Будто все уехали оттуда, в один день, в одном автобусе.

1990 — 1995.



ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

*

НЕВОЗМОЖНО ОХВАТИТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ

«Это я»

1

Это я.

2

Это тоже я.

3

И это я.

4

Это родители. Кажется, в Кисловодске. Надпись: «1952».

5

Миша с волейбольным мячом.

6

Я с санками.

7

Галя с двумя котятами. Надпись: «Наш живой уголок».

8

Третий слева — я.

9

Рынок в Уфе. Надпись: «Рынок в Уфе. 1940 г.»

10

Неизвестный. Надпись: «Дорогой Ёлочке на память от М. В., г. Харьков».

11

А это отец в пижаме и с тяткой в руке. Надпись: «Кипит работа».
Почерк мой.

12

Мама с глухой портнихой Татьяной. Обе в купальниках.
Надпись: «Жарко. Лето 54».

13

А это я в трусах и в майке.

14

Сидят:

15

Лазутин Феликс.

16

И чья-то рука, пишущая что-то на листе бумаги.

17

Голубовский Аркадий Львович.

18

И капелька дождя, стекающая по стеклу вагона.

19

Розалия Леонидовна.

20

И маленький розовый конверт, выпавший из женской сумочки.

21

Кошелева Алевтина Никитична, уборщица.

22

И беззвучно шевелящиеся губы телевизионного диктора.

23

Покойный А. В. Сутягин.

24

И обрывок фотографии, плывущий по весеннему ручейку.

25

Гаврилин А. П., школьное прозвище «Таксидермист».

26

И надувшиеся вены на руках пожилого рабочего.

27

Проф. Витте.

28

И раскрытый зонтик, медленно выплывающий из-под моста.

29

Стоят:

30

Мартемьянов И. С.

31

И мы видим одинокий листок, оказывающий отчаянное сопротивление
ледяному осеннему ветру.

32

И надпись: «При чем здесь я?»

33

Могилевская С. Я. и Пилипенко В. Н.

34

И мы видим падающие на пол золотые кольца состригаемых волос.

35

И надпись: «Виноваты все, а отвечать тебе».

36

Толпыгин Г. Я.

37

И мы видим заплаканное лицо итальянской тележурналистки.

38

И надпись: «С тех пор прошло немало лет, а ты все тот же, что и был, как некогда сказал поэт, чье даже имя позабыл».

39

Иоахим Сарториус.

40

И мы видим разорванный пополам валет пик на сиденье кожаного кресла.

41

И надпись: «Здесь будет все: и плеск весла, и слово нежное люблю той,
что еще не доросла, чтоб строить глазки королю».

42

Говендо Т. Х.

43

И мы видим шесть или даже семь ярко-оранжевых таблеток на дрожащей
детской ладошке.

44

И надпись: «Такой я буду умирать. Другой споткнусь и упаду. Недаром так боялась мать, что я пойду на поводу».

45

Макеева О. А.

46

И мы видим отмеченный крестиком на географической карте город Бохум.

47

И надпись: «Привычка так существовать восходит к той еще поре, когда шуметь и приставать не разрешали детворе».

48

Конотопов В. Н.

49

И мы видим кучку собачьего говна со свежим следом велосипедного колеса.

50

И надпись: «Когда устанешь ждать беды в своем таком родном углу, запомни влажные следы на свежeweымытом полу».

51

Замесов В. Н.

52

И мы видим детский пальчик, неуверенно подбирающий на клавишах мелодию шубертовской «Форели».

53

И надпись: «Терпенье, слава — две сестры, неведомых одна другой. Молчи, скрывайся до поры, пока не вызовут на бой».

54

И мы различаем в полумраке силуэт огромной крысы, обнюхивающей лицо спящего ребенка.

55

Это я.

56

И тут наконец-то появляется большая серебряная пуговица на дорожном плаще молодого человека, едущего навестить умирающего родственника.

57

И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера.

58

И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы.

59

И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека.

60

И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата.

61

И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача.

62

И слегка подрагивает блестящий клюв большой черной птицы, неподвижно сидящей на голове гипсового бюста античной богини.

63

Это все я.

64

Лазутин Феликс: «Спасибо. Мне уже пора».

65

Уходит.

66

Мартемьянов Игорь Станиславович. Сезон откровений: Сб. лит.-критич. статей. М. «Современник». 1987.

67

Голубовский Аркадий Львович: «Ну что ж. Я, пожалуй, пойду».

68

Уходит.

69

Толпыгин Геннадий Яковлевич. Крещенский зной. Стихотворения и поэмы. Тула. Приокское кн. изд. 1986.

70

Розалия Леонидовна: «Уже поздно. Мне пора».

71

Уходит.

72

Могилевская Сусанна Янкелевна, Пилипенко Владимир Николаевич. Нам весело! А вам? — Репертуарный сб. для учащихся 4 — 6 кл. школ слабо-слышащих. М. «Просвещение». 1984.

73

Кошелева Алевтина Никитична, уборщица: «Ой, батюшки! Что ж это я расселась-то? Надо уж идти».

74

Уходит.

75

Сарториус Иоахим. Формула колеса. Роман. Пер. с нем. Послесл. В. А. Ривкиной. М. «Наука». 1984.

76

Покойный А. В. Сутягин: «Бывают ли у вас, Любочка, такие состояния, при которых буквально все, что происходит с вами и вокруг вас — вон старушка — видите? — что-то ищет в сумке, а вон кошка забежала за угол, — что все это исполнено какого-то великого и тайного смысла, который, кажется, сделай лишь малое усилие — и поймешь сразу и навсегда? Что, простите?»

77

«Ничего, я слушаю».

78

«Так бывают или нет?»

79

«Что — бывают?»

80

Уходит.

81

Говендо Тамара Харитоновна. Некоторые вопросы неконвенциональной поэтики в поздних трудах Джеймса Доуссона. — «Актуальный лабиринт». Вып. 3. М. 1992, стр. 12 — 21.

82

Макеева Ольга Александровна. Календарные обряды племен среднего левобережья. — Там же, стр. 12 — 21.

83

Конотопов Валерий Николаевич. Драма Томаса Бауэра «Скотница и курфюрст». К анализу основных мотивов. — Там же, стр. 12 — 21.

84

Замесов Виктор Николаевич. Кризис паразитарного сознания. Что дальше? — Там же, стр. 12 — 21.

85

Гаврилин А. П.: «Мы, к примеру, говорим: вот ветер шумит. Да?»

86

«Ну да...»

87

«А шумит вовсе не ветер, а то, что попадается ему на пути: ветки деревьев, кровельная жесть, печные трубы. А ветер, Любочка, не шумит. Что ему шуметь?»

88

«Действительно...»

89

Уходит.

90

Проф. Витте (один): «Господи! Сколько же можно! Пережить это нету никаких сил. Ведь я же честно стараюсь. Видит Бог, я честно стараюсь».

91

Срывается на крик.

92

«А это все она! Она! Эта тупая мещанка Антонина! А уж чего мне стоил ее восхитительный кузен, эта ненасытная скотина, украшенная университетским дипломом, знает один только Бог. Впрочем, я, кажется, знаю, что надо делать!»

93

Уходит.

94

«Вот смотри. Сначала надо протереть вот этой губочкой. Смотри, я ведь тебе показываю. Вот этой губочкой. Потом вот этой сухой тряпочкой. Чтобы не ржавело. Понятно?»

95

Уходит.

96

«Они мне сказали, что в праздник зайдут вечерком. Ну, я пирог испекла с яблоками. Они любят с яблоками. Переоделась, сижу жду. А они мне вдруг звонят от Шустеров. Говорят, их Шустеры пригласили и они к ним поехали. Ну как же так? Я так расстроилась. Сижу как дура со своим пирогом. Позвонила тебе, думала, может быть, ты заедешь поешь. Ты ведь тоже любишь. Тебя тоже дома нет. Я даже поплакала немножко. Так тоскливо было... Ну ладно, не обращай внимания...»

97

Уходит.

98

«Ты знаешь, я пойду, пожалуй».

99

«Куда же ты пойдешь, чужак? У нас свободен весь чердак. Все есть: подушка, одеяло...»

100

«Нет-нет. Спасибо. Мне пора. (Смотрит на часы.) Двенадцать десять. Успеваю».

101

«Ну что ж. Ни пуха ни пера».

102

Уходит.

103

А это я.

104

А это утро золотое, когда пускался наутек от разъяренной тети Зои
простой соседский паренек.

105

А это я.

106

А это Ларичевой Раи полузабытый силуэт. Мои очки в простой оправе.
Мне девять, ей двенадцать лет.

107

А это я.

108

А это те четыре слова, которые сказал Санек, когда Толян согнул
подкову, а разогнуть уже не смог.

109

А это я.

110

А это праздничной столицы краснознаменное «ура» и свежевывмытые лица
девчонок с нашего двора.

111

А это я.

112

А это гимна звук прелестный в шесть ровно, будто и не спал. Наверное,
радиоточку кто-либо выключить забыл.

113

А это я.

114

А это я в трусах и в майке.

115

А это я в трусах и в майке под одеялом с головой.

116

А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной
лужайке.

117

А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной
лужайке, и мой сурок со мной.

118

И мой сурок со мной.

119

Уходит.

То одно, то другое

То одно.
То другое.
То третье.
А тут и еще что-нибудь.

То слишком точно.
То чересчур приближительно.
То вообще ни то ни се.
А тут еще и через плечо заглядывают.

То чересчур пространно.
То слишком лаконично.
То вовсе как-то не так.
А тут еще и зовут куда-то.

То чересчур ярко.
То слишком сумрачно.
То не поймешь как.
А тут еще изволь постоянно соответствовать.

То сил нету двигаться.
То невозможно остановиться.
То обувь пыльная.
А тут еще берутся рассуждать и такое несут...

То нет сил продраться дальше оглавления.
То приходится терпеть неизвестно зачем.
То бумагой порежешься.
А тут еще и пихают со всех сторон.

То забудешь, о чем думал все утро.
То невозможно удержаться от сентенции типа: «У поэта между
строк то же, что и между ног».

То захворает кто-нибудь.
А тут еще и неуверенность одолевает...

То система собственных представлений вызовет лишь досаду.
То личный опыт покажется таким ничтожным.
То воронье кричит над опустевшими пашнями.
А тут еще и в зеркало нечаянно посмотришь...

То случайное воспоминание щемяще отзовется в душе.
То пеплом все вокруг засыпано.
То так запрячут, что не найдешь никогда.
А тут еще и вон что творится...

То тяготит собственное молчание.
То такое ощущение, что наговорено на несколько лет вперед.
То вдруг забудешь о несказанной прелести данного момента.
А тут еще и полная неизвестность...

То призраки во тьме снуют и нам сулят тревогу.
То другие какие-нибудь странности.
То угасают надежды прямо посреди пути.
А тут еще и не разобрать ничего...

То утекает ртутный шарик навстречу пасмурной судьбе.
То преследует по пятам одно лишь тяжкое воспоминание.
То упорно ускользает главный смысл.
А тут еще и природа не терпит пустоты...

То Восток розовеет.
То Запад догорает.
То дневные заботы.
А тут еще и время какое-то такое...

То простираются просторы.
То не видно ни зги.
То на сердце туман.
А тут еще и все ведь понять надо...

То о веселии вопреки всему.
То о понятном и непонятном.
То о том, как смириться с дребезжанием угасающих надежд.
А тут еще и не успеваешь ничего...

То о заметном падении энтузиазма в наших рядах.
То о возможности избавления от пагубной привычки все называть.
То об уместности именно такого взгляда на вещи.
А тут еще сиди и думай, что можно, что нельзя...

То радуюсь неизвестно чему.
То тревожусь неизвестно о чем.
То неизвестно к чему влечет.
А тут еще и всякие разговоры...

То золота неосторожный вид.
То треснувшая вдоль себя завеса.
То вдруг ляпнут что-нибудь не подумав.
А тут еще сиди и жди, пока обратятся...

То бытия стреноженная прыть.
То всякого кивка свое значенье.
То сознание начинает дребезжать.
А тут еще и не дозовешься никого...

То память в каждой складке древесины.
То зелья приворотного глоток.
То с местами какая-нибудь путаница.
А тут еще и слышать ведь ничего не хотят...

То образ вечности подвижный.
То ждут у самого порога.
То титаническая попытка очнуться.
А тут еще и то, что нельзя увидеть, представится однажды...

То памяти склоненное чело.
То завтрашнего полдня перебежчик.
То как навалятся, как пригнут к земле.
А тут еще и всем все объясняй...

То ветра ночного простуженное дыханье.
То пузыри земли у всех на языке.
То наивно рассчитываешь преодолеть все это наиболее привычным
способом.
А тут еще и эти...

То явное преобладание одного начала над другим.
То общее, что может только присниться.
То ждут не дождутся, чтобы уличить в противоречии.
А тут еще и какая-то совершенно непонятная реакция...

То описание каждого из бесконечного множества вариантов.
То ожидание событий, не имеющих аналога ни в одной из мифологий.
То мы с тобой не знаем, что друг с другом.
А тут еще и то, что было, покажется, что не было...

То пасмурное утро после бессонной ночи.
То невозможно охватить все существующее.
То непреодолима тоска по вековечному.
А тут еще и то, чего не было, покажется, что было...

То еще один очередной пункт в реестре переживаний.
То вдруг обнаруживаются разные вещи, и неизвестно, что с ними делать.
То терпи неизвестно за что.
А тут еще и не развернуться по-настоящему...

То тяготы и тревоги.
То надежды и утешения.
То небо над Аустерлицем.
А тут еще и решение какое-нибудь подоспеет...

То клейкие листочки.
То сопоставь каждое с последующим и предыдущим.
То становится совершенно ясно, что бесконечно это продолжаться
не может.
А тут еще и конца не видно...



ЮРИЙ ЧЕРНЯКОВ

*

ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС

Рассказ

Когда отпраздновали открытие канала Москва — Волга, досрочно освободили многих зеков, из тех, кто дожил и чей ударный труд свидетельствовал о переосмыслении своего преступного прошлого.

Часть из них поселилась неподалеку от канала, за северо-восточной окраиной столицы. Их направили на работу на чахнувший вагоноремонтный заводик, где остро не хватало рабочих рук.

Поначалу новоприбывшие стали строить себе жилье — те же привычные бараки, только с фанерными перегородками, печками-буржуйками, с веревкой через весь коридор, на которой сушились портянки, а дальше и пеленки, и с черной тарелкой радио у входа, орущей с утра до ночи.

Живи — не хочу! Войдя в раж, новообращенные строители светлого завтра воздвигли в центре поселка водокачку, выше Кремля и видную в ясную погоду, баню с мужским и женским отделением.

Одновременно свободное пространство между бараками стало заполняться разномастными сколоченными на скорую руку сарайчиками. Так что когда там резали свинью, ее визг разносился на весь поселок и отовсюду сбегались пацаны в надежде, что достанется опаленное ухо. (С сараями было повели серьезную борьбу, вплоть до ночных поджогов, но вскоре махнули рукой — стихия! Против нее не попрешь...)

И вот выяснилось: сгоряча построили даже лишний барак — сказала привычка перевыполнять все, что заставят, стимулированная сокращением сроков. Проблему, столь необычную для нового общественного строя, как избыток жилья, решали все разом, в обстановке единодушия и высокого морального подъема.

Решили барак переделать в клуб. За одну ночь сломали перегородки, поставили двадцать рядов лавок, а сзади соорудили нечто вроде директорской ложи. Так что назавтра уже продавали билеты на рекомендованную директивными инстанциями новую кинокомедию «Волга-Волга» как наиболее отвечающую времени и месту событий.

Первыми под одобрительные аплодисменты расступившейся публики в новый клуб вошли директор завода Складовский под руку с молодой женой Надей, освобожденной с такой же, как и у всех, формулировкой, хотя злые языки утверждали, будто трудилась она совсем на другом поприще, а на земляных, бетонных и прочих общих работах замечена не была.

Следом за директором, известным среди рабочих по кличке «пся крев», хотя голоса он никогда не повышал и ругался исключительно культурно, вошли парторг и главный инженер с супругами, но уже без сопровождающих аплодисментов.

«Прямо Большой театр!» — во всеуслышанье фыркнула молодая директорша, проходя между наспех ошкуренными бревнами, подпиравшими наподобие колонн навес над входом. После просмотра фильма все пришли к единогласному решению, что Надя лучше известной артистки Любви Орловой — она была на двадцать лет моложе и на столько же сантиметров

выше своего ответственного супруга, который тем не менее на ее фоне не терялся и слыл интересным мужчиной.

Это благодаря ей была возведена в рекордно короткие сроки каменная баня с парилкой и буфетом. Помимо шоколада Надя обожала попариться, а после обдать себя ледяной водой.

Когда, обычно в конце шестидневки, она шла с веником и тазом, за ней шли в отдалении парни и пацаны со всего поселка, не смея, по обыкновению, свистнуть или окликнуть.

Надя приходила всегда только к закрытию, после восьми вечера. Для нее держали пар, работал буфет, а директор бани не смел отлучаться. Об этом в поселке знали все, кроме мужа. В этот день посещаемость в школе рабочей молодежи, выстроенной, как нарочно, напротив бани, становилась стопроцентной, но срывался последний киносеанс в клубе, поскольку зрители всю неделю предвкушали более интересное зрелище...

И оно начиналось где-то около девяти вечера. В школе взрослые ученики и их учителя-сверстники перебежали, толкаясь, от окна к окну, пока Надя не спеша раздевалась в предбаннике и распускала волосы, а затем не торопясь следовала в помывочную, где ополаскивалась, прежде чем исчезнуть во мгле парной.

Никто не расходился. Несмотря на холод, обильные осадки и позднее время. Все знали, что главное ждет впереди.

Окна в школе запотевали от дыхания навалившихся друг на друга зрителей, деревья возле бани трещали под тяжестью десятков тел, но не было, казалось, силы, способной сдвинуть с места.

И вот она возрождалась из пара и мыльной пены, ее розовое тело блестело под струями душа, и она проделывала те же банные операции, только в обратном порядке, возвращаясь в раздевалку, и все снова перебежали от окна к окну.

В конце Надя подходила к темному окну и смотрелась в него, как в зеркало, хотя настоящее зеркало висело рядом в простенке, и, туманно улыбаясь, оглаживала пышное, сплошь покрытое татуировками тело.

Как бы не зная, что сейчас на нее смотрят, поскольку сама она никого не видела... Это условное незнание, подобно открытому платью, позволяло не нарушать приличия и в то же время демонстрировать себя всем желающим. Собравшиеся это понимали и принимали как правила игры и потому старались ничем не выдавать своего присутствия.

Молча смотрели, как она запрокидывает голову, погружая пальцы в густые волосы, отчего ее грудь поднималась еще выше, и каждый переживал этот момент по-своему — кто постанывал, закрыв глаза, кто беспокойно ворочался, переживая в воображении сладостные картины.

Как водится, директор узнал об этой визуальной измене своей юной супруги последним.

Причем совершенно случайно. Бывший руководитель передового предприятия, неожиданно брошенный вследствие опалы поднимать это полукустарное производство, обычно после всех покидал завод, подобно капитану тонущего корабля, и заставлял жену уже дома, уснувшую в ожидании.

Полюбовавшись на спящую, он аккуратно, как во всем, что делал, сам себе готовил ужин, подолгу принимал свою ежедневную ванну и ложился спать на диван, чтобы не разбудить...

В тот роковой вечер Складовский возвращался домой раньше обычного, в хорошем расположении духа. Чуть не впервые в своей истории завод перевыполнил месячный план на один и семь сотых процента, а сам поселок наконец-то был удостоен высокого звания — Соцгородок.

Увидев возле бани толпу мокнущих мужиков, он на правах начальника, пекущегося о быте, заботах и чаяниях вверенного ему «контингента», подошел ближе.

«Что здесь происходит?» — спросил он, но никто даже не обернулся. Директор смотрел и ничего не понимал. Только сегодня эти люди ловили

каждое его слово... Только сегодня он многим, кого сейчас узнавал, давал выговор или обещал премию... А теперь его не видят в упор!

«Ну что?» — громким шепотом спрашивали стоявшие внизу счастливых, рассеявшихся на лучших местах — на скользких сучьях деревьев.

«Днепрогэс изображает!» — сипло и тоже шепотом ответил продрогший пацан, забравшийся на самую верхушку старой березы, по-видимому, еще днем. И все услышали.

Толпа заволновалась, пришла в движение.

«Хорош! — яростно шептали нижние. — Кончай, дай другим посмотреть!»

«Я, кажется, ясно спросил: что здесь происходит?» — по-прежнему не повышая голоса, но со знакомой расстановкой спросил Складовский, и все разом очухались.

«Атас!» — зашептали то здесь, то там, и все бросились врассыпную, скользя и падая в грязь. С деревьев молча спрыгивали, срывались, падали и разбегались, хотя грозный «пся крев» не собирался за кем-то гнаться.

Постояв, он вошел в школу. Пожилая завуч и сторожиха, никого до этого не пропускавшие, испуганно расступились. Учителя и учащиеся бросились по классам, расталкивая друг друга и застревая в дверях.

Складовский неторопливо поднимался на второй этаж, надеясь, что его догадка не верна, но чувствуя, как ноги становятся ватными...

Он долго стоял возле окна в темном коридоре лицом к лицу с обнаженной женой. Будто впервые он видел это столь же прекрасное, сколь и порочное тело.

По-прежнему ничего не подозревая, она любовалась своим отражением. И ведь было чем... Он не мог не признать это, видя ее глазами своих подчиненных. Вот, оказывается, почему в конце шестидневки все так стараются уйти до восьми вечера... И никого не уговоришь! Даже самых сознательных и болеющих за свое дело! Только отводят глаза, меняются в голосе, униженно просят, выдумывая нечто несусветное.

Он знал о прошлом своей жены, но, оказывается, плохо знал ее. Конечно, он старался не думать, гнал от себя недостойные, как ему казалось, мысли. Все-таки он сильно был привязан к ней, напоминавшей его первую жену, вернувшуюся пятнадцать лет назад в Польшу. И теперь признавался себе, что слишком доверял Наде, поскольку ничего другого не оставалось.

Если бы все свелось к пошлой интрижке! Если бы обнаружилось, что есть кто-то третий. Он знал бы, что делать. Он не закрыл бы на это глаза, но хотя бы не знали другие!

А как быть теперь, когда весь завод узнал, что он теперь все знает? Удивительно, что его авторитет до сих пор был непререкаем... Или уважали как раз за то, что он ей будто позволяет? Теперь сделать вид, будто ничего не произошло, уже не удастся. Над ним будут потешаться все, кому не лень...

Так он будет еще долго и мучительно рассуждать сам с собой, а пока что смотрел, не в силах оторваться, чувствуя, как пересыхает во рту, следил за цветущим телом, то изгибающимся, то застывающим в чувственных позах, и тогда оно казалось очерченным по божественному лекалу.

Их разделяло не меньше пятнадцати метров тьмы и дождя, но ему чудилось, что он слышит ее прерывистое дыхание...

Наконец он оторвал взгляд и пошел к выходу, но вдруг что-то заставило его оглянуться. В другом конце коридора он увидел еще одного свидетеля своего позора, не замеченного раньше, вернее, его недвижимый силуэт, приникший к окну. Складовский подошел ближе. Он узнал его. Конечно, это был Яша Горелик, которого он тоже вытащил из лагеря. Молодой ленинградский поэт, посаженный за антисоветскую деятельность... Его легко было узнать даже в темноте по знаменитой копне отросших вьющихся волос. Яша молитвенно, с обожанием смотрел на Надю, шевеля губами, и ничего другого в эту минуту не мог видеть или слышать. Скла-

довский даже почувствовал себя уязвленным. Кто-то любит его жену сильнее, чем он, имеющий на то право... Кажется, он пересылал ей тайком, через вольнонаемных, свои стихи.

Сперва ей это льстило, потом стало раздражать. Она-то привыкла к грубым комплиментам и преувеличенным сравнениям, а тут было преимущественно малопонятное и незапоминающееся. И потому перед освобождением сожгла.

Она нехотя, вскользь рассказала о нем мужу. Мол, есть тут один поэт, прошедший школу трудового воспитания. Чуть живой остался. Неплохо бы его тоже пристроить куда полегче. Больно нежного воспитания. Краснеет до сих пор, как услышит матерное слово. Тогда Складовский не придал значения ее просьбе. А сейчас вдруг все вспомнил. И сразу стало не по себе.

Не пишет ли ей снова стишки? Теперь Яша работает в заводоуправлении, говорят, по-прежнему тайком сочиняет, во всяком случае, прячет бумаги в стол, если кто войдет, и мучительно краснеет... Очень трудно избавиться от вредных привычек, что и говорить, даже перевоспитание физическим трудом не всегда помогает, как оправдывался Яшин начальник.

...Стоит и смотрит. Слишком поглощен, чтобы заметить супруга предмета обожания. И еще шевелит губами. Неужели опять придумывает?

Складовскому стало не по себе. Он вдруг увидел себя со стороны, Яшиными глазами. Прикрикнуть, чтоб не смел разглядывать? Бр-р...

Что может быть нелепее? Мягко ступая, почти крадучись, директор поспешно ретировался. Наверняка посылает ей свои оды, только она об этом уже не рассказывает... И почему-то было очень нежелательно, чтобы Яша сейчас его увидел.

Ночью соседи Складовских так и не смогли заснуть. Нет, скандала не было. Казалось, Надю всю ночь пытали и убивали, а она требовала новых и новых пыток и умираний. Они и раньше не давали покоя до часу ночи, а то и позже. Но чтоб до самого утра?

Уходя на работу, Складовский внимательно посмотрел на жену. Под глазами черные круги, лицо осунулось, смотрит в сторону. Изображает равнодушие или он действительно перестарался? Ему казалось, что этой ночью он полностью ее умиротворил и подчинил, как это бывало раньше, особенно в первые месяцы их совместной жизни, когда приходилось подавлять таким вот образом бунт на семейном корабле и доказывать, кто в доме хозяин. Впервые он подумал, где она будет сегодня весь день, пока его не будет дома. Раньше такие вопросы в голову не приходили.

Но спросить не решился.

На работе эта мысль снова пришла в голову во время совещания. По взглядам присутствующих Складовский понял, что все знают о вчерашнем происшествии. И как будто даже сочувствуют. Ну не старался бы так с выполнением государственного плана или, на худой конец, возвращался бы другой дорогой... Он вспомнил, как подталкивали друг друга локтями, как прерывались разговоры, когда он проходил утром по цехам. Но надо было держать себя в руках и внушить себе, что это только кажется...

Но что делать, если его так и подмывает спросить у начальника заводоуправления, где сейчас находится Яша Горелик? На работе ли он?

Это желание было настолько сильным, что он прервал совещание, попросил не расходиться и сам быстро пошел, чуть не побежал в соседнее здание, где работал Яша. Зачем я это делаю? — спрашивал он себя, но уже не мог остановиться. Он успокоится, как только все узнает...

Стол Яши был пуст. Ни его старенького плаща, ни калош, обычно стоящих возле стула, не было. Несколько женщин, работающих тут же, с любопытством смотрели на своего запыхавшегося директора. Не спрашивать же их, куда он девался! И приходил ли сегодня? Кто Яша и кто он?

Он с минуту потоптался, потом спросил об их начальнике, сидящем сейчас в его кабинете вместе с другими недоумевающими, и выбежал.

Надо было что-то делать. Что-нибудь конкретное. А не метаться в поисках канцеляриста, чернильной души, на потеху всему заводу!

Он отдал соответствующие распоряжения. Уже через час после совещания в баню пришли маляры и, не обращая внимания на моющихся женщин, покрасили окна серой масляной краской.

И всем показалось, будто они ослепли. Исчез многоцветный мир эроса и красоты. Жизнь стала такой же серой и тусклой, как застиранный больничный халат (так написал по этому поводу Яша в одном из стихотворений, найденных у него впоследствии при обыске).

Но Складовский забыл, с кем имеет дело. В тот же вечер эти окна были выбиты. Потом их били и вставляли с регулярностью и необратимостью восхода и захода солнца. В результате резко упала посещаемость бани и, соответственно, вечерней школы. Зато резко возросло количество пьяных драк, прежде случавшихся по выходным дням и в получку, а также изнасилований.

Но что хуже всего, стало разваливаться на глазах с таким трудом налаживаемое производство...

Директор рвал и метал. На работе не давал покоя ни себе, ни подчиненным, а дома, ночью, жене и соседям. И каждый раз это приводило лишь к обратному результату. Надя, казавшаяся ему в утренние сумерки такой покорной, любящей и податливой, при свете дня становилась угрюмой, несдержанной и несговорчивой. И постоянно куда-то уходила... Подчиненные ни в чем уже не противоречили, но сделались инертными и безынициативными, работающими из-под палки. Чувствуя это глухое, нарастающее сопротивление, Складовский, никогда не повышавший голоса, со всеми только на «вы», а с работягами за руку, стал неузнаваем. Он взял привычку стучать по столу, хотя до ожидаемого всеми «пся крев» еще не дошел...

Он уволил Степана Калягина, добродушного и самого молодого из начальников цехов, посмеявшего ему перечить на оперативке. А когда за него вдруг вступилась Надя, устроил ей дикую сцену: «Ах, вот это кто!» О чем после искренне жалел и просил прощения...

«Послушай, Юзя, — сказала она, когда все утихло. — Ты не забыл, за что мне дали срок? За то, что не дала одному большому начальнику. И на десять лет сделали подстилкой для лагерной охраны и проверяющих комиссий.

Я по гроб тебе обязана, но ты меня не купил, ясно? Не моя вина, что такой уродилась! И меня это кино заставляли через колючку показывать. Мол, лучше после этого работают и норму перевыполняют. А пока не покажу — никакого энтузиазма. Они и привыкли. Мне и самой понравилось. А ты как думал? План сделал, потому что с завода сутками не вылезешь? Разобрался бы сперва, а после окна закрашивал...»

Урезонивали его и на расширенном райкоме: «Смотри, что у тебя творится! А ведь были лучшие в районе показатели по пьянству и бандитизму. Хотели твой вагоноремонтный переделать в вагоностроительный, вышли с этим предложением в наркомат, а теперь что прикажешь делать? Женился, понимаешь, на бывшей проститутке, потерял голову — и вот результат! Словом, или наведи железный порядок, или... Ты же можешь, когда захочешь! И мы со своей стороны примем надлежащие меры. Уже арестован за рецидив антисоветской деятельности известный тебе Яков Горелик. Словом, создали тебе все условия для спокойной работы».

Тут все заулыбались и по-свойски подмигнули растерянному Складовскому. «Что я натворил! — думал он про себя, слушая старших товарищей по партии. — Вот почему Яши нет на месте уже неделю! Да не голову я потерял! Я лицо потерял. А уж потом — голову... Но я наведу, наведу порядок! Чего бы это ни стоило! Всем докажу, что этих результатов добился я сам, а не моя жена, показываясь голой всему заводу!»

Но промолчал. Только кивнул в знак согласия.

Когда он сказал Наде об аресте Яши, та равнодушно пожала плечами безупречной лепки: «Доигрался. Говорила ему: брось эти стишки! Никому это не надо. Или пиши про что другое... — Потом внимательно посмотрела на мужа: — Или его за что другое посадили? Так он же там помрет!»

Зато возмутились работяги: «Яшку-то за что, сволочи! Муху не обидит».

Между тем Складовский стал наводить железной рукой дисциплину. И чем больше мерещилось, что над ним смеются, тем больше ожесточался!

Пошли под суд прогульщики и опаздывающие, чего прежде он старательно избегал, несмотря на грозные постановления директивных органов.

Но это не имело, казалось, ни малейшего воздействия на «контингент». «Напугал ежа голый жопой! — сказала жена. — Какая им разница, где отбывать?» И была права. Чем оглушительнее народ напивался, тем меньше отличался Соцгородок от привычной зоны. Некоторые по пьянке составляли планы побега. И однажды таки бежали темной ночью, и вернули их с милицией через несколько суток, притихших, продрогших, протрезвевших.

Складовскому бы опомниться, но он будто закусил удила. Уже бессильный что-то исправить, он начал мстить. Мстить всем, кто, как ему казалось, наслаждался его позором. И покусился на святая святых: приказал начинать последний киносеанс в клубе не позже семи вечера.

Под предлогом, будто любители позднего кино, как правило самые молодые, просыпают утреннюю смену. Оскорбленный «контингент» воспринял это как удар ниже пояса. Последний сеанс был одним из немногих атрибутов свободы, какие еще оставались. И Надя даже собрала вещи, чтобы уйти к опальному Степану Калягину. «Почему к нему?» — кричал Складовский на весь дом, разбрасывая ее вещи. «А к кому? — спокойно удивлялась Надя, подбирая тряпки. — Сам же говорил, что не зря за него заступаюсь. Мне-то все равно, для меня вы все одинаковы...»

«За что жилы рвали, а водную артерию к столице пяти морей тянули? — кричали те, кто на последние сеансы ходил, чтобы почувствовать себя свободным человеком и заодно отоспаться. — На кой хрен такая амнистия?»

«В самом деле, можно ли у нас проспять утром, хотя бы теоретически? — задавались риторическим вопросом немногочисленные интеллигенты Соцгородка, собираясь у кого-нибудь на чаепитие. — Если все живое в округе десяти километров вскакивает в шесть утра, слышав наш умопомрачительный гудок?.. Наверно, так будем выскакивать из могил, услышав трубу архангела Гавриила...» — добавляли вполголоса.

Гудок был едва ли не главной достопримечательностью Соцгородка и тайной гордостью его обитателей. Ни у кого, даже в самой Москве, не было такого гудка! Непомерно могучий для столь хилого заводика, он как бы позволял ему тягаться с признанными гигантами индустрии и намекал на его славное будущее.

Складовский сразу почувствовал, насколько все усугубил. Словно средневековый тиран, посмевавшийся лишить покорный народ любимого праздника, он чувствовал, как власть навсегда ускользает из рук, а земля из-под ног.

Надя перестала показываться на людях. Иногда ее видели в директорской «эмке», когда она ехала в столицу за продуктами.

Сам Складовский запил, да так, что мог неделями не показываться на службе. И она наконец ушла от него, но не к Калягину, а к главному инженеру треста, приехавшему на завод во главе комиссии, выявившей множество недостатков в работе и личном поведении директора, от которого несло спиртным даже на заключительном заседании.

Складовского исключили из партии, сняли с поста и чуть не отдали под суд за сознательный саботаж. Но ограничились переводом заместителем начальника цеха, где на прежнюю должность был восстановлен Степан Калягин.

Потом стало известно, что от главного инженера треста Надя ушла к начальнику главка, точно так же выявившему злостные упущения в работе ее нового мужа, вплоть до вредительства, и срочно разведшегося со старой женой.

Одновременно Складовского, как ни опекал его не помнивший зла Калягин, опустили до сменного мастера.

И это продолжалось до самой войны. Чем выше поднималась Надя, меняя мужей, снимающих и сажающих друг друга, тем ниже спускался по служебной лестнице ее первый супруг.

Казалось, новое руководство завода, не способное поднять производство хотя бы до уровня, достигнутого Складовским, вымещало на нем свое бессилие, что, как ни странно, вызывало к нему сочувствие у работяг. Ему подносили, наливали, хлопали по плечу, когда он, мятый и замызганный, присоединялся к какой-нибудь пьющей компании.

Часто он приставал к собутыльникам с одним и тем же мучившим его вопросом: что значит — Днепрогэс изображает? Те переглядывались, крутили пальцем у виска и спешили перевести разговор на другую тему. Или что-нибудь такое показывали, не вызывавшее с Днепрогэсом даже отдаленной ассоциации, отчего Складовский сердился и начинал выяснять отношения. Тогда его в свою очередь спрашивали: что такое Надя в койке изображала, если большие начальники ради нее на Колыму идут? Складовский многозначительно улыбался, что-то припоминая, но только отрицательно качал головой: он никогда этого не скажет. Никому.

Чем больше терялся след Нади, тем больше приходилось строить догадок и предположений. Следя по газетам и радио за громкими политическими процессами, разоблачавшими злейших врагов народа, они понимающе переглядывались. Никто не верил в заговоры и происки троцкистов. Все считали, что это бывших мужей Нади Складовской сажают и расстреливают ее очередные и более высокопоставленные женихи.

Не верили и потом, когда этих несчастных реабилитировали, ибо полагали, что все равно не было сказано всей правды.

Пару раз Надю все-таки видели в центре Москвы — еще более неотразимую, хотя и исхудавшую... Один раз возле Елисеевского, когда она садилась в «ЗИС-101» в чернобурках, несмотря на теплый вечер, а потом через год, в Столешниковом, всю в соболях, несмотря на жаркую погоду. Ее сопровождал молодой военный с кубиками в петлицах, весь загруженный покупками.

К тому времени Юзеф Складовский уже числился чернорабочим в литейке, и часто сменяемое заводское начальство просто забыло о нем... Почти одновременно прекратилось восхождение Нади, когда до вершины, казалось, оставалось только протянуть руку.

Последний ее супруг застрелился сам, не дожидаясь ареста. Теперь она внушала власть предержащим не столько вождеделение, сколько ужас. Женитьба на ней приносила одни только несчастья, а в содержанки она упорно не шла.

Знаменитый писатель, разменявший седьмой десяток лет и второй десяток жен, плакал и ползал у ее ног, уговаривая идти к нему в «музы», но ничего не добился. Он уверял, будто не имеет права, перед историей и литературой, жениться на ней. Что он, запросто входящий к вождям, подарившим ему особняк в центре города, не принадлежит себе, а народу и партии. Что он должен успеть написать книгу о современности, которую от него ждет затаив дыхание все прогрессивное человечество. Уж больно она роковая, чтобы он мог так рисковать. Ну не в «музы», так хоть в экономки! И ей достанутся все его бриллианты и дачи.

Надя была непреклонна: или женись, или катись! Она-то думала, что писателей хотя бы не сажают. Она уже устала носить им всем передачи! Она мечтала о покое и определенности, лишенная их с того злополучного осеннего вечера, когда Складовского черт дернул тащиться домой мимо бани...

И в июле сорок первого она пришла к нему в убогую комнату в бараке, куда он был переселен, вся в крепдешинах и сверкающих цацках, несмотря на последние сводки Информбюро.

«Юзеф Францевич! — сказала она этой грязной и вонючей субстанции, в которой не сразу различила бывшего мужа и властителя Соцгородка. — Я держала, сколько могла, вашу фамилию, которая всегда мне так нравилась, хотя все требовали, чтобы я ее сменила, а татуировки вывела. Мои мужья подозревали, что я таким образом собираюсь к вам вернуться, и оказались правы».

«Пся крев! — сказал Складовский к восторгу собравшихся за дверью. — Так это ты, рыжая? Я как знал, что ты вернешься. Сначала принеси, чем опохмелиться, а потом я буду решать, что делать с тобой дальше».

«Но вы меня перебили, — ответила Надя, доставая из нарядной сумочки с инкрустациями бутылку армянского коньяка, запечатанного сургучом. — Я берегла вашу фамилию, чтобы сберечь вас от лагеря. Мои мужья ревновали, когда я рассказывала в ответ на их категорические требования, как вы любили меня целовать именно в татуировки. Но боялись, что на суде всплывет, что мы оба Складовские, и вы потянете их за собой.

И при этом они подозревали, что вы лучше их всех, несмотря на вашу гнусную польскую учтивость, чванство и чистоплюйство!»

«Налей! — заорал Складовский, мотая головой. — И помянем душу невинно расстрелянного Якова Горелика, а после — катись, откуда пришла, шлюха, пока я не передумал!»

И выпил, смакуя, держа дрожащими пальцами грязный стакан. А соседки за дверью всхлипнули и вытерли слезы.

«Не гоните меня, Юзеф Францевич! — заплакала Надя и села с ним рядом на мусорный пол. — Куда мне идти? Вы вытащили меня из Дмитлага, теперь я вытащу вас из этой помойки. Я ваше добро не забыла, а потому только от вас хотела бы ребеночка...»

«Из койки начальника лагеря я тебя вытащил! — сказал Складовский весело и благодушно. — И все ты врешь! Я твои татуировки терпеть не мог!»

Она стала жить с ним, но через полгода он умер в заводской больнице от цирроза печени. Еще через год она вышла замуж за Степана Калягина, вернувшегося с фронта без ноги. Когда у них родился мальчик, они назвали его Юзефом, что то же самое, что Иосиф. Только по-польски.

А фамилию она так и не сменила.

С тех пор прошло сами знаете сколько лет. Поселок давно влился в огромную Москву, но нельзя сказать, что растворился в ней без остатка.

Например, на месте старого клуба построили новый двухзальный кинотеатр из стекла и бетона. Последний сеанс в нем по-прежнему — в семь часов. (Иногда его переносят на восемь вечера.) И никто из местных не знает — почему. Пожимают плечами и ссылаются на какие-то традиции...

Странная все-таки штука — человеческая память. Самого Складовского и его молодую жену давно простили и забыли. Но неясная обида осталась.



ЛЕВ ГУМИЛЕВ



ДИСПУТ О СЧАСТЬЕ

Чингис-Хан спросил у своих нойонов, в чем счастье.

Белгетуй

Наше счастье на полном скаку,
На следу уходящих волков,
Вынуть лук и, припав на луку,
Быстролетных спускать соколов.
И следить, как, кружа, сокола
Остановят стремительный бег,
И услышать, как свистнет стрела,
Волчью кровь выпуская на снег.

Хайду

Черным соболем мой малахай оторочен,
Мой расшитый халат из персидской парчи,
Черный панцирь с насечкой и легок и прочен,
И из стали дамасской ножи и мечи.
И когда между юрт пролетает по склону
Иноходец кипчакский, сравнимый с волной,
— Расступитесь и дайте дорогу нойону, —
Весь народ говорит и любит меня мной.

Шики - Кутуку

Мне кони достались — я верным их роздал,
Я много добычи в Китае достал,
Но где та добыча, то ведомо звездам,
С коней и добычи я счастлив не стал.
Но ныне стою я при счастье на страже,
Я длинное к юрте приставил копье,
В ней карие очи моей Намсарайджаб,
В ней черные косы, в ней счастье мое.

Мухули

Я вижу, как бродят в степях табуны,
Как облаку горные кедры равны,
Как чистой водою струится река,
Как легкие ноги несут сайгака.
И, видя, как высятся горы мои,
И, видя, как вниз ниспадают ручьи,
Как звери блуждают в просторе степей,
Я счастлив в привольной отчизне моей.

У г е д е й

Наши кони как ветер, наши девы красивы,
 Широки наши степи и привольны луга,
 Но ведь кони устанут, девы станут ревнивы
 И привольные степи заметают снега.
 Мне другая утеха: позабыв про ненастье,
 Сев с моими друзьями перед ярким огнем,
 Наши чаши наполнить неизменчивым счастьем,
 Нашим счастьем единым — искрометным вином.

Д и с е б е

Съедает время славные дела
 И погребает в глубине курганов,
 И счастье только в том, что к нам дошла
 Молва о подвигах умерших ханов.
 И счастье только в том, что слава их
 Не знает с нашей памятью разлуки.
 Так, слыша весть о подвигах чужих,
 Я знаю, о моих услышат внуки.

Е л ю й - Г у д а й

Я прежде стремился к боям и победам,
 Но вечно душа оставалась пуста,
 Путь к истине стал мне нечаянно ведом,
 И ныне я вижу, что жизнь — суета.
 Китайские древние пыльные томы
 Храню наяву я и вижу во сне.
 Им истина — вечное счастье — знакома,
 В них истина — счастье, любезное мне.

С у б у т у й

Дороги мне были везде широки:
 В ущельях Кавказа, у Желтой реки,
 В голодной пустыне, в сибирских лесах
 И в самых глубоких тангушских снегах.
 Что Хану хотелось — он мог приказать,
 И все добывала послушная рать.
 Повсюду мое доставало копье,
 И светел был Хан мой — вот счастье мое!

Ч и н г и с - Х а н

Нет, счастье, нойоны, неведомо вам,
 Но тайну вам эту открою:
 Врага босиком повести по камням,
 Добыв его с долгого бою.
 Смотреть, как огонь побежал по стенам,
 Как плачут и мечутся вдовы,
 Как жены бросаются к милым мужьям,
 Напрасно сбивая оковы.
 И видеть мужей затуманенный взор
 (Их цепь обвивает стальная),
 Играя на их дочерей и сестер
 И с жен их одежды срывая.

А после, врагу наступивши на грудь,
 В последние вслушаться стоны
 И, в сердце вонзивши, кинжал повернуть.
 — Не в этом ли счастье, нойоны?

ПОЯСНЕНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ

Со Львом Николаевичем Гумилевым я знакома не была, хотя жили и учились мы в одно и то же время, в одном и том же городе и, как оказалось впоследствии, имели общих друзей. «Диспут о счастье» я прочитала в «заветной» тетради моей приятельницы Тани Станюкович осенью 1940 года. Татьяна Владимировна Станюкович, внучка писателя К. М. Станюковича, в дальнейшем — видный этнограф, училась вместе со Львом Николаевичем («Левушкой», как называли его друзья) на историческом факультете Ленинградского университета. К тому же они были соседями по знаменитому Фонтанному дому (угол Невского и Фонтанки), где тогда жила с сыном Анна Андреевна Ахматова. Ныне, к сожалению, Татьяны Владимировны нет в живых, и мне уже не с кем обсудить и уточнить некоторые обстоятельства, связанные с «Диспутом...» (когда именно он был написан, сам ли Л. Н. вписал его в Танину тетрадь, сохранилась ли та тетрадь и т. п.).

«Диспут о счастье» (не знаю, как точно определить жанр этого произведения) мне сразу же очень понравился, и я робко попросила разрешения переписать его, что мне и было дозволено (в то время это следовало рассматривать как акт большого дружеского доверия, так как Л. Н. уже был арестован). Я тут же тщательно переписала гумилевский текст в свой «заветный» же черный блокнот, где он занял достойное место рядом со стихами Цветаевой, Мандельштама, Николая Гумилева и некоторых других «прóклятых» тогда поэтов.

Разумеется, мне не по силам дать научный комментарий к этому поэтическому опыту Гумилева-сына. Сюжет «Диспута о счастье» восходит, быть может, к какому-нибудь устному преданию, связанному с жизнью Чингисхана и его соратников.

Что же до литературных достоинств публикуемого произведения, то они представляются мне немалыми. Любопытно в этой связи привести запись в дневнике П. Н. Лукницкого его разговора с Анной Ахматовой 21 июня 1926 года: «Долгий разговор о Лева. Я доказывал, что он талантлив и необычен. АА слушала — спорить было нечего: я приводил такие примеры из моих разговоров с Лева, что против них нельзя было возражать... что в 15-летнем возрасте так чувствовать стихи, как Лева, — необыкновенно!

АА раздумывала — потом: «Неужели будет поэт?» (Задумчиво.)

АА хотелось бы, чтобы Лева нашел достойными своей фантазии предметы, его окружающие, и Россию. Чтобы не пираты, не древние греки фантастическими образами приходили к нему... Чтоб он мог найти фантастику в плакучей иве, в березе...»¹ Отсюда, с известной долей вероятности, можно сделать вывод, что Лева Гумилев уже в то время писал стихи и что его «фантазии» были не менее экзотичными, чем фантазии его отца.

Сын двух больших поэтов, Лев Гумилев, как мы знаем, поэтом не стал. А стал он оригинальным мыслителем, историком, этнологом, географом, создателем смелых научных гипотез. «Диспут о счастье» свидетельствует также и о том, что круг научных пристрастий определился у Льва Николаевича довольно рано, в такие далекие от нас теперь довоенные ленинградские годы...

И. Питляр.

¹ «Воспоминания об Анне Ахматовой». М. 1991, стр. 160.

Н О В Ы Е П Е Р Ё В О Д Ы

ДЖЕЙМС ВЛАДИМИР ГИЛ



ОКЛАДБИЩЕСТВЛЕНИЕ

Рассказ

Перемены, создающие привычку

Самарин уже не знал, живет ли он в состоянии отсрочки приговора или преходящей милости.

Когда несколько специалистов утвердились в своем диагнозе, он решил в качестве последней надежды пуститься на поиски чудес, консультируясь со знаменитыми иммунологами в мировых столицах, провинциальными целителями и адептами альтернативной медицины, где бы они ни находились.

Изможденная перелетная птица, он наконец приземлился в Берлине и оказался в кабинете профессора Эмиля Брюнинга, в четырех кварталах от теперь неузнаваемого места, где некогда помещалось советское посольство, в котором пятьдесят семь лет назад, на третьем этаже ныне исчезнувшего здания, в комнате, смотрящей на мрачный внутренний дворик, у матери Самарина, совслужащей консульского отдела, однажды поздним утром отошли воды — и она дала ему жизнь.

Врач подтвердил приговор: *необратимое состояние неизвестного происхождения.*

«Не заражательно, — сказал он, — но это есть жизневредяще».

Всматриваясь в Самарина сквозь сползающие очки, Эмиль Брюнинг повел разговор о необходимости общего лечения под врачебным наблюдением, важности ежедневных упражнений, ежемесячных анализов крови, периодической диспансеризации... все это продержит его года два в довольно сносной форме.

«Но затем, — он откинулся назад, сомкнул ладони на макушке лысого черепа и уставился отрешенно в потолок, — органически вункции самоуничтожаться, фсе сделаться неприятным, длиться очень несколько месяцев: сначала постепенно потеря слух, часто коловокружение, нейромускулистые расстройства, затем непременно маленькие увечья. Наконец, исчезание один за другим признаков жизни. Постоянная госпитализация ф дальнейшем неизбежна и болезна. Болезна для вас, болезна для семьи. Думали вы о вспомогательном, безмятежном, безболезном выходе? Ф свое время. Еще много времени...»

За вычетом изобретательных выходов, Самарин все это уже слышал.

После длинной паузы стул под Брюнингом вдруг подался вперед. Верхняя часть тела нависла над столом, подбородок проехал по истории болезни. Он подталкивал вверх свои лишенные оправы очки, пока невероятно толстые линзы не застыли, как два кубика льда, на его просторном сияющем лбу.

«Мы здесь, — сказал доктор, — это может быть проделан прямо здесь, ф Берлине».

«В Лозанне?» — спросил Самарин.

«Нет, Цюрих — да, — если вы хотите быть ближе к дому... мистер Замарин, знаете вы Германа Вейля?»

Самарин пожал плечами.

«Он умер ф одна тысяча девятсот пятьдесят пятый. Он был айн гроссер немецкий математический гелерте. Везунчик! Только математик счастливый в этом мире. Вейль говорил, что своевременные события (смерть ф том числе) входят ф нашу жизнь, как мух, прихлопнутый случайным взмахом швабры. Ах, если бы все могли так уходить, жизнь была бы прекрасна. Случалось, что Вейль так же мог бывать, как нуль! Смерть может быть сфоевременной, но не всегда вейлевский мгновений переносит нас сквозь волшебные стены ф благословный вечность, как вейлевский мух, внезапно застрявший ф его швабре. За... мы здесь, мистер Замарин».

Самолет продрался сквозь облака, проделал обычный полуразворот над Женевским озером и приближался к аэропорту. «Знал ли Герман Вейль, — спрашивал себя Самарин, — что муха — символ скоротечности жизни?»

Он замороженно смотрел в иллюминатор. Когда он улетал, луга внизу были покрыты легким снежком. Сейчас все зазеленело. У петляющей сельской дороги он уже не в первый раз заметил каменные ворота в виде широкоплечей арки, увенчанной сереющим крестом. Увитая плющом булыжная стена окружала усыпанные гравием, отороченные травой аллеи, обрамлявшие аккуратные прямоугольники строений неподражаемой геометрии.

Подобно всем иностранцам, он тоже испытал некоторое изумление, когда самолет приземлился: при том, что бóльшая часть мира пребывает в беспорядке, Швейцария, где, в сущности, ничего не происходит и где никогда не чувствуешь себя вполне дома, остается лучшим местом для возвращения — все равно откуда.

Внезапное смертельное заболевание погружает рассудок в безысходность и упраздняет календарь, пока представление о неисцелимости не поддается осознанию. Самарин наконец научился рассматривать свой недуг как раскрепощающее заточение. Прибыльно бездеятельный на протяжении последних пятнадцати лет, теперь он обрел лишний повод быть лежебокой, он, который некогда по первому зову телекса или трансконтинентального телефонного звонка бросался на край света и так избороздил весь мир, теперь жил в тесном уединении.

Его близорукие глаза стали косить в сжимавшемся пространстве. Пальцы приобрели чернильный оттенок, на одевание и раздевание уходили часы. Решившись быть ущербным, как бы в полубреду, он подглядывал за массой времени и припоминал уклончивое прошлое, когда сообразительным восьмилетним мальчиком играл на пляжах под лазурным небом позднего лета и смотрел на коварную воду, внезапно разрушавшую пористые башни его песчаных замков. Прыгая взад-вперед, как обезумевшая мышь, он отчаивался в виду нараставшего прилива. Ему предстояло изучить морской норв.

Во всяком случае, он усвоил необходимость беспокоиться по одним поводам меньше, чем по другим. Размышляя о печальной неравномерности узоров существования, он больше не находил дни слишком длинными или слишком короткими; лермонтовская «пророческая тоска» таяла на глазах.

Утреннее, вызванное лекарствами лихорадочное возбуждение сменялось слепополуденной апатией. Зачастую обойдясь без ланча, он отваживался на промежуточное чаепитие, когда Изабель, его домоправительница, подавала ему легкое кулинарное утешение, сопровождаемое чаем его любимого сорта: *Russian Caravan Tea*.

Сразу после половины десятого она отправляла его спать. Зыбкий час с розовыми и аквамаринными капсулами и мраком, пора стоицизма, пока он проскальзывал под прохладное пуховое одеяло.

Просыпался он почти мудрым. Два раза в месяц перед завтраком во-нзал шприц в свою руку и наблюдал легкие толчки под иглой, пока бледно-зеленый жизнетворный эликсир поступал в вену.

Завтрак подавался в половине десятого. Капелька королевского желе, яблочный сок, свежеспеченные мягкие булочки — собственноручное творение Изабель (дабы не раздражать его слизистую), белок сваренного вкрутую яйца, столовая ложка джема *Paul Bocuse* из розовых лепестков, стакан теплого чая и его ежедневная газета полуторамесячной давности *International Herald Tribune*, положенная под салфетку, продетую в серебряное кольцо.

Когда-то давным-давно, живя еще в Нью-Йорке, он пришел к выводу, что один из подспудных врагов человечества — изобилие текущих событий, заполняющих газеты и журналы. На втором году своей болезни он решил придерживаться удобной дистанции между собой и меланхолическим карнавалом мирового жизненного процесса, затопившего страницы международной периодики. Порнография истории цвела, но знакомство с нею в отмеренных черствых деталях привносило в сомнительное настоящее Самарина долю утешения и покоя. Просматривая выцветшие новости, он прикасался пальцами к эмалевой шкатулке «Безмятежные дни», где поджидал его калейдоскоп ежедневных пилюль. Запивал их тремя большими глотками чая.

Раскладбиществование

Пять лет минуло. Назначенный срок вышел, а он нет. Не проворонил ли он свой выход? Или выход его проигнорировал? Как там, у Эйнштейна: «Время всегда идет, но никогда не проходит»? Врачи были озадачены, тем более что новые анализы оказались столь же неутешительны, как и прежние. Его тело и кожа на голове, некогда выглядевшие, как размороженная пицца, оставались пятнистыми, но новые язвочки почти не появлялись. Недавно ему пришлось обзавестись слуховым аппаратом, и было несколько случаев головокружения.

К этому времени Самарин пришел к твердому убеждению, что медицинский мир изобилует безнадежно-самонадеянными специалистами *известного происхождения*, которые опустошают мир больных и униженных до того, как наступит их срок. Более того, никто не удосужился предупредить его, что при определенных затруднениях и в известном возрасте слишком быстрое исчезновение времени вырастает в проблему. Самарину было шестьдесят два года. Принимая в расчет пустычный объем исследований в его малоизвестном заболевании, медицинские открытия здесь были едва ли вероятны.

Как канатоходец на пружинящей паутине судьбы, он сосуществовал в ожесточенной гармонии (как некоторые пожилые супружеские пары) с гостящим паразитом, резвящимся в сумеречном ландшафте его недуга. Устроившись внутри уютных скобок, куда никто не имеет доступа, беспомощный в тесном загоне своего недомогания и уже не довольствующийся лишь земной замочной скважиной, он обрел откровения, дотоле никогда его не посещавшие, порождения убежища, в котором уживаются вместе неприхотливые интеллектуальные утехы, некоторые восторги... и дозволяется чертовщина.

Силуэты

В двадцатые годы сюрреалисты упивались сцеплениями швейных машинок и зонтов. Самарин иногда входил в большие зеркала, стеклянные вращающиеся двери, принимая свое отражение за прохожего, замешкавшегося в них. Он отправлял себе анонимные письма; нося запасную пару, натыкался на свое пенсне в холодильнике; гуляя в соседнем перелеске,

вдруг начинал безудержно чихать, а когда бумажные салфетки кончались, вытирал нос ладонью, обнаруживая разнообразие запахов, форм и текстур. Лица его детей, с искаженными чертами, всплывали перед взором; имена людей вертелись, не вспоминаясь, на кончике языка; голоса в телефонной трубке переставали доходить до сознания.

Ранним утром, в постели, он наблюдал за слабыми лучами света, проникающими сквозь шторы; неподвижный, погруженный в беззвучную протяженность, он бывал захвачен, как уже не раз случалось, неизбежностью того, что сейчас ему предстоит войти в потусторонний мрак; в эти минуты он лучше всего понимал, что жизнь — это не всегда то, что проживается, но и то, что разыгрывается на ее периферии. Он торопливо вставлял слуховой аппарат и успокаивался, расслышав сквозь приоткрытое окно первые удары крыльев на заре, довольный тем, что снова отстранил пустоту одиночества, нависавшую над ним, как ледяная простыня.

Был ли прав Шопенгауэр со своей формулой одиночества, будто бы гарантирующей преимущества оставаться самим собой взамен удовольствия быть с другими? Самарин знал контуры лгущего и жестокого одиночества. Как оно помыкает вами, заставляет осознать свое присутствие, дразнит и поддавливает в тот момент, когда оно менее всего желанно. Наконец, разочаровывает, как могут разочаровывать нас дети, мир идей, как разочаровываемся мы в самих себе, — еще один скорпион, шевельнувшийся в песке зыбкой фантазии.

В мире Самарина одиночество требовало внимания! Оно нуждалось в жертвоприношении! Взламывало ржавеющую шкатулку памяти, чтобы высыпать то, что так хотело быть забытым; воспоминания представляли в неустойчивом равновесии, опрокидываясь наконец на убогое надгробие, под которым были похоронены прежний пафос, любовь, отбившаяся от рук, вечно тающие печали.

Происходили и другие разрывы в цепи. Как-то субботним утром на автостраде Лозанна — Женева его на скорости 220 км/ч подстерегли две полицейские машины. Когда они прижались к нему, сигналивая, чтобы он остановился, Самарин показал им нос.

Подвергнутый нескольким проверкам на алкогольное опьянение — все отрицательные, — он с комфортом провел день и ночь в незапятнанной и пустынной швейцарской бастилии. Болтал со скучающим тюремным стражем в ожидании, пока его адвокат, катавшийся на лыжах в Гстааде, придет, чтобы вызволить его.

Спустя два месяца, ссылаясь на изменение в поведении, вызванное побочными лекарственными эффектами, засвидетельствованное медицинскими справками и показаниями двух его докторов, заплатив штраф в тысячу франков, он клевал носом в магистратуре во время нескончаемой лекции о правилах трезвого вождения автомобиля «в нашем кантоне». Он получил тридцатидневный тюремный срок (условно), лишился на три месяца водительских прав, после чего должен был сдать новый экзамен с разрешения своих врачей.

Предпринимая более длительные прогулки, лишенный новостей, Самарин открывал для себя сельские радости бесколесных дней.

В остальном все шло своим чередом. Он вспоминал, как после двадцатилетней проволоочки все вдруг прояснилось как-то вечером, когда его обручальное кольцо соскользнуло с намыленного пальца и медленно покатилося в открытый сток умывальника, пока он зачарованно смотрел, как поэзия брака прозаически исчезает в воронке супружеской дистрофии.

Свободный, он балансировал между периодами воздержания и приступами благопристойного распада. Встречи тщательно планировались. Параметры аффектов строго определялись внутренними возможностями. Временные пределы были заданы. Ничейная земля, на которую могли бы прокрасться соблазны семейной жизни, была освещена.

Теперь, подавленный побочными эффектами, он предавался безопасной апатии. Стареющий Самарин вспоминал, что сказал престарелый Софокл на вопрос, как обстоят дела с любовью. Был ли он тем же, что и

прежде? Старый мудрец ответил, что он достиг умиротворения: наконец-то избавился от безумного и злобного хозяина.

В специальных наушниках для тугоухих Самарин слушал музыку, писал своим детям длинные письма, которые редко отправлял, снова и снова крутил старые ленты Бастера Китона, братьев Маркс, Чаплина, «Тарзана».

Он читал, грезил; мысли, как воробьи, пролетали мимо, оставляя за собой колышущуюся листву, ее трепет отбрасывал предсказуемые тени.

Он примеривался к идее завершить несколько монографий, неоконченные тексты которых забросил на своем третьем десятке, в аспирантские целомудренные годы. Опять марасть бумагу? Не признак ли это телесного распада при уме, идущем на поправку? Или, наоборот, свидетельство телесного выздоровления при умственной деградации?

«Адольф», эта история нездоровой любви Бенжамена Констана, импонировала романтическим душам по недоразумению, но Самарин давным-давно имел свои причины проникнуться ею. С распространением фрейдистских вульгаризаций было признано, что редко где анатомия ощущений и бескомпромиссность самоанализа заходили так глубоко. Самарина изумляло предисловие Констана к этой вещи, названной им невымышленной. Изучив почти все, что тот написал, в особенности его «Интимный дневник», Самарин пришел к убеждению, что набрел на новую версию происхождения романа, так же как на некоторые другие до сих пор незамеченные загадки, относящиеся к жизни писателя. Он назовет свою работу *La Constance d'Ellenore*¹.

Его «Стейнвей» осиротел. Некогда он вполне сносно играл на нем. Недавняя попытка освоить равелевский Фортепианный концерт для левой руки кончилась поражением. Он задал работу менее косным пальцам правой руки и заработал невралгию.

С балкона его квартиры на последнем этаже открывался незагроможденный вид. В свой бинокль он озираал альпийские вершины, проступающие сквозь рассеивающийся туман французской стороны Женевского озера. Одинокий орел, которого он видел уже не раз, скользил в лиловой тени горного склона, где пасущиеся овцы казались карликами в белых припудренных париках. Немецкие овчарки бегали кругами, обнюхивая воздух. Птица продолжала кружение.

Распадающийся, но сопротивляющийся распаду Самарин учился жить, как не обремененный страданием человек. Даже подумывал, не съехать ли ему с арендуемой им большой квартиры, не купить ли дом.

Пытка виадуком

Рольф Шнарвайлер, агент по продаже недвижимости, изрек: «*La vie est imprenable*². И... м-м... владелец... недавно преставился», — добавил он, когда машина остановилась перед подъездом с чугунной решеткой.

«Веселенький, — сказал Самарин. Потом пробормотал: — Один обреченный проиграл... другой выиграл».

«Простите, что?» — Агент изучал широкополую фетровую шляпу Самарина, неряшливо сходящую на конус. Она напоминала обломок скульптуры, выставленный в музее.

Протянутая рука безвольно повисла в просвете между агентом и Самариним — принадлежала она долговязому, худому человеку неопределенного возраста с физиономией цвета прокисшего майонеза и маленькой головой в седоватом шлеме грубых, словно шерстяных, волос. Его взгляд косил из-под толстых очков в черепаховой оправе, которые все соскальзывали с его орлиного носа. С заметным тиком щеки под левым глазом Густав Лейтенбергер, сын, представился.

¹ «Постоянство Эленоры» (франц.).

² Вид безупречен (франц.).

«Месье Самарин, — вклинился агент, — двадцать лет как живет в Лозанне... из Нью-Йорка... теперь один из наших».

«До этого, — Самарин нахмурился, — юго-восточная Азия, Берлин, Париж, Уганда и тмутаракань». Он поглубже вдавил слуховые аппараты в оба уха.

«Я побывал однажды в Уганде», — как-то неуверенно подхватил домовладелец.

Самарин посмотрел на часы.

Вид недвижимости был и впрямь *imprenable*. Просторный, ухоженный десятикомнатный особняк девятнадцатого века, с роскошной библиотекой, четырехметровой высоты потолками, французскими окнами и следами поблекшей элегантности, нравившейся Самарину. Дом стоял в уединенном саду гектаров на пять среди луговых холмов над Лозанной.

Втроем они топтались на постриженной лужайке, полого спускавшейся под сень плакучей ивы. Открывался вид на Женевское озеро и Французские Альпы.

«Что вы думаете об этом?» — спросил агент.

«Думаю, что слышны поезда».

Агент посмотрел на Самарина с любопытством.

«Поезда?»

«Я слышу поезда».

«Вы имеете в виду пассажирские поезда?» — уточнил Лейтенбергер.

«Поезда. Вагоны, бегущие по рельсам».

«Вы уверены, что действительно слышите... поезда?» — Агент почесал мочку уха.

«Мои батарейки, месье, сделаны в Швейцарии».

«Это вас беспокоит?» — спросил Лейтенбергер.

«Их швейцарское производство?»

«Стук колес».

«Я не уверен».

«Знаете, месье...»

«Самарин».

«Месье... Самарин, — хозяин дома сделал картинный жест, — поезда — часть нашего ландшафта».

«Боюсь, это так».

«О да! У нас, в Швейцарии, поезда неразрывно связаны со всеми аспектами жизни. Наша страна — это чересполосица железнодорожных путей, соединяющих даже самые далекие города друг с другом. Некоторые из скромнейших наших общин имеют собственные железнодорожные станции. И, — понизив голос, — наши поезда имеют стратегическое значение».

«Месье, — возвысил голос Самарин, — ваши граждане пребывают в неведении относительно задач стратегического значения. Разве вы не слышали о межконтинентальных баллистических ракетах, бактериологическом оружии, термоядерном веке? Что при этом будет с вашим подвижным составом?»

«Наш состав не является подвижным, — последовал безмятежный ответ, — он неподвижен, глубоко укрыт в наших горных штольнях».

«Вернемся к нашим баранам, — потерял терпение Самарин. — Я ищу тихое, удобное место в зеленом уголке. Поезда движутся над вашей недвижимостью. Через частые интервалы. Я слышу их, хотя и не вижу».

«Месье...»

«...Самарин».

«Месье Самарин, — домовладельца передернуло, — обычно мы их не слышим. В этих краях поезда проходят через наше третье ухо».

«Часть нашего слухового пейзажа, я полагаю». — Самарин потянулся сорвать цветок вишни.

«Простите?» — переспросил хозяин, рассматривая фетровую шляпу Самарина.

«Месье Лейтенбергер, — сказал Самарин после длинной паузы, — видите вон там, внизу?»

«Где там?»

«Там, внизу. Виадук, вы его видите?»

«Виадук?»

Большим и указательным пальцем Самарин взялся за лиловую обтянутую шелком переносицу пенсне, приподнял ее, подышал на оба стеклышка, затем осторожно протер их носовым платком, выглядывавшим наполовину из нагрудного кармана.

«Скажем так. Мало поездов, проходящих где-то над вашим домом, так еще и поезда, идущие внизу, по виадуку. Паровозные гудки. Мистер Шнарвайлер, вы слышите стук колес?»

«Смутно», — рассеянно ответил тот.

«Он на четыреста сорок три метра ниже нас», — успокоил Лейтенбергер.

«Знакомо вам имя Артюра Онеггера, месье Лейтенбергер? Вашего соотечественника. Он написал политональный маленький кошмар на шесть с половиной минут под названием «*Pacific 2.3.1.*», про локомотив, спятивший, как тот, что на виадуке, внизу».

«Я с трудом его вижу, *votre* виадук, он от нас за четыреста сорок три метра, месье».

«За четыреста сорок три метра или за три метра, месье, безразлично: за вычетом исключительных атмосферных условий, звук распространяется кверху — элементарный акустический факт. А когда ваш фён дует почему зря, грохот поезда на *моем* виадуке еще слышней».

«Не думаю, месье, что какая-нибудь рациональная связь существует между нашим ветром и виадуками».

Самарин чуть было не сказал ему (но не сказал), что виадуки — узкие сооружения на спичечных ножках, с резонансной рамой, усиливающей звук прохождения тяжелых и легких транспортных средств: римских колесниц, детских самокатов, пятитонных танков «леопард», трамваев, громоздких грузовиков, туристов с тяжелыми рюкзаками и сапогами, подбитыми металлическими подковками, не говоря уже о бесконечных товарняках с колесами, производящими трехтактный грохот, катящихся по стальным путям во всякое время дня и ночи.

«Знаете, месье Лейтенбергер, — продолжал Самарин, — виадук внизу, невидимая железная дорога наверху, а мы ни там, ни тут, а точно посерединке, в самом пекле! Как, скажите на милость, здесь узнают, что их поезд ушел, в этом вашем нелепом миропорядке?»

Озадаченное выражение на лице Лейтенбергера сменилось равнодушно-высокомерной гримасой — обычная швейцарская маска, которую Самарин научился распознавать. Самодовольство — швейцарская национальная черта, — возобладало: когда не знаешь, что ответить, смотри как можно равнодушной, пусть завеса этакого беспамятства ляжет на твою физиономию. Каждый преждевременно созревающий швейцарский ребенок овладевает этой наукой ко времени окончания детского сада.

«У вас приличные владения, — сказал Самарин. — Симпатичный дом, превосходный альпийский вид, смоковницы, розы, цветущие вишни, фруктовые деревья, декоративные каменные горки, плакучие ивы, бархатистые лужайки, уединение. Если бы не поезда!»

«Почему, месье... Сахарин... правда, почему?»

«Мои уши, месье Люмпенбюргер, они не приспособлены».

Губы домовладельца зашевелились снова, но беззвучно. За грохотом экспресса где-то наверху и гулом товарняка, волочащего свой бесконечный лязгающий хвост по виадуку внизу, Самарин не слышал ска-

занного, но догадался, что Лейтенбергер говорил что-то о поездах, которые ночью не так часты. Шнарвайлер стоял рядом и кивал. Самарин закрыл ладонями уши. Ему показалось, что он оглох.

«Думаю, все это подлежит обсуждению», — сказал он агенту, когда они проезжали мимо подъезда с чугунной решеткой.

Вживание в выживание

Поистине то была любовь с первого взгляда. Побродив полтора часа по дому и саду, Самарин был очарован тенями, увитым плющом фасадом, безмятежностью, фруктовыми деревьями, низко свисающей ивовой листвой, классическими пропорциями и гармонией архитектурных объемов. Зайдя во внутренний дворик, он легко толкнул приоткрытый ставень. Тот заскрипел; этот звук был сродни другому скрипу, некогда слышанному им в старом дедушкином доме в Рамбуйе. Там, на террасе, в тени большого платана, шестилетний Вовка Самарин открывал и закрывал, открывал и закрывал высокий синий ставень и с любопытством смотрел на уши бабушкиного скотч-терьера, поднимавшиеся каждый раз, когда расшатанный ставень скрипел на разболтанных петлях.

С выключенным слуховым аппаратом шум поездов был неслышен. Несмотря на пугающую цену, он был пойман на крючок, безвыходно пленен этой прелестной содержанкой, которая разорит его со всеми перестройками и мелкими доделками, которые он уже рисовал себе. Некоторым утешением служило то, что его жизнь иссякнет, по всей видимости, прежде, чем сбережения. Неважно! Самарин созрел для продажных ласк своей новой роковой подруги.

Агенты по торговле недвижимостью — сомнительная публика, этот урок Самарин усвоил на собственном горьком опыте много лет назад. Швейцария в этом смысле держалась на уровне высших мировых стандартов. Одурачивание доверчивых клиентов стало здесь укоренившейся рабочей привычкой. В матушке Гельвеции, где деньги решают все, а богатство молчаливо, где отравление компаньона с целью присвоения его доли беззастенчиво рассматривается почтенной магистратурой как *crime passionel*³ со смягчающими обстоятельствами, — все возможно.

Вся округа знала о сюрпризе, поджидавшем Чарли Чаплина, когда он обосновался в Швейцарии. Семейство только что въехало в недавно приобретенный дом *Manoir de Van*, усадьбу над Веве, разместившуюся на Женевском озере среди прилегающих к нему гор. В первое же незабываемое воскресенье после переезда Чаплин был поднят с постели в семь часов утра. Тычась спросонок как сомнамбула, он обнаружил, что безостановочная пальба исходит не из кинозала, который едва ли не померещился ему, а из публичного тира на лугу под усадьбой, принимавшего невинный пасторальный вид по рабочим дням. И тогда одетому в пижаму Чаплину открылось, почему его желание осмотреть усадьбу в выходной день ни разу не было удовлетворено: агент ссылаясь на святость воскресного отдыха как на непреодолимую швейцарскую причуду. После более чем двадцатилетней жизни в Швейцарии Самарин научился благоразумной швейцаробоязни.

Несколько недель по утрам, днем, поздней ночью, в выходные он рыскал по соседству. Его влечение к этому дому не уменьшилось. Перед тем как окончательно дать согласие, не забывая о *caveat emptor*⁴, он совал нос повсюду в поисках скрытых подвохов *à la* Чаплин, грозящих ему по заключении сделки.

Он решил позволить своей остроглазой Изабель проинспектировать дом. За все время долгого осмотра она ни слова не сказала Лейтенбергеру,

³ Преступление на почве страсти (франц.).

⁴ Покупатель, остерегись (лат.).

увязавшемуся за ней, как пудель. Самарин полулежал во внутреннем дворике в шезлонге под зонтом, накрыв лицо шляпой.

Часа через два Изабель стояла над ним. Она потрогала его за плечо. Его руки вяло потянулись к ушам.

«Мы закончили, Изабель?»

«Я составила список, — громко сказала она. — Господину Самарину придется всю как есть разобрать кухню и построить новую. И краны текут».

«Будет сделано», — проворчал Самарин со шляпой на лице.

«Господин Самарин мог бы позволить себе более просторную ванную. Стену соседней комнаты можно снести, и получится большая ванная».

«Будет сделано!»

«Тесноватое помещение для прислуги хорошо бы маленько пере...» — ее голос споткнулся на той ноте, с которой обычно произносится фраза: «У меня к вам небольшая просьба».

«К черту стены, Изабель».

«Сад...»

«Что... сад?» — Самарин убрал шляпу с лица и водрузил пенсне на переносицу.

«Я присмотрю за садом. Нет нужды в ораве этих бездельников садовников. Летом, раз в неделю, человек с трактором для газонов. Еще один, чтобы постричь время от времени живую изгородь, поздней весной и летом, и поддерживать ее в приличном состоянии. Остальное сделаю я: цветники, искусственные горки, кусты».

«Гм...»

«Поливальная система, кажется, исправна».

«Превосходно!»

«Я слышу поезда».

«Я тоже».

«Продавец, по-моему, запросил слишком много».

«Откуда вы знаете?»

«Сразу видно, стоит только на него посмотреть».

«А дом вам нравится, Изабель?»

«Дом в порядке».

«Хорошие вещи стоят дорого».

«Не все хорошие вещи хороши». — Она хмыкнула и направилась к машине. Там она устроилась на переднем сиденье, прямая как палка, и всю дорогу не отрываясь смотрела вперед.

Наконец этот день наступил. Самарин и Лейтенбергер поджидали последнего специалиста на предмет осмотра подвального помещения, где Самарин собирался соорудить маленький плавательный бассейн. Он лелеял тайную полунадежду, что специалист обнаружит какой-нибудь изъян.

Бывший борец международного класса на поприще приращения банковского капитала, он некогда вел свой корабль среди рифов в финансовом море и пробивал себе дорогу в конференц-залы, где воротилы с борджиевыми аппетитами сочиняли и оркестровывали очередные биржевые катаклизмы.

Ему прихвлясь бы по вкусу последняя заминка, напомнив те старые добрые времена. По крайней мере она проколет мыльный пузырь гордыни, которую агент выказывал каждый раз, когда Самарин уточнял детали. «Почему бы нам не решить это, скостив нолик с ваших коммиссионных?» — такую мимолетную грезу Самарин иногда позволял себе.

После дотошного осмотра фундамент был найден абсолютно надежным.

Владельцы, будущий и бывший, совершали последний обход. Проходя мимо открытой двери того, что некогда служило *La chambre de maître*⁵, Самарин повернулся к Лейтенбергеру: «Вам не кажется?..»

⁵ Комнатой хозяина (франц.).

«Вы почували это?» — сказал Лейтенбергер загадочно.

«Да, и не впервые. Запах свежей выпечки, круассаны, птифуры... фруктовые бисквиты? Лейтенбергер, мы не проморгали подпольную пекарню в одном из ваших грандиозных подсобных помещений?»

Неуверенная улыбка забрезжила на кислом лице Густава Лейтенбергера.

«Ближе к концу папá развил неконтролируемую тягу к разного рода сладостям. Что только не прошло через эти двери! Но в самые последние дни даже это маленькое удовольствие стало невозможным. Эти призрачные запахи, я полагаю, появляются и исчезают в зависимости от атмосферных перемен. *Quelle triste destinée!*⁶» — Меланхолический голос осекся.

«Невидимые виадукы, беззвучные поезда, призрачные сдобные запахи... атмосферные колебания! Лейтенбергер, уж не подвержены ли вы случайно деревенским суевериям?»

Самарин сделал глубокий вдох. Втягивая смутный запах булочной, он подумал, что всеведущие стены его будущего дома каким-то необъяснимым образом симпатизируют ему. Не вполне развоплотившийся папá; Самарин мудро пристроится в очередь за ним у сдобных врат судьбы в ожидании эклера своей участи.

Первого апреля 19.. он вступил в права владения недвижимостью. В задумчивости стоял он на лугу в тени раскидистой ивы. Позвякивание коровьих бубенцов на соседнем пастбище и отдаленные гудки приближающегося поезда долетали до его слабого слуха.

Не пора ли вернуться к мысли о натурализации в Швейцарии, этом райском уголке без ангелов?

*Je Pense Donc Je Suisse*⁷

Когда его семья, еще не распавшаяся, двадцать два года назад перебралась в Швейцарию, он часто совершал со своими домочадцами прогулки по городу. Страдая от одышки, он понял, что и центр Лозанны, и ее окрестности — это странное, неравномерное сочетание подъемов и спусков, что придавало городу не лишенный приятности, несколько барочный стиль. Спустя какое-то время он сказал бы, что отсутствие линейного ландшафта наделяло бездушную Лозанну подобием прозаической одухотворенности.

Одним дождливым полднем, перебирая груды монет из своей копилки, он наткнулся на не попавший в обращение серебряный полтинник с изображением Франклина образца 1952 года. Сквозь лупу он любовался его обратной стороной с блестящим, едва различимым, но отлично выполненным *E Pluribus Unum*⁸; на лицевой стороне крупными буквами было оттиснуто *In God We Trust*⁹; надпись занимала почти всю нижнюю часть монеты.

Что касается швейцарского девиза, заимствованный из «Трех мушкетеров» Александра Дюма (*Один за всех и все за одного*), он скорее практическое руководство, которое вряд ли встретишь оттиснутым где-либо. *Helvetia* — скромно выгравировано на швейцарских монетах, тогда как солидные многоцветные банкноты этой страны полагаются не столько на Бога, сколько на богатство.

Ах, Швейцария, страна законченных филистеров! Единственный случай любви-ненависти, испытанный когда-либо Самариним. А еще говорят: кто преуспел в Нью-Йорке, тот преуспеет где угодно. Теперь Самарин знал: тот, кто выживет в Лозанне, выживет и на своих похоронах. Знал ли

⁶ Какая печальная участь! (франц.)

⁷ Мыслью — следовательно, я швейцарец (франц.).

⁸ От множества к единству (лат.).

⁹ В Бога веруем (англ.).

*Ното альпинус*¹⁰ что-либо подобное? Не швейцарцы ли научились пропускать мимо ушей упреки страдающих от войны соседей? «Пережидай драку сидя на заборе — твоя душа окаменеет!» — это обвинение окружающий мир регулярно бросал безмятежным швейцарцам.

«Лучше с душой, окаменевшей заживо, чем замертво — с пулей в голове!» — звучал кальвинистский ответ из-за гор.

Или Швейцария действительно один из последних приютов, где все разворачивается по-человечески медленно на фоне общего водоворота, устремленного неизвестно куда?

Швейцарцев, принимающих лишь скромное участие в пиршестве человеческой мысли, не выведешь из равновесия и захватывающим пейзажем. Отсутствие губительного выбора и преобладание предвзятых представлений облегчает жизнь: слишком сдержанная, она ничего не знает о психологических травмах, выбирая между кофе и чаем. Предательский механизм принятия подсознательных решений не слишком перегружен.

Убаюканный уклончивым спокойствием Лозанны, направляешься к террасе уличного кафе. Сидишь за маленьким круглым столиком, неловко согнув под ним колени. Не убоившись шестидесяти восьми сортов чая со всех частей света, заказываешь чай с лимоном и пирожное скучающему официанту-португальцу. Отламываешь кусочек эклера, а глаза задерживаются на неторопливом прохожем.

Не здесь ли провел идиллические месяцы Тургенев? А Цветаева, живя на *rue du Midi*, подумывала о самоубийстве. В отеле «Англетер» в Уши Байрон писал «Чайльд-Гарольда». Стравинский в Кларенсе сочинил «Историю солдата», Набоков, живя в *Montreux Palace*, охотился на бабочек, обеспечив себе «Лолитой» безбедное существование. Рильке похоронен в Рароне.

И вот он, подавленный стечением обстоятельств, ...заблудившаяся муха, застрявшая в швабре Германа Вейля, не нуждающийся в заработке на этой странной родине престижного и подспудного банковского дела, часов, более надежных, чем сердечная мышца, прочной, хотя и все более двусмысленной, веры в нейтралитет вкупе с беспрецедентным по строгости воинским призывом.

В ожидании последних ударов колокола Самарин петлял в серых буднях ускользящих лет, привыкнув к образцовому альпийскому приюту с благоразумными, скромными гражданами, беспомощными в вялотекущем разговоре, но преображающимися, лишь только речь заходит о деньгах.

С годами Самарин научился уважать прохладное недоверие ко всему пламенному, так мрачно укоренившееся в швейцарской манере. Коровы были его лучшими соседями.

Новоиспеченный домохозяин смотрел на разбросанные виноградники, круто сбегавшие к озеру и городу. В ясные дни башни готического собора двенадцатого века возвышались над охрой черепичных крыш.

В то время когда вечно подозрительный Самарин все еще присматривался к окрестностям, ему однажды пришло в голову, что если встать на роликовую доску, оттолкнуться у подъезда и заскользить вниз по узкой асфальтовой дорожке вдоль виноградников, повернуть на дорогу, выходящую на шоссе, продолжить спуск по окаймленным деревьями покатым городским улицам, затем весело проследовать под уклон вдоль старых трамвайных путей, то можно примчаться после безостановочного пробега длиной в 11,2 км прямо к парадным дверям *Union des Banques Suisses*, в самом центре Лозанны, где он держал деньги.

Самарин никогда не ставил ногу на роликовую доску. Но как-то ранним вечером он проехал в автомобиле по уже опустевшим улицам, выключив скорость, одним махом, в свободный от транспорта час, когда все светофоры переходят на мигающий желтый свет.

¹⁰ Человек альпийский (лат.).

Числа

На первое апреля в Швейцарии назначают переезды. Во всем остальном мире это день обманов и розыгрышей. Он мог бы стать, размышлял Самарин, первым днем «апреля, месяца жестокого, из мертвой земли сирень рождающего», но этот день также напоминал Самарину, что в следующем месяце колокол возвестит ему шестьдесят третий год его рождения, может быть, жесточайший месяц самого смертного года его жизни, — каждый день приближает то время, когда он и сам станет этой мертвой землей, рождающей сирень.

Странным образом апрель был месяцем, в котором сошлись некоторые важнейшие события в жизни Самарина, для него не менее знаменательные, чем апрельские видения Элиота 1922 года, когда тот провел несколько месяцев в Лозанне, не в силах закончить «Что сказал гром», лелея вызванный Вивьеном психосоматический паралич воли.

Сын Самарина, актер, родился, подобно Чаплину, 16 апреля. В апреле родилась мать Самарина, умер отец, тридцатью шестью годами ранее женившийся повторно, тоже в апреле.

12 апреля 1932 года стало самым важным днем в жизни Доры Райкиной. Все еще девица в тридцать семь лет, некрасивая, неуклюжая, будущая мачеха Володи Самарина стала женой его стройного и привлекательного отца, на которого она обрушила всю страсть прежде неразделенной любви и с болезненной нежностью поклялась заменить мать четырехлетнему сыну мужа в день своей свадьбы. Пусть не ее сын, но навсегда усыновленный, он должен был стать единственным ее ребенком.

Двенадцатого апреля 1945 года, в тринадцатилетнюю годовщину ее свадьбы, семнадцатилетний Самарин вернулся домой к шести вечера. Едва открыв входную дверь, с порога он прокричал о том, что принят в колледж нью-йоркского университета. С письмом в одной руке и подарком в другой он влетел в гостиную.

Своих родителей он застал припавшими к радиоприемнику. Передавали сводку новостей из Уорм-Спрингз, штат Джорджия. Их лица были мрачны, они едва поздоровались с ним, сидя друг подле друга, печальные и отсутствующие. По щекам катились слезы. Для них, но пока еще не для юного Володи Самарина, Америка олицетворяла собой спасение от насильственной смерти. Выгрузка в Хобокене влажным августовским полднем 1941 года все еще была для них неразрывно связана с именем Франклина Делано Рузвельта. Много лет спустя Самарин, любивший заглянуть в бедлам истории, нашел еще одну апрельскую ассоциацию, спрашивая себя, какой нацией управлял бы покойный президент, не случись войскам южан атаковать форт Семтер на рассвете 12 апреля 1861 года.

Книга, которую он подарил родителям на годовщину их свадьбы, называлась «Человеческая ситуация» У. М. Диксон. Теперь она лежала в одной из до сих пор не распакованных коробок с книгами, загромождавших его новое жилище. Он вспомнил строки, которые хотел им тогда прочесть:

Судьба — это море со всех сторон,
 Душа как скала, и кипят валы,
 Но грохотом слух ее раздражен
 И пеной приливов — лицо скалы.

В таком безутешном состоянии он видел своего отца последний раз в апреле 1942 года. Через службу Всемирного почтового союза пришла открытка из Москвы, пропущенная советской военной и американской цензурой. Она была написана фиолетовыми чернилами и датирована ноябрем 1941 года. Отец узнал аккуратный, тесный почерк своего друга детства, такого же уроженца Одессы, как и он сам, с которым в студенческие годы перед революцией делил квартиру, учась в Московском университете.

Она начиналась: «Долгое время не мог заставить себя написать это...», далее шел рассказ о судьбе оставшейся в России семьи Самарина-старше-

го, о которой тот ничего не знал последние двенадцать лет. Оккупационные румынские силы безопасности в Одессе сбросили его овдовевшего отца с балкона квартиры на четвертом этаже. Шея его была продета в петлю, а конец длинной веревки привязан к перилам. В соседнем районе его сестра с мужем были повешены в городском парке. Двое их маленьких детей вместе с тысячами других евреев были согнаны в порт, облиты бензином и сожжены заживо.

Узник Стонхенджа

Самарин сидел свесив ноги на булыжном парапете. Ветви конского каштана нависали над ним. День был прохладный и ясный. В отдалении, наподобие белого капора, возвышалась округлая вершина Монблана над альпийской грядой. Низко висящая молодая листва касалась его головы. На легком ветерке его редкие серебрящиеся волосы прихотливо приподнимались, как тонкие змеящиеся струи, расползающиеся во всех направлениях.

Он соскользнул с парапета. Снизу от виадука долетал приближающийся гул. Самарин отключил слуховой аппарат и направился к дому.

Сотни книг уже стояли на полках. Но оставалось еще множество нераспечатанных коробок. Он переоценил количество простенков и недооценил число своих книг. Расхаживая от одной коробки к другой, он пытался вспомнить, какие из его любимых книг еще не распакованы. Прислонившись к стене, закрыл глаза. Приливы оглушительной тишины переполняли слух, подсказывая его разуму полузабытые названия.

Куда ушло время? Упаковывая книги на старой квартире, он держал их в руках, открывал, вдыхал их запах. Поглаживая переплеты, перечитывал захватанные пальцами абзацы, подчеркнутые им лет сорок пять назад, относясь к автору (вслед за Дэвидом Сесилом), как к живому человеку, с которым жаждешь общения, что делает книгу родным существом. Он дивился разнообразию шрифтов, проводил рукой по страницам, которые никогда уже не прочтет. Не Гёте ли заметил, что знание — это боль?

Его волновало, хватит ли места на полках для всех его книг. Не останутся ли они в подвешенном состоянии, как у Магрита? *Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme*¹¹, — как сказано у Лавуазье.

Поднялся ветер. Начали сгущаться маленькие облака. Он посмотрел на крышу. Флюгер дрогнул и повернулся. На фоне темнеющего неба стал похож на треугольник. Может ли все быть простой гипотенузой? Пифагорейской, проведенной меж двух катетов, по которой движутся вслепую, заполняя свободное пространство, упраздняя время, через неравные промежутки? Жан Жорес как-то сказал коллеге, проигравшему на выборах: «*Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent*»¹².

Было влажно, прохладно, падали листья. На луг опустился легкий туман.

Он собирался вернуться домой, когда заметил какое-то движение перед входом. Подошел поближе к портику.

Небольшая фигурка вприпрыжку перемещалась по дороге. На ней был слишком тесный для головы котелок, она шла, по-утиному ставя ноги в огромных башмаках и черных преувеличенно просторных штанах, в узнаваемом коротком пиджачке. Пожухлый денди растаял в тумане. Все изумленное человечество, казалось, подпрыгивало и дрожало вместе с ним.

Напевая себе под нос навевающий сон швейцарский гимн, с небольшой недавно приобретенной хромотой в походе Самарин направился к высоким открытым окнам, окаймлявшим внутренний дворик. Собираясь войти в дом, он запутался в белых занавесках, выплывавших наружу наподобие волокнистых облаков.

«За героическую бесполезность», — сказал он, поднимая к небу воображаемый бокал.

Перевел с английского Дмитрий Чекалов.

¹¹ Ничего не создается, ничего не исчезает, все преобразуется (франц.).

¹² Повернулся не флюгер, а ветер (франц.).

ПОД ШВЕЙЦАРСКИМ ФЛАГОМ

Джеймс Владимир Гил родился в 1927 году в Германии, его отец возглавлял советское торгпредство в Гамбурге, а мать была консульской служащей. Летом 1930 года семья собиралась, как обычно, провести летний отпуск в Ялте, но от высокопоставленных московских друзей отец узнал, что в Москве его ждет арест, и не вернулся в Советскую Россию. Политическое убежище родители Владимира Гиля получили во Франции, где Володя поступил в парижский лицей, читал Корнеля и Расина и поменял имя Владимир на французское Жак. У мальчика проявились музыкальные способности, и девяти лет от роду он был принят также в музыкальную школу, где обучался игре на фортепьяно.

Этот период его жизни нашел отражение в рассказе «Январь», опубликованном в переводе с английского «Литературной газетой» в 1995 году. На художественную манеру писателя оказали влияние его любимые авторы Пруст и Набоков; Набокову Гил в 70-е годы показывал в Монтрё свои прозаические опыты и слышал от него: «Вы должны писать».

Возможно, благосклонное отношение к нему Набокова было связано также с некоторыми общими мотивами эмигрантской судьбы: ни Германия, ни Франция не стали для них родной страной. В «Других берегах» Набоков рассказал об унижительной процедуре получения и продления эмигрантского вида на жительство. Не сразу, не с первого и не со второго чтения, я расслышал эту приглушенную ноту обиды и тоски: «Английские, немецкие, французские власти где-то в мутной глубине своих гланд хранили интересную идейку, что, как бы, дескать, плоха ни была исходная страна (в данном случае Советская Россия), всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации».

Отец Владимира Гиля, обладавший, в отличие от западного человека, горьким опытом русских бед и катастроф, не доверял ни линии Мажино, ни готовности Франции постоять за своих иммигрантов. В июне 1940 года, накануне гитлеровского вторжения во Францию, бросив в Париже квартиру, торговое дело, налаженный быт и все сбережения, он вместе с семьей, бежав через Пиренеи, достиг Португалии и отбыл оттуда в США на греческом пароходе.

Точно так же, на пароходе, но раньше на месяц, из Сен-Назера в США уехал с женой и сыном Набоков: «Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего».

В Нью-Йорке Владимир Гил поступил в школу, затем в колледж, изучал английскую литературу, французское имя Жак сменил на американское — Джеймс. Женился, стал отцом четырех детей, занялся бизнесом — музыкальные и литературные интересы отошли на задний план. Выяснилось, что он обладает причудливой способностью предвидеть экономические подъемы, спады и перебои. Вспоминая американский период своей жизни, Гил сравнил этот странный дар с предсказанием землетрясений и прочих катаклизмов, «непонятым, но цепким качеством в мире, переполненном потными пророками». Его заметили в «шизоидном мире бизнеса», пригласили на работу в международную финансовую группу, двадцать два года он провел в среде финансовых воротил, мотался по свету, исколесил Европу, Соединенные Штаты, Юго-Восточную Азию, спал по четыре часа в сутки, рисковал жизнью (в одну из наших редких встреч он рассказал мне, как не то в Африке, не то в Индокитае переходил несколько раз через нейтральную полосу, и обе враждующие стороны, по обоюдной договоренности, прекращали на это время огонь: финансовые интересы тех и других оказались выше военного противостояния).

Надежда вернуться к литературе не покидала его, но, чтобы заниматься ею, он считал необходимым добиться финансовой независимости. То ли дело наши скромные запросы и представления о земных благах, позволявшие нам заниматься любимым делом за письменным столом при месячном доходе в 150 — 180 рублей!

Изматывающая и небезопасная деятельность принесла ему богатство, но отняла силы и лучшие годы.

Однажды, рассказывает Гил в интервью чешскому журналисту, находясь в своем офисе, в наушниках, включив музыку, дирижируя по партитуре Сороковой симфонией Моцарта (то была «важная составная его ежедневной борьбы за выжи-

вание»), он заметил, что его телефоны и телексы отчаянно хлопочут и вспыхивают, но проигнорировал эту бурю. Пока он достиг Allegro Assai, им была пропущена важная перемена на европейском валютном рынке.

Ему стало ясно, что пора менять образ жизни. К тому времени он уже был в разводе с женой, дети стали взрослыми, он поселился в Швейцарии — и для него началась новая жизнь, посвященная литературным трудам и издательской деятельности. Основал известный журнал «2PLUS2», в котором были опубликованы более трехсот авторов из сорока стран, помогал талантливым людям в разных частях света.

В то же время состояние литературы на Западе огорчало его; в письмах он жалуется на упадок европейской культуры и читательского интереса к стихам и прозе. Я познакомился с ним в 1989 году на поэтическом фестивале в Роттердаме. Свои надежды на читателя он связывал с Россией, мечтал быть переведенным на русский язык. Между нами завязалась переписка. В мае 1990 года, в мое отсутствие в стране, он побывал в России — и затем с удивлением писал мне, что при обилии лесов, поразившем его, бумаги, даже самой скверной, не хватает для изголодавшейся прессы.

Он тянулся к людям из России (отсюда и его поездки на фестивали и конференции), с удовольствием переходил с английского и французского языка на русский, воображал иную судьбу. В одном из писем говорил, что представляет себя пожилым москвичом, дожившим до горбачевской перестройки, радующимся переменам, стоя в очереди за продуктами, бедным, как вся русская интеллигенция.

Он присылал мне из Лозанны французские, в серии «Плеяды», томики Монтеня, Паскаля, Лабрюйера, Ларошфуко, трехтомное издание Пруста, с юмором вспоминал в письме о нашем совместном посещении музея в Гааге, когда составивший нам компанию Евгений Рейн слишком близко подошел к полотну Рембрандта и на недовольное замечание служителя объявил ему, что он — дальний родственник Рембрандта ван Рейна — и показал паспорт.

Джеймс Гил замечательно слышал стихи, ценил скрытую в них музыку, «точность, правильную расстановку пальцев на клавиатуре, волшебную палочку, преобразующую то, к чему она прикасается».

Мы встретились с ним еще раз — в Иерусалиме, весной 1993 года, и в Голландии, тоже на конференции, с которой он уехал раньше времени — плохо себя чувствовал. Его здоровье, подорванное в молодости, внушало опасения. Рассказ, предлагаемый читателю, в значительной степени — автобиографический и не случайно назван «Окладбиществование».

Но еще в 1991 году я получил от него письмо, в котором он сообщал об инфаркте; не откажу себе в удовольствии (я не оговорился) привести выдержку в переводе с французского из этого письма — пример того, как мыслящий человек умеет извлекать интеллектуальную выгоду даже из собственных несчастий: «У меня есть картина Доменико Фетти: женщина, сидящая на фоне пустынного и безмятежного пейзажа. Мне бы больше подошло «Созерцание» того же художника, где изображена мудрость, размышляющая над черепом. Но мудрость, как она ни старается, не способна, между нами, подумать ни о чем мудром, так как думать о смерти не получается. Эта умная голова так же пуста, как череп, над которым она размышляет. Человек перед лицом смерти — как перед непроницаемой глубиной ночного неба. Я думаю о тихой меланхолии, изобретенной композиторами, которые предаются ей на элегический или траурный манер наподобие маленькой мысли («Думка»), начатой и незаконченной, — нечто вроде грезы. По крайней мере музыка почти всегда прекрасна».

Нет, недаром он ценил психологическую прозу французских эссеистов!

Торопился наверстать упущенное. Осенью 1994 года закончил и отправил издателю в США автобиографический роман «The Fifth Season» («Пятое время года»), над которым работал несколько лет, а в своем декабрьском письме рассказал о работе над новеллой. Это «история старика, нетипичного, хотя узнаваемого, англичанина, из нетитулованных дворян, на девятом десятке, очень богатого, живущего на материке, безумно увлеченного Вагнером и еще в большей степени — очаровательной молодой женщиной, лет под тридцать. И вот некий утонченный господин пятидесяти с лишним лет, не любящий Вагнера, добрый знакомый старого джентльмена, уводит ее у него.

Мне приходится много заниматься Вагнером, его перепиской, автобиографией, Байрёйтом; Ницше о Вагнере, Лист о Вагнере и Бернард Шоу об этом человеке и его музыке... затем — слушать его оперы... ой!

Несколько лет назад, задумав эту новеллу, я провел две недели в Байрёйте, чтобы вдохнуть тамошний аромат. Невероятное место, от которого во время фестиваля все еще пахивает старыми, добрыми нацистскими временами».

Да, подумал я, читая это письмо, прозу писать — не стихи сочинять. Маяковский, узнав, что Пастернак пишет поэму «Лейтенант Шмидт», сказал: ну вот, теперь хоть посидит за столом, а то пятнадцать минут — и готово дело.

26 апреля 1995 года в «Литгазете», как я уже здесь упоминал, был опубликован в переводе с английского (переводчик Д. Чекалов) его рассказ, а через неделю из Лозанны пришло известие о его смерти. Он умер 23 марта, внезапно, от разрыва сердца, у своего автомобиля, наклонившись, чтобы приподнять железный занавес гаража.

Ирен Хофман, чешка, «очаровательная молодая женщина» (пользуюсь этим словосочетанием из письма Джеймса о задуманной им новелле, приоткрывая перед читателем чужие карты), делившая с ним последние годы жизни, в письме ко мне рассказала, что она приносила «Литгазету» на его могилу. В этом жесте нет ничего сентиментального и нарочитого — надо знать, как он мечтал увидеть свою английскую прозу опубликованной на родном языке!

Нам, живущим в России, особенно тем, кто прожил бóльшую часть жизни при советском строе, интересно заглянуть в иную жизнь, в иной мир, такой уютный, такой благополучный. Мы примериваемся к нему, попадая на Запад, пробуем заглянуть за зеркальную поверхность, вообразить себя живущими там, — у нас это плохо получается. Рассказ «Окладбиществование» предоставляет такую возможность. Мы попадаем в Швейцарию, никогда не воевавшую, мирную, чистенькую, рассчитанную на безбедное существование. Но выясняется, что для мыслящего и остро чувствующего человека жизнь, где бы она ни протекала, — испытание. Нет, не романтическая хандра, но одиночество, несчастья, обманутые надежды — всегда «на страже». «И под издранными шатрами живут мучительные сны». Под крестообразным швейцарским флагом, которым, кажется, можно накрыть всю маленькую, вымытую и причесанную Гельвецию, — тоже. Что здесь, что там; так на так; человек везде получит свою долю счастья и беды, как бы ни соблазняло его чужое благополучие и респектабельность.

А. Кушнер.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ



МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО?

Можно забыть очертания букв полустертых,
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых, но мертвых
Можно ль забыть?

С. Липкин.

1

«Р»оссия сейчас в таком состоянии, что с ней может случиться все, что угодно — эти слова Достоевского в пореформенную пору могли показаться преувеличением: так представлялось, что отныне российское общество имеет все возможности успешного движения к процветанию.

Но оком пророка разглядел великий писатель тогда еще немногочисленных «бесов», «трихинов», ведших в государственном теле неуклонную разрушительную работу. Это были носители радикальной идеологии, работавшие на распад народного организма во имя социалистических принципов. В их «поле», как в воронку, постепенно втягивалось все более или менее культурное общество, на смену мировоззренческой либеральной органике приходила жесткая утопическая идеология. «У нас, — констатировал позднее Лев Тихомиров, — давление общества поистине ужасно для свободной работы ума... Наше общество понимает только «партии» и от всех требует непременно «партийной работы». Оно не представляет себе, чтоб человек мог быть «самим собой», и не признает, что лишь работа такого человека вносит нечто в сокровищницу развития самого общества. От этого бесплодны наши таланты: покоровшийся обществу тем самым перестает быть творческой силой; а упорствующий в сохранении своей личности становится «изгоем», и его сила гибнет не в творческой работе, а в простом сопротивлении деспотизму общественного мнения».

«Упорствующий в сохранении своей личности» попадал таким образом между молотом государственной бюрократической косности, приводившей в отчаяние просвещенных консерваторов (сетуя на нее, Тютчев, например, доходил до депрессии), и — наковальной «леволиберальной — по определению Лескова — жандармерии», силы еще более деспотичной и разрушительной. Русскому человеку с живым непартийным национальным чувством уже тогда было трудно чувствовать себя дома, «литературными изгнанниками» называл Розанов литераторов такого мировоззренческого оттенка. А если так, то и революция была едва ль не предрешена: до того как катастрофа разразилась физически, она уже случилась в умах.

* * *

...Однако насколько ж актуальней сказанное Достоевским — сегодня, когда сквозь густые клубы пыли от падения гигантской кровли тоталитарной империи мы пытаемся разглядеть: что же происходит на деле — распад или собиранье народной души?

После десятилетий идеологического фанатизма и проституции, безжалостного подавления любой бескорыстной инициативы и удушения антикоммунистического патриотизма, выжигания живой справедливости — на каких путях возможно духовное и социальное возрождение, воскресение? Какая консо-

лидирующая идея, какое мироощущение способны выволочь нас из бездны? Есть ли у России свое предназначение, и если да, то в чем оно заключается? Вопросов много, а ответы покуда невразумительны. Но кто же, как не мы сами, и должен искать ответа? Словно после тысячи лет исторического развития великой стране все приходится начинать сначала — притом в сверхнеблагоприятных условиях наката экологической и демографической катастрофы. Это только на самодовольном лице какого-нибудь нынешнего министра написано — вопреки очевидности, — что он и через год все еще будет оставаться министром; мы-то, что называется, селезенкой чувствуем, что почва у нашей родины уходит из-под ног ежедневно.

* * *

И большое заблуждение, что после распыла коммунистической идеологии у нас нет теперь никакой, а просто плюрализм и формирующаяся рыночная экономика.

«Свято место пусто не бывает», и именно идеология рынка — то есть идеология неуклонной стимуляции и потребления — активно колонизирует ныне опроставшееся от диамата жизненное пространство России.

Наши неофиты от рынка были наивно убеждены, а многие и посегодняя пребывают в такой уверенности, что рынок — саморегулирующийся в пользу человека механизм, не приемлющий никакой насильственности. На чем основывается такое убеждение — Бог весть; очевидно, на просветительском понимании изначальной разумности естественного человека, которому не надо только мешать, как это делали религия, властное государство и проч. И тогда неограниченная свободная предприимчивость каждого будет на пользу всем.

Однако высокоразвитая технократическая цивилизация конца XX века показывает: цель рынка, суть его — не заботливое обеспечение, а прибыль во что бы то ни стало.

Но потребности даже такого алчного существа, как человек, ограничены. Следовательно, рынку надобно постоянно их разжигать, стимулировать, даже если при этом приходится выкачивать из биосферы и недр последнее.

Кроме того, необходима обслуживающая рынок искусная пропаганда, разжигающая соблазны. Колоссальная инфраструктура культурного бизнеса, оттягивающая на себя и к себе едва ли не все таланты, завуалированно или в открытую работает на разжигание спроса. Культура коммерциализируется в интересах заказчика, с отроческих лет натаскивая подростков на потребление, на безответственность по отношению к мировой судьбе вообще. Одним словом, рыночная цивилизация насквозь идеологична, и, если угодно, коварство в том, что идеология эта — в отличие от коммунистической — однозначно не сформулирована. Она везде и нигде, и ее хищная сущность проявляется лишь исподволь: например, в отказе принимать обязывающие общемировые экологические решения, ограничиваясь «косметическим ремонтом» природы в своей «отдельно взятой» стране.

Самоограничение, разумное самостеснение, робкие ростки новых единственно спасительных и здравых общественных отношений рыночной идеологией локализованы, канализированы в бедных непопулярных изданиях и, таким образом, обессилены.

Яркая аппетитная цивилизация, застывая глаза впервые попадающему на Запад хворому экс-советскому «диабетику», на самом деле червива. И там до крайности актуален выбор: или в будущем веке самоуспражиться, или — начинать жить по-другому. Но этому «по-другому», повторяю, мешает агрессивная потребительско-рыночная идеология, размывающая религиозные основания общества.

* * *

И вот именно в эту грубую, отживающую, губительную идеологию бросают сегодня недавнего тоталитарного узника, жертву исторической катастрофы, больного и нравственно и физически. Поставили перед ним телевизор с триллерами и рекламой, особенно уместной в стране, где большинству не по карману и самое насущное, сунули в руки порнографическую газетку (многомил-

лионные тиражи желтой прессы у столичной интеллигенции не вызывают протеста, очевидно представляясь ей неременной атрибутикой свободного мира, тогда как какие-нибудь маргинальные националистические листки, которых, в сущности, никто и не видит, порождают бурю справедливого, но превеличенного возмущения и неадекватного страха).

Все и вся захлестнувшая бульварщина разом и потрафляет дурному вкусу, и — разжигает его; тут не поймешь, что первичнее, спрос или предложение, они словно соревнуются, опережая и подогревая друг друга. Отсюда и баснословные прибыли желтой прессы, исподволь разлагающей наш народ еще интенсивнее коммунистической пропаганды. Есть крепкое старорусское слово *погань*, точно определяющее основную печатную продукцию наших дней. Происходит необратимая порча огромных масс населения. Но радикал-демократы на редкость глухи к отсюда исходящей угрозе, считая, видимо, безобидной коммерческой забавой то, что на деле обладает сильным деморализующим общество облучением.

...Под коркой пуританского тоталитарного лицемерия блудили вовсю, особенно в комсомольско-номенклатурной среде. И именно эта среда, имевшая разветвленную инфраструктуру и деньги, стала питательным бульоном нашей придурочной демократии и новой буржуазии. Соответственно на поверхность вышла и вся ее подпольная аморальность.

«Провинциальные девушки 16 — 17 лет — непочатый пласт для нашей работы, — делится творческими планами фотограф русского «Плейбоя», — интересно, что родители сами предлагают своих дочерей для съемок» (РТВ, 5 августа 1995 года)¹.

Изо дня в день по всем телевизионным каналам, со всех газетных лотков зомбируется Россия эстетикой и идеологией масскультуры. С первых перестроечных лет наша прогрессивная пресса была нацелена только на раскрепощение, а не на воспитание социальной дисциплины; вождельные плоды цивилизации считались именно порождением не воспитания, а свободы. Дескать, оставьте человека в покое; хватит третировать его высокими идеалами; он сам разберется, как сделать лучше себе, а значит (почему-то), и людям; что только остатки цензуры и тоталитарной регламентации ему одни и мешают.

Разумеется, демократы искренне хотели, как лучше. Но ложная установка на форсирование экономической и общественной свободы, не огражденной ни действенными законами, ни социальным самосознанием общества, и не могла дать иных результатов, кроме экологического и демографического упадка. Производителю труду, общественному здоровью бордель противопоказан не менее, чем барак. Копирование рыночного механизма без учета его фундаментальных нравственно-исторических основ и могло породить только уродство. Зеленый свет надо было открыть работнику, а открыли гешефтнику.

Высвобождение из-под тоталитарного пресса должно было проходить через усиление социальной дисциплины (только основанной на принципиально иных, отличных от коммунизма качествах), а не через ее разложение.

Хуже, чем ошибка, настоящее преступление — отказ от государственной монополии на спиртное: народ опоили пойлом из ближнего и дальнего зарубежья, по сравнению с которым и брежневская «бормотуха» не ядовита (например, во многих домах в Чечне были обнаружены «мини-заводики» по изготовлению водки, из чего ее гнали, гонят — и у нас, и в Балтии или Польше, — можно только догадываться. Не вмещающееся в сознание резкое повышение смертности у мужчин имеет причиной еще и это). Наконец, и без того обессиленную Россию облили из ледяного ушата историческим нигилизмом. Все вместе это называется «шоковой терапией», лечение которой должно было, по замыслу приверженцев «общечеловеческих ценностей», ввести страну в «цивилизованное сообщество».

...Когда после семи эмигрантских лет еще в конце 1989-го я первый раз приехал в Москву, на эмигрантов был большой спрос: телефон надрывался, интервью, тексты рвали из рук. Но стоило мне только заикнуться о необходимости выработки общественного идеала, имеющего традиционную родослов-

¹ В Мичуринске этим летом мне попалось на глаза объявление: «Требуются девушки 16 — 25 лет для работы в столице и за границей. Зарплата не ниже 6 000 000 рублей». И вся нарезная планка с телефоном вербовщиков была уже оторвана.

ную, как у «Огонька», «Московских новостей» и прочих «флагманов перестройки» руки отсохли: никто не захотел это печатать. «Общечеловеческие ценности» — и баста².

Словно всеми молчаливо признано, что под тонкой пленкой советской цивилизации таятся у нас прямо-таки inferнальные погромные бездны. И язык инстинктивно начинал прилипать к гортани при первом упоминании о национальном самосознании и традиционном патриотизме.

Мне, неплохо знавшему, к примеру, израильскую печать, невозможно было не позавидовать, с какой широтой, в амплитуде от нигилизма до радикальности, трактуется там национальный вопрос — при неуклонном и энергичном соблюдении и проведении в жизнь государственного народного интереса. Там достигнуто, кажется, сложное и благотворное равновесие между свободой и здоровой национальной идеологией, равновесие, столь необходимое государству, живущему в достаточно экстремальных условиях.

У нас же это равновесие изначально было нарушено в пользу одной свободы.

* * *

Роковая ошибка реформаторов — в убежденности, что экономика суть точная материалистическая наука наподобие математики, полностью детерминированная объективными экономическими законами. Доктринеры словно не понимают, что она напрямую связана с работником, человеком, следовательно — прежде всего наука, чей главный предмет — работающий человек во всей его национальной, исторической, психологической и социальной конкретике. Экономика в каждой стране имеет свою специфику и свою философию. Что целительного и конструктивного могут нам посоветовать, например, специалисты из зарубежья, которые не знают и которым неоткуда было узнать россиянина в его плачевном нынешнем состоянии? Их рецепты в лучшем случае приблизительны. Ведь социальная и моральная дисциплина у нас теперь попросту на нуле, прошел страх перед коммунистической дубиной — вот все и бросились воровать, торговать перекупленным, превращая землю в свалку пищевых, химических и прочих отходов, ибо кто теперь ощущает ее как землю отечества?³

«Великой Русской Катастрофой 90-х годов XX века» (А. Солженицын) обернулся для России столь долгожданный и необходимый ей выход из коммунистической деспотии, и это не пессимистическое преувеличение, а глубокий взгляд — сквозь мишуру повседневности. Держа в уме сводки нынешних демографических, социальных, экологических, даже дипломатических катастроф, невозможно видеть иначе.

...Прошлой зимой в сумерки на одной из вологодских дорог я остановил попутный дребезжащий автобус — и вдруг после Рождественского-то храма с божественными фресками Дионисия оказался среди разнополых блатных и урок: мат, скабрзности; кажется, свальному греху мешали только ухабы. А на плексиглазе, отделяющем водителя от салона, — плакат: разлетающиеся бурые тучи, встающее трехцветное солнце и на их фоне Медный всадник и подковообразная надпись «Выбор России». Увы, в автобусе были не блатные, не урки — кирилловские рабочие мужики и бабы возвращались домой с работы, с какого-то строительного объекта. И, по очереди выходя из автобуса, как-то охорашивались, встряхивались и — как ни в чем не бывало — спешили по домам, в семьи. И подумалось: вот бы какого-нибудь эксперта из Международ-

² И бытует теперь такое устойчивое словосочетание: «известный своими патриотическими убеждениями». Но патриотические убеждения — это не мировоззрение, которое можно оспорить, а извечная органичная составная мироощущения, имманентная человеку. У нас же она выделяется в особую мету, а ультрадемократами — и во внушающее опасения или подлежащее осмеянию свойство. Правда, Гайдар выдохнул недавно: «Мы патриоты, не будем стыдиться этого слова». Но... как говорится, поезд уже ушел.

³ День ото дня растет, например, помойная свалка прямо под стенами переделкинской резиденции Патриарха. И чем измеришь уже почти естественную, натуральную порчу, сердечное омертвление тех, кто сносит сюда все новые и новые целлофановые кули отбросов, жадно раздираемые потом голодными псами?

Иван Бездомный бескорыстно озвучил тут вопль раз и навсегда обманутых коммунизмом, которым, однако, при всех «но», свобода дала сегодня то преимущество, что они могут теперь обращаться к Господу напрямую, не боясь, что их за это накажут.

И эти легионы несчастных — благодатный электорат для азартных оппозиционных политиков-демагогов, то грубо, то лукаво играющих на ностальгических струнах. Лгут, разжигая в себе мифическую романтику великого государства, не стыдясь перечислять его мифические «заслуги», оплаченные, однако, реальной кровью. «Поголовное, моментальное преодоление неграмотности. Создание национальной интеллигенции у феодальноотсталых народов. Создание океанской и космической цивилизации. Планирование не просто скоростей развития, но и его ускорений, что означало победу над хаосом истории, превращение истории в рациональный процесс». Благодаря чему осуществлялись «небывалые по размаху и гибкости проекты в интересах одного отдельного народа или страны в целом, рассчитанные на год или исторический период», — так характеризует СССР А. Проханов.

* * *

...При столь любезном сердцу «выбороссов» цивилизаторе Петре — элементе их эмблематического декорума, погиб или бежал за пределы досягаемости властей каждый десятый русский.

Их антагонисты-державники славословят сегодня коммунистическую «победу над хаосом истории», — во сколько десятков миллионов жизней обошлась она России, и посейчас с точностью не известно. Последний «небывалый по размаху и гибкости проект» — поворот северных рек — сорвала перестройка, следствие, по Проханову, коварного заговора геополитических противников советской «океанской и космической цивилизации» (верно, что не земной) и здешней «пятой колонны».

Астрономическое количество доносов, «дел», написанных и «оформленных» при советской власти, проекты, безвозвратно уничтожившие наши города и ландшафты, атеистическая агитация, споспешествовавшая убудочному марксистскому идеологическому воспитанию и истреблению веры, и впрямь требовали «поголовного, моментального преодоления неграмотности»: коммунизму нужны были грамотные рабы. Не случайно «поголовная грамотность» сопровождалась не только духовно-нравственным, но и буквально антропологическим вырождением, тоже если не поголовным, то моментальным; изменился сам облик русского человека — множество дореволюционных фотографий тому свидетельство. «Какие прекрасные лица... и как это было давно!» — славная строка Георгия Иванова каждый раз приходит на ум, когда их рассматриваешь...

По мере вышеупомянутого «превращения истории в рациональный процесс» «уходили, утекали из нашей души — наша открытость, прямотушие, повышенная простоватость, естественная непринужденность, уживчивость, доверчивое смирение с судьбой, долготерпение, долговыносливость, непогоня за внешним успехом, готовность к самоосуждению, к раскаянию, скромность в совершении подвига, сострадательность и великодушие. Большевики издергали, искрутили и изожгли наш характер» (А. Солженицын).

Остатки этих замечательных качеств каленым железом выжигает нынешняя действительность, но большая ложь — начинать исчислять беды с 1985 года: наше сегодня — логическое следствие тоталитаризма, а не нечто ему антагонистичное. И никакими «романтическими» имперскими бреднями, большой «геополитикой» и евразийской утопией не прикрыть, повторяю, простого и страшного факта поглощения коммунистическим людоедом многомиллионных жертв, не имеющего в мировой истории аналогов геноцида. Кем же надо быть, чтобы даже чисто «теоретически» любоваться созданным на таком «основании» государством?

Чего удивляться, что ныне мы имеем то, что имеем: когда из десятилетия в десятилетие лучшие развращались или выкашивались? «Новые русские» не в одночасье пришли на посттоталитарное пепелище. Это конечный продукт «селекции», жесткого отрицательного отбора многих десятилетий, «вдруг» обнаружившийся после того, как фиктивная коммунистическая мораль и дисципли-

на перестали прикрывать повсеместный нравственный вакуум. И когда партийцы, еще дожевывая черствоватый тоталитарный пирог, приступили к свежему — под соусом общечеловеческих ценностей — демократическому, тьмы шариковых, не ленивых и наделенных весьма специфической предприимчивостью, расценили это как сигнал к новому витку грабежа отечества, нагло и дружно присоединившись к профессиональной номенклатуре.

* * *

...Ложная схема противопоставления последних порочных лет предыдущим, «победным», была, кажется, впервые складно сформулирована незадолго до августа 1991-го в «Слове к народу», симбиозном манифесте коммунизма с патриотизмом, подписанном, увы, и многими высокоталантливыми деятелями культуры (одни подписывают «Слово к народу», другие — «слово к президенту», а в итоге на улицах матушки-Москвы танки). Это там страна наша, изнемогавшая под маразмизировавшей коммунистической деспотией, была названа... «державой, сложенной из молитв, тягот и откровений нашими отцами и дедами», для которых «государство было высшей святыней жизни». Это, оказывается, оно нас (а не мы — его) спасало «от позора и рабства в години черных нашествий». Советский Союз кощунственно отождествлялся сочинителями «Слова...» с Россией, трактовался как естественный преемник ее. Да на кого была рассчитана такая подмена? На какие свежие силы? И когда теперь спорят и обсуждают, почему «государственники» не победили «демократов» в том памятном августе, ищут виновников в ком угодно, где угодно, хоть в американском посольстве, а не вот в этой идеологии «Слова...», беспардонно предавшей миллионы, повторяю, погибших и как ни в чем не бывало вытягивавшей «преемственность» из исторического обвала.

Вдогон «Слову...» во все большем ходу сейчас такая теория: вследствие чисток второй половины 30-х годов (своеобразной нашей «ночи длинных ножей») и патриотического подъема военных лет коммунизм «руссеет» и постепенно становится положительной державной государственной идеологией, надежной скрепой страны, противостоящей врагам, особенно — сионизму и США. А первое десятилетие после 1945-го, после памятного тоста генералиссимуса Сосо Джугашвили «за русский народ», вообще считается золотым в смысле патриотизма и национальной державности.

Новое циничное торжество претендующего на патриотизм умозрения — над горькой исторической правдой; у радетелей за народ — глухота к новой стадии его драмы.

Так чем же отблагодарил сталинизм «наших отцов и дедов», спасших его «в години черных нашествий»? Что дало им государство, бывшее — согласно авторам «Слова...» — их «высшей святыней жизни»?

...Общеизвестна фольклорная расшифровка аббревиатуры ВКП(б): Второе Крепостное Право большевиков. Напомним, что после войны оно не только не ослабло, но стало еще лютее. Как раз те, от лица кого присвоили себе право анафемствовать нынешний беспредел «патриоты», стали эксплуатироваться еще беспощаднее. Норма потребления зерна колхозником в день была установлена в 200 граммов, «включая вероятный сбор опавших колосьев» (уголовно наказуемый). Рабочий день — 15 часов. Голод, пища из лебеды и травы. В Сибири — 40 граммов гороха на трудодень. После грабительских, почти бесплатных поставок-экспроприаций — хорошо, если в доме оставалась картошка. Аресты, репрессии: тюрьма за горсть зерна, унесенного для прокорма детей с колхозного поля, за покос на колхозной делянке, за чуток молока с фермы; высылка в отдаленные чужие места — за неработу в колхозе; за жалобу, что заиграны трудодни, — расправа; не выработал норму — полгода бесплатный беструдодневный труд. В северных и восточных райснах страны трудовая повинность для колхозников (от 16 до 55 лет) и колхозниц (от 18 до 45 лет) — лесозаготовки. Отсутствие паспортов. Сотни тысяч рабов ГУЛАГа. Принудительная трудовая повинность и для горожан.

В ноябре 1952 года жительница Ивановской области М. В. Ивина жаловалась в Москву: «...местные руководители... не сумели организовать уборку, а сейчас, в октябре месяце, позакрывали институт, техникумы и школы, согнали народу тысячи людей, неприспособленных, плохо одетых, питанием и ноч-

легом и постельными принадлежностями не обеспеченных. Заставляют работать, а то грозят, что исключат с учебы и сократят с работы. Вот под этим страхом люди и работают, условия хуже, чем в Великую Отечественную войну... Моя дочь приехала из колхоза и привезла одежных вшей, да простудилась, и боюсь, что лишится жизни... Как все это надоело, за это ли боролись наши отцы и мужья?.. Мы уверены, что наш вождь и учитель товарищ Сталин И. В. об этом не знает, а то бы он не допустил так мучиться народ» (бывш. ЦГАНХ СССР)⁴.

«Товарищ Сталин И. В. не знает...» — думала отчаявшаяся Мария Васильевна. И впрямь: «Он — не для вас, он для Шекспира, для Пушкина, Карамзина!» — экзальтированно восклицает сегодня Т. Глушкова, гневная разоблачительница «псевдопатриотизма» И. Шафаревича и В. Кожина, кого только не замазавшая клейстером своей публицистики. Действительно нам Сталин — «не по плечу».

Есть что-то глубоко фальшивое, неблагочестивое по отношению к самой природе человека — в этом вот требовании «объективного», «шекспировского», даже сочувствующего Сталину взгляда. Осуществляя планомерный геноцид народов России, начиная с русского, Сталин и его приспешники имели свойство обращать в дерьмо все, к чему ни прикасались: диалектику, политику, природу, культуру, патриотизм. Последние его годы особенно омерзительны именно потому, что он стал козырять русским патриотизмом, честью своей же жертвы. Разворачивая мировую коммунистическую экспансию отчасти под «русским флагом», он позорил нас в глазах человечества, русских же при этом вымаривая. Симбиоз «русского» и марксистско-ленинского только усугублял идеологическое уродство зрелого сталинизма. Адский коктейль из интернационализма и патриотизма, «безродного космополитизма» и «великодержавного шовинизма» мог, кажется, свалить с ног любого.

Но, как ни странно, находятся сегодня любители и на эту отраву. Во всеоружии знания и, казалось бы, интеллекта, размашистых геополитических теорий, начитавшись Ивана Ильина и Константина Леонтьева, они не стесняются все пуще славословить большевистского деспота и открывать свои издания его сусальными изображениями. Исподволь, а то и в открытую любоваться им находится все больше желающих⁵.

Вот и выбирай, россиянин, между: «Человек, который бегаёт по Красной площади нагишом и кричит петухом, достоин всяческого уважения» (РТВ, 29 июля 1995 года) и — «Толстой, волнуясь до слез, говорил, что народ знает другого Гоголя и другое у Гоголя ценит. Так вот и мы, советские люди, — мы знаем другого Сталина и другое бережем о нем... Он хотел, чтобы мы, его народы — его дети! — жались друг к дружке» («Завтра», 1995, № 31).

И уже, кажется, не нащупать тропу между радикал-демократическим беспределом и тоталитарной регламентацией, между идеологическим маразмом политических полюсов...

Безусловно, многие в нашей, как и в любой, оппозиции искренне ищут власти ради изменения к лучшему. Но нужна ли, возможна ли, справедлива ли была бы политическая победа, вдохновленная таким «идеалом»? Жертвы — с нами. Они не простят предательства.

⁴ См.: Попов В. П. Крестьянство и государство (1945 — 1953). Париж. 1992.

⁵ Чем, как не разжижением патриотических мозгов, можно объяснить, что Сталину приписывается одновременно и завораживающее их «великодержавие», и... «непоколебимая верность идейным принципам», то есть марксизму, отрицающему национальное государство (М. Лобанов)? Отец Дм. Дудко сам десять лет хлебал лагерную баланду, зато теперь — неисповедимы пути Господни, — «как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину». (На обложке составленного Лобановым тома «Сталин» (М., 1995) серебряный абрис «кремлевского горца» венчает лаврами Клио.)

«Многие современные «националисты» смеют связывать свое прошлое со Сталиным, а настоящее — с непокаявшимися коммунистами. Но это значит, что им чуждо нравственное национальное понимание духовного подвига новомучеников и исповедников российских» (Протоиерей Владислав Свешников. Заметки о национализме подлинном и мнимом. М. 1995). Я прочитал о Владислава, когда эта статья уже набиралась, и поразился тождеству наших мыслей.

* * *

...Текущая жизнь целокупна как с грядущим, которое напрямую от нее зависит, так и с прошлым, которому всем обязана. Забыть о жертве — значит обесмыслить бытие вообще, лишит его высшей значимости, во-первых; а во-вторых, самодовлеющее существование, не соотнобразующееся с нею, есть хищничество, которое и будущему ничего не оставит, — русской философией об этом говорено достаточно.

Именно в России, где поступательная историческая преемственность постоянно нарушалась глобальными катастрофами, где все никак не мог выработаться органичный исторический ритм: эволюция оборачивалась застоєм и спячкой, революция — необратимыми разрушениями, — только и могло возникнуть учение Николая Федорова. Ведь по существу жажда и требование воскрешения отцов — крайняя форма восстановления исторической целокупности. Но — без утопических крайностей — по сути все верно.

«Мертвые молчат. Бесчисленная их армия не встает из могил, не кричит на митингах, не составляет резолюций, — писал Франк. — И все же эта армия мертвецов есть великая политическая сила всей нашей жизни, и от ее голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений. Для слепых и глухих, для тех, кто живет лишь текущим мгновением, не помня прошлого и не предвидя будущего, для них мертвых не существует, и напоминание о силе и влиянии мертвых есть для них лишь бессмысленный бред суеверия. Но те, кто умеет видеть и слышать, кто сознает настоящее не как самодовлеющую, отрешенную от прошлого жизнь сегодняшнего дня, а как преходящий миг живой полноты, насыщенной прошлым и чреватой будущим, знают, что мертвые не умерли, а живы. Какова бы ни была их судьба там, за пределами этого мира, они живут в наших душах, в подсознательных глубинах великой, сверхличной, народной души... Их души внятно говорят об одном — о родине, о защите государства, о чести и достоинстве страны, о красоте подвига и позоре предательства. В этой глубине народного духа они глухо ропщут против умышленных и неумышленных измен, против демократизированного мародерства, против бессовестного пира на их кладбище, против расхищения родной страны, обгащенной их кровью. Мертвые молчат. Но наш долг — чутко прислушиваться к таинственному, то благодетельному, то грозному, смыслу их молчания».

* * *

...Мощное государство само по себе — без его качественного духовного наполнения — не может быть фетишем и кумиром, «высшей святыней жизни». Это — молох, который окончательно перемелет наши останки. От самого слова ДЕРЖАВА, например, когда оно манифестно вынесено в название известного движения генерала Руцкого, веет не обогревом сердец, в котором они теперь так нуждаются, но — безжалостным холодом (хотя и то правда, что, по Далю, д е р ж а в а в самом первом, забытом теперь значении — «содержание, уход, забота»).

Но и большинство других политических функционеров сегодня тоже ложно считают внешние государственные прожекторы приоритетнее внутренних, словно не понимая, что державная мощь только тогда прочна и ценна, когда держится не на волевых усилиях и действиях власти, но прежде всего является совокупным продуктом здорового бытия народа. Солженицын в «Как нам обустроить Россию» пытался энергично переориентировать социальное сознание с внешних задач — на внутренние, но был худо услышан. Завороженные географической и сверхдержавной, так сказать, архитектоникой СССР, патристические политики не менее радикал-демократов бывают порой глухи к болям каждого человека, не ощущая, недооценивая градус его болезни, когда выдвигают утопическое «восстановление в прежних границах» как первоочередную задачу.

...Помнится, на заре перестройки один популярный полуочеркист-полуэкономист все торопил «преодолеть пропасть в один прыжок». Кончил же тем, что уже в наши дни бросил в народ зажигательный лозунг «Мавроди — в президенты!». Вот, оказывается, куда надо было спешить перескакивать через

пропасть. Теперь слишком у многих велик соблазн тоже прыгнуть — обратно: то ли в 1985-й, то ли в 1913-й. Надо ли говорить, что очередная историческая авантюра повлечет за собой никак не меньшие жертвы. И еще неизвестно, кого станут прочить тогда в «цари».

Поезжайте, господа, в провинцию, но не презентативно выступайте там с обкатанными зажигательными речами, не гуляйте с дальновидной местной администрацией и успешными бизнесменами, а пойдите там на новое кладбище. Ряды могил чуть не до горизонта, и умершие все 40-х, 50-х, даже 60-х годов рождения. Народ вымирает. И нет задачи выше и актуальнее, чем его сбережение. Любые самые архипрогрессивные реформы, самую что ни на есть государственную идею следует мерить этим высшим заданием.

Русский человек сейчас — в растерянности, его буквально плющит в набравшей вдруг колоссальные обороты исторической центрифуге. «Нация есть ничего больше, как народная личность» (Достоевский). Ныне эта «личность» встает с одра, ищет свое место под солнцем, болезненно, а порой и неадекватно реагируя на многие реальные и мнимые раздражители. Ее крайняя порой агрессивность (но гораздо чаще наоборот — апатия) — это болезненная реакция на — власть, в чьих действиях национальный интерес кажется смикшированным настолько, что вспоминается думский рефрен Милюкова: «Что это — глупость или измена?»; на — культуру, антагонистичную традиционной духовности; на — социальное унижение слишком многих. Бороться с этим надобно оздоравливая общество, а не растлевая его.

Неуклонное восстановление генофонда и экологии, патриотическое, без ксенофобии, разумеется, воспитание на национальной основе, заботливое обустройство всех желающих вернуться из ближнего зарубежья — вот какие заботы должны быть безусловно приоритетными над утопиями любого толка. И тогда, только тогда униженное национальное достоинство перестанет наливаться агрессивными соками; напротив — начнет плодоносить, оздоравливаться.

Все мы, кто — в отличие от «демократизированных мародеров» — верит в существование «великой, сверхличной, народной души», обязаны трудиться именно для ее воскрешения.

Сентябрь 1995 г.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. ВОЛКОНСКИЙ, Г. ПИРОГОВ



РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НА РАСПУТЬЕ

Антагонизм или единение?

Со времен перестройки наше общество грезит о «российском экономическом чуде». Действительно, наш народ далеко не исчерпал еще своего экономического потенциала. Но обусловить подъем может, разумеется, лишь солидарность общества, хотя бы минимальная степень национального согласия. Необходимо, чтобы народ поверил: власть действует в интересах большинства, а не идет на поводу доктринеров от экономики, не сообразующихся ни с реальностью, ни с традицией.

Такое согласие существовало практически до конца 80-х годов — относительно необходимости движения к рынку и отхода от командно-административной системы.

Однако власть не смогла удержать высвободившуюся энергию в созидательном русле. И вместо анализа процессов, не укладывающихся в известные схемы, и выработки концепций реформы, адекватной реальностям и специфике страны, значительная часть нашей интеллигенции охотно и бездумно восприняла готовую поверхностно-привлекательную, чисто либеральную, а фактически примитивно-подражательную парадигму.

Корни рыночного неопитства — в заидеологизированности социально-экономической информации. В условиях, когда слово «рынок» по отношению к отечественной экономике было практически под запретом, а потому воспринималось как сладкий, но недоступный плод, свидетельства экономистов-зарубежников о плановом государственном регулировании капиталистической экономики, о радикальном изменении там роли цен, частной собственности и своеобразной конвергенции, казалось бы, антагонистичных хозяйственных механизмов как-то пролетали мимо ушей. Все это казалось чем-то третьестепенным в сравнении с главным лозунгом: от плана — к рынку!

Наученные страшным историческим опытом, мы, как правило, воспринимали социализм «по Шафаревичу» — как inferнально-тотальную деспотию. На деле же это слово означает то, что означает: *socialis* — общественный: государственно-общественная регуляция экономических механизмов с использованием госпланирования. Главные же признаки капитализма — рынок (договорный механизм) и признание частной собственности на средства производства. С точки зрения таких определений, сейчас практически все страны в разной степени являются и капиталистическими, и социалистическими.

Во Франции еще с 1946 года и в Японии с конца 40-х годов разрабатываются (и достаточно успешно выполняются) государственные планы развития экономики. Доля государственных расходов в составе ВВП в северных странах Европы колеблется от 55 до 70 процентов. Система социальных гарантий в Швеции стала притчей во языцех. Даже в США — одной из самых либеральных стран — значительной долей внутреннего валового продукта распоряжается государство. А то, что рыночный, договорный механизм и частнособственнические мотивации необходимы для согласования интересов малых и больших субъектов экономики и для ее эффективного функционирования, тоже

теперь признано всюду, и рыночные технологии распространены как телефон или бумажные деньги.

И если в 30 — 70-е годы определяющим физиономией страны признаком была ее принадлежность к соц- или лагерю, то теперь на первый план выходят многообразные особенности социально-экономических систем. Геополитические, национальные, цивилизационные интересы превалируют над социально-идеологическими.

В России же идеологический вакуум после краха коммунистической догматики постепенно заполняется сложным конгломератом теорий, убеждений, концепций.

Главный водораздел в идейных установках оппозиции, на наш взгляд, проходит между теми, кто верит в возможность возрождения России на путях взвешенной модернизации (более «буржуазной» или «социалистической» — не столь важно), и теми, кто видит выход скорее в новой идеологии (в первую очередь — социолог С. Кургинян и его единомышленники). Альтернативой модернизационного пути, по их мнению, может стать объединение народа доминирующей сверхценной идеей, обеспечивающей прорыв в лидеры цивилизации на основе мобилизационной модели экономики. Мы не сторонники подобной модели. На наш взгляд, возрождение России — в эффективном усвоении системы рыночных отношений, с теми схемами их структурирования и регулирования, которые рассматриваются в настоящей статье.

Анархический либерализм и тоталитаризм — «оба хуже»

Администрация как социальный аппарат решения общественных проблем, которому все члены общества по тем или иным причинам подчиняются, и рынок как договорная процедура обмена товарами и услугами — эти два великие «изобретения» человечества для согласования хозяйственных усилий остаются незаменимыми с самого момента их возникновения. Все попытки вытеснения, замены одного другим рано или поздно обнаруживают свою несостоятельность.

Для нынешних реформаторов-либералов главный враг — государство (по крайней мере «нецивилизованное» российское государство). Когда они столкнулись с падением производства и снижением эффективности в результате реформ, их первым объяснением (а у многих и последним) было: предприятия надеются на помощь государства. Вот если отнять всякую надежду, напугать банкротством, тогда лукавые и нерадивые директора и трудовые коллективы начнут производить «не для плана, а для потребителя», станут расширять производство, повышать качество, снижать затраты.

Под эту притягательную своей простотой «освободительную» идеологию с чисто партийной демагогичностью подстраивается сейчас вся «демократическая» пропагандистская политика, игнорируя объективную реальность. Это отчасти объяснимо как реакция на многолетний деспотизм государственнической антирыночной системы и в определенной мере даже оправдано как стремление «сделать реформы необратимыми», перегнув палку в другую сторону. Однако растущая криминализация общества и беспрецедентный спад производства свидетельствуют: ни социально-нравственная, ни хозяйственно-технологическая структура современной России не обладают такой гибкостью, чтобы без роковых потерь вынести этот революционный перегиб.

Некоторые наши либералы любят вспоминать известное сравнение роли государства с ночным сторожем. Между тем отождествление экономической свободы со свободой государства как некое общее положение не выдерживает критики ни теоретически, ни с точки зрения исторической практики. Оно годится только в тех случаях, когда все экономические агенты имеют примерно одинаковый вес и влияние на конъюнктуру, на законодательство, могут самостоятельно добиться выполнения законов и т. д. Но в действительности этого нет и никогда не было. О какой экономической свободе без государства может идти речь, если рядом должны сосуществовать транснациональные корпора-

ции и небольшие независимые предприятия, огромные латифундии и семейные фермы? Это все равно, что добиваться свободы для всех обитателей леса — и львов, и косуль, и волков, и зайцев. И это вовсе не ситуация, возникшая только в период монополистического капитализма. Средние сословия всегда были за сильное государство, которое служило противовесом свободе баронов и маркизов. Недаром в большинстве развитых стран имеются специальные законы и программы государственной поддержки и защиты мелкого и среднего бизнеса. Наши радикальные либералы нередко соглашаются оставить за государством только роль высшего арбитра в конфликтах, которые подданные не сумеют разрешить самостоятельно. Именно такова была роль короля в средневековой Европе. Функции по исполнению законов, естественно, выполнялись «баронами». Что из этого получается, прекрасно описано в гётевском «Рейнеке-Лисе». Поэма прямо начинается со сцены королевского суда льва Нобеля. Чтобы узнать, как при этом обстоят дела со свободой и правами зайца Лямпе, не обязательно изучать историю средневековья.

Как известно, среднее промышленное предприятие в России в десять раз крупнее, чем в США. Если среднее число работников на одном американском предприятии 80 человек, то на российском — 800 (данные за 1989 год). Если учесть формальные и неформальные объединения крупных предприятий и их связи (порой криминального характера) с местными и федеральными чиновниками, то становится очевидным, что для мелкого предпринимателя или отдельного гражданина деэтизация экономики — это отнюдь не освобождение, а передача властных функций экономическим «баронам», не подотчетным никаким механизмам демократического контроля.

...Революции делают «интроверты» (термин К. Г. Юнга), то есть люди, для которых собственные внутренние представления и ценности важнее не укладывающейся в их схемы объективной реальности. Не удивительно, что попытка перегнуть палку в сторону абстрактного антигосударственного принципа в 1992 году по своим разрушительным результатам оказалась сопоставимой с революцией 1917 года.

Реформа — в отличие от революции — это такое преобразование общества или экономики, которое разложено на шаги, каждый из которых затрагивает ограниченную сферу социально-экономической жизни и дает предсказуемый результат. Важное условие — сохранение контроля, обратимость перемен, возможность вернуться при слишком нежелательном развитии событий. Конечно, реформаторам часто кажется, что они отлично представляют себе последствия своих нововведений. Но оказывается, что те или иные факторы им учесть не удалось. В результате общественные или экономические процессы выходят из-под контроля и вместо реформы получается революция. Видимо, уже принятие закона о предприятиях в 1987 году и предоставление им чрезмерной свободы (а по сути — их руководителям) без механизмов, обеспечивающих ответственность собственников, положило начало неконтролируемым процессам. Что же касается решения (и объявления об этом заранее, за два месяца, в ноябре 1991 года) о либерализации цен разом по всей производственной цепочке, то вряд ли можно сомневаться, что это оказался типичный революционный акт. Главной целью была, повторяем, необратимость перемен: концепция шоковой терапии лучше всего отвечала такой цели. Сверхзадачей явился демонтаж государственного аппарата, то есть самого контролирующего органа, и смена персонального состава правящей элиты.

Хотя наши реформаторы-либералы стремятся развенчать утопическую идеологию коммунистов, противопоставляя ей прагматический взгляд на жизнь «нормальных» западных стран, они в своем проведении реформы 1992 года, несомненно, так и остались неольшевиками.

Кажется, именно те страны избегают слишком разрушительных катаклизмов, где для элиты интересы сохранения нации, страны и национальной экономики приоритетны перед более изменчивыми, раскалывающими общество социально-экономическими доктринами.

Как была «снята» противоположность либерализма и тоталитаризма

Плодотворная абстракция свободного рынка, который направляется «невидимой рукой» Адама Смита к достижению равновесия или (пользуясь сленгом современных экономистов) народнохозяйственного оптимума, наталкивается на фундаментальную теоретическую трудность.

Если предположить, что каждое предприятие, каждая фирма на рынке действуют независимо от своих контрагентов, не оказывая влияния на рыночную конъюнктуру и перезаключая все соглашения каждый раз, когда это обещает увеличение прибыли, то итогом будет не достижение равновесия (оптимума), а неутрачивающиеся стохастические колебания и полная непредсказуемость ситуации. А конечное драматичное следствие — прекращение инвестиций и в конце концов полная бессмысленность продолжения производства.

Эта трудность сродни известной трудности эволюционной теории. Согласно простейшей схеме, в генах случайно возникают наследуемые изменения (полезные и вредные), и в результате естественного отбора менее приспособленные формы постепенно устраняются. Но количественные оценки показывают, что если бы мутации в каждом из генов возникали совершенно случайно, независимо от других, то полезные признаки появлялись бы слишком редко, так что для возникновения высокоорганизованных животных и растений не хватило бы никакого времени — даже времени существования Земли и Солнечной системы.

Практика рынка преодолевает эту неопределенность, стохастичность (как сказали бы кибернетики, «устраняет излишнюю энтропию») путем разнообразнейших способов регулирования конъюнктуры, например, контроля за рынком со стороны одной или нескольких фирм, то есть монополизации.

Классический пример — история крупнейшей американской фирмы «Дженерал моторс». В 20-е годы произошло перенасыщение автомобильного рынка — из-за плохой инфраструктуры дорожных трасс, экономического кризиса и, наконец, Великой депрессии. К тому же автомобиль страшно загрязнял воздух и всю среду обитания. Но благодаря мощным финансовым возможностям фирма нашла неординарный выход: через влиятельные лобби добилась модернизации автострад, и — в итоге — США получили великолепную дорожную сеть, а автомобильная промышленность — мощный толчок к развитию. Все это сыграло едва ли не ключевую роль в преодолении Великой депрессии. Не будь этой срежиссированной и эффективной кампании, в которой были задействованы самые разные социальные механизмы, выступившие в тесной спайке, восторжествовала бы формула «Рынок все сам расставит на свои места» — это, скорее всего, привело бы к углублению кризиса с непредсказуемыми для всего американского общества последствиями. Экологическое же законодательство, в конце концов, стало ужесточаться — по мере того, как общество богатело.

Один из главных постулатов всех нормативных моделей рыночной экономики — «Цель всех субъектов рынка — максимум прибыли». Этот постулат перестает действовать для крупных фирм индустриального сектора. Их поведение определяется, как правило, стремлением максимизировать объем производства при некотором нормальном уровне прибыли. Другая формулировка той же цели — сохранение и возможное увеличение своей доли от всех рыночных продаж. Критерий максимизации доли рынка вполне согласуется с приоритетной задачей упорядочить рыночную стихию и расширить контроль над «средой взаимодействия». В настоящее время в большинстве отраслей тяжелой промышленности образовалась если не монополистическая, то олигополистическая структура, то есть рынок контролирует не одна крупная фирма или корпорация, но несколько (скажем, три или пять).

Джон Кеннет Гэлбрейт, анализируя работу современной крупной корпорации, пришел к выводу, что она во все большей мере управляется групповыми решениями «коллективного мозга» наемных управляющих, круг которых охватывает тех, «кто обладает специальными знаниями, способностями или опытом группового принятия решений». Организацию, составляемую этими спе-

циалистами, он назвал «техноструктурой» и считал, что цели и критерии техноструктуры существенно отличаются от целей и критериев единоличного мелкого или среднего независимого предпринимателя, который фигурировал в главной роли героя теории рынка¹.

На первый план для техноструктуры выступает задача сохранения корпорации и поддержания стабильности — в ее взаимоотношениях с окружающей экономической средой. Основным инструментом достижения этих целей становится долгосрочный контракт: создается «возможность для существования гигантской сети контрактов». Систему корпораций с их техноструктурами, охваченную контрактной сетью, Дж. Гэлбрейт назвал «планирующей системой» в отличие от «рыночной системы» мелких и средних предприятий, функционирующих по неоклассическим законам.

Нередко окружающая реальность изменяется быстрее теории, и не вписывающиеся в нее факты, попервоначально казавшиеся несущественными, постепенно приобретают первостепенную важность.

Доказывается математически, что рыночная система приводит к наилучшему использованию ресурсов. Однако при этом приходится игнорировать такие факты, как экономия при увеличении масштабов производства, как монополизация рынков, издержки по изучению рынка и т. п.

Либеральное крыло экономической науки долгое время рассматривало подобные факты лишь как досадные нарушения картины совершенной конкуренции и оценивало действия фирм по установлению контроля над рынком — с точки зрения экономической эффективности народного хозяйства — в целом только негативно.

С ним смыкалась и марксистская традиция, видевшая в монополизации экономики (часто сопровождавшейся сращиванием монополистических групп с государственным аппаратом) признак загнивания капитализма. Из правильной констатации усиления контроля за рынком со стороны монополистических и олигополистических групп как непреложного закона мирового хозяйственного развития В. Ленин сделал вывод, что для спасения от разрушительных последствий стихии рынка необходимо установить единую государственную монополию. Идея государственной монополии как высшей формы управления народным хозяйством (все народное хозяйство работает «как одна фабрика») была возведена в СССР в ранг официальной идеологии.

Наиболее прозорливые из советских экономистов ясно видели, что сверхцентрализация плановой экономики не только снижает эффективность производства, но и не решает проблемы управляемости, так как сам план, заменяющий решения независимых экономических субъектов директивами центра, оказывается чем-то в значительной степени случайным. В пик хрущевской оттепели в 1963 году академик В. С. Немчинов ставил на одну доску «стихию рынка» и «стихию плана».

В то время как в странах соцлагеря пытались искать способы распределить функции принятия решений по разным этажам и структурам системы административного управления и сделать взаимосвязи в ней менее жесткими, в рыночных странах продолжалось опробование различных форм структурирования множества атомизированных предприятий, что позволило бы сократить излишнее число степеней свободы и центров принятия решений. Само противопоставление анархического либерализма и планового централизма обязано своим появлением относительно примитивной двухуровневой схеме, лежащей в основе большей части теоретических концепций XIX столетия, перекочевавших и в начало XX: вождь (или партия) и массы, государство (центр управления) и множество предприятий (однородных и атомизированных).

В СССР такая двухуровневая схема, созданная на рубеже 20 — 30-х годов, просуществовала до 90-х. Несмотря на длительную кампанию, начиная с Постановления Совета Министров СССР 1974 года по созданию промышленных объединений, к началу перестройки среднее число предприятий в таких объ-

¹ Гэлбрейт Джон Кеннет. Новое индустриальное общество. М. 1969, стр. 113.

единениях не превышало двух. Иными словами, к головному, достаточно эффективному, предприятию удавалось прицепить еще одно, как правило, слабое. Роль крупных корпораций по-прежнему выполняли главки и министерства, то есть чисто отраслевые монополии и административные структуры, не подчинявшиеся даже такому квазирыночному механизму, как хозрасчет предприятия. Когда в 1992 году эти структуры ликвидировали, а цены освободили, крупные предприятия индустриального сектора, будучи олигополистами или даже монополистами по многим видам продукции, за редким исключением не сумели без помощи государства обеспечить межотраслевое согласование цен, сохранить связи с партнерами и добиться изменения экономической политики правительства. Они действовали как классические монополисты: повышали цены и снижали производство.

Несомненно, капитализм индустриально развитых стран сильно изменился вследствие усиления роли государства как гаранта социальных прав и свобод граждан (в частности, под влиянием социал-демократической и пропагандистской советской идеологии). Однако главный фактор повышения экономической эффективности капиталистического производства, преодоления непредсказуемости его — это все-таки не роль государства, а именно многообразие устойчивых структурных образований. Благодаря им удалось в значительной степени ввести в безопасные рамки циклические кризисы, потрясавшие цивилизацию до войны, — прямое следствие неуправляемости и несогласованности действий независимых фирм. Основные способы упорядочения экономической ситуации — договоры о ценах и квотах на производство между реальными конкурентами (картели) и объединение компаний единой иерархией административного управления. Если разрастание фирмы снижает ее эффективность, применяют децентрализацию управления с хозрасчетной самостоятельностью филиалов (ориентированных на устанавливаемые руководством компании внутренние «трансфертные» цены).

Японский экономист К. Имаи констатирует, что традиционная иерархическая структура финансово-промышленной группы ныне все чаще заменяется многополюсной сетевой структурой. Общую дисциплину и эффективность производства поддерживает сегодня не жесткий единый центр управления, а коллективный координирующий орган крупнейших участников.

Рыночный процесс из «броуновского движения», характерного для частиц газа, превращается в подобие колебания частиц в кристаллических структурах. Образуется многоярусная, многоэтажная система, каркас которой — транснациональные корпорации и финансово-промышленные группы отечественного капитала, как правило, успешно сотрудничающие с государственным аппаратом.

Где образец для российской экономики?

Накопление человечеством производственных и социальных технологий поставило все страны перед вызовом — найти способ обеспечить стабильность (предсказуемость) и гибкость (эффективность) экономической системы. И каждый народ дает свой ответ на него.

Как официальные документы, так и высказывания современных российских реформаторов позволяют заключить, что эталоном наших реформ служит традиционная модель рыночной экономики, или рынок экономических индивидов. Такая модель предполагает, что экономика тем эффективнее, чем точнее в ней реализуются следующие принципы:

как между фирмами, так и между отдельными работниками на рынке труда идет жесткая конкуренция;

нерентабельные фирмы закрываются или сокращают численность персонала либо поглощаются другими;

контракты заключаются в первую очередь по соображениям выгоды по предлагаемым ценам и условиям поставки;

главная цель руководства фирмы — максимизация прибыли, а остального производственного персонала — максимизация своей зарплаты;

функции государства ограничиваются управлением денежной системой, обороной, социальной инфраструктурой, поддержкой нетрудоспособных.

Экономика, наиболее близкая к подобной теоретической модели, — это экономика США.

...Уже давно отмечено (и это стало предметом пристального изучения экономистов и социологов), что экономическая жизнь Японии сильно отличается от такой модели.

Отличия в реальных экономических отношениях особенно знаменательны, если учесть, что хозяйственное законодательство Японии разрабатывалось в первые послевоенные годы под непосредственным контролем администрации США и фактически копировалось с американской системы.

По-видимому, главная черта, отличающая японскую систему от американской (и сближающая ее с российской), — это коллективизм работников внутри фирмы (предприятия, компании), неформальные отношения между руководителями и подчиненными, общение в нерабочее время. Органичные традиционные взаимные обязательства между фирмой и ее работниками делают нормой заботу коллектива о своих членах, усилия фирмы воздерживаться от увольнений (это относится не только к рабочей элите, занятой на условиях пожизненного найма, но и ко всему персоналу) и т. п. В ответ фирма получает преданных работников, которые ощущают себя членами коллектива, объединенного одной целью.

Российские культурные и исторические традиции позволяют надеяться, что коллективизм и чувство долга, присущие россиянам, несмотря на деморализацию коммунистических лет, могут стать такой же основой для экономического успеха передовых фирм.

Корпоративная этика играет определяющую роль не только внутри фирмы, но и в отношениях фирм между собой и с государственными чиновниками.

Важнейшая черта японской экономики, сближающая ее с нашей, — принадлежность большей части собственности юридическим, а не физическим лицам (прежде всего производственным корпорациям) и незначительная роль индивидуальных собственников. В конце 40-х годов доля акций, принадлежащих юридическим лицам производственной сферы, составляла там 5,6 процента. В первой половине 70-х она возросла до 27 процентов. В США эта доля вдвое ниже.

В Японии объединения фирм гораздо более устойчивы, чем в США и Западной Европе. Основные акционеры здесь, как правило, — узкий круг юридических лиц — крупных компаний. Поскольку они владеют акциями друг друга, между ними устанавливаются отношения взаимного контроля и доверия. Они придают значение не столько доходу от своих инвестиций, вкладываемых в покупку акций, сколько стабильным деловым связям с данной компанией.

Их главная цель — именно контроль и в значительно меньшей степени — инвестиционный доход. Норма дивидендов на акционерный капитал в Японии всегда оставалась низкой и, как правило, не повышалась с ростом курса акций и нормы прибыли. Корпорации с высокой нормой прибыли резервируют большую ее часть в виде нераспределенной суммы для самофинансирования, что ведет к «контролю управляющих». В 70-е годы стала обычной «стратегия высокого курса акций», то есть практика, когда выпускающая акции компания просит своих постоянных акционеров (фирмы-контрагенты по деловым операциям) организовать их скупку для обеспечения высокого курса. Тем самым управляющим компании легче контролировать движение этих акций и обеспечивать их продажу (обычно льготную) постоянным акционерам, предотвращая угрозу поглощения (особенно со стороны иностранных компаний).

В США или в Англии поглощение одной компании другой — обычное, повседневное явление, в Японии же не принято не только скупать акции с целью поглощения корпорации, но даже продавать контрольный пакет или приобретать его, если кто-то продает. Особенно устойчиво положение фирм —

членов многоотраслевых конгломератов, где деятельность каждой фирмы контролируется, но и страхуется остальными. В результате руководство компанией в большей мере независимо и автономно от акционеров.

Вопрос, как добиться от менеджеров поведения, «максимизирующего доходы акционеров», — непростая проблема. В 80 процентах американских компаний большинство в совете директоров — это директора со стороны, а не свои сотрудники, они управляют по поручению акционеров. В Японии директора в подавляющей массе — выходцы из среды работников данной фирмы. Можно ли назвать их капиталистами, стремящимися в первую очередь к личному обогащению? Пожалуй, можно, поскольку их влияние и благополучие зависят от капитала их компаний, а они им распоряжаются. Но при этом они — не юридические собственники данного капитала.

Тут явная аналогия с нашими директорами, которые в последние годы получили очень большие права и большую фактическую самостоятельность, не будучи юридическими собственниками капитала.

В середине 80-х годов во всех зарегистрированных на бирже японских корпорациях высшие управляющие владеют 1,6 процента всех акций. (Это, конечно, не означает, что они живут «на одну зарплату», хотя она подчас достаточно высока.) В России сейчас доля директоров в общем объеме акций приватизированных предприятий несоизмеримо мала по сравнению с их реальными возможностями определять общую производственную политику и принимать конкретные решения.

Контрактные отношения между фирмами в Японии тоже гораздо более стабильны и долговременны, чем в других странах. Если третья фирма предлагает товар по более низкой цене, чем постоянный поставщик, то компания-покупатель не заключит договор с новым поставщиком, а сообщит об этом постоянному партнеру, и тот снизит свою цену до того же уровня. Если речь идет об отношениях внутри объединения, такая практика обязательна.

Когда говорят, что нам надо строить капитализм «по-японски», сразу вспоминается известная шутка: «Все правильно, только где мы возьмем столько японцев?» Несомненно, лишь глубокий анализ собственных проблем, конкретных обстоятельств и поиск своих ответов на сложившуюся ситуацию поможет нам избежать повторения тех ошибок, которые неизбежны при фанатичном следовании чужим образцам и концепциям. Еще хуже, если из всех образцов известен только один и ему стараются фанатично следовать, несмотря на его вопиющее несоответствие национальной ментальности.

Возможно, в США и других странах англосаксонской культуры высокая эффективность экономики достигается в значительной степени за счет стремления собственников капитала к прибыли, мобильности хозяйственных связей — как в выборе наиболее выгодных поставщиков, так и в процессах слияния и поглощения компаний. Эти и другие черты экономической жизни Запада органично соответствуют приоритету индивидуалистических ценностей в национальной культуре. Но пример Японии доказывает: высокая эффективность достижима и на ином пути. Неверен сам рефрен, который еще недавно звучал буквально в каждой телевизионной передаче: «Иного пути не было, все predetermined объективными факторами».

Что корпоративное поведение и корпоративная этика характерны для российских хозяйственников, подтверждается многими фактами. Так, одним из парадоксов российской реформы до последнего времени остается несоответствие падения производства (более чем вдвое уже к середине 1994 года) и сравнительно малой доли полностью безработных (в первом квартале 1995 года — 6 процентов). Одна из главных причин такого явления — определенная солидарность трудового коллектива и администрации. Демонстрацией корпоративной этики можно, пожалуй, считать и устойчиво высокую долю неплатежей в экономике (просроченной задолженности потребителей). Кажется, какая же тут этика, если не отдаешь долги! Но если есть общая цель — сохранить производство (свое и своих партнеров), то отгрузка продукции даже без надежды получить оплату в обозримые сроки — парадоксально-рациональный способ общественного поведения.

Новейшие экономисты внедряют в наше сознание мысль, что трудовой коллектив предприятия — далеко не самый эффективный его собственник. Комитет государственного имущества РФ приложил немало усилий, чтобы собственниками предприятий становились индивидуальные капиталисты или сторонние фирмы. Похоже, эти усилия если и дали результаты, то только в сфере торговли и обслуживания. Среди приватизированных промышленных предприятий доля тех, где контроль не попадает в руки трудового коллектива, ничтожна.

Рабочий центр экономических реформ при правительстве РФ всесторонне изучил экономическое поведение предприятий в переходный период. Используются материалы обследования 151 предприятия, проведенного в 1993 году. Авторы этой работы² приходят к выводу, что значительную роль в их поведении (как у приватизированных, так и у государственных предприятий) играют формальные и неформальные корпоративные отношения, директорская этика, а также стремление сохранить сложившиеся деловые связи и контакты, нередко даже в ущерб непосредственным рыночным интересам. При установлении цен большинство предприятий руководствуется не критерием максимизации прибыли, а стремлением покрыть издержки и получить нормальную прибыль. И старым контрагентам они повышают цены в меньшей степени, чем другим потребителям. Еще одна важная компонента директорской этики — ориентация на сохранение коллектива: как правило, сокращения происходят лишь в крайнем случае. Если можно так выразиться, сама наша экономическая психология пока корпоративна, а не индивидуалистична и корни ее — не социалистические, а уходят в историческую толщу отечественной традиции. Конечно, в дальнейшем возможны ее мутации — ежели государственная политика будет продолжать форсированное строительство классического капитализма. Вопрос только: нужно ли это России? Нужно ли нам?

Есть классическое японское выражение: «Шапочное знакомство — никаких дел». Если, например, американец начинает сотрудничать с новым партнером, он обращается к специализированной фирме, которая и собирает всю нужную информацию. Японец же проведет с ним уйму времени, общаясь вне службы, расскажет и выпросит о семье, заботах и прочем. Хозяйственные связи здесь обязательно опосредуются личностными отношениями. В этом, видимо, мы тоже ближе к своему азиатскому соседу.

Национальные различия, сказывающиеся и на бизнесе, и на деловых отношениях, национальное своеобразие всей экономической инфраструктуры, обусловленные именно национальным характером, — это данность, подтверждающаяся серьезными работами психологов на основе репрезентативных обследований с применением современной техники тестирования³.

Национальный характер и «рыночная» реформа

Оценка корпоративности в директорском корпусе и коллективизма во внутрипроизводственных отношениях (так же, как и черт национального характера) не может быть однозначно негативной или положительной. Но при нынешнем распаде экономических связей, остановке производства, угрозе массовой безработицы, которая неминуемо стала бы страшным бедствием, эти черты социально-экономической реальности скорее надо оценивать со знаком плюс, как тормозящие сползание к катастрофе.

В российской истории бывали периоды, когда формально провозглашенные новые принципы жизни и реализовавшие их государственные структуры делали эту жизнь невыносимой. В подобных условиях западноевропейские нации основные усилия направляют на государственное изменение неприемле-

² Долгопятова Т., Евсеева И. Стратегии выживания государственных и приватизированных предприятий промышленности в переходный период. М. Изд. Высшей школы экономики. 1994.

³ См., например: Касьянова К. К вопросу о русском национальном характере. М. 1994. Симптоматично, что книга выпущена Институтом национальной модели экономики.

мых правил и в конце концов добиваются своего. Жители Российской империи, а затем СССР, на опыте зная, что до Москвы далеко, выработали удивительную способность адаптироваться к любым, казалось бы, совершенно не приспособленным для жизни формальным условиям за счет личных связей, неформальных отношений и т. д.

Это относится как к бытовому поведению, так и к хозяйственной деятельности. В годы тотального планирования не раз высказывалась мысль, что эта экономическая система держится и нередко успешно работает только за счет того, что формальные установления в СССР не выполняются из-за расхлябанности, необязательности, бесхозяйственности и т. д. Однако чаще дело было вовсе не в расхлябанности и необязательности, а в реальной необходимости создать систему отношений и соответствующую мораль, позволяющую жить и хозяйствовать в условиях неразумной, неэффективной, а иногда и бесчеловечной формальной системы. И русский человек научился «швейковать» не хуже самого героя чешского классика.

Сейчас это умение адаптироваться вновь пригодилось россиянам для защиты от новой экстремистской политики, поставившей целью перегнуть весь мир по темпам приватизации и в рекордно короткий срок устранить государство из сферы экономики. Эта политика проводится в жизнь не только во имя реализации рыночной идеологической концепции, но и ради утверждения у руля новой властной элиты, проводника новой идеологии. Как обычно в России, стратегия выбирается радикальная и тотальная. Никаких нерыночных методов, даже если они широко используются вполне рыночными странами! Неофиты всегда особенно фанатичны. Государственное регулирование ценовых паритетов? Ни в коем случае! Употребление слова «план», хотя бы и «индикативный», — признак принадлежности к реакционной оппозиции. Главное оружие правительства для подавления инфляции — не печатать дополнительных денег, не давать кредитов, не платить по своим обязательствам. А население и хозяйственники, как и положено, отвечают молчаливым «гражданским неповиновением» — изобретают способы жить без денег, уклоняться от налогов и т. п. Благо народ наш талантливый, а опыт адаптации у него — уникальный.

Денежная масса на единицу ВВП в начале 1994 года в России была в 6 раз меньше, чем в США и чем в СССР до 1992 года. Ну что ж, бартерные отношения формировались уже при плановой экономике (правда, по другой причине) — их можно быстро расширить. За поставки просто можно не платить: уж если государство не платит, нам и сам Бог велел. Расплачиваться со своими работниками можно тоже не деньгами, а продукцией (и здесь бартер!).

В условиях экономической нестабильности (распространяющейся не только на ценовую и спросовую конъюнктуру, но и на правила игры), криминализации и всеобщего уклонения от «налогового беспредела» наиболее важными качествами партнеров оказывается их надежность и взаимное доверие, основанное на личных, неформальных отношениях и долгом сотрудничестве.

Важная причина развития бартера — общая для дореформенного и пореформенного периодов диспропорция в ценах. В условиях, когда спрос на продукцию по номинальной рыночной цене недостаточен, производителю часто выгодно отойти от единой нормальной цены, заключив с частью поставщиков сепаратное соглашение о взаимных поставках по особым договорным ценам (или по клирингу). Бартер нарушает одно из свойств развитого рынка, обеспечивающее мобильность ресурсов и общую высокую эффективность рыночной системы, — единство цены на однородный товар для всех покупателей. Единый рынок распадается, сегментируется, цена перестает играть определяющую роль в выборе контрагента.

Создается социально-экономическая система, сильно отличающаяся от дореформенной советской экономики. Но она столь же далека и от современного рынка, ибо наполовину ушла в тень (от налогов), а на четверть криминализована и в значительной степени обходится без денег, ибо лишь часть продукции приобретается по номинально объявленным ценам; она держится на личных связях и неофициальных договоренностях.

Согласно исследованиям американских экономистов, похожими чертами характеризуется экономика Сицилии и Южной Италии — в отличие от значительно более современной и быстро растущей северной части страны.

Конечно, эта система неэффективна. Пока она не трансформируется в современный рынок, «русского чуда» не произойдет. Но вот чтобы выжить, чтобы «перешвейковать» период ломки и поисков нового, устойчивого состояния, она вполне годится. Правда, выживают таким способом только простейшие экономические организмы. Из сложно же организованных сохраняются и процветают те, кто может выйти на внешний рынок и скооперироваться с иностранными фирмами, а также монополисты. Остальным приходится «упроститься» и лишь постепенно создавать подходящие условия для своего восстановления и нового роста.

Крупные корпорации и государство — действенный симбиоз

Либеральная экономическая наука считает, что рост крупных корпораций представляет опасность не сам по себе, а только в случае, когда они проявляют свое монопольное поведение на тех или иных рынках. Но это еще полбеды. Агрессивное наращивание экономической и политической мощи позволяет им влиять на все стороны жизни общества и нередко становится недостижимыми для любых государственных и общественных форм контроля. Особенно ярко это проявлялось в ряде развивающихся стран, где слабое национальное государство не могло противостоять всемогущим транснациональным монополиям.

Примером может служить господство транснациональных корпораций (ТНК) в сельском хозяйстве Чили. Деятельность компании обеспечила выдвижение Чили в число ведущих экспортеров мира по фруктам. Но выгоды от этого достались отнюдь не чилийскому крестьянству. Подавляющую его массу это привело к пауперизации (о чем предпочитают умалчивать российские сторонники капитализма, восхваляя успех Пиночета). До прихода ТНК 450 тысяч земледельцев имели собственные земельные участки и вели крестьянское хозяйство. При правительстве С. Альенде — тут следует воздать должное этому политически наивному идеалисту — были созданы сельскохозяйственные кооперативы, в которые входили 300 тысяч крестьян. При Пиночете их разрушили. Теперь только 50 тысяч хозяйств, непосредственно связанных с компанией, владеют собственной землей, скупленной на аукционах у кооперативов, и ведут фермерское хозяйство. Часть этих земель перешла в собственность компаний через подставных лиц, а бывшие собственники пополнили армию безработных. Похожее положение и в других странах Латинской Америки, там, где государство уходит от наиболее тяжелых проблем сельского хозяйства и, по мнению ряда экономистов, выполняет волю транснациональных корпораций.

Огромная власть (и не только хозяйственная) сосредоточена в руках корпораций и в развитых странах. Общеизвестно, что высшие управляющие ведущих промышленных компаний и финансовых объединений наряду с крупными собственниками входят в состав властвующей элиты (в Японии обычно выделяют шесть наиболее влиятельных финансово-промышленных объединений: «Мицубиси», «Мицуи», «Сумитомо», «Фуе», «Дайити Кангин» и «Санва»). Они влияют не только на политику, но и на другие стороны жизни. Однако в таких странах им обычно противостоит достаточно сильная государственная власть как представитель интересов общества в целом, способная уравновесить возможные деструктивные результаты воздействия частных интересов.

То, что определяющая роль в руководстве современной рыночной экономикой принадлежит крупнейшим корпорациям, — объективная данность. Однозначно негативная оценка их, характерная для послевоенных либерально-демократических концепций, утопична и бесплодна.

Наши реформаторы, пуце огня боящиеся восстановления всего «слишком государственного», крупные хозяйственные образования держат на подозре-

нии, как монстров, оставшихся с тоталитарных времен. В частности, это проявилось в стремлении использовать приватизацию для дробления их, законодательно разрешив приватизацию технологически обособленных частей предприятия.

Но можно действовать по-другому, эффективно используя организованность крупных монополистических объединений в целях, полезных для государственного регулирования рынка и для общества.

В Японии сам характер воздействия государственной администрации на самостоятельные рыночные структуры носит порою как бы неформальный характер, использующий гибкие рычаги «рекомендаций», «мнений», «советов». К тому же государственные чиновники, как правило, имеют дело не с отдельными предприятиями (как при советском «адресном планировании»), но с отраслевыми союзами предпринимателей. Это не коммерческие (и не государственные) организации с добровольным членством и правом свободного выхода, имеющиеся в большинстве крупных областей. Их в Японии более ста, и они представляют интересы предприятий в правительстве и парламенте.

Возрождение доверия между властью и хозяйственниками в России может помочь возникновению аналогичных структур.

Рынок и межотраслевые диспропорции

Не только журналисты, но и проправительственные эксперты часто объясняют наши экономические трудности иждивенческо-социалистическими привычками народа и неумением директоров хозяйствовать по-рыночному, цивилизованно, то есть факторами психологическими и политическими.

На наш взгляд, есть причины более важные. При анализе динамики отраслевых индексов цен, заработной платы и спада производства с 1 января 1992 года бросается в глаза их резкая дифференциация и монотонное ухудшение показателей при переходе от базовых, ресурсных отраслей промышленности к производителям конечной продукции.

Возьмем индексы цен и заработной платы 1994 года по отношению к 1990-му. Если в электроэнергетике они возросли соответственно в 3 160 и в 1 345 раз, в черной металлургии — в 2 540 и в 764, то в сельском хозяйстве — только в 460 и в 330, а в легкой промышленности — в 780 и в 370 раз.

Различия в уровнях цен настолько резкие, что по финансовому положению явно выделялись три группы отраслей. К богатым относятся топливно-энергетический комплекс, металлургия и химия. К бедным — сельское хозяйство и легкая промышленность. К промежуточным — остальные отрасли промышленности, к ним же по своим показателям примыкает и строительство.

Результатом такого разброса стало тяжелейшее финансовое положение бедных и промежуточных отраслей, которым не хватает доходов на восполнение необходимого запаса материальных и денежных оборотных средств. Это едва ли не важнейшая причина спада производства. Как и следовало ожидать, величина спада нарастает от базовых отраслей к конечным в соответствии с ухудшением финансового положения. Объем производства в 1994 году по отношению к 1990 году составил в топливно-энергетическом комплексе (за исключением нефтяной промышленности) 87 процентов, во всей группе ресурсных отраслей — 66 процентов, в промежуточных отраслях — в среднем 34 процента, в легкой промышленности — 25 процентов.

Одна из главных причин различия в положении базовых и конечных отраслей — резкое снижение конечного внутреннего спроса (падение реальных доходов населения, ограничение инвестиций из-за непредсказуемости ближайшего будущего, неопределенности политических, экономических, правовых перспектив, сокращение оборонного заказа).

Другая важнейшая причина финансовой дифференциации — то, что предприятия базовых отраслей могут экспортировать свою продукцию. При этом дополнительный доход от экспорта нефти, газа, цветных и редких металлов,

некоторых видов химической продукции очень высок, и государство по разным причинам обычно изымает у производителей лишь малую его часть.

Самое расхожее объяснение непомерных ценовых диспропорций — это ссылка на несопоставимость с рыночными странами степени монополизации советской экономики. Действительно, в бывшем СССР в 1990 году (перед реформой) из 5 885 видов машиностроительной продукции 5 120 (то есть 87 процентов) выпускались одним производителем. Однако указание на монополизм (несомненно правильное, но явно недостаточное) нуждается в серьезном переосмыслении и уточнении.

Значительная дифференциация между отраслями по обеспеченности финансовыми, кадровыми, материальными ресурсами и по уровню оплаты труда существовала и в период планово-административного управления. Она в основном регулировалась государственными приоритетами и многочисленными механизмами, направлявшими наиболее качественные ресурсы в ведущие отрасли. В результате к началу 1992 года «стартовые условия» у разных отраслей оказались резко различными по уровню технологий, степени их современности, насыщенности ресурсами, износу фондов и т. д. Поскольку эти различия формировались в соответствии с критериями и целями, далекими от рыночных, такие стартовые условия также оказались в отрыве от рыночного равновесия. Поэтому можно говорить о «нерыночной» структуре самого производственного аппарата.

Допустим, что экономика обладает «нерыночной» структурой производства, но достаточно налаженной рыночной инфраструктурой, мобильными ресурсами труда и капитала, механизмами их территориального и межотраслевого перемещения, и пусть она переживает период высокой активности, в частности инвестиционной. В этом случае либерализация цен и сильная дифференциация рентабельности приведут к быстрому исправлению производственной структуры и приближению ее к равновесному, стабилизированному состоянию. Однако все эти условия в сегодняшней России отсутствуют. Чрезвычайно высокая дифференциация рентабельности и уровней оплаты труда между предприятиями внутри одной отрасли и даже между крупными хозяйственными секторами ставит общество перед определенным выбором: либо за счет жесткой кредитно-финансовой политики закрыть как нерентабельную огромную часть производственных объектов (или резко сократить производство и уволить большинство работников), либо поддерживать неплатежеспособные предприятия с помощью различных инфляционных мер. Российская экономика идет в основном по пути свертывания производства. При этом сама его структура не становится более «рыночной» и эффективной. Это в значительной мере относится даже к топливно-сырьевым отраслям, не говоря уж об обрабатывающих.

Давно известно, однако, что даже в странах с развитой рыночной экономикой некоторые виды деятельности, необходимые обществу, и целые сектора производства не способны обеспечить достаточно высокий уровень доходов и цен на свою продукцию. Дж. Гэлбрейт связывает это с малым и средним размером предприятий в таких секторах. Они не способны конкурировать с более мощными корпорациями других отраслей, в той или иной форме воздействующих на рыночную конъюнктуру. Если государство не оказывает поддержки таким слабым секторам, они могут десятилетиями влачить жалкое существование.

Сельское хозяйство с массой разобщенных мелких производителей — классический пример конкурентно слабой отрасли. Необходимость ее поддержки государством давно признана не только на практике, но даже экономистами-теоретиками (конечно, не всеми).

Потребность государственного воздействия на ценовой механизм при возникновении в нем межотраслевых диспропорций можно несколько утрируя объяснить следующим образом. Рынок — это устройство поддержания равновесия и повышения эффективности, воздействующее на отдельные предприятия. Рынок — это механизм конкуренции. Следовательно, он функционирует

в пределах одной отрасли как совокупности предприятий, удовлетворяющих одинаковую общественную потребность. Тут он действует как «санитар леса» — уничтожает слабых. Если общественная потребность снизится, ухудшается финансовое положение всей отрасли в целом. Тогда большую часть предприятий необходимо закрыть или сократить производство. Однако финансовое положение отрасли может быть тяжелым и по другим причинам (разная степень монополизации, различные стартовые условия в отраслях). Рынок и в этом случае уничтожает слабые предприятия, хотя в их «слабости» виновато не качество их работы, не их руководство, а макроусловия, макродиспропорции. Общественная же потребность в их продукции продолжает оставаться высокой.

До сих пор мы не акцентировали внимания на роли корпоративно-монополистической структуры российского производства. Между тем темпы роста цен и заработной платы в различных отраслях находятся в прямой зависимости от среднего размера предприятия в отрасли. Средняя численность работающих и стоимость основных фондов составляли в 1990 году на предприятиях «богатых» отраслей 1 500 человек и 104 миллиона рублей, а в сельском хозяйстве и легкой промышленности соответственно 520 человек и 6,1 миллиона рублей. Естественно предположить, что крупным предприятиям «богатых» отраслей удастся обеспечить если не достаточный уровень финансовых ресурсов (при затяжном падении экономики в целом все отрасли неминуемо втягиваются в общую воронку), то по крайней мере их относительную стабильность в сравнении со слабыми отраслями. Если «богатые» отрасли, несмотря на общее снижение производства и реальных доходов, обеспечивают сохранение и даже увеличение своей доли в добавленной стоимости (с помощью высоких цен, ухода от налогов, от обязанности возвращать в страну валютную выручку и часть ее продавать), то рыночное равновесие недостижимо из-за нехватки финансовых средств для слабых отраслей.

Итак, наибольший финансовый и производственный кризис — в «бедных» отраслях. Но, разумеется, это не означает, что положение «богатых» за счет «бедных» стабилизируется: снижение спроса на внутреннем рынке, неплатежи и рост производственных затрат подтачивают и самые благополучные отрасли, такие, как топливно-энергетический комплекс и цветную металлургию, у которых довольно значительный экспорт. Они еще существуют согласно известному гулаговскому принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Но весь многопалубный «Титаник» российской экономики начинает тонуть.

Чрезвычайно поучителен опыт государственного регулирования межотраслевых ценовых пропорций, полученный в ходе китайской экономической реформы. На этот опыт обращает внимание консультант лейбористской фракции английского парламента Джон Росс, рассматривающий экономические реформы в посткоммунистическом мире через призму «двойственной экономики». Он отмечает, что динамика ценовых пропорций в КНР в течение десятилетия 1978 — 1988 годов была обратной к той, которую мы наблюдаем в настоящее время в России. А именно: рост цен на продукцию сельского хозяйства и потребительские товары, производимые в основном негосударственным сектором, сильно опережал цены на продукцию базовых отраслей госсектора, находящиеся под административным контролем. В результате финансы продуктивно перекачивались в потребительский сектор, обеспечивая его процветание, полноценное наполнение рынка и расширение платежеспособного спроса.

В то же время, хотя цены монополизированного сектора и сдерживались, производство в нем все же активизировалось — под воздействием растущего спроса и дешевого госкредита.

Ни механизма инфляции, ни всей драматичной проблематики нашей сегодняшней экономики не понять без конкретного учета условий в разных отраслях. И налоговая политика в целом, и ее нормативы должны здраво дифференцироваться — в соответствии с экономической реальностью.

Резкий же уход государства от регулирования межотраслевых пропорций по своим последствиям не менее разрушителен для россиян, чем форсирован-

ная сталинская коллективизация и индустриализация, высосавшие всю кровь из потребительской инфраструктуры — в оборонку.

Мировой экономический опыт показывает: задачу сбалансирования в условиях неподконтрольного развития отраслей рынок если и решает, то с большими издержками для конкретной экономики и населения. Это задача государства и межотраслевых корпораций, готовых работать в условиях рынка в режиме максимального благоприятствования и заключать ценовые соглашения — тоже, скорее всего, с участием государственных структур.

Будущее — за смешанной экономикой

Теперь можно суммировать общие принципы государственной политики по отношению к экономике. Для продуктивной политики контроля и положительного целенаправленного воздействия на структуры производства, цен и денежно-финансовых потоков государство должно четко знать свои стратегические и среднесрочные приоритеты, руководствуясь одним — благом граждан. Безоглядное рыночное доктринерство столь же порочно, сколь и любое другое.

Необходима добросовестная и всесторонняя разработка индикативного плана-прогноза, включающего как ожидаемые индексы объемов производства, так и финансовые и ценовые показатели по отраслям. Богатый опыт оздоровления европейской и японской экономики в послевоенное время необходимо изучать и использовать в максимально полном объеме, а не нынешнем — поверхностном и ущербном. Экономический процесс должен быть под контролем, а не отпущен «на все четыре стороны», свобода без дисциплины — анархия.

Беспрецедентное сокращение производства создает сегодня в России труднопреодолимые препятствия для стабилизации. Снижение выпуска продукции на уже имеющихся производственных мощностях ведет к повышению удельных затрат, поскольку постоянные затраты практически неизменны. Этот фактор действует как на отдельном предприятии, так и в масштабах всего народного хозяйства. Товаров и услуг становится меньше, «экономия от масштаба производства», действующая в обратном направлении, чревата нелинейным, обвальным спадом, когда будет переяден некоторый рубеж.

Да и возможно ли говорить о доверии населения к власти, допустившей разрушение экономики, обнищание большинства, резкое сокращение сроков жизни — в мирное время?

Поэтому задача остановки спада производства становится ныне императивом любой программы, отводя на второй план любые другие цели.

Но чтобы при этом инфляция не усилилась, необходимо отойти от излишне либеральной экономической политики, что вовсе не означает, конечно, торжество «реакции». Надо бесстрашно и разумно задействовать широкий арсенал инструментов государственного регулирования, стимулирования картельных соглашений, реабилитировать корпоративные принципы.

Российская экономика должна наконец начать служить здравому смыслу, а не молоху идеологической догматики, в какой бы демократический наряд она ни рядилась.

Е. СТАРИКОВ



НОВЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ПЕРЕД СОБЛАЗНОМ ФАШИЗМА

1

Начиная с 1994 года число забастовок резко возросло и в настоящее время продолжает расти. В I квартале 1994 года их количество по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилось в 10,3 раза. За пять месяцев 1995 года забастовок произошло в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 1994 года, в 4 раза увеличилось количество трудовых споров. Главные причины забастовок — задолженность федерального бюджета и хроническая задержка зарплаты, чем грешит каждое второе предприятие, несправедливая оплата труда, отсутствие механизма взаиморасчетов, рост безработицы, постоянный рост цен на продукты и предметы первой необходимости. По результатам нескольких опросов ВЦИОМ 1994 — 1995 годов большинство респондентов указывают на хронический характер трудовых конфликтов и отсутствие выработанных механизмов их разрешения. Резкий же рост числа забастовок в 1994 — 1995 годах объясняется тем, что именно в этот период произошло сокращение реальных доходов населения и уровня реального потребления, причем пик этих процессов приходится как раз на рубеж 1994 — 1995 годов¹. Тем не менее острых конфликтов пока нет, а забастовки носят очаговый характер. Но это не означает, что так будет всегда. Существовавший к началу реформ запас финансовых и материальных ресурсов у населения уже исчерпан. Полностью исчерпан «запас прочности» отраслей социальной сферы (здравоохранение, среднее и высшее образование, наука). Не созданы эффективные условия для развития малого и среднего бизнеса, хозяйствования на земле.

Статично-хронический характер приобретает и противостояние между рабочими и директоратом. Последний даже в условиях фактического банкротства предприятий обеспечивает себе гигантские денежные оклады. Проблема задолженности рабочим по зарплате также зачастую лежит не на совести федерального бюджета, а носит криминальный характер. Спровоцированные таким образом забастовки носят в своем подавляющем большинстве стихийный характер, мало связаны даже с профсоюзами, а органы государственной власти, суда и прокуратуры нередко оказываются на стороне криминального менеджмента.

По мнению Евгения Красникова, «организованного профсоюзного движения со своей концепцией и логикой борьбы в России до сих пор нет. Тем более в нынешнем рабочем движении отсутствует какой-либо элемент социал-демократической идеологии» («Независимая газета», 1994, 10 июня). На вопрос ВЦИОМ: «Есть ли на вашем предприятии профсоюз?» — треть респондентов ответила, что профсоюза нет, половина — что, кажется, есть, но ничего не делает. Лишь на пятой части предприятий обнаружился хоть как-то работающий профсоюз. Причина такого положения, по мнению Л. Алексеевой, автора статьи «Рабочий класс на перепутье», в том, что «рост профсоюзного движения происходит в годы экономиче-

¹ «За два квартала (к IV кварталу 1994 года) реальная оплата труда упала почти на 1/3. Резко ухудшилось положение низкодоходных групп. Если во II полугодии прошлого года среднедушевые доходы наименее обеспеченных 20% населения составляли 90 — 100% от стоимости набора 19 продуктов питания, то в I и во II кварталах текущего года — соответственно 65 и 76%» («Финансовые известия», 1995, 25 июля).

ского подъема. В периоды спада производства, закрытия предприятий и безработицы объединение людей идет гораздо труднее. Тем не менее профсоюзы в России по-прежнему возникают» («Молодой коммунар», Тула, 1994, 10 августа).

В России существуют уже десятки различных профсоюзов, занимающих зачастую антагонистические позиции. Для разногласий есть много объективных причин: на полярно противоположное экономическое положение разных отраслей и предприятий накладываются различия в технологическом уровне профессий, а также разные социальные установки самих трудящихся. Как правило, общую ненависть новых профсоюзов вызывает ФНПР — номенклатурная наследница бывшего ВЦСПС. На этом пункте крайности сходятся. Например, на ЗИЛе против ФНПР дружно борются коммунистический профсоюз «Защита» и идеологически противостоящий коммунистам СОЦПРОФ.

Свободные профсоюзы в России начали возникать после того, как в июле 1989 года шахтеры собрали свой первый съезд и выразили недоверие ВЦСПС. Как пишет председатель профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности РФ Борис Мисник, «так родился Независимый профсоюз горняков, Федерация профсоюзов авиадиспетчеров, профсоюзы машинистов локомотивных бригад, моряков, докеров, целый ряд профсоюзов Соцпрофа и другие. Без значительных средств, без собственности, без информационной поддержки, в условиях противодействия почти всех властных структур они медленно и трудно приобретают черты настоящих профсоюзов и уже представляют растущую угрозу профструктурам ФНПР, поскольку зачастую выражают совсем иную точку зрения на происходящее в стране» («Известия», 1993, 21 октября).

По сравнению с «госпрофсоюзом» свободные профсоюзы относительно малочисленны. Но эта малочисленность компенсируется двумя факторами — субъективным и объективным. Субъективный фактор: создаются они, как отметил социолог Виктор Комаровский, прежде всего в среде людей с развитым профессиональным сознанием — шахтеров, летчиков, докеров, диспетчеров, машинистов. Объективный фактор: действуют свободные профсоюзы в жизненно важных для страны отраслях и крайние формы их активности — забастовки — способны буквально парализовать страну.

2

Роль политических партий в рабочей среде крайне мала. Этому способствует негативный опыт блокирования свободных профсоюзов с политическими объединениями на выборах в Федеральное собрание, наложившийся на еще более ранний (и также негативный) опыт общения с социал-демократами. Сегодняшний опыт также негативен: «Несмотря на свою изначально демократическую ориентацию, альтернативные профсоюзы до сих пор ходят в пасынках у «демократов во власти», которые предпочитают иметь дело все с той же ФНПР» («Общая газета», 1994, № 1). И тем не менее профсоюзы все более политизируются. Многие политические лидеры и партии по-прежнему пытаются использовать членов свободных профсоюзов в качестве своей «политической пехоты», а профсоюзы пытаются занять собственные политические партии. Так, еще в конце декабря 1993 года пленум Координационного совета СОЦПРОФа принял решение о необходимости создания «политической структуры, связанной с профсоюзами». В мае 1995 года было объявлено о создании предвыборного левоцентристского блока «под эгидой» и «на базе» ФНПР («Известия», 1995, 22 июня). Примеры того, как профсоюзы «полезли в политику», можно множить. Но главное заключается в том, что, обжегшись на сотрудничестве с «демократами», свободные профсоюзы пошли на резкое размежевание с ними. Можно согласиться с мнением Виктора Костюковского, что «рабочего движения в его прежнем, демократическом виде сейчас уже практически не существует» («Известия», 1995, 20 января). Рабочее движение становится все более оппозиционной «демократам во власти» силой. И поэтому контакты с этой силой активно стараются наладить как коммунисты, так и националисты. Если раньше влияние коммунистов в рабочей среде было ничтожным, то теперь, по словам уже цитировавшейся выше Людмилы Алексеевой, тенденция к росту коммунистических настроений устойчива. Среди свободных профсоюзов появились даже фашистские. «Большинство из тех, с кем мне приходилось общаться, — подчеркивает Л. Алексеева, — находятся в шоке от результатов приватизации. Почти все работники промышленных предприятий (а это 80% работающего населения страны) ис-

пытывают чувство попранной справедливости». В то же время, замечает автор статьи, «наша интеллигенция по-прежнему испытывает к рабочему движению сильное недоверие. Большинство моих московских друзей не знают этой среды и боятся ее». Я не стал бы отождествлять всю российскую интеллигенцию со столичным бомондом. Но что касается последнего, то наблюдения Л. Алексеевой весьма точны. От себя могу добавить лишь, что кастово-элитарный дух, царящий среди замкнутой московской тусовки «демократической интеллигенции», заставляет ее с предубеждением относиться не только к рабочему движению, но и ко всем другим социальным группам, которых она инстинктивно боится. И по отношению к казачеству, зарубежным русским, провинциальной глубинке, пенсионерам и ветеранам, к армии у «паркетных демократов» существует стойкая «презумпция реакционности» и стремление немедленно записать многие социальные группы во «врагов демократии». Происходит отталкивание и «выпихивание» этих групп в лагерь оппозиции, чем и «доказывается» изначальная «правота» утверждений об их «генетической реакционности». А поскольку кроме околомногочисленной интеллигенции существует еще и люмпен-интеллигенция с экстремистскими наклонностями крайне левого или крайне правого толка, то именно последняя и возглавляет, как правило, социальные группы и движения, отвергнутые не в меру брезгливой «демократической элитой». Когда в марте 1994 года представители бурлящей Воркуты во главе с председателем Независимого профсоюза воркутинских горняков Никитой Шульгой попытались в Москве попасть на аудиенцию в администрацию президента, в правительство, в Минфин, они везде получили от ворот поворот. «Люди, которых мы поставили у власти, — сказал Никита Шульга, — отвернулись от нас и плюнули нам в лицо» («Известия», 1994, 22 марта).

Вслед за констатацией этого факта вполне логично последовал призыв к политической забастовке с требованиями отставки правительства и перевыборов президента. И хотя от встречи с искавшим свидания Жириновским делегация горняков уклонилась, в традиционно демократическом Независимом профсоюзе горняков выделилось антиреформаторское «воркутинское» крыло во главе с Никитой Шульгой, а городской рабочий комитет Воркуты стал коммунистическим. «Демократы» сами отбросили своих союзников из рабочего движения в ряды оппозиции, способствуя образованию в среде свободных профсоюзов коммунистического и националистического флангов. Непреодолимая ранее аллергия профсоюзного движения на коммунистов в последнее время сменилась определенной заинтересованностью. Появляются социальные предпосылки для усиления позиций в рабочем движении тех коммунистических организаций, которые не слишком отягощены ортодоксальным наследием. Например, профсоюз «Защита» раньше был с Анпиловым, а теперь тяготеет к Зюганову. Среди рабочих растет ностальгия по прошлому: согласно опросу ВЦИОМ, доля тех, кто предпочел бы снова жить так, как мы жили до 1985 года, возросла с 45 процентов на начало 1993 года до 58 процентов на начало 1995-го.

Наряду с нарастанием прокоммунистических ориентаций отмечается — и не надо закрывать на это глаза — рост симпатий со стороны рабочих (особенно молодых) к фашистам. Причина усиления тяги к фашизму не в том, что «Россия сдурела», а в том, что «сдурели» люди, безо всяких на то оснований именующие себя «демократами», от чего это хорошее само по себе слово оказалось дискредитированным и обросло кавычками. Как сказал в беседе с корреспондентами «Известий» примкнувший к движению «Русское национальное единство» активист свободного профсоюза на череповецком АО «Северсталь» Игорь Кахальников, «все хотят демократии, но наши власти делают все, чтобы «Русское национальное единство» развивалось» («Известия», 1994, 11 мая). Не от хорошей, видать, жизни этот неглупый человек (и уж отнюдь не фашистский фанатик) примкнул к РНЕ. Через семь месяцев в новой статье все те же журналисты-известинцы пишут о Череповце: «И тем более важно разобраться, почему именно здесь так быстро прижился национализм. Скорее всего, демократы сами подготовили для него почву... Провинция шла за ними».

Но в их политике оказалось слишком много такого, что ее от них оттолкнуло.

Другой известинский корреспондент рапортует уже из Кузбасса: «И шахтеры идут на рельсы. Не только Транссиба — они, можно сказать, ложатся на рельсы российских реформ. Тех самых, которых ждали, которые выстрадали, за которые боролись пять лет назад, ради которых терпели снижение уровня жизни и не под-

давались на уговоры провокаторов». И националисты, понятно, уж тут как тут. «Поддержат ли их шахтеры? Еще полгода назад в этом можно было сомневаться. Теперь почти не приходится» («Известия», 1995, 20 января).

3

КСПР — Конфедерация свободных профсоюзов России (с осени 1994 года преобразована в Национальное объединение российских профсоюзов — НОРП) во главе с Александром Алексеевым — третье по численности после ФНПР и СОЦПРОФа профобъединение. И численность этого свободного профсоюза постоянно растет: в апреле 1994 года — свыше 100 тысяч членов. В одном только Екатеринбурге — 18 ячеек. На октябрь того же года — уже 120 тысяч членов, платящих взносы согласно уставу. Классический пример резко поправевшего и усиленно фашизирующегося свободного профсоюза с собственной политической партией — НТП (Национально-трудовая партия). В конце марта 1994 года Александр Алексеев подписал с лидером РНЕ Александром Баркашовым соглашение о совместных действиях по формированию Национально-социального движения, а уже через неделю после подписания соглашения, 31 марта, единство действий КСПР и РНЕ было успешно апробировано на Череповецком металлургическом комбинате (АО «Северсталь»).

Акция эта наделала много шума, поспособствовав скачкообразному росту популярности КСПР — НОРП не только вследствие удачного для рабочих «Северстали» исхода трудового конфликта, но и благодаря силовому характеру его разрешения.

Здесь требуется «лирическое отступление» относительно взаимоотношений рабочих и директората в современных российских условиях. Воодушевленный всевластием на предприятиях и успешной «прихватизацией» госсобственности, директорат российский полностью распоясался. Сегодня он предпринимает все, чтобы задавить рабочее движение в зародыше. «Едва организовавшаяся, насчитывающая всего несколько десятков человек и еще не представляющая никакой угрозы профсоюзная ячейка мгновенно подвергается репрессиям. Лидеры увольняются. И хотя по закону уволить члена выборного органа профсоюза нельзя, бороться с администрацией у людей, как правило, не хватает сил. Местные суды сплошь и рядом выступают на стороне властей... Редкий профсоюзный активист избежал угроз по телефону. Часто эти угрозы исполняются» («Молодой коммунар», 1994, 10 августа).

Нередко, и в этом весь ужас отечественной специфики, месть рабочим лидерам распространяется на их семьи. Как правило, поиски виновных оканчиваются безрезультатно.

Подобная ставка директората на всякого рода неправовые методы решения трудовых конфликтов впервые дала сбой как раз на череповецкой «Северстали» в марте 1994 года, когда коса нашла на камень: рабочие на силу ответили силой. И тут же с местными менеджерами произошла разительная метаморфоза: начальство согласилось обсуждать и решать все вопросы в интересах рабочих. Приехавший по горячим следам череповецких событий в Тулу Александр Алексеев сообщил тулякам, что теперь директор «Северстали» и шагу не делает без оглядки на КСПР. «Хотите, чтобы на тульских заводах также железно соблюдались права рабочих, вступайте в наш профсоюз», — призывал Алексеев («Известия», 1994, 26 апреля).

Кроме КСПР на «Северстали» действуют ФНПР и свободный профсоюз в составе АСПР (Ассоциация свободных профсоюзов России), но не их легально-правовые методы защиты рабочих, а дерзкая, незаконная, с элементами насильственного принуждения забастовка во главе с КСПР вынудила руководство комбината индексировать металлургам зарплату. Примечательно, что накануне забастовки за КСПР шло отнюдь не большинство рабочих «Северстали». Но лидер местной организации профсоюза Сергей Рябков приказал начальникам цехов прекратить работу. Прокатчики отказались подчиниться, но Рябков пригрозил им, что перекроет воду (а без воды прокатка неосуществима), его люди вышли на рольганги — и стан-150 был остановлен.

За председателем КСПР Алексеевым дирекцией был срочно послан в Москву самолет. Алексеев, неделей раньше подписавший с баркашовцами соглашение о единстве действий, прилетел в сопровождении охранников из РНЕ и быстро уломал директора «Северстали» подписать с КСПР соглашение о социальном партнерстве. Все требования забастовщиков были приняты директором к исполнению.

Баркашовцы действовали быстро и эффективно, попутно распространяя среди рабочих свою печатную агитпродукцию и вербуя в свои ряды новых сторонников. Два месяца спустя в Череповце возник филиал РНЕ, а ячейки национал-профсоюза появились и на других предприятиях города. Сергей Рябков, бывший до этого всего лишь вожаком группки из нескольких сторонников национальной идеи в рабочем движении (отколовшихся от АСПР), превратился в лидера не только заводской, но и городской организации НОРП (бывшей КСПР). Через месяц после забастовки в Череповец прилетела делегация прокоммунистического Воркутинского городского рабочего комитета. Как свидетельствует сам Сергей Рябков, «мы открыто рассказали шахтерам о том, что намерены делать в союзе с баркашовцами. И они одобрили наше стремление внести русскую национальную идею в рабочее движение» («Известия», 1994, 11 мая). Союз между национал-профсоюзом «Северстали» и Воркутинским городским рабочим комитетом был скреплен юридически — в виде протокола о намерениях проводить совместные акции.

А ведь до своего провала перед объединенными силами КСПР и РНЕ череповецкий директорат делал ставку, как уже говорилось выше, исключительно на силовое подавление рабочего движения. Вот как характеризуют сложившуюся накануне забастовки ситуацию Сергей Рябков и два других активиста свободного профсоюза — Игорь Кахальников и Анатолий Малюков:

Малюков: На «Северстали» создано подразделение охраны, которое подчиняется генеральному директору. Эти охранники обыскивают рабочих, врываются в раздевалки, лазят, никого не спросив, по шкафам с одеждой. Есть факты, когда за территорией комбината хватали рабочих. Сегодня даже не члены свободного профсоюза изготавливают дубинки и все прочее, потому что творится беспредел. Мы будем принимать адекватные меры.

Кахальников: Когда организовали забастовку, мне было страшно из дому выходить, такая напруга против нас шла. Я боялся, что меня задержат охранники и забастовка сорвется... Вот здесь генеральный директор Липухин — он что хочет, то и творит, он здесь хозяин, ему нет оппозиции, нет силы, которая бы его уравновесила. А стабильность в обществе наступает тогда, когда соблюдается баланс интересов.

Рябков: Сила ломит силу. Рабочему движению необходима охрана. И Русское национальное единство нас защитит» («Известия», 1994, 11 мая).

Весьма показательное и страшное в своей правдивости заявление: легальные методы защиты рабочими своих интересов бессильны перед криминальным террором директората. Но обращение к тем же силовым приемам мгновенно выправляет ситуацию². Отсюда и далеко идущие выводы о тех методах, которые следует применять на будущее. Характерно, что к защите со стороны боевых отрядов РНЕ прибегают не только рабочие, отчаявшиеся найти законную управу на распоясавшуюся директорскую «охранку», но и мелкие предприниматели, страдающие от криминального террора. Боевиков РНЕ боятся московские рэкетеры и чеченская мафия. Поэтому под защитой баркашовцев оказываются и мелкая буржуазия, и рабочие. Вряд ли Баркашов сильно преувеличивал, когда в интервью, данном сразу после своего освобождения из тюрьмы в начале все того же марта 1994 года, сказал: «Рабочие большей части московских заводов симпатизируют нашим взглядам, там созданы первичные ячейки РНЕ» («Московские новости», 1994, № 10). Вины ли в своих профашистских симпатиях эти «несознательные» рабочие? Когда государство не защищает от криминального произвола, начинают искать силу на стороне. Вот рабочее движение и правее (или «краснеет»), а свободные профсоюзы все более политизируются не в демократическом, а в фашистском направлении.

Нападения на рабочих лидеров и даже убийства, террор партикулярных наемных «армий» предпринимателей против рабочих и вооруженное противодействие этим «армиям» со стороны рабочих отрядов... Все это напоминает обстановку в США в конце XIX века. Вот что пишет об этом один из военных историков: «Фор-

² «Лояльность» директората того же АО «Северсталь» была, по-видимому, временной. Оправившись от испуга, менеджеры провели среди сотрудников правоохранительных органов Череповца столь тотальную мобилизацию в свои «силовые структуры», что в городской прокуратуре остался единственный следователь (к вящей радости местных уголовников). Все прочие дружно перешли работать в АО «Северсталь». Там им платят в семь раз больше и даже посылают «на стажировку» в дальнее зарубежье («Известия», 1995, 20 июля).

мировались вольнонаемные военизированные отряды по охране частных предприятий — заводов, рудников и поместий (ранчо); применяли оружие против граждан: эскадроны ковбоев, милитаризованные штрейкбрехеры («скэбы») и сыщики; практиковалась продажа на частном рынке пулеметов, боеприпасов, броневых автомобилей и даже пушек; появились сторожевые озерно-речные флотилии трестов и частных промыслов. 2 августа 1882 г. сенатор Пальмер с трибуны конгресса предупреждал об опасности узаконения «военного партикуляризма — частнонаемных войск» и свободной торговли оружием. Но оппоненты Пальмера возражали, ссылаясь на размах боевых действий против забастовщиков»³.

Американские реминисценции перемежаются итало- и германофашистскими: ранний фашизм, фашизм как движение (а не как режим) — это гремучая смесь популизма, революционного синдикализма и национализма, круто замешенная на антикапиталистической демагогии. Радикальный и близкий к социализму «левый фашизм» — итальянский сквадризм, «нацистская левая» в Германии. Разгромленные впоследствии фашистским руководством, ставшим у власти, они первоначально сильно поспособствовали становлению нацистского режима, приведя под его знамена значительные отряды рабочего класса. Расплата за наивность наступила потом, а вначале Муссолини и Гитлер очень дорожили «левыми фашистами». Вот и в России сейчас складывается очень тревожная ситуация. Фашистам нужна массовая база в рабочем движении, его организационные структуры и профсоюзные деньги. Национал-профсоюзникам нужны боевые отряды РНЕ, его отлаженный механизм — и опять же деньги. Общероссийский лидер НТП и НОРП в одном лице — Александр Алексеев, чья штаб-квартира находится в Москве. На местах же региональные отделения НТП и НОРП возглавляются разными лицами, но взаимодействуют теснейшим образом. Чисто внешне руководство НТП и раньше пыталось дистанцироваться от РНЕ: слишком эпатажно выглядят символика и риторика баркашовцев. НТП не одобряет стилизованную свастику, культ Гитлера, русский расизм. «Программа же НТП намного мягче по выражениям и как бы более привлекательна по целям — бороться не за Россию только для русских, а Россию для всех россиян» («Известия», 1995, 4 июля). «Нас обвиняют в нацизме, — жалуется А. Алексеев, — но как можно об этом говорить, если трудовые коллективы повсеместно многонациональны? Совместная декларация с РНЕ касалась привнесения в массы русской национальной идеи, в остальные дела Баркашова мы не ввязываемся» («Мегаполис-Экспресс», 1994, № 37). На своем последнем форуме НОРП и вовсе отсеклось от связи с баркашовцами. Является ли этот разрыв чисто формальным, или же за ним стоят действительно глубинные расхождения, покажет будущее.

Вместо любимых баркашовцами германо-нацистских аксессуаров и идей руководителей НТП больше привлекает не столь скомпрометированное наследие итальянских фашистов: их символ — черный факел в белом круге на красном фоне, а как руководство к действию — написанная Муссолини «Хартия труда». Идеологическая основа — корпоративизм. Напомню, что в Италии именно по настоянию фашистских профсоюзов (вопреки воле предпринимателей) был введен обязательный разбор трудовых конфликтов в промышленности. НТП также поставила своей целью построение государства на принципах «социального партнерства». «Только русская национальная идея, замешенная на корпоративизме, спасет наш вымирающий народ», — заявил А. Алексеев в Туле в апреле 1994 года («Известия», 1994, 26 апреля). В своем интервью корреспонденту «Мегаполис-Экспресс» он еще раз категорически подтверждает: «Наша цель — корпоративное государство». «Меня нередко называют фашистом, — говорит Алексеев. — Но что такое фашизм? В моем понимании, он начинается с внедрения теории социального партнерства, когда работодатели объединяются в ассоциации, рабочие — в профсоюзы и договариваются между собой, минуя «институты демократии». Фашизм строится на консенсусе. Первые социальные институты, к примеру по охране материнства и детства, в Италии сложились при Муссолини».

Основные идеологические позиции НТП — НОРП: организация небюрократических профсоюзов; «создание нормальных рыночных отношений, где останется в том числе государственная собственность и будут хорошо работать защитные механизмы для трудящихся» (А. Алексеев). Но главные столпы веры национал-проф-

³ Скопин В. И. Милитаризм. М. 1957, стр. 39 — 40.

союза — это, во-первых, соединение социальной и национальной идей (А. Алексеев: «Защита интересов рабочих невозможна без защиты национальных интересов») и, во-вторых, воинствующий активизм, идея «прямого действия». Как признался А. Алексеев, «нас используют иногда в роли «тарана», когда нужно действительно что-то «пробить» для рабочих». Если во время всероссийской акции протеста профсоюзов против ухудшения жизни трудящихся 27 октября 1994 года, проведенной по призыву ФНПР, та же самая ФНПР устами своего председателя М. Шмакова призывала сторонников ограничиться только экономическими требованиями, действовать строго в рамках закона (в чем с коллегой оказался полностью солидарен председатель Всеобщей конфедерации профсоюзов В. Щербаков), то с иным настроением выводил своих людей на улицы Александр Алексеев. Он отверг форму пассивного сопротивления и призвал «подкрепить требования к правительству выплатить задерживаемую зарплату активными действиями — от остановки производств до актов гражданского неповиновения» («Известия», 1994, 21 октября). Все выдержано в стиле известной книги крупнейшего французского анархо-синдикалиста Жоржа Сореля «Размышления о насилии», в которой смешались влияния Маркса, Прудона и Ницше. Проповедуемая в этой книге (оказавшей большое влияние на Муссолини — по признанию самого «дуче») синдикалистская теория «прямого действия» рассматривает экономическую борьбу пролетариата как дело второстепенное, а первостепенным признает непосредственную атаку на предпринимателей: бойкот, стачки, саботаж. «Пролетарское насилие, — писал Жорж Сорель, — осуществляется как чистая и простая манифестация чувства классовой борьбы, представляется, таким образом, делом прекрасным, в высшей степени героическим; оно служит интересам цивилизации»⁴. Другая книга Сореля, «Социалистическое будущее синдикатов», положила начало существованию революционного синдикализма как самостоятельного течения. Вскоре революционный синдикализм стал одной из важнейших составляющих итальянского фашизма на его начальной стадии развития.

Тема «пролетарского насилия» звучит и в антиноменклатурных призывах к люстрации. Череповецкий лидер НОРП Сергей Рябков здесь категоричен: «Необходим запрет на профессию для бывших партийных функционеров, которые по-прежнему правят нами, сменив окраску. Только сила может заставить коммунистическую номенклатуру уйти с руководящих постов» («Известия», 1994, 11 мая). Честно говоря, весьма здравое, на мой взгляд, требование. Его бы радикальным демократам на вооружение принять — не было бы тогда, быть может, и профашистского дрейфа в рабочем движении.

Справедливы, если говорить абстрактно, и другие требования национал-профсоюза, вот только инкорпорированы они в фашистскую систему взглядов, а посему и акценты в этих требованиях расставлены соответствующие. Взять хотя бы близкую всем тему борьбы с уличной преступностью. Еще до появления НТП на российском горизонте череповецкая газета «Речь» напечатала письмо читателя, оповестившего земляков, что он вместе с товарищами собирается создать организацию «Меч» для внесудебной расправы с преступниками. Как комментировала впоследствии все это газета «Известия», «способ борьбы простой: поймали хулигана — избили до полусмерти, поймали вора — отрубили руку, поймали насильника — кастрировали». Отклики на это письмо газета печатала в течение нескольких недель. Когда читаешь их, становится страшно. Череповчане из того широчайшего слоя, который называют рядовыми гражданами, приняли эту дикую идею на ура, а многие даже изъявили готовность перечислить на счет незаконного «Меча» свои трудовые рубли («Известия», 1993, 10 августа).

Прошло немногим более года с момента публикации в Череповце этого письма, как члены череповецкого НОРП приступили к регулярным тренировкам в секции боевых искусств. «Нам нужны сильные рабочие дружины, способные очистить город от всякой мрази», — заявил Сергей Рябков. Воистину, карта выбрана беспроигрышная, ибо импотенция МВД в деле обеспечения порядка на улицах давно уже стала притчей во языцех. «Боевых дружин у нас нет, — умиротворяюще говорит московский лидер НОРП Алексеев. — Просто мы возрождаем традицию обеспечения порядка на улицах, в своем микрорайоне силами самих рабочих. На беспредел властей и администрации предприятий приходится отвечать адекватно» («Мегаполис-Экспресс», 1994, № 37).

⁴ Sorel G. Réflexions sur la violence. Paris. 1912, p. 182.

Защита интересов российских рабочих на рынке труда и российских предпринимателей на рынке продукции принимает в интерпретации НОРП явный оттенок ксенофобии. «Кто, кроме русских, больше всего ущемлен? — задается вопросом Сергей Рябков. — Нам в Череповце грозит безработица, а китайцы у нас работают. И с оплатой у них порядок. Мы вопрос поставили перед властями: раз коренным жителям работы не предвидится, то зачем здесь китайцы и вьетнамцы? Пусть едут к себе и там работают» («Известия», 1994, 11 мая). Своему череповецкому коллеге вторит из Москвы Александр Алексеев: «Стоит только вспомнить, как мы противодействовали прибытию на российские нефтепромыслы канадских рабочих, которые стали отнимать у наших рабочих места» («Мегаполис-Экспресс», 1994, № 37). Та же самая позиция у А. Алексеева и применительно к так называемому «этническому предпринимательству»: «Нацмены из мафиозно-коррупцированных кланов де-факто нарушили суверенитет и территориальную целостность России» («Известия», 1994, 26 апреля).

Сейчас региональные ответвления НОРП активно действуют на севере России — в Вологодской, Ивановской, Тверской областях, на Урале — в Екатеринбурге, на юге — в Ставрополе, в республиках Дагестан, Тува, Башкортостан. В Москве и Московской области они, по признанию самого А. Алексеева, представлены очень слабо.

Обращает на себя внимание военное прошлое лидеров НОРП — НТП. Сергей Рябков — бывший офицер Северного флота. Руководитель регионального отделения НТП на Урале Сергей Колесников учился в Рязанском высшем воздушно-десантном училище одновременно с генералом Грачевым. Активисты РНЕ, бывшие до недавнего времени наставниками НОРП, ориентировали национал-профсоюз на поиск симпатий у военных и работников спецслужб.

В заключение хотелось бы сказать вот о чем. Обличая фашизм — в истории и современности, — как-то забывают упомянуть про то, что унавозило для него почву: «парламентский кретинизм» и волевой паралич веймарских демократов явно перекликаются с деяниями демократов наших. Ни одной стране мира не удавалось еще выбраться из исторического тупика без помощи патриотической идеи, а тем более вопреки ей. А у нас пытаются проводить радикальные реформы под лозунгом «патриотизм — последнее прибежище негодяев»! И когда это не удастся, а в роли «негодяев» оказывается подавляющая часть населения, наиболее дальновидные из «демократов» спохватываются и стремятся как-то «утилизировать» идею патриотизма, вырвав ее из рук правых экстремистов. Но время упущено. Да и сама затея с «утилизацией» обречена. Патриотизм нельзя «утилизировать». И не его вина в том, что усилиями «демократов» он оказался в черно-красных одеждах ультраправых и ультралевых. Это расплата за пятилетие ошибок, за наплевательское отношение демократов к интересам большинства. Вот только расплачиваться за эти ошибки будут не они, а многострадальное большинство. Если же либерализм и демократия органично сольются с патриотизмом, родится новая политическая сила, которая только и способна выволочь Россию из бездны, подобно тому как попытался вывести ее великий П. А. Столыпин после первой революции — из мглы анархии, пораженчества и террора.

Тула.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



МОЯ НОСТАЛЬГИЯ

Ах, не по доброму старому времени, какое там; время моих начальных впечатлений — это время, когда мне, шестилетнему или вроде того, было веско сказано в ответ на мой лепет (содержание коего припомнить не могу) одним стариком из числа друзей семьи: «Запомни: если ты будешь задавать такие вопросы чужим, твоих родителей не станет, а ты пойдешь в детдом». Это время, когда я, выучась читать, вопрошающе глядел на лист газеты с признаниями подсудимых политического процесса, винившихся невесть в чем, а моя мама, почти не разжимая губ, едва слышно и без всякого выражения сказала мне только два односложных слова, которых было больше чем достаточно: «Их быют». Это время, когда пустырь возле Бутиковского переулка, где потом устроили скверик, был до отказа завален теми обломками храма Христа Спасителя, которые не сумели приспособить к делу при строительстве метро. Это время, когда я, подросток, воспринимал дверь той единственной комнаты в многосемейной коммуналке, где со мной жили мои родители, как границу моего отечества, последний предел достойного, человеческого, обжитого и понятного мира, за которым — хаос, «тьма внешняя». О Господи, о чем говорить. Какая уж тут ностальгия.

Но ведь и с теми временами, которых я не видел, — что ни выбери, хоть *belle époque* накануне 1914 года, хоть прошлое столетие, хоть какую-нибудь во все уж «умопостигаемую» или уму непостижимую старину, — как не чувствовать, насколько любое доброе старое время было страшным и смутным, как много опасностей таилось в уюте, как много нечистоты — в благонаравии, как много жестокости — в благообразии.

И все-таки — смотрю сам на себя с удивлением! — все-таки ностальгия. Ностальгия по тому состоянию человека как типа, когда все в человеческом мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить; когда возможно было «значительное». Даже ложная значительность, которой, конечно, всегда хватало — «всякий человек есть ложь», как сказал Псалмопевец (115: 2), — по-своему свидетельствовала об императиве значительности, о значительности как задании, без выполнения коего и жизнь — не в жизнь.

Не буду спорить, что бывали времена, когда этот императив доходил до неутешительных крайностей. В особенности европейская культура конца прошлого века и рубежа веков, то есть вагнеровско-ницшеовско-ибсеновской эпохи, страдала болезненной гипертрофией секуляризованного в своей мотивации и перенесенного в повседневную жизнь «образованного сословия» напряженного, натужного устремления быть значительными. Это было особенно характерно для *Bildungsbürgertum* протестантских стран; недаром же Ницше был пасторским сыном. И как там сказано у Мандельштама про Ибсена? «Аптекарю из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства Гедды и Брака». (А без Ибсена не понять всего этого времени; жаль, что наше поколение русской грамотной публики было, кажется, последним, рассматривавшим чтение его драм в отрочестве как непрременную обязанность.) Однако эпидемия ультрасерьезности захватывала и другие страны и социальные круги. Куда как серьезна была русская интеллигенция: чахотка не одного Надсона была для нее не медицинским казусом, а знаком того, что человек — «сгорел». А потом пришли символисты, и тут уж решительно все стало символом, и даже бытовая пош-

лость — «таинственной», как в стихах Блока. «О, сколько здесь таин!» — как поется в старых потешных стишках. Слов нет, нельзя изо дня в день жить посреди тешащих гордыню и мучащих нервы многозначительностей.

И уж вовсе на неправде основывалась устрашающая серьезность ежесекундно готовых убивать и умирать за новую жизнь и спасение человечества — ни больше ни меньше — большевиков, штурмовиков и прочая. И не от хорошей жизни являлась значительность геройского сопротивления тоталитаризму; никто из нас в здравом уме не пожелает ни себе, ни тем паче другому — положить голову на плаху, хотя жест этот, несомненно, бывал весьма значительным.

Притом значительность не имплицитует ни этического, ни тем паче интеллектуального качества. Возьмем хоть политику. Оставим Ганди, который хотя и действовал на политической арене, но, конечно, был уникален для любого времени. Перейдем к более обычному типу государственного человека. Я знать не знаю, был ли де Голль разумным политиком; но он был — не только силой «легенды» и пропаганды — «значителен», как «великие мужи» à la Плутарх. (А если бы и силой легенды — кто сложит такие легенды про нынешних?) На Черчилле — несмываемая вина за ненужные стратегически бомбежки немецких городов; но он тоже — *vir magnus* в старом плутарховском смысле, ничего не поделаешь, он что-то значил, что-то символизировал. От его потрясающей риторики самого первого периода войны, когда Франция рухнула на колени, а Британия стояла против Гитлера совсем одна, и сегодня перехватывает дыхание. По крайней мере у меня. К политике это не имеет отношения. Но к словесности, к эстетике тоже не сводится.

Впрочем, то же и с эстетикой. В первой половине века были «авангардисты», и нынче есть «авангардисты». Но разве вторые хоть отдаленно похожи на первых? Новшества тех имели значение патетического жеста, готового возвестить либо — «*incipit vita nova*», либо — конец всему, либо, может быть, — и то и другое сразу. Эсхатологическая труба архангела. Вот Малевич пишет свой черный квадрат. Это серьезно, как движение бедного маленького Ганно Будденброка, подводящего черту под своим родословием: больше ничего не будет! Нынче-то жители западных городов проходят мимо абстрактных скульптур не оборачиваясь; а то было иначе — потрясенный мир узнавал о рождении беспредметного искусства как о знаменнии, о предзнаменовании наподобие тех *omīna* (скажем, рождении тельца о двух головах), о которых так любил рассказывать в своей римской истории Тит Ливий. И Бердяев именно так писал свою статью о Пикассо.

Любопытно, что мыслители, вроде бы положившие начало кампании столь сугубо современной, как «сексуальная революция», хотя бы Василий Розанов и Дэвид Лоуренс, имели в предмете, что ни говори, нечто обратное тому, что на деле вышло, — а именно, предельную интенсификацию значительности и значимости плотского общения мужчины и женщины, его новое возведение в ранг языческой мистерии. Примеры можно умножать без конца. Даже движение хиппи, даже (во многом доселе определяющая западную университетскую жизнь) студенческая «революция» 1968 года, эта не слишком серьезная сатирическая драма, по правилам античной драматургии замкнувшая целый цикл трагедий, — и они жили трепетностью квазиэсхатологических чаяний и претензий на значение, превышающее их самих. В самых различных, самых разнокачественных и самых противоречивых своих аспектах культура (и отчасти жизнь) предшествовавшей эпохи стоит под знаком того, что мы называли выше императивом значительности.

...Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось! (Тотальное и сознательное «нет» серьезности в духе «Степного волка» Гессе, «*Homo ludens*» Хейзинги или карнавалов Бахтина тоже ведь в своем роде серьезно, а если практикуется на обэриутский манер, так даже смертельно серьезно.) Можно бы понять чувство оскорбления после стольких идеологических обманов; известно, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни — и стала совершенно непонятной. Ее отсутствие вдруг принято всеми как сама собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь

на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем или наркотиками). Разве что в малочитаемых книжках помянут «Sinnverglust», но опять-таки как проблему скорее психическую, нежели духовную или «экзистенциальную».

Вот, положим, в Вене поставили «Тристана и Изольду». Вроде бы и певцы, и оркестр знают свое дело — а слушать нет никаких сил. Согласен, напряженную значительность, которую Вагнер придает каждой музыкальной и словесной фразе и каждому жесту героев, можно находить непереносимой — тогда честнее не участвовать в исполнении его музыкальных драм. Либо уж позволить себе более или менее агрессивную пародию. Атмосферу значительности, значимости, почти ритуальной, почти иероглифической знаковости, столь совершенно воссоздавшуюся в блаженные времена Фуртвенглера, Зутхауза и прочих, можно, на худой конец, уж если так хочется, — пародировать; чего нельзя, так это ухитриться ее не замечать. Это непозволительно делать просто потому, что означенная атмосфера входит как конструктивный фактор в художественное целое. Если, скажем, для Тристана не существует никакого серьезного выбора между его любовью и его «честью» («*Tristans Ehre...*»), потому что и он и Изольда, по-видимому, получили сексуальное просвещение в новейшем духе и смотрят на вещи очевидным образом вполне спокойно, озабоченные только тем, чтобы вовремя спеть нужную ноту, — тогда и ноты и (сплошь «устаревшие») слова, ими артикулируемые, просто перестают быть системой значащих жестов, распадаются, разваливаются. Однако, заверяю вас, в упомянутом исполнении все шло именно так.

Конечно, это один из случайных примеров. Проблема, конечно, не в том, как ставить Вагнера. Проблема в том, как жить.

Взять хоть политику. Самое страшное и, во всяком случае, самое странное — даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не «значит» и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Уличные бои — да это же был когда-то один из центральных символов Европы, вспоминай хоть стихи Барбье и вдохновенную ими «Свободу на баррикадах» Делакруа, хоть смерть тургеневского Рудина. Сегодня же на улицах Ганновера с полицейскими сражаются — панки. Они могут убить сколько-то полицейских, могут играть собственными жизнями — но это не отменит глубокой **фривольности** ситуации. Когда нынче слышишь о «неонацистах» или о русских «красно-коричневых», охватывает странное, неловкое чувство. Не мне же, в самом деле, обижаться за «настоящих» наци или «настоящих» большевиков! И все же, и все же — там было более опасное, но морально более понятное искушение: ложная, бесовски ложная, но абсолютно **всерьез** заявленная претензия на значительность, которой нынче нет как нет. В том-то и ужас, что сегодня люди могут сколько угодно убивать и умирать — и, сколько бы ни было жертв, это все равно ничего не будет значить. Объективно не будет.

Ну и напророчил Мандельштам еще когда — в 1922 году!

«Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но помола нет, мельник одряхлел и устал и широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут работы».

И еще:

«Куда все это делось — вся масса литого золота исторических форм идей? — вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что выдает себя за величие, — подмена, бутафория, папье-маше?»

Как странно, что никто даже толком не испугался, когда с таким запозданием сделалась доступна эта статья, озаглавленная «Пшеница человеческая»! Даже не разгневался на этого Мандельштама, черным по белому написавшего, что литое золото исторических форм идей — подменено, что предвидимые жертвы будут даже не во имя, скажем, национализма, хорош он или плох, этот национализм, а только во имя чьего-то **желания быть** националистом или **как бы** (файхингеровское *als ob*) националистом! Ах, наверное, распророчествовавший автор сам не до конца понимал, что написал. Но мы-то теперь — понимаем.

Еще недавно так много говорили об Endzeit, а если на хорошем русском — о последних временах, о конце. И пока жива была мысль о конце, общавшая значительность и новому искусству, и экзистенциалистскому философствованию, конца как раз не было, что-то не переставало, не прекращалось, длилось. Даже когда Томас Стернз Элиот сообщил, что мир кончится *«not with a bang but with a wimper»* — не грохотом, а всего-навсего всхлипом, — предполагалось, что и незначительность всхлипа как-то значительна, хотя бы от противного. Но вот формула сегодняшнего дня, за всех современников найденная Бродским:

Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное «бо-бо»,
потому что за этим
не следует ничего.

«Не следует ничего». Порой кажется, будто все, кроме нескольких полоумных сектантов, перестали ждать. Очень характерно, что в языке постсоветской (и не только постсоветской) прессы существительное «апокалипсис» (со строчной буквы) употребляется исключительно в словосочетаниях типа *«ядерный апокалипсис»*, то есть означает не откровение (каковой смысл имеет греческое слово «Апокалипсис»), но и не событие, которое, при всей катастрофичности, было бы эсхатологически содержательным (как предполагает настоящий Апокалипсис, то есть Откровение св. Иоанна Богослова), а просто несчастный случай, который может стать тотальным, может прикончить жизнь на земле, но от этого отнюдь не получает способности что-то значить. Впрочем, о всемирных несчастных случаях нынче в сравнении с недавним прошлым тоже почти что не думают, — должно быть, поработала психотерапия (в Вене, например, встречаешь объявления практикующих психиатров чуть не у каждого подъезда, а предложения поставить психотерапию на место религии — чуть не в каждой газете). И уж подавно не ждут Судного дня. Что же, мы в точности предупреждены, что Сын Человеческий придет в один из тех часов, когда Его меньше всего ожидают (ср. Лк. 12: 40)...

Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конечно, бывает и другое, злое бодрствование — бодрствование врагов. И Анна, и Каиафа, и, разумеется, Иуда не спали в Гефсиманскую ночь (в отличие от Петра, Иакова и Иоанна). В предыдущую эпоху было очень много такого бодрствования — ни Ленину, ни Троцкому, ни Гитлеру, ни бесам помельче не дремалось, какое там. Но все-таки было и бодрствование верных — хотя бы, как всякое добро в этом зоне, не совсем полное, не достигающее должной меры, но было. Сейчас мерщится, что все кругом погружены в сон. (Включая злодеев: по венскому ТВ показывают юношу, нанявшего киллера прикончить своих родителей, а уж заодно и собачку, имевшую несчастье пользоваться любовью этих родителей, получившего по младости небольшой срок, поступившего, чтобы не терять времени, на заочные курсы; и поразительнее всего абсолютная невыразительность, с которой он говорит, — впрочем, вполне словоохотно и бойко, явно радуясь publicity, но не просыпаясь даже от этого удовольствия, — совершенно штампованные, готовые газетные фразы о своих психологических проблемах. Господи, я не говорю о раскаянии — но если бы в этом был хоть вызов, хоть самый дешевый «демонизм». Какое там. *Делов-то...*)

Читатель, не прими моих слов за повторение сказанного в свое время Константином Леонтьевым о *всеевропейском мещанине* или Мариной Цветаевой о гражданах города Гаммельна.

Во времена Леонтьева филистеру приходилось, например, сохранять хотя бы «лицемерную» респектабельность, что, во-первых, требовало порой почти стоических усилий, во-вторых, оставалось хотя бы банализованным знаком чего-то «означаемого», а в-третьих, создавало по крайности возможность выбора между филистерской нормой и отклонениями от нее, — скажем, ампула денди, пробующего опиум, и прочими видами «интересного» бесчинства. О парижском декаденте над рюмкой абсента, о безумном левом радикале и террористе, наконец, даже о грубияне и босяке, игнорирующем нормы приличия, можно было сказать: *«Они хотя бы не филистеры»*. Еще хиппи надеялись быть

чем угодно — *только не филистерами*. Уже в их время надежда была иллюзорной, но еще могла всерьез привлекать. Теперь ни один разумный человек ей не поддастся. В наше время все компоненты некогда антифилистерского набора — «сексуальная революция» + левая идеология + «феминизм» + литературно-журнальная агрессивность и т. д. и т. п. — до конца совпали с филистерством, стали с ним не то что совместимы, а просто ему тождественны. Советское общество, уже давно создавшее тип филистерства, основанного на революционной фразеологии, не совсем заблуждалось, когда полагало, что показывает путь остальному миру. Одно позднее стихотворение Вяч. Иванова очень точно рисует картину мира, в котором «мир плоско выравнен», до того плоско, что безразлична и стерта даже столь, казалось бы, практическая и прозаическая грань между нормой и бунтарством:

Теперь один запас понятий,
Один разменочный язык
Равняют всех в гражданстве братьий;
Обличья заменил ярлык.

Бьют тем же шаром те же кегли
Бунтарь, епископ и король...

Гаммельнцы Цветаевой — опять-таки филистеры невозвратимой старой формации, озабоченные осторожным соблюдением меры: «*Только не передать*». Но в эпоху масс и mass-media шанс — именно у филистеров — имеют только преувеличения, только одномерные формулы без оговорок и оттенков. Современного человека трудно уговорить быть верующим, но легко уговорить быть фанатиком. Католический священник, не готовый заранее и с энтузиазмом одобрить все последствия «сексуальной революции», вызывает однозначную отлаженную негативную реакцию; но сектант, приглашающий добровольцев совершить вместе с ним массовое самоубийство, время от времени может рассчитывать на головокружительный успех. И вот беда, о которой не догадывалась патетическая создательница «Крысолова»: любое преувеличение в этом новом Гаммельне тоже ничего, решительно ничего не значит, даже не притворяется, что значит, — хотя возможно, что в связи с ним прольется кровь.

И уж сколько именно крови — вопрос чисто количественный, вопрос исчисления, не вопрос значения.

Вена.

Июнь 1995 г.

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО



ДОМ СТАЛИНСКОГО ЛАУРЕАТА

«...**Л**астится к небу ЯЛТА: нежным йотом соскальзывает в ленивое протяжное А, приподнимает язык в полугласном эЛ и мягко, вкрадчиво, как дверца БМВ, прикрывается Т с кратким А. Й-а-л-та.

Солнце. Черные кипарисы. Синее море, белый пароход — щегольской круизник, плавучий отель, беззвучно выгребает на середину залива.

Чайка машет крылом.

По набережной, вдоль раскатанного волнами моря, под пальмами и крымскими соснами, мимо кофе и портвейна «Массандра», валютных менял и музыки мимо, бесконечной толпой шествуем мы, профсоюзно-путевочные — с лицами, чуть напряженными от непривычки к празднику.

Мраморно-белесого утопленника, накрытого разломанными картонными коробками, уже убрали...

Солнце сияет по-прежнему.

И хороши жесткие реечки лежака на «бомондном» пляжике гостиницы «Ореанда». Летят под облаками мачты бывшей киношхуны, а ныне ресторана «Эспаньола». С хрустом потягиваются налитые шоколадные тела «новых русских».

Над гроздью светло-зеленого винограда «Италия» у моего лица зависли маленькие пчелы с прохладным именем сильфиды.

И девушки проходят — раскачивают упругий стебель позвоночника, кажут обнаженное модным купальником бедро; очертания столь безупречны, что уж никакой эротике — одна эстетика.

...Пока записывал эту фразу, солнечный луч из-под навеса переполз на виноград, и виноградины засветились изнутри янтарным теплом (11.44, 6.10, 1994, пляж, Ялта)»

— описание несколько выпрэнно, но трудно удерживать равновесие, когда — вдруг — отлетела, отстучала колесами, сгнула, как морок, за горами черная слякотная Москва. Когда вокруг тебя снова ЛЕТО, состоящее из бессмысленно-истомных мгновений. Из тех, которые не остановить. И не надо! С несокрушимой детской уверенностью в личном бессмертии все ждут следующего и следующего не менее прекрасного мгновения. И вся эта яркая, легковесная, вполне утробная и прекрасная при этом, и мудрая при этом жизнь называется ЯЛТОЙ В ОКТЯБРЕ.

А рядом, в пяти минутах ходьбы от набережной, шелестит листьями безлюдная улочка со сквером и белым памятником над клумбой (места моих уединенных прогулок). Глаз цепляется за табличку на углу «Ул. Б—ова» и равнодушно скользит дальше — мало ли безымянных для нас имен. Революционер какой-нибудь или партизан. За две недели так и не накопилось интереса, чтобы заставить себя подойти к памятнику и выяснить.

И уехал бы не узнав, если б однажды у лотка букиниста не потянулась рука к небольшому буклету. «Дом-музей Б—ова в Ялте». Книжечка раскрылась — сама — на странице с фотографией и подписью: «К—в — первый биограф и исследователь творчества Б—ова». ...Оказывается — писатель! Более того — «дом-музей», «первый биограф»!

И потому в первый же пасмурный день, ломая привычный маршрут, ноги сами подвели меня к памятнику. Вблизи — нечто романтически-напряженное,

плакатно-комсомольское в стиле поздних шестидесятых. И как водится — чуть-чуть паутинки, скула облупилась, птичка посидела. Из опознавательных знаков — значок на груди, то ли лауреатский, то ли комсомольский (честное слово, уже не помню, как он выглядел), да имя на постаменте... В отдалении забор с указателем «Дом-музей» и открытая калитка.

...с непонятым волнением, со стыдом и чуть ли не страхом. Откуда? Ничего подобного, когда входил, например, в Дом-музей Чехова. Как будто тебя ожидают все еще завешанные полотенцами зеркала и недоуменный, с плохо скрытой брезгливостью взгляд вдовы.

К тому же надпись за стеклом входной двери: «Открыто. Звоните».

Рука зачем-то поднимается и жмет кнопку звонка.

Но, слава богу, открывает молодая женщина — музейный работник, это видно. Зажигает свет в комнатах, начинает рассказывать, и ей можно сказать: нет-нет, спасибо. Не надо. Я ориентируюсь сам.

Интересно, и в чем же ты ориентируешься?

При входе — справочная таблица с перечнем жизненных этапов. Начнем отсюда и не торопясь:

1912 — родился в бедной семье...

1922 — вступает в пионерский отряд...

...избирается членом редколлегии стенной газеты...

...участвует во всесоюзном слете рабселькоров от орехово-зуювской пионерии...

...работает на фабрике... вступает в комсомол... вечерняя школа ФЗУ...

...избирается членом бюро комсомольской ячейки...

...избирается редактором газеты...

...избирается делегатом VII съезда ВЛКСМ...

...избирается... и т. д.

И похоже, это не послужной список для характеристики, а действительно биография.

Далее: ранняя болезнь, инвалидность, самообразование, занятия литературой, первый («еще незрелый») роман «На хуторах», поступление и учеба в Литинституте и Инязе. Заочно. Работа над вторым романом. Война. Документальная повесть о Лизе Чайкиной. Переработка документальной повести в роман «Чайка». 1951 — Сталинская премия. 1955 — переезд в Крым. Активное участие в работе местной писательской организации, регулярное присутствие на съездах СП СССР, РСФСР, УССР. Умер в 1966 году.

Все как и ожидалось. Включая и то, что я — единственный посетитель музея. И буду, может быть, единственным за весь день. Или за неделю.

По-хорошему, следовало бы уйти сразу после чтения биографической справки. Хотя бы из уважения к покойному: как-никак ты в его доме. Да и по отношению к себе — не слишком здоровое занятие упиваться трупным запахом некогда грозных, а ныне поверженных — не тобой поверженных! — времен.

Но сразу уйти тоже неловко. Раз уж пришел...

Итак, литературная экспозиция:

фотография «лобастого» мальчика с пионерским галстуком помещена на стенде рядом с напелбаумовской фотографией Ленина. Потом будет фотография и другого вождя, правда, несколько конфузливо, «компромиссно» поданная. Об этом чуть позже. А пока заводские стены и дворы, где проходила ранняя юность Б—ова. На лечении в санатории. В поездке по Узбекистану — сбор материала для романа «о дружбе ивановских ткачей с хлопкоробами Средней Азии». Учебник узбекского языка. Фотография Лизы Чайкиной. Верстки с правкой автора. Лауреатское удостоверение. Фото: писатель за работой — полулежа, с папироской, машинка, лист торчит из каретки. И еще: писатель перед читателями в полевых условиях — на переднем плане Он в инвалидной коляске, укрытый одеялом, в кепке с листами рукописи; перед ним на траве

в неудобных позах сидят несколько человек, в основном женщины. На заднем плане то ли поле, то ли заросший пустырь. Кустики какие-то угадываются. Подпись: «Б—ов читает главу из романа «Чайка» перед рабочими Московской камвольно-прядильной фабрики им. М. И. Калинина».

И так далее.

Сюжет для соцартовца. Или, скажем, для Е. Добренко. Уже сами обложки книг Б—ова — культурологическая экзотика: багрово-коричневый закат на картонном переплете, берег раздольной реки, убогие избенки, высокая береза гнется под злым порывом ветра. По багровому небу — золотом: «Сквозь вихри враждебные». На титульном же листе заголовок отпечатан красной краской. Жанровое обозначение отсутствует, но послесловие названо «Рождение эпопеи». (Из послесловия: «...к постижению великой, народной, советской души... все более мужественному и мудрому служению народу ведет Катю партия...»)

В коридорчике оформлен стенд, посвященный роману Б—ова «Твердая земля». Одна из сюжетных линий романа — борьба с Промпартией и изобличение ее «главаря Рамзина». Тема эта доминирует в экспозиции, начиная с портрета Сталина и кончая фотографиями из зала суда. Снято в момент голосования за смертный приговор. На плечах голосующих погоны. Поднятых рук много. Очень много. Весь огромный зал в едином порыве: казнить! Очистить родную землю от гадов! Б—ова там, разумеется, нет, он голосовал годы спустя отсюда, из этого дома.

Собственно литературная экспозиция занимает одну комнату и часть коридоров. Остальные помещения на первом этаже — мемориальные. И в прямом и в переносном значении слова. Уже в самой планировке дома, в распах окон и дверей как бы запечатлен статус хозяина. Коридор расширяется перед широкими двустворчатыми дверями, ведущими в Главную Комнату. Здесь жил и работал Он. Добротная мебель пятидесятых годов: шкафы, письменный стол у окна, пишущая машинка, «Москва», кажется; рядом — просторная кровать, еще один — журнальный — столик, портрет хозяина на стене, писанный местным художником, могучий ламповый радиоприемник, телевизор. Ковер, занавески. Все это, наверно, удобно и даже — уютно, будь помещение хоть чуть поменьше. Главное же в этой комнате — некий сакральный холодок ее пространства, как бы заставлявший посетителей на секунду задержать шаг в дверях, чтобы окинуть взглядом всю ее, чтобы дать себе отчет, где ты и перед кем. Кажется, что комната изначально задумывалась для приемов и идеологических ритуалов после смерти ее хозяина; для слов (до сих пор помню мурашки по спине и стеснение в горле, с которыми когда-то, в другом, разумеется, месте, произносил их): «Я Юный Пионер Советского Союза Перед Лицом Своих Товарищей Перед Лицом Родной Коммунистической Партии Торжественно...» — так, кажется.

На письменном столе — последний и необходимый штрих — в музейной торжественности застыли торчащие из специального стаканчика остро заточенные карандаши.

А в холле Дома, высвеченный мощными лампами, стоит бюст Б—ова. Он помещен на фоне черной карты звездного неба. Там у созвездия Секстанта выделена малая планета.

С 1973 года планета эта носит имя Б—ова.

На фотографиях литературного окружения Б—ова абсолютно неведомые мне лица. Смутно знакома фамилия Кедриной и, кажется, Котова. Канувший и уже таинственный мир литературной субкультуры — советской? областной? комсомольской?

И уж полная для меня загадка — фотографии литературных учеников Б—ова. Оказывается — были.

Выставленные на стендах тексты Б—ова я читал почти с восхищением. Отточенная, отлакированная тяжким трудом литературная беспомощность могла бы сделать любой из этих листов ценнейшим коллекционным экземпля-

ром, если бы листов этих Б—ов не изготовил тысячи. Из них состоят его романы, каждый объемом с «Обломова» или «Анну Каренину». Чистота жанра изумительна. Сымитировать подобное не под силу и Сорокину:

«Они прошли мимо Соколова, и он услышал, как Маруся спросила:

— Тот мужчина тебе не родной отец?

Лиза засмеялась:

— Нет, но лучше, чем родной.

— Кто же он?

— Секретарь райкома.

— Секретарь райкома? — удивленно вырвалось у Маруси. Она оглянулась на Соколова. — А этот молодой человек кто?

— Наш редактор.

Маруся приостановилась.

— А вы кто же будете?

— Почему «вы»?

— Да ладно, ты, — засмеялась Маруся.

— Я? Я пумовская. Соседки, — сказала Лиза.

В тот день Маруся попала домой только ночью. До позднего вечера просидели они под сосной у дороги. Лиза забыла, что ее ждут на поляне товарищи, а Маруся — что ей далеко идти. Расставались, пообещав друг другу часто встречаться.

Маруся шла домой задумчивая».

Однако автор недоволен. Он правит, он вставляет фразу, должную улучшить текст:

«Маруся с удивлением почувствовала, как от взгляда смеющихся глаз Лизы у нее становится теплее и легче в груди».

Это — уровень письма.

Следует, наверно, поговорить и о содержании романов Б—ова. А может, и не надо. Достаточно — я проверил потом, полистав его книги, — вполне достаточно аннотации:

«С большой теплотой изображены в романе его основные герои: чекист Степан Орлов, его сын Илья — комсомольский вожак, сестра Степана Елена, уехавшая строить Турксиб, его второй сын Василий, участник боев на сопках Маньчжурии. С гневом изобличает автор книги происки иностранной разведки и лагеря белоэмигрантов, стремившихся путем диверсии и шпионажа подорвать успехи первой пятилетки. В последней части романа показан крах контрреволюционного заговора, опрокинутого мощным трудовым порывом народа, строящего социализм».

Вот как бы и все. Сюжет незамысловат. Еще один железный рыцарь соцреализма. «Гвозди бы делать из этих людей...» Я не утрирую — все так, ограничься мы двусмысленной логикой музейной экспозиции. Но стоит употребить здесь слова, от которых Б—ов всегда предостерегал своих «биографов», — болезнь, инвалидность, как сюжет обретает пугающую глубину и сложность.

Определяющим событием в жизни Б—ова стала производственная авария на строительстве, где студентом техникума он проходил практику. Рыл с товарищами котлован под фундамент нового цеха. И в уже готовый почти котлован однажды ночью выхлестнули грунтовые воды. Охотников лезть в осеннюю затопленную яму и забивать ожившие скважины не находилось. И в воду пошел Б—ов. «Воодушевленные его примером, — пишут биографы, — комсомольцы становятся рядом... укрощают стихию». Далее — жесточайшая простуда, больница, осложнения и трагическая ошибка врачей: начиналось известкование позвонков, а Б—ова, лишив его спасительного движения, укладывают в гипс. Процесс стал необратимым. Когда гипс сняли, способность двигаться сохранили только руки, вернее, кисти рук. Даже голову не повернуть. Позвоночник окаменел. Б—ову было всего восемнадцать лет.

Именно тогда он решил стать писателем. Решил жить и пером продолжить борьбу за дело Ленина — Сталина. О существовании Николая Островского он еще не знал. Решение было самостоятельным.

Цель изначально недостижимая для него. Кроме того, что нужно было ежедневно, ежечасно преодолевать физическую немощь, постоянные боли и душевную угнетенность, кроме того, что нужно было противостоять тяжелейшему быту — а проходил он тогда по жизни «на общих основаниях», в нищих провинциальных «инвалидных домах», — нужны были литературные способности, хотя бы минимальные. Увы. В беспомощных рабселькоровских заметках и стихах невозможно различить даже проблеск одаренности. Первоначальное литературное образование он получал за чтением «Овода», «Спартака» и «Красных дьяволят». И если судить по библиотеке в доме Б—ова, чтение художественных текстов было для него сугубо функциональным — он «учился, учился и еще раз учился». Истоиво отрабатывал в себе писателя. Поступил в Литинститут — для ремесла. В Иняз — для культуры. Чему он там научился, сказать трудно. Главной наукой в его жизни была наука мужества и стойкости. Здесь ему нет равных. Длительное путешествие по Средней Азии для сбора материалов было бы в те годы тяжким физическим испытанием и для здорового человека. Б—ов же проделал его неподвижным инвалидом. В начале войны Б—ов сделал все, чтобы стать военным корреспондентом. Разумеется, не получилось. Но это уже не его вина.

И всю жизнь он работал по десять — двенадцать часов. До изнеможения. Пока карандаш не выпадал из обессиленной руки.

Предаваться же мучительным размышлениям, что есть литература и что есть я в литературе, было непозволительной роскошью. Занятием самоубийственным. Писательство и вера в торжество коммунизма стали для Б—ова формой борьбы за жизнь. Единственную, которую он видел. Я бы сказал, что Б—ов представлял некую биологическую особь: «советский писатель».

...Так что же, юродивый? Не думаю. Слишком просто: отклонение от нормы — и все. Нет, это не юродство. Потребность обрести некую духовную опору вне себя, обрести высший смысл существования и освятить им свою мученическую жизнь — признак нравственного, душевного здоровья. Печать избранничества, если хотите.

Почему высшим смыслом стала именно советская литература? А почему — нет? Миф этот творили не только Панферов с Павленко. Там были и Маяковский, и Пастернак, и Олеша, и Бабель, и молодой Платонов и т. д., и т. д., и т. д. До сих пор хранит обаяние романтическая (хотя и чуть парфюмерная), но писавшаяся в полную силу проза — «Кара-Бугаз» Паустовского или шедевр именно советской литературы — «Тридцать ночей на винограднике» Николая Зарудина. В таком контексте замысел романа о «дружбе ивановских ткачей с хлопкоробами Средней Азии» уже не кажется анекдотичным. Он был человеком своего времени. Человеком прямым и чистым. И что поразительно, сохранившим свою чистоту. Судьба оберегала его. Во всяком случае, удивительно вовремя возник «крымский вариант». Внешне все просто: резкое ухудшение здоровья и предложенный медиками выбор: серия операций с сомнительным исходом или смена климата. Крым. Оказалось, что именно Крым и нужен был. Московский оттепельный воздух середины пятидесятых становился опасным для Б—ова. Что-то сгущалось вокруг, приближая появление «Ивана Денисовича» и «Хранителя древностей». Крым же по-прежнему оставался вполне советской кузницей здоровья, номенклатурным пансионатом. По утрам Ялта заполнялась людьми в пижамах, с обветренными на магаданских вышках лицами: немногословными — та еще школа — чекистами. Излюбленными героями Б—ова. Время здесь не торопилось.

Да и уровень письма областных классиков был на порядок ниже столичного. Историко-революционный пафос Б—ова не смотрелся здесь архаикой. В Крыму он шел вне конкурса — исключительность судьбы («наш Островский»), поразительная работоспособность, общественный темперамент, ну и, разумеется, Сталинская премия. Его авторитет в местной писательской организации был непререкаемым. В Крыму выходили его книги. Здесь готовился его многотомник.

Здесь построил он свой Дом. В центре города, в уютнейшем его уголке, по собственным чертежам — не дворец, но вполне просторный, с мансардой, точнее, вторым этажом, с великолепным садом; весь как бы приспособленный для его работы и его славы. Сюда приходили писатели, читатели, пионеры,

инвалиды за словом Учителя. Где-то там далеко, в суетной ожесточенной Москве «молодогвардейские мальчишки» использовали его имя в своих литературных играх. Здесь же была не игра — жизнь, прочная, настоящая. Здесь была его Ясная Поляна.

Мало того что Крым подарил Б—ову еще десять лет жизни — Крым подарил Б—ову то, чего, казалось бы, навеки лишила его судьба: физическое движение. Б—ов решил научиться плавать, используя подвижность кистей рук. Матросы-спасатели заносили его грузное тело в воду, опускали, и он тут же шел на дно. Его вылавливали, вытаскивали на берег, чуть ли ни откачивали. И он требовал повторения. Его заносили в воду снова, и снова, и снова. Измученные, испуганные матросы пытались отговорить. «Ничего, ничего, ребята! Не робей, я не выдам», — эту фразу я услышал от экскурсовода. Его снова заносили в воду. И наступил день, когда он смог немного задержаться на поверхности. Потом он держался около минуты, потом — около пяти. А затем Б—ов плавал в воде до часу.

Мощная легенда. Во всем. И в явленном здесь мужестве, и вот в этом, советско-номенклатурном, присутствии «матросов-спасателей». Но надо помнить, что заносили они в воду не просто инвалида-сановника. Они заносили в воду лауреата Сталинской премии. А Сталинская премия — не Букеровская. Это социальный и экономический статус на всю жизнь. Возможность построить в центре Ялты двухэтажный дом и содержать на свои средства приезжающих инвалидов. И одновременно — особая ответственность за чистоту доверенного тебе имени Сталина, почти обязательность вот такой образцово-показательности. Звание обязывало... Хотя на самом-то деле ни к чему оно, конечно, не обязывало. Сталин как раз вполне трезво оценивал своих лауреатов. Выслушав жалобы нового партийного куратора над писателями на их писательские бытовые, моральные и прочие закидоны, он с мудрой циничностью обронил: «Других писателей у меня для тебя нет. Управляйся с этими». Вождь ошибался — были. Истовое служение имени Сталина питалось у Б—ова не только верноподданническими чувствами. Он принадлежал к тем, кто действительно верил в «великое дело Ленина — Сталина» и всего себя положил во имя этой веры. И счастлив был своим трудом, и даже самым своим страданием. И жизнь свою, несмотря ни на что, прожил счастливо. И умирал победителем. Рядом с его мужеством и стойкостью, с его цельностью меркнет и Мересьев. Про нас с вами я уж и не говорю, наше с вами ерничество по поводу Б—ова было бы даже не безнравственным, а попросту жалким, пошлым. Бесильным.

И что? Получается в итоге, что душевная цельность, гармония могут строиться на любой почве? Ибо какая еще обеспеченность — биографическая, личностная — нужна для «трудного счастья» Б—ова?

Получается, что мне, например, уже и не важно, о чем он писал. И как писал. Важен сам факт — писал. Смог стать писателем. По крайней мере поводов сомневаться в этом у него как будто не было.

А это значит, что существенно не содержание твоей модели мира, а сам факт наличия таковой. И абсолютно без разницы — какой. Да любой! Даже вот такой: с красными флагами и классовой борьбой. Вот это ужасно. Если так, то действительно согласишься лизать сапоги у Сталина.

Одно спасение, одна опора — в эстетике. Ее не обманешь. Для виноградного вина потребен виноград. Мерзлой картошкой не заменишь.

Может, это предположение из полузапретных, но количество правки на рукописях Б—ова — не качество, а именно количество — провоцирует. Слишком заметно, как он старался. Изо всех сил старался дотянуться, соответствовать. Чему? Установке? Проходному уровню или... Предположим то самое. То, что сладостью и кошмаром сопровождает жизнь каждого пишущего: его личные взаимоотношения с Музой. Муза всегда мыслилась Б—овым одетой по моде времени в кирзовые сапоги и косынку — Муза-товарищ, Муза-соратник. Но неужели не являлась она перед Б—овым в облике юной девы, с дудочкой в руках? Обворожительной и непредсказуемой. На склонность которой не дей-

ствуется ничего — ни твое постоянство, ни добросовестность. Слишком часто одаривает она «невесть кого», в упор не замечая «достоинейших». Мука, известная всем художникам, независимо от степени их дарования. Она похлеще неразделенной любви. Любовь за несколько лет перегорает в пепел. Эта же — закабаляет на всю жизнь. Сколько изломанных судеб, сколько как бы немотивированных провалов даже у замечательных мастеров — в желчь, яд, агрессивность так называемого «гражданского служения».

Это и есть высший суд.

Знаешь, почему нам так приятно и легко писать? — спрашивал в пятидесятые годы Гроссман у молодого Некрасова. Да потому, что мы в конечном счете — любители, а не профессионалы. Профессионалы слишком часто пишут потом. Причем потом кровавым. Он проступает на их страницах.

Б—ов писал только кровавым потом. Это была изматывающая, обессиливающая работа, когда текст плывет и плывет, не в силах ухватить и сохой части того, что хотелось бы выразить; когда слово, язык становится чем-то вроде листового железа, которое надо гнуть молотом. И рука тянется в который раз перечеркнуть, переправить, и как в дурном сне: сколько бы ты ни напрягался, ты остаешься на том же месте. В полном одиночестве.

Б—ов истово служил Музе. Всю жизнь. Безответно.

Не знаю, нужно ли читать его книги. Слава богу, они не состоялись. От суда истории его спасла бездарность. Единственное, что Б—ов оставил после себя, — Дом. Только здесь способна оживать легенда о его жизни. И не отмахнуться от этой фигуры, как от некой угрюмой окаменелости, бесследно затерявшейся в складках минувшей (будем надеяться — окончательно) эпохи. Эпоха та невытравима из наших генов.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. КОРЖАВИН



В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ

Часть вторая

ТУМАНЫ ЮНОСТИ

КРАТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ

Между тем днем, когда я кончил первую часть своих мемуаров, и сегодняшним прошло всего несколько месяцев. Но как резко изменился облик жизни. И я приступаю к второй части своих мемуаров не в той обстановке, даже не в той стране, в какой кончил первую. Разумеется, я имею в виду не Соединенные Штаты, где я это пишу, а ту страну, где я родился и прожил большую часть жизни, о судьбе которой я, собственно, и пишу эти мемуары.

Временами становится неясным, кому и зачем я это пишу. Может быть, это только инерция и написанное в лучшем случае будет интересно только будущим историкам нравов. Может быть, но не хотелось бы работать на одних историков. Начнут сличать мои показания с чьими-то другими, в том числе и глупыми или лживыми, и выводить среднее. Нечто подобное я уже встречал на свободном Западе. Но, может, и это — слишком оптимистическая гипотеза и вообще не будет ни историков, ни истории. Человечество (не только весь бывший СССР) опять, как в доисторические времена, погрузится в беспмятство, оруэлловское или иное, открестится от памяти. Все может быть...

Но способствовать беспмятству не хочется. И дело не в том, что опыт наших ослеплений и прозрений, опыт освобождения подневольной мысли интересен не только для нас — я твердо уверен, что он пригодится и России. Даже после новых катаклизмов и унижений, если их не удастся избежать.

КАНИКУЛЫ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Я прервал рассказ на прибытии нашего эшелона с эвакуированными на станцию Азов. Произошло это числа шестого июля 1941 года, в разгар школьных каникул, начало которых, как помнит читатель, совпало с началом войны. Вопреки всему, что я видел, знал и понимал, я не сразу избавился от подспудного ощущения, что это каникулы и что каким-то образом к осени мы все вернемся в свою школу. Правда, каникулы эти постепенно превращались в практику по географии СССР, по только что пройденной программе восьмого класса. Географические карты областей, которые нас заставляли перерисовывать из учебника, как бы оживали, избавляясь от условностей масштаба.

Позади остались Ростов и Батайск. По моему тогдашнему восприятию и Ростов, и Батайск, и Азов были где-то далеко на востоке, за краем света (центром которого был, конечно, Киев). Здесь уже и дорога была не Юго-Западной, к чему я привык, а Юго-Восточной. Короче, это уже не было юго-западом, с которым я привык себя отождествлять и который почему-то считал бо-

лее культурным, сердечным, красочным. Это слегка угнетало. Но было интересно. Я впервые оказался в России, на языке которой всегда говорил и писал и к чьей культуре себя относил. И она понемногу начинала открываться мне. Но этого я еще не сознавал.

Впрочем, я читал книги — в том числе «Тихий Дон» М. А. Шолохова и «Петр I» А. Н. Толстого. Поэтому слова «Ростов» и «Азов» волновали мое воображение. Первый — памятью гражданской войны, второй — тем, что когда-то его брали петровские полки во главе с Лефортом. И еще тем, что там — море.

На перроне нас приветствовал председатель Александровского райисполкома Ростовской области, который приехал нас встречать во главе большого обоза колхозных телег. Фамилии его я не помню, помню, что она была украинской. Украинским же на мой слух был и язык, на котором говорили местные жители, которые, впрочем, как вообще на Кубани (административно эта местность относится к Ростовской области, но по складу, хоть она и не казачья, тяготеет к Кубани), все считали себя русскими. Были среди возниц и немцы — в районе был один или два немецких колхоза. По-видимому, состояли в них потомки тех самых немцев-колонистов, о которых в «Августе четырнадцатого» упоминает А. И. Солженицын. Ехали мы до места, до Александровки (официально — Александровки-Азовской), в крестьянских телегах шестьдесят километров степью, в сторону от моря — так что моря я тогда, к своему великому огорчению, не увидел.

Привезли нас в Александровку уже ночью. Один из возниц отвез нас к себе, где мы были радушно, с традиционным гостеприимством приняты и накормлены хозяйкой. Слушали нас с любопытством и сочувствием. Мы занимали воображение аборигенов тем, что уже как бы видели войну, хотя бы бомбежки. Для них же тогда (в начале июля 1941-го) война была еще экзотикой. Они были глубоким тылом и, как и мы, не представляли, что скоро перестанут им быть, а через год и вовсе окажутся в тылу противника.

Поначалу отношения с хозяевами были очень сердечными и хорошими. Нам была выделена небольшая горница с какими-то постелями, нас даже подкармливали. Но через несколько дней они внезапно испортились. Ругани не было. Просто однажды вечером в комнату, отведенную нам, постучался хозяин и, не говоря худого слова, вынес буквально из-под нас почти всю стоявшую в ней мебель.

Появление эвакуированных всегда наталкивается на некоторое отчуждение. Даже когда сталкиваются и не столь далекие группы населения, как прикубанские крестьяне и частью еще просто местечковые, украинские евреи. Баржи отправлялись из Киева, но киевлянами были отнюдь не все, кто на них взобрался, — для некоторых путь их бегства начался еще в Польше. Эти лучше всех знали, от чего бежали, но не отнюдь лучше, куда прибежали. Короче, без недоразумений было не обойтись.

Работали мы в одном из колхозов райцентра. В этих местах уже шли полным ходом уборка и обмолот хлебов, и нас к нему привлекли в качестве... колхозников. Работали все честно, но мало кто был сравним в силе и сноровке с настоящими колхозниками. Последние относились к этому спокойно. Насколько я помню, на работе и по поводу работы никаких конфликтов не возникало, нас не ругали и не подгоняли, отношения складывались вполне человеческие и гуманные. На полевом стане в обед кормили вкусно и досыта — замечательным ароматным мясным борщом и белым пшеничным хлебом.

Меня удивляло, что в райцентре, хоть деревня это была большая, было несколько колхозов. Ведь тогда я еще полагал коллективизацию благом. И не сомневался, что все вокруг думают так же. Дело было не только в моей общей философии. У моего отца такой философии не было, но однажды он мне всерьез, правда с некоторым удивлением, передал ответ одного пожилого колхозника на сакраментальный вопрос, стало ли ему легче или тяжелее при колхозах. Тот сказал, что безусловно легче. Раньше он, правда, зарабатывал больше, но зато и работал больше, и в голове приходилось многое держать. А теперь отработал сколько положено в поле — и гуляй. Отец был несколько обескуражен таким ответом, но иронии не почувствовал. Я, стыдно сознаться, тоже. Дело было не только в философии, а в отсутствии взаимопонимания — общего опыта, а отчасти и общего языка.

Короче, все мы плохо вписывались и никак не вкоренялись в эту жизнь. От нее нас отделяло и прошлое, и надежды на будущее, что не могло не сказываться на нашем поведении. Надо было получать и отправлять письма, искать по всей стране родных, посылать запросы насчет использования по специальности и ждать ответа на них. По этой причине приходилось шляться на почту, открытую только в рабочее время. Следовательно, необходимо было в рабочее время (прогуливая рабочие часы, а то и дни) появляться в центре села, где она была расположена. Здесь, в центре села, у всех на виду, происходили случайные, но радостные и громкие встречи. Люди это были разные, отнюдь не всегда близкие, но находящиеся в одинаковом положении — сюда, к почте, их приводили одинаковые потребности, и им было о чем поговорить друг с другом. Они никому ничего плохого не делали, но бросались всем в глаза, раздражали чуждостью.

Усилилось все это с мобилизацией. До нашего прибытия общей мобилизации в этих местах еще не было. Она началась недели через три — к концу уборки. Забрали сразу всех мужчин призывного возраста.

Эвакуированных, естественно, тоже. Но массовая психология иррациональна. «Наших туда забирают, а эти оттуда сюда на готовое приезжают» — для нее довод вполне убедительный. То, что берут и «этих», не так заметно.

Но на этом «всем готовом» жить никто особенно не стремился. Получать и дальше зарплату продуктами никого не тянуло — даже меня, несмотря на всю мою идейность. Отца расстраивало противоестественное отсутствие «живой копейки в руках». Это вовсе не подтверждает антисемитской легенды о «специфически еврейской» любви к деньгам — тут речь ведь шла не о скопидомстве, а об элементарной экономической независимости семьи. Как все теперь понимают, это значило разделить судьбу миллионов колхозников. Но тогда это не было так ясно, а тем более наглядно. У колхозников были дома, приусадебные участки, привычка к укладу деревенской жизни. А эвакуированные должны были начать с нуля. Естественно, они только о том и думали, как поскорей вернуться к своей профессии, выбраться отсюда в более понятный и привычный мир. Это стремление тоже не способствовало сближению с аборигенами.

Стремилась уехать и мы. Моя мать снеслась с Ростовским облздравотделом и получила направление в станицу Боковскую, куда мы вскоре и выехали. Правда, не доехали. Но об этом — чуть позже. Перед тем как навсегда покинуть Александровку, мне все-таки хочется добавить несколько слов к тому, что я успел здесь рассказать о ней. Я почти никогда не вспоминал об этом большом и сравнительно богатом тогда селе, может быть, потому, что таким, каким я там был, я себя вспоминать не люблю. Считал, что помню только не виданные мной до той поры (и потом тоже) фрукты — жердели (или жардели). Они были похожи на маленькие абрикосы, на какую-то помесь абрикоса со сливой, и очень мне нравились... Тогда как раз был их сезон, ими пропахло все, ими начиняли очень вкусные пироги и вареники. И я считал, что больше ничего не помню.

Но оказалось, что я помню немного больше. Когда человеку неполных шестнадцать, у него не бывает пустых периодов. Тем более когда жизнь крутит перед ним такие кинофильмы. Там я впервые столкнулся с реальной жизнью, с тем, что она не сахар, что у нее есть лимиты. Оказалось, что для того, чтобы работать в редакции (я посетил и местную газету, где познакомился с ответсекретарем, ростовским парнем, писавшим вполне грамотные и современные стихи), мало быть таким, каким я себя считал, а надо еще, чтобы были свободные штатные единицы. Это вносило известные коррективы в мои представления о том, что молодым везде у нас дорога, стоит только захотеть. Этими словами я никого и ничего не хочу «разоблачить» — это нормальная жизненная проблема, порой драма, она всегда и везде есть и будет. Но нам-то гарантировали — «от каждого по способностям!».

Опыт мой обростал подробностями — иногда смешными. Помню, как я был поражен, когда впервые узнал, что водку можно мерить на граммы. Произошло это в здешней столовой, где я обедал, — кстати, здесь кормили вполне добротной едой. Стройный и серьезный чуть седоватый человек, кажется мельничный мастер, заказывая буфетчице обед, присовокупил как нечто само собой разумеющееся:

— Ну и сто грамм.

И хотя он не уточнил, чего именно «сто грамм» ему надо было (я поначалу думал, что хлеба), но был понят. Буфетчица кивнула, взяла бутылку водки и наполнила ее содержимым граненый стаканчик, служивший меркой, и, перелив это в обыкновенный стакан, подала его заказчику. Так я впервые столкнулся с тем, что потом стало органической частью нашего быта и чуть ли не фольклора, а именно, с магическим выражением «сто грамм». В довоенном Киеве водку на граммы не мерили.

Появился у меня и собственный опыт «хождения в народ». Произошло это так. Сын хозяйки, приблизительно мой ровесник, с которым я сразу по приезде подружился, взял меня с собой куда-то в луга, по-видимому в ночное. Он и его приятели там пасли то ли коров, то ли лошадей — точно не помню. Помню только, что сидели мы вокруг костра и о чем-то говорили. Вероятно, они расспрашивали меня о войне, о Киеве, о моей там жизни — все это было им любопытно как нечто далекое, почти нереальное. Мало-помалу дошло дело до стихов. Попросили прочесть какие-нибудь стихи — не свои, вообще. Я выбрал пушкинское «Я вас любил...». Видимо, решил, что им, как людям не искушенным в поэзии, оно будет наиболее понятно. Но я ошибся. Понятными для них оказались только слова и тема, но не суть. Когда я кончил читать, случилось то, чего я никак не ожидал: реакцией на мое прочувствованное чтение был смех. Всеобщий совершенно искренний — с «понимающим» подталкиванием друг друга локтями — смех. Рассмешило их то, что об «этих делах», да и вообще «о бабе» говорится таким тоном. Им был непонятен не «текст», не «подтекст», а контекст — само чувство, лежащее в основе этого произведения, весь мир представлений, для которого это чувство реально и естественно. Я был обескуражен. Я ведь не знал, что столкнулся с важнейшей историко-культурной реальностью России, которой были богаты еще славянофилы XIX века, — с реальностью «двух народов». Речь шла не просто о разных уровнях прикосновенности к одной и той же культуре (в Англии тоже не все тонко чувствуют Шекспира), а о том, что в России разные слои народа жили в разных культурах. Различие это теперь исчезло, но полвека назад оно еще хоть и в ослабленном виде, но ощущалось. Конечно, и в сегодняшней России население не сплошь состоит из высоких ценителей поэзии, тем не менее у сегодняшних старшеклассников это пушкинское стихотворение смеха не вызвало бы.

Завелся у меня там и взрослый приятель, на этот раз совсем взрослый, — красный партизан. Мы оба нуждались друг в друге, как талант и поклонник. Поклонником в этих взаимоотношениях, естественно, выступал я. Еще бы! Я никогда до той поры не видел легендарных красных партизан так близко — только на сцене в президиумах. Но и я ему был нужен — у него уже давно, судя по всему, не было поклонников, а он в них нуждался.

Что говорить, нет героев в своем отечестве, окружающие относились к нему безо всякого поклонения, почтения, а то и уважения. Не без иронии относились. Все это я, конечно, объяснял их мещанством, не смущаясь тем, что слово «мещанство» («мещанин» означает «горожанин») относил к деревенским жителям. Революционно-романтическая традиция допускала любую словесную и терминологическую неаккуратность.

Познакомились мы просто. Рыбак рыбака видит издалека. Однажды, когда я шел куда-то по одной из тенистых улиц села, с веранды дома, с которым я как раз поравнялся, меня вдруг окликнули и пригласили зайти. Мне навстречу, улыбаясь, поднялся высокий и крепкий черноволосый человек с крупным и узким лицом, в черной сатиновой рубахе поверх брюк и с чувством пожал мне руку. Тут же, в одной из первых фраз, он мне сообщил, что является заслуженным красным партизаном. Жена, женщина в затрапезе, с измученным лицом, угостила меня фруктами. Я огляделся. Несмотря на все льготы, которыми пользовались красные партизаны, обстановка вокруг была бедной. Теоретически это должно было располагать меня к нему, но в этой расположенности я был не совсем искренен. Обстановка, в которой он жил, отдавала какой-то неприятной и неопрятной бедностью, пропитостью.

О чем мы говорили? Честно говоря, я ничего не помню. Он больше хвастал чем-то неопределенным, многозначительно на что-то намекал, больше поддакивал мне, чем рассказывал. Говорил он так, будто вечно всем доказывал

свою значительность, а может, просто состоятельность. Жила в нем какая-то нерастроченная ярость, какая-то недобрая и беспокойная энергия, искавшая выхода. И проявлялось это все в какой-то демагогической ненависти к соседям. Думаю, что в острые времена он мог быть очень опасен. Или от него откупались? От него за версту веяло самодурством, но я подавлял неприятные ощущения и выдавливал из себя восхищение. Я мало о нем знал. Но когда однажды прочел (с разрешения автора, конечно) рукопись незаконченной и пока не опубликованной повести А. И. Солженицына «ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ!», написанной в «шарашке», то один из персонажей этой повести, тоже партизан, тоже из этих мест, живо напомнил мне моего знакомца. Вполне возможно, что мы с Солженицыным встретили одного и того же человека. Герой повести пытается им восхититься. Но бывалые спутники героя, раскулаченные крестьяне, знают и видят этого «революционера» насквозь — именно такие, никчемные и нечестные, недавно выгоняли их, честных, трудолюбивых крестьян, из их домов. Это в нем ощущал и я. Но изо всех сил еще «любил революцию». И коллективизацию тоже.

Уехали мы из Александровки тем же путем, что и приехали в нее, — через Азов и Ростов. Но только не на подводе, а на попутной машине. Кое-как, уже под вечер, мы со своим небогатым скарбом дотряслись до азовского вокзала и погрузились в пригородный поезд. Не помню, сколько времени мы провели в Ростове, — кажется, около суток. Нам нужно было ехать московским поездом до Миллерова, а оттуда добираться до Боковской на попутках. Помню, что наш поезд уходил только на следующее утро. Что такое вокзалы военного времени, и сорок первого года в частности, описывать не берусь. Помню усталость, неприкаянность — едем не из дома и не домой, и все вокруг так же: скученность, шум, гвалт. Несколько раз объявляли поезда на Москву, каждый раз мы вскакивали, но зря: оказывается, большинство поездов из Ростова или через Ростов на Москву следовали через Харьков, а нам нужен был следующий, через Воронеж...

Пришлось нам немного и походить по городу — по маминым делам и просто так. Ростов мне понравился. Хотя до этого я полагал, что, кроме Киева и столиц, красивых городов в стране нет. А тут был настоящий город, красивые дома, сутолока, трамваи и хоть не Днепр, но все же Дон, расположенный по отношению к городу, как в Киеве Днепр, с краю. Было странно, что вот город, а я к нему не имею никакого отношения, должен ехать в какую-то глушь.

Каким я был в этот момент? Таким же, наверно, каким уехал из Киева. Шла война, в которой необходимо было победить, а пока я чувствовал себя щепкой, которую поток несет куда хочет. Все это не располагало к переоценке прошлого... Где уж тут меняться? И все поражавшие меня факты я склонен был толковать как случайные и не важные.

Хотел же я только одного — на фронт. Но это не было еще обыкновенным патриотизмом: как можно видеть из первой книги, я тогда до него еще не дорос. Движим я был другой романтикой. Лучше всех это выразил — правда, еще до войны, как предчувствие — Михаил Кульчицкий:

И вот опять к границам сизым
Составы дымные идут.
И снова близок коммунизм,
Как в девятнадцатом году.

Тут все неверно: и представление о коммунизме, и о девятнадцатом годе, и о похожести сорок первого на девятнадцатый. Верна только жажда чистоты и подлинности, связанная с этим самообманом. Но так чувствовал и я.

Дорогу до Миллерова я плохо помню. Только названия: Новочеркасск, Шахты, Лихая, Глубокая.

Миллерово — узловая станция Юго-Восточной железной дороги. Здесь от магистрали Воронеж — Ростов отходит ветка на Луганск — значит, на Донбасс и Украину. Естественно, эвакуационный поток бурлил на ней со страшной силой, она была одним из порогов на его пути. Мать побежала на телефон звонить в Боковскую (по-местному — в Бочкí), чтоб выслали машину. Там энтузиазма не проявили. Добирайтесь как хотите. А может, вообще оказалось, что им стоматолог уже не нужен, — не помню. Помню только, что поначалу я искал попутку, а она не находилась.

Но потом какой-то доброхот из эвакуированных внушил матери, что ее и искать не надо, а надо ехать подальше. Мотивировал он это военным положением — немцы и впрямь были уже недалеко отсюда. Я это вполне мог знать, но странным образом не осознавал.

— Нельзя так далеко сейчас забираться, — так или почти так говорил этот человек, — потом в случае чего оттуда не выберетесь. Тем более и население здесь такое — казаки! Сами знаете, как они относятся к евреям.

Слова этого доброхота были трезвы и на мою мать подействовали. Разумеется, я не собираюсь сегодня разбираться в давних счетах. Казачество пострадало от советской власти, среди комиссаров, от которых они страдали, было много евреев. Это не резон, чтоб мстить всем евреям, как не было резону мстить всем казакам за жестокости в еврейских погромах. Я против сведения счетов, ибо счета в массовом порядке сводят чаще всего с невинными. Это круговорот зла в истории. Его в нашем обществе еще и теперь многие хотят продолжать. Я не из их числа.

Тогдашнее решение не ехать в Бочки было правильным. Но в Миллерове на вокзале я случайно встретил своего одноклассника по 44-й школе, который говорил прямо противоположное. Радостно, с захлебывающимся упоением он уговаривал меня последовать примеру его семьи и сейчас же возвращаться в Киев.

— Зачем тут болтаться! — восклицал он. — Кому мы здесь нужны! А про немцев всё врут. Никаких евреев они не обижают. Наши родственники в листовке это читали.

Говорил он как человек, своим умом просекший истину, недоступную другим, но тем не менее наглядную, и сбить его эйфорию нельзя было ничем. Он рвался в Киев: проговорил свои монологи и исчез. Не знаю, добрался ли он до Киева, но, судя по тому, что ни я, ни кто-либо из общих знакомых после войны о нем ничего не слышал, до немцев он все-таки добрался. Тем более что перемещаться по железной дороге на запад было тогда много проще, чем на восток. Но тогда я не отнесся к этим его словам трагически: не мог поверить, что все это — реально.

Запомнился еще один эпизод, сегодня выглядящий смешно, но тогда меня отнюдь не рассмешивший. Все мы, сотни, а то и тысячи людей, сидели, в основном, на перроне, на узлах и чемоданах, ждали продажи билетов, поездов, судьбы. Я тоже лежал на узлах и читал вывезенный из Киева однотомник Пастернака. Сидевший неподалеку от меня парень моих лет спросил, что я читаю. Я ответил, что стихи. Он попросил дать посмотреть. Через некоторое время я услышал его удивленный возглас:

— Мамка, гляди!!!! Книга пятнадцать рублей стоит!..

Что говорить, цена книги для тех лет удивительная. А для 1933 или 1935 года, когда она вышла, — и говорить нечего. Причины этого я не знаю. Книга была очень хорошо издана, но не была особенно большой. Чем бы ни объяснялась эта цена, именно она лишила меня Пастернака на долгие годы. Парень, его мамка и Пастернак, стоивший 15 рэ, исчезли навсегда в вокзальной сутолоке. Было очень обидно. Ведь эта книга была одной из моих связей со всем, что я потерял, с самим собой.

К маме и к нам, к нашей беспомощности очень сочувственно отнесся начальник станции. Он выдал нам бесплатные билеты до станции Лиски и посадил в поезд, доставивший нас на эту большую узловую станцию.

На станции Лиски нам тоже сопутствовала удача: мы купили билеты до Челябинска и, что еще более удивительно, тут же водворились в поезд, правда в теплушку. И поезд этот почти сразу, едва улегся неизбежный ропот по поводу нашего водворения, тронулся. Это был странный поезд, точней, эшелон — вполне в духе тех дней. Каким-то непостижимым образом частью эшелона, составленного, в основном, из таких теплушек, как наша, был нормальный пассажирский поезд Харьков — Новосибирск, вышедший из Харькова по расписанию или близко к тому. Впрочем, и часть теплушек, если судить по населению нашей, была к нему прицеплена в Харькове. Не знаю, пришел ли этот поезд по расписанию в Лиски, но дальше он двигался без всякого расписания, медленно полз, как говорится, «считал столбы», подолгу стоял на каждом полустанке... Сколько мы ехали? Я примерно помню, когда мы приехали в Челябинск, но плохо, когда мы выехали, и поэтому не могу точно ответить на этот

вопрос. Думаю, что недели две. И все это время мы двигались на восток. Только на восток.

Для моего довоенного мироощущения уже и Харьков был востоком. А теперь уже железная дорога, которая называлась Юго-Восточной, оставалась на западе. А поезд все больше отдалялся от Киева и шел теперь по российской периферии. Я здесь ничего не знал, а рядом были люди, для которых названия здешних станций — Поворино, Балашов, Ртищево — были тем же, что для меня Бахмач, Нежин, Фастов, Белая Церковь. Ждали Поворина — там ответвление на Сталинград, Балашова — там на Тамбов и Камышин, Ртищева — там на Саратов. Я ничего не знал о существовании этих больших узловых станций. О небольших я и не говорю. Впрочем, какие-то названия оказывались знакомыми по книгам. Но это была уже подлинно Россия, здесь уже по-русски без всякой примеси украинизмов говорили все, а не только образованные люди. Бессознательно я мечтал об этом всегда.

А война шла. Где-то в дороге, кажется еще до Пензы, настигла нас весть о падении Харькова. Было понятно, что вот-вот падет Киев. Но пока поезд полз, стоял и снова полз, сообщения об этом не было.

В вагоне шла своя жизнь. Больших станций ждали не только те, кому нужна была пересадка, а все. Набрать кипятку, добыть еды, купить хлеба, просто поесть горячего. И иногда удавалось. Были люди, которые это организовывали, во всем этом бедламе делали свое человеческое дело. За него ведь им и спасибо некому было сказать — разве что кроме нас, кто как возникал, так и исчезал. Дня два или три мы ползли до Пензы — примерно четыреста километров. А останавливали нас по любому случаю: пропустить встречный воинский эшелон, дать себя перегнать пассажирским и санитарным, а также угольным составом. Все это с грохотом проносилось в обе стороны. Мы стояли. У меня нет претензий к тогдашним железным дорогам, не было их и тогда. Железные дороги, возможно, должны были быть более мощными, но они были такими, какими они были. Часто важнейшие магистрали шли в одну колею, что меня очень удивляло. И все же хоть и со скрипом, но они справлялись со своей непосильной задачей: перевезли полстраны и громадные материальные ценности с запада на восток и с востока на запад. В 1941 году железнодорожниками не возмущаться, а восхищаться надо было.

Долгие стоянки все равно нагоняли тоску.

— Эх, — вздыхали на очередном полустанке бывалые люди, направлявшиеся в Сибирь. — Только бы вырваться за Челябинск, а там пойдет...

— А там что? — любопытствовал я. — Перегрузки меньше?

— Нет, — отвечали бывалые. — Перегрузки теперь, наверно, везде. Но там перегоны большие. Как зеленый свет, так километров семьдесят отмахнешь до следующего разъезда. Не то что на каждом шагу полустанок.

Практика показала, что бывалые правы: довольно быстро эшелон стал двигаться уже за Уфой.

Обращало на себя внимание количество этих бывалых. Людей трепало и гоняло по стране разными бурями. Конечно, нельзя исключить из этого и прямые принудительные перемещения, и увертывания от них — этого хватало всегда. Но людей гоняло по стране и стремление вырваться из материальной нужды. Их гнала «погоня за длинным рублем», как презрительно именовала это советская печать, то есть поиски сносной жизни. Умели же они многое — это чувствовалось.

После Пензы долго добирались до Сызрани, потом недолго до Куйбышева — так мной называлась и воспринималась тогда Самара, — и началось Заволжье, края мне тогда совсем чуждые. Стало холодней. В наших местах в такое время холодно не бывает. Где-то по дороге мы поравнялись с другим эшелонном. По виду — тоже с эвакуированными. У вагона, рядом с дверями, стоял человек в сиреневой трикотажной рубашке и курил трубку. Заговорили. Оказалось, это немцы, выселенные из республики немцев Поволжья и... из Москвы. Говорил этот человек по-русски не очень чисто, но свободно. Мое сердце интернационалиста было оскорблено. Преследуют людей по национальному признаку наши враги, а тут мы. Но война примиряла со всем, все списывала. Дескать, во время войны невозможно разбираться в каждом, и если среди немцев есть люди, сочувствующие Гитлеру, то приходится и так поступать. Но,

конечно, думал я, обращаться с ними государство должно деликатно, как с без вины обижаемыми. А как иначе? Но «обращались», как известно, иначе.

На какой-то станции я встретил знакомого Нины Харитоновны Разумовской, которого видел не раз в ее доме. Он мне сказал, что она в Уфе, и дал ее адрес. Я обрадовался. Откуда-то я знал, что киевские писатели эвакуированы в Уфу, но о том, что и Нина Харитоновна там, понятия не имел. Это был подарок судьбы, обошедшийся мне недешево.

В Уфу эшелон пришел днем, я был очень доволен, что не ночью, — могло ведь быть и так. Я был твердо уверен, что стоять он будет долго. Меня и заверили, что раньше завтрашнего утра он не тронется. И потому я отправился искать Нину Харитоновну безбоязненно. Расспросил дорогу — найти ее оказалось просто: трамвай к ее дому шел от самого вокзала. Взаимную радость от этой нежданной встречи не стану описывать — ведь это как отыскаться в океане. Провел я у нее не так уж много времени — часа два. Но когда вернулся на вокзал, поезда я уже не застал. Это было страшно. Но, к счастью, опоздали еще два парня из нашего вагона, и оба из бывалых. К ним я и приткнулся. Номер эшелона мы знали, и станционный милиционер посоветовал его догнать на пригородном поезде, идущем до станции Шакша. В Шакше нашего эшелона уже не оказалось, и мы обосновались в дежурке — ждать поезда Москва — Челябинск. Дежурный не возражал: мы ему были любопытны.

В дежурке был полумрак, но по сравнению с ночным мраком вокруг было светло. Беседа текла о том о сем, кто из каких мест, что там и как, о войне, конечно. Иногда мои спутники сворачивали разговор на поезд. Я спрашивал, помогут ли нам при посадке. Ответом мне было молчание. Было тошно. Но жизнь шла. Дежурный сидел за столом, а у стен по лавкам еще человека два. Входили, выходили. Один из них, старик, машинист маневровой «овечки», готовился к чему-то. И вдруг повернулся ко мне и сказал — видимо, в ответ на глупую мольбу о помощи:

— А у твоего папки, наверно, миллион в чемодане припрятан.

Это означало, что ничего, при таких-то деньгах отыщет тебя твой папка. И все вы такие — не пропадете. Я плохо понимал, как можно такое говорить. Залепетал: дескать, что вы? мы ведь... Я еще не знал, что на очевидную чушь отвечать невозможно. Впрочем, кажется, в Миллерове на вокзале я уже слышал эту байку. Дескать, в Ростове (или в Новочеркасске, или в Лихой, но только не в самом Миллерове) у одного еврея каким-то образом вывалился из чемоданчика миллион рублей. Потом я ее слышал в разных местах. Этот кочующий еврей появлялся в Уфе, Аше, Ташкенте и где угодно. Этаким *superjew* (супереврей) на советский манер. Но меня самого за обладателя миллионов принимали впервые.

Я был сражен и поражен. Остальные отнеслись к этой сцене безучастно... Дежурный смотрел на меня с любопытством — не то чтоб верил в этот миллион и не то чтоб не верил. Бывалые не вмешивались. В те минуты я мог бы составить самое нелестное представление о России и русских. К счастью, этого не произошло. Кстати, дальнейшие события этой ночи, тоже очень нелегкие, тем не менее противоречили бы такому представлению.

Поезд наконец подошел. «Два ярких глаза набегающих» с грохотом влетели на перрон. Началась суматоха. Я решил действовать легально: стал объяснять проводнице, в чем дело. Ей было явно не до того: сработал профессиональный навык — и я был вытолкнут наружу. Пока это происходило, бывалые за спиной проводницы прошмыгнули в вагон, и поезд мягко тронулся. Я был в отчаянии, но увидел парня, сидящего на ступеньках, и в последний момент последовал его примеру, вскочил и уселся рядом, вцепившись в поручень. Вагон, набирая скорость, застучал по стрелкам. Мелькнул станционный фонарь, и мы въехали в промозглый холодный мрак. Больше всего я боялся, что пальцы замерзнут и выпустят поручень. Но все обошлось. Мороза не было. Ночь была лунная, неслись на бешеной скорости горы, иногда они отступали, обычно возле речек, которых было множество, иногда отесанными каменными стенами обрывались прямо у моих колен. Было страшно, но скоро я привык, успокоился. Ехавший рядом парень перешел на площадку между вагонами, и я — на ходу! — последовал за ним. Жизнь приучает ко всему — это тоже оказалось нестрашно.

Въехали на станцию Иглино. Спутник мой, видимо, здесь сошел, а меня кто-то засек, и дежурный по станции стал снимать меня с поезда. Самым страшным было то, что поезду уже дали отправление. Я стал ему объяснять, почему мне невозможно здесь остаться. Но он строго приказал мне идти с ним и куда-то повел. Я плелся за ним, продолжая талдычить свое, — что мне еще оставалось? Он делал вид, что не слушает. Однако по мере удаления от вагона ускорял шаги и переставал обращать на меня внимание. Я повернулся и рванул назад, к уже тронувшемуся поезду. Теперь и ступеньки с поручнями показались мне уютным местом. Только здесь я сообразил, что человек, снявший меня с поезда, дал мне возможность сбежать совершенно сознательно. Он не мог сделать того, что я по глупости просил, — *разрешить* мне ехать дальше, но *дал мне возможность* это сделать самому. В его поведении была обычная русская семиотика, которой народ, как мог, защищался от бесчеловечных порядков. В сущности, почти так же вел себя в этом отношении и дежурный на станции Шакша. Он даже прямо говорил, что мешать нам не будет. Но моя беда, как видит читатель, в том именно и была, что я был дурак и должен был эту семиотику постигать на ходу — на ходу скорого поезда в частности...

Постепенно начинало развидняться. Я по-прежнему несся среди гор — между каменными стенами и над пропастями. Пусть не кавказскими, но для меня достаточными. Продолжалось это довольно долго. Вдруг щелкнул ключ — и я переметнулся на площадку. Тогда начали открывать и эту дверь — я метнулся обратно. И так несколько раз, и все — на бешеной скорости. По отношению ко мне поезд как бы не двигался. Но стучали колеса, пронеслась земля, и на то, чтоб это игнорировать, требовалась воля. Потом я устал и остановился на ступеньках. На площадке стоял пожилой железнодорожник. По-видимому, начальник поезда.

— Что вы хотите этим доказать? — вежливо спросил он.

— Ничего, — ответил я. — Только то, что все равно не сойду. — И объяснил почему.

— Пройдите в вагон, — сказал он.

Россия явно оказывалась не без добрых людей. Далеко не все в ней вели себя как машинист «овечки» со станции Шакша.

В купе пили чай, мать кормила девочку — почти довоенный вагонный быт. Я был вне всего этого. Но и занят я был другим — продолжал догонять родителей. Выбегал на всех более или менее крупных станциях: Вавилово, Кропачево. Справлялся об эшелоне. Сталкивался там со своими бывалыми, занятыми тем же. Выяснялось, что поезд везде уже проходил. В Кропачеве кончалась Куйбышевская железная дорога и начиналась Южно-Уральская. Факт этот можно было бы не отмечать, но в связи с этим менялся и номер состава. Из-за этого на следующей станции не знали, о каком эшелоне я спрашиваю. Еле-еле удалось выяснить новый номер, выручила примета — сочетание классных вагонов с теплушками. Но мы не смогли догнать свой эшелон. Не надеялись и в Златоусте. В диспетчерской на вопрос об эшелоне я получил краткий ответ:

— Стоит на десятом пути.

Я бросился искать этот десятый путь, по дороге встретил своих бывалых, но они уже все знали и бежали за вещами. Насколько я помню, вещей у меня не было — бывалые ведь в Уфе отправились за покупками, а я только в гости. Возле эшелона я оказался первым. Кто-то крикнул матери: «Ваш сын идет». Она выглянула из вагона. Отца не было — ходил зачем-то на вокзал. Скоро вернулся. Родители мне рассказали, что, когда поезд тронулся, они не знали, что делать — сойти на следующей станции или ехать дальше. Выбрали второе, поскольку я знал, что они направляются в Челябинск. Но, Господи, на какой тонкой ниточке все висело!

Вернулся я вовремя. Чуть ли не в том же Златоусте нам велели пересест в классные вагоны — видимо, население эшелона начало редеть. И мы с вещами потянулись вперед. Разместились не столь нормально, как дама с ребенком, но ехали уже как поезд Харьков — Новосибирск. У нас даже стали проверять билеты.

Наконец мы приехали в Челябинск. Дальше наш билет был недействителен. Теперь мы были просто бездомными — бомжами, говоря по-нынешнему. И переселились из вагона в здание вокзала. Из вокзала не выходили.

Отойти нельзя было — твое место тут же занимали. Время от времени раздавался вопль обворованного человека. Это был вопль отчаянья: попробуйте остаться безо всего среди этого океана. Было страшно. В довершение всего каждую ночь под утро всех — всех, кому некуда было деваться, — выгоняли из вокзала на улицу на время уборки. Это было разумно, но не способствовало уверенности в себе. И тут среди всего этого бедлама на первый или второй день нашего пребывания мы услышали страшную весть о падении Киева. По официальной версии Киев пал 21 сентября — на самом деле 19-го, но мы этого знать не могли. В сообщении не было ничего неожиданного, но у свершившегося факта иная убедительность. Было страшно думать о родных — особенно в связи с дворником Кудрицким. И с тем, что по родным, знакомым с детства улицам свободно ходят враги, а я не могу, душа не мирилась.

Но надо было жить. Мы приехали ночью, а утром, сдав свои вещи в камеру хранения, уже вышли в город. Мама пошла разыскивать облздравотдел, а мы ее ждали в каком-то скверике. Вокруг бурлила какая-то странная жизнь, отнюдь не только челябинская. И это неудивительно: челябинцы и персонал эвакуированных заводов где-то уже худо-бедно жили и были теперь на работе, болтались же выбитые из колеи, в массе своей такие же временные бомжи, как мы. Все куда-то торопились, чего-то искали — прежде всего работы и пристанища.

Мать вернулась обнадеженная. Ей обещали место на Симском заводе — на Урале «заводами» назывались не только сами заводы, но и поселки при них. Симский завод упоминается уже в пушкинской «Истории пугачевского бунта» — через него проходил Пугачев. Теперь этот «населенный пункт» официально назывался поселок Сим Челябинской области. Вскоре он стал городом районного подчинения. Ничего этого я тогда не знал. Понял, что мать получила назначение в поликлинику при каком-то заводе, и был рад. Очень хотелось прибиться к месту.

Проголодавшись, отстояли очередь в закусную. За соседним столиком расположились какой-то польский еврей с сыном. Держались отчужденно. Мой отец попытался завязать с ними разговор. Потом он удивленно рассказывал, что этот еврей на вопрос, куда они путь держат, просто ответил: «В Индию». Отец не знал, как эту нелепость понимать: то ли как резкий отказ от общения, то ли как беспочвенное прожектерство шолом-алейхемского «луффтмэнча» («человека воздуха»). Я сразу же принял второе объяснение. А ведь он на самом деле пробирался в Индию. По-видимому, как польский гражданин, при помощи армии Андерса. А что ему еще было делать? Домой вернуться он не мог, в этой, по его мнению, дикой стране жить не собирался, вот и рассчитывал добратся до Индии — там все же англичане. Он проехал через великую страну, ничего, кроме неустройства, в ней не увидев, но у него не было и сознания человека, выросшего в закрытом обществе. Он мог и в Индию ехать.

Мамино оформление, видимо, занимало несколько дней, и нас временно поселили в эвакупункте — в одном из классов такой же школы-новостройки, как мои киевские. Школу, по-видимому, на время потеснили. Без «впечатлений» не обошлось и здесь. Сначала мы жили одни в целом классе, но потом к нам подселили эстонцев-железнодорожников с женами. Судя по всему, вывезли их всех насильно по инициативе какого-то идиота, чтобы не оставлять ценные кадры врагу. Конечно, это могли быть и эстонские коммунисты, но вряд ли — тех почти сразу арестовали. Русского языка все они не знали. Я пытался объясниться с ними по-немецки, на котором в детстве почти уже разговаривал, но давно забыл. Но они и им не шибко владели. В общем, были они здесь иностранцами. Но в то же время советскими гражданами. А в целом — как рыбы на берегу. Женщины плакали. Наверно, эти люди тогда предпочитали немцев нам больше, чем остальные эстонцы, у которых тоже были для этого основания.

Но наконец мамины дела были оформлены, билеты куплены, и мы отправились к месту маминой службы. Ехали на московском поезде назад к Уфе, до станции Симская, когда-то Рязано-Уральской, ныне Куйбышевской дороги. Приехали мы днем. От заводского склада при станции до поселка всего несколько километров, по узкоколейке ходила «кукушка» — крохотный паровозик с одним вагончиком и платформами.

Дорога занимала минут двадцать — тридцать. Все было по-домашнему, все всех знали и звали по имени — кондукторша пассажиров, а они ее и друг друга. По дороге выяснилось, что сюда теперь понаехали москвичи: переведен московский завод. Ехали среди лугов и огородов, поселок был плотно окружен горами, не очень высокими, но сплошь покрытыми хвойным лесом. Тротуары в поселке, во всяком случае у заводоуправления, где мы высадились, были деревянные. На таком тротуаре выставлены были все наши пожитки, рядом в ожидании стояли мы с отцом и ждали мать, ушедшую представляться начальству. Было ощущение, что наконец мы прибились к месту, пришел конец нашим мытарствам.

Поначалу мать вернулась встревоженная. Оказалось, что зубной врач в поликлинике уже есть — приехал с заводом. Но тревога быстро улеглась. Маму на работу взяли. Это решало все наши проблемы. Отцу с его дипломом устроиться на завод было уже нетрудно.

И мы стали жить здесь. Как — об этом в следующей главе. Про себя могу добавить, что тут я вскоре снова пошел в школу, в девятый класс. Самые длинные и самые трудные в моей жизни каникулы все же кончились.

СИМСКИЕ КОРРЕКТИВЫ-1. ПОСЕЛОК И ШКОЛА

Всю свою жизнь, за исключением эмиграции, я, теряя, приобретал, хоть, конечно, не сразу это понимал: терять всегда больно. В эмиграции я тоже кое-что приобрел: более конкретное знание и понимание Запада. Вероятно, и это несколько расширило мое общее представление о жизни, но не думаю, чтобы кардинально. Ведь на Запад я попал в сорок восемь лет, уже сложившимся человеком, а в поселок Сим — за две-три недели до своего шестнадцатилетия, когда я еще не знал ни себя, ни жизни.

Конечно, я о многом думал, и думал даже самостоятельно, позволял себе иногда (но не во время войны) не признавать Сталина. Но коммунизм, мировая революция, «законы классовой борьбы» — все это оставалось для меня святыней. Такие политические взгляды дурно сказываются на общем представлении о жизни, о ее смысле, о достоинстве человека — задевают то, что теперь называется естественной системой ценностей. Они зиждутся на идеологии, на вере в условную картину мира с собственной шкалой ценностей. Эта система умозрительна и держится за умозрительность, она противоречит живой жизни и человеческой природе, а значит, и художественному восприятию. Противоречит всему тому, чем был по природе я. Но я этого про себя еще не знал.

Шла очень тяжелая война. Шла не так, как должна была идти по планам, которые мне казались естественными. Я еще не знал, насколько не так, это даже участники войны, даже немалых рангов, узнают и поймут очень нескоро. А пока в Киеве уже несколько дней владели немцы, и это меня угнетало. Нет, я не предвидел Бабьего Яра, но знал, что нашим близким там плохо. Да и вообще унижительно, когда твоя родина терпит поражения, а твой родной город в руках противника. Но я был человек идейный, и меня смущало, что в лице Гитлера «старый мир» брал реванш, бил нас в хвост и в гриву, утверждая, как мне казалось, отжившую частную собственность, мир мещанства. Насчет немецких пролетариев, изменивших своему классовому долгу, переживания мои уже кончились, но вот с возрождением частной собственности я никак примириться не мог.

По-настоящему с живой жизнью моя умозрительность столкнулась только здесь. Все, увиденное в Александровке и по дороге, пережитое во время тяжелых «каникул 1941 года», улеглось по-настоящему тоже здесь. «Симские коррективы» оказались гораздо значительней и существенней еще и потому, что я здесь прочней обосновался и дольше жил — от «последних чисел сентября» 1941-го до середины марта 1944-го. Не говоря уже о том, что жизнь рабочего поселка, в котором вдобавок разместился московский завод, была тогда полем наблюдения, более доступным моему пониманию, чем жизнь деревни.

В период становления книги много значат. Читаются они иначе, чем в детстве. Именно здесь меня если не перевернули, то потрясли две совершенно случайно прочитанные книги: «Боги жаждут» Анатоля Франса и тургеневская «Новь». Последняя, я знаю, не очень высоко котируется в литературоведении.

Не знаю, справедливо ли это. Во всяком случае, из-за этих книг я стал умнее и тоньше, впервые увидел в революции не только свет.

Но трудности периода становления никогда не бывают связаны только с общими историко-идеологическими обстоятельствами. Очень долго у меня, например, сохранялось какое-то детское представление об отношениях с женщинами. Усугублено это было идеологией — доведенным до абсурда общим представлением о равенстве и товариществе. Будучи юношей очень страстным, я считал эту страстность оскорбительной для хороших женщин и стыдился ее. Главное — дружба, а остальное приложится. И не понимал, что это остальное в любви вовсе не «остальное» и что женственность — самостоятельная жизненная ценность, богатство жизни, Божий подарок. Не чувствовал или не признавал я этого не столько по младости, сколько по дурости, верней, задуренности и по некоторому, не побоюсь сказать, талмудизму. Такой чистоты никто от меня не требовал, меньше всего идеология сталинщины (а марксисты — те вообще против семьи, за «свободные» отношения). Впрочем, в этой «наивности» я тогда, до войны, не был уж столь одинок, и дело тут не только в идеологии.

Во мне было много тогда намешано чуждого (изоляция от информации сказывается на любом): политическая и культурная левизна, строгая большевистская умозрительность, фрагменты самовнушенных сталинистских представлений. И всему этому противостояла только одна реальность — Россия. Это слово, будучи включенным в официальную пропаганду, оскорбляло меня, ибо противоречило всему, в чем я сам себя воспитал. Но все-таки она была вокруг, и чем больше я ее узнавал, тем больше любил, хотя до поры вряд ли сознавал это. Конечно, во время войны иногда с этим словом и в газетах связывались живые нотки, но больше действовала на меня не пропаганда, а реальность России, которая впервые мне открылась там, в Симу.

Предыдущая глава оставила нас на дощатом тротуаре в тот момент, когда у нас немного отлегло от сердца: мать вернулась от начальства с успокоительным известием, что на работу ее берут. Не представляю, что было бы в противном случае; больше путешествовать у нас уже не было ни сил, ни средств. Встал вопрос о пристанище. На первых порах, придя с официальным направлением поселкового Совета, мы были приняты легко и радушно в благословенной семье Хайдуковых.

Как большинство домов в таких поселках и городках, дом их был деревянным, бревенчатым, аккуратно и прочно построенным. Был он не очень просторным — в две комнаты, а может, даже и в одну. Второй я, честно говоря, не помню, но должна же была где-то переодеваться их дочь Люба.

Люба работала в столовой и первое время, как могла, подкармливала нас. Потом столовую прикрепили к ФЗО, и делать это ей стало трудней. Ее мать, женщину естественной доброты, звали Василисой Егоровной. Отца — Александром и тоже Егорычем. Это тождество отчеств — не ошибка, оно и запомнилось своей непривычностью. Младший брат Любы, восьмиклассник Саня, сейчас временно отсутствовал — вместе с другими старшеклассниками был в колхозе. Был там еще маленький мальчик, сын то ли старших Хайдуковых, то ли их дочери. Помню, что сам Хайдуков был сапожник. Они оба были уже людьми в летах. Александр Егорыч, видимо, еще был инвалидом, его не мобилизовывали не только в армию, но и ни на какие работы. Сидел стучал молотком по подметкам и каблукам, а потом, когда количество обуви у населения резко сократилось, стал плести лапти...

Комичный штрих. Александр Егорыч направо и налево употреблял слово «жид».

Себе самому в процессе работы, с какой-то досады:

— Вот, жид тебя задери, чего натворил.

Расшалившемуся малышу:

— Ишь, жиденок, разбаловался! Уши надеру!

Или, наоборот:

— Не балуй! А то жид придет, в торбе тебя унесет.

Тут даже моя мать, очень чувствительная к этому слову, не усматривала антисемитизма. Поняла, что «жид» здесь некоторое мифологическое существо вроде черта и никакого отношения к реальным евреям, которых здесь отродясь не видывали, не имеет. Конечно, с войной антисемитизм постепенно до-

шел и до этих мест, но называли его объект евреями, а не жидами. Жиды остались в мифологии. Кстати, евреями иные симачи сочли поначалу и всех эвакуированных из Москвы рабочих, так как слышали, что от войны бегут одни евреи, а рабочие эти говорили тоже не как местные.

Должен сказать, что местный выговор тогда мне, книжнику и южанину, не понравился. Показался очень грубым и некрасивым. Родители мои вообще долго понимали его с трудом: «те» вместо «то», «чаво» с нёбным «ч» и многое другое. И нравы тоже были жесткие, уральские.

Хайдуковы отнеслись к нам просто как к пострадавшим — хорошо и тепло, вовсе не интересуясь, кто мы. Привечали они не только нас. К ним, кстати, запросто на огонек заходили два поляка, непонятно как очутившиеся в Симу. Это были отпущенные военнопленные, ожидавшие документов для следования в Бугуруслан, где формировалась польская армия генерала Андерса, подчиненная, как у нас потом говорили, «лондонскому правительству». Тогда еще никто не знал, что они будут воевать не на нашем фронте.

Поляки эти относились к нашей стране презрительно. Сегодня я понимаю, что для дурного отношения к государству СССР у них было гораздо больше оснований, чем они тогда думали. Но их презрение к стране меня огорчало не только тогда, но и сегодня, даже после всего, что мне стало известно за эти годы... Нельзя презирать страну за несчастье. В конце концов, она уже и тогда нищетой и скудостью бытия, властью нелюдей платилась только за то, что всерьез восприняла «всемирно-историческое заблуждение» всей нашей цивилизации. Впрочем, с этих двух многого не спросишь — они не были ни интеллектуалами, ни идеологами; один из них был домовладельцем в Варшаве, другой тоже кем-то в этом роде; оба унтер-офицеры польской армии — офицеров (интеллигенцию) перестреляли в местах, подобных Катыни. То, что они видели, их отталкивало как здоровых людей, даже без Катыни, о которой еще никто не знал. Правда, из своих впечатлений они делали слишком широкие выводы. Например, они начисто не верили в нашу победу. Если культурная Польша не устояла, то где уж этим нищим! Известие о нашей первой победе под Ростовом пришло, когда они уже уехали. Но в доме Хайдуковых на их взгляды не обращали внимания — привечали и согревали просто как страдальцев.

Я не помню, сколько мы прожили у Хайдуковых — месяц или два. У них ведь всерьез не было места, но они никогда никак нас не стесняли.

Ценил ли я их тогда? Конечно. Понимал, что они хорошие люди, был благодарен. Но мир их (для меня тогдашнего) был так узок, они были так далеки от понимания «сложной» идеологической коллизии наших дней, от Маяковского, Блока, Пастернака и всего, чем я жил. Я еще не понимал (и не скоро понял), что людей, способных протянуть в минуту беды руку помощи незнакомому человеку, своей ценностью не перевесит никто. Они «просто» были людьми в мире, где людьми были далеко не все, а мне еще только предстояло стать или не стать человеком. Мне почему-то кажется, что перед Хайдуковыми этот выбор никогда не стоял — они людьми не «стали», а изначально были и продолжали ими быть.

Приходилось мне слышать, что простым людям легче, чем непростым, переносить посторонних. Думаю, как кому. Но плохо, когда люди определяют степень неудобства, утратив нормальную точку отсчета, забыв об абсолютном страдании. О голоде — когда все время хочется есть, а есть нечего; о холоде — когда все время хочется и нет возможности согреться; о бездомности — когда нет крыши над головой; о несвободе — когда у тебя нет возможности выйти из помещения, куда тебя поместили, даже если там душно и тесно, или когда тебя могут избить и убить, а ты и пикнуть не можешь.

Был у меня в жизни такой смешной эпизод. Еще в семидесятые годы приехала в гости под Нью-Йорк московская дама, приятельница моих друзей.

— Приезжайте ко мне, — сказала она по телефону. — Я вам все расскажу не торопясь. Ведь вы у нас переночуете. У тети большой дом, места хватит.

Но места у них хватало только по ее московским представлениям. И это выяснилось сразу же, как только я сошел с поезда.

Они с тетей ждали меня на перроне, она смущенно отвела меня в сторону и сказала:

— Извините меня, пожалуйста. Но тетя говорит, что у нас вам ночевать негде: единственная комната для гостей занята мной... Я не знала... Я думала, места хватит.

Положение мое было глупое. Возвращаться в Бостон надо было немедленно, чтоб не прибыть туда, часа в два-три ночи. Но поездов таких не было. Кроме того, я наутро собирался в Нью-Йорк. Проститься и уехать в Нью-Йорк сейчас же? Все-таки неудобно, невежливо.

Самое смешное, что все, сказанное тетей, было чистой правдой. В комнате для гостей жила гостья, хозяева спали в своей спальне, а больше спален в их четырехэтажном домике не было. Правда, в доме были еще гостиная, столовая и другие комнаты разного назначения и везде стояли всякого рода диваны. И положить человека на любой из них было бы гораздо лучше, чем заставлять его на ночь глядя переться в Нью-Йорк — после того, как он все-таки только что совершил некоторое путешествие. Тем более человека уже и тогда немолодого и не очень зрячего.

Все обошлось благополучно. Я позвонил своему другу, психиатру Саше Войташевскому, который жил тогда с женой и двумя дочками в трехкомнатной квартире. У них, естественно, место нашлось. Часам к одиннадцати я приехал в Нью-Йорк и к двенадцати добрался до Квинса, где он жил. И спокойно у него переночевал.

Вспоминать эту давнюю историю не стоило бы. Эта тетя не была извергом, да и ко мне отнеслась скорей хорошо, чем плохо, — потом даже прислала по почте что-то, забытое мной. Но положить человека в гостиной было для нее немыслимо, а отвезти на вокзал, сердечно распроститься и отправить в ночь — вполне возможно. Может, она и не представляла, что это такое, — ведь ее гости, как и она сама, обычно приезжали и уезжали на своих машинах.

На этом фоне не только Хайдуков, но и наша следующая, довольно звероватая хозяйка выглядит почти благодетельницей из святочного рассказа. О нашем квартирном у нее я распространяться не собираюсь. Жить нам у нее было тяжело, но ведь и мы ей были навязаны. Она только что проводила мужа на фронт, никакой профессии не имела и никогда не работала. Дом был единственным капиталом ее и малолетней дочери. А тут на это посягали.

Кроме того, мы ей реально мешали. Проводив мужа на войну, она не собиралась стать Пенелопой. Правда, человек, на которого она имела виды, на ее зазывы не откликнулся, и не по нашей вине. Он поселился у нее одновременно с нами и съехал с квартиры сразу после нас. Но пока она надеялась, она нас ненавидела. Я не злорадствую и не сужу. Нам от нее доставалось, но нельзя осуждать (тем более радоваться неудачам) людей за то, что они не проявили самопожертвования в твою пользу. Да и знаю я о ней очень мало. Помню только, как она материлась — в основном по адресу соседок. Это меня поразило. Не столько самим фактом, сколько нечистотой, вносимой в ругань чувственностью. Потом оказалось, что когда оставшиеся одинокими женщины матерятся, то чаще именно так — намного неприятнее, чем мужчины.

Худо нам было у нее, но ведь и ей было худо. Эта война обрушилась на нее всей своей тяжестью, сделала все, чтоб разбить ее жизнь. Удалось ли ей потом ее собрать? Хорошо, если вернулся с войны муж. А если нет? Но все равно ей спасибо — все-таки мы прожили у нее до весны, пока маме выделили комнату в восьмиквартирном деревянном доме, и мы туда с облегчением переехали. Теперь такие дома называют бараками, но тогда это для нас был — Дом!

Человека же, на которого хозяйка наша имела «виды», я помню гораздо лучше. Он был высок, строен, ладен, сноровист, какими очень часто бывают квалифицированные рабочие. Он и был квалифицированным рабочим — токарем-лекальщиком, работал в инструментальном цехе. Звали его Лешей. Родом он был из деревни, откуда-то из-под Смоленска. Действительную службу на флоте. В связи с этим ли он ушел из деревни, или в связи с общими пертурбациями, или по каким другим причинам — не знаю. Деревенского в его облике не было ничего. В языке тоже. Язык его был грамотным и дифференцированным, мысли свои он выражал легко и свободно. Ни дать ни взять сознательный и культурно выросший советский рабочий — я был доволен. И это естественно. Ведь я тогда еще в такие штампы верил, но все время натыкался на туфту, а тут — настоящее. Так вот оно! Но симпатию он вызывал непосред-

ственно сам по себе, просто своей личностью. Идеология только истолковывала ее в свою пользу.

Относился он к нам вполне доброжелательно и сочувственно. Как сильный к слабым. Но кроме того, несмотря на тесноту, наше присутствие было ему явно на руку. Оно помогало ему сохранять отношения с хозяйкой на должном уровне, чтобы они оставались хорошими и не заходили слишком далеко. И действительно они ограничивались выполнением кое-какой мужской работы по дому (пилкой и колкой дров, например), но дальше не шли. К этой работе он иногда привлекал и меня — больше из педагогических соображений, и я это чувствовал. Пилить со мной было удовольствием ниже среднего.

Ко мне он вообще относился педагогически — поучал, но не свысока, а просто как старший младшего. И это было хорошим, дружеским, даже заботливым отношением. Ведь я-то действительно еще был сосунком шестнадцати лет, а ему уже было двадцать восемь — за ним был реальный жизненный опыт, мастерство, флот. К тому же я был неумехой, каких поискать. Его это должно было раздражать, но он пытался вытащить меня из этого состояния.

К моему желанию поскорей попасть на фронт — а оно меня грызло, о чем чуть ниже, — он относился иронически.

— Ты что же, думаешь, что будешь на войне пупом? — спрашивал он.

После того как мы разъехались, я встречал его только мельком. Однажды нас, школьников, вместе с рабочими (завод стоял из-за нехватки топлива) послали на подсобное хозяйство завода убирать турнепс. Обещали расплатиться каждым десятком из собранных мешков. Вопрос об оплате живо обсуждался собравшимися, волновал всех. Некоторые называли другое соотношение. Леша, шедший впереди, вдруг повернулся и объявил:

— Оплата будет такая: что съешь, то твое!

И, конечно, как в воду глядел.

Завод наш был мало того что Государственный союзный Министерства авиационной промышленности СССР и имел при себе представителя (парторга) из самого ЦК ВКП(б) — он был еще и московским. Так сказать, прошедшим московскую школу. И именно от этого родного московского начальства Леша ждал обмана — оплаты «что съешь, то твое». Антисоветчик, и только!

Но Леша вовсе не был антисоветчиком. Он был вполне советским парнем. Читатель, знакомый с моими взглядами и ныне преисполненный справедливого презрения к самому слову «советское», с некоторым недоверием обнаружив в этом моем определении одобрительную нотку, может решить, что это ему только показалось. От меня справедливо не ждут (и не дождутся) защиты «нашего светлого прошлого». И тем не менее ему ничего не показалось: «нотка» эта присутствует.

Теперь, когда люди не столько самокритично и по-новому осознавая себя самих, сколько бездумно и механически изгаляясь, почем зря обзывают самих себя и друг друга «совками», видя за этим нечто тупое и глупое, бесконечно отсталое, это одобрение требует даже некоторого усилия воли. Но ничего не поделаешь — я не могу в этом вторить общему хору. Общение с людьми других стран не подтверждает тезиса о нашей особой «совковости» — ее везде хватает. Просто мы — люди, пережившие и переживающие невероятное историческое несчастье, и не более того. Конечно, это сказывается на людях. Я вовсе не отрицаю того, что нашей жизнью порожден тип человека, обычно именуемого homo soveticus. Хотя неизвестно, лучше бы себя повели любые другие на нашем месте. Но здесь термин «советский» употреблен для определения историко-психологического типа — молодежи середины тридцатых годов. Тех, говоря словами Д. Самойлова, «ребят»,

Что в сорок первом шли в солдаты,
И в гуманисты — в сорок пятом.

.....
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье,
А их повывило железом.
И леса нет, одни деревья.

Конечно, «ребята» Самойлова — рубежная формация этого типа. Тип этот не в последнюю очередь возрастной. Среди людей моего возраста, родивших-

ся в 1925 году и позже, он уже почти не встречается. Думаю, разница была в том, кого в каком возрасте застал «тридцать седьмой год» и расцвет сталинщины. Таких цельных время уже создавать не могло — они, даже сталинисты, должны были зародиться до этого. Что же касается этого стихотворения, то конкретно в нем речь идет об особой малой группе — московских довоенных студенческих поэтах и интеллектуалах (в их кругу этот тип продержался дольше, чем везде). В знаменитой повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» эта смена формаций происходит раньше. Кстати, там отличие этого типа личности от более позднего чувствуется очень остро. Но и «мальчикам» свойственны черты, отмеченные стихотворением Самойлова.

В бытовом смысле Леша был более опытен, чем эти «ребята», но определение «в них были вера и доверье» относится к нему в полной мере. И, к сожалению, то, что «их повыбило железом», — тоже. Потом он пошел добровольцем на фронт и, по слухам, вскоре погиб. Он был очень хорошо приспособленный к жизни человек. Кстати, это (не путать с приспособленчеством) тоже была черта людей этого типа, даже интеллигентов, — все уметь, быть приспособленным к любым трудным обстоятельствам. Балтеровские «мальчики» тоже не были белоручками. Конечно, война вещь жестокая и никакая приспособленность к ней, никакая умелость и сноровка не гарантируют выживания. Но что касается нашей войны, то теперь, когда все больше узнаешь о ней, о том, как бессовестно по отношению к своим она велась, понимаешь, что вся Лешина приспособленность иногда мало что значила: кто мог представить, куда и по каким случайным соображениям его могли бросить, какую дыру, вызванную собственным пресмыкательством, им попытаются заткнуть или какой дот пошлют штурмовать в лоб среди бела дня, без должной артподготовки, сопровождения и даже достаточного количества патронов, как это описано в очень хороших военных повестях В. Кондратьева. Кстати, там идет речь именно о таких ребятах, о людях этого типа. С ними тогда можно было сделать что угодно, используя эти самые «веру и доверие». Веру в справедливость и в то, что жить только для себя позорно, а жертвенность — норма.

Эта необходимость брать на себя, представление, согласно которому иначе нельзя, — отличительная черта людей этого типа. На людей их возраста легло все — все репрессии и все войны, их не только «повыбило железом», но и поистребляло лагерями и тюрьмами. По-человечески это были очень хорошие и надежные люди. То, что они были советскими, было их трагедией. Они были неколебимо уверены, что все советское в целом правильно, несмотря на досадные частности, и сами пытались вести себя правильно, противостоять этим «частностям», из чего в лучшем случае редко что получалось.

После войны (и кардинально после XX съезда) уцелевшие представители этого типа помаленьку отходили от советского и политически, и всяко — шли в гуманисты. Но и до этого в их железобетонности был один пробел: они не подвергали остракизму своих товарищей — детей «врагов народа». Теперь эти люди, если живы, давно уже не советские по своим взглядам и настроенности. Но тип личности остается тот же, и это хорошо. Среди них много моих близких друзей.

Главными моими симскими впечатлениями были сначала школа, потом заводская многотиражка, потом завод. Разумеется, все это было не так уж отделено друг от друга. С тем, что все, на чем я стоял, рушилось, я еще смириться не мог. И в школу я пошел отчасти из-за этого. Все вокруг рушилось, а здесь как бы сохранялся островок стабильности — кончил восьмой класс, поступил в девятый. Программы и учебники те же, только украинского языка не было.

Правда, школьное здание, одноэтажное и бревенчатое, не походило ни на одну из тех трех киевских школ, где мне пришлось учиться, но это ведь был не столичный Киев, а небольшой заводской поселок. При всем том длинное красное школьное здание с его большими окнами, расположенное в центре поселка, выглядело солидно и внушительно. Классные помещения в нем были просторными и удобными, потолки высокими. Как я теперь понимаю, оно было дореволюционной постройки и с самого начала предназначалось для школы.

Об этой школе — прежде всего об ее учителях — у меня остались самые теплые воспоминания. Я благодарен им за многое и обязан многим. Я хорошо помню их всех, их лица, их повадки, но, к стыду моему, забыл имена, отчества и фамилии. За исключением завуча, преподававшего у нас историю. Его звали Иван Никанорович Кузнецов.

Но о нем разговор вообще особый. Он и пожилая преподавательница немецкого языка были фигурами хоть и совершенно разными, но явно не местного масштаба, прибитыми к этому берегу разными порывами нашей исторической бури. Он был профессором Свердловского университета (я видел брошюры с его именем на обложке), она — первой за всю историю женщиной — студенткой Московского императорского университета. Причем водворилась она туда вопреки воле ректора, крупного математика, ярого противника женского образования — через министерство. После этого она видела ректора только раз в семестр. Происходил всегда один и тот же диалог:

— Разрешите? — спрашивала она на пороге ректорского кабинета.

— Что вам угодно? — справлялся ректор.

— Подписать матрикул, — (по-нашему — зачетку).

— Извольте. — Ректор подписывал матрикул.

— Благодарю вас, — отвечала студентка и удалялась.

И так каждый раз в конце семестра.

Это она сама рассказывала — мне и другим. К ней, как я знал, ходили наиболее чуткие ее ученики, она им читала и давала переписывать Гумилева, Ахматову, других. Большинству она, конечно, была не нужна и смешна. Была, что называется, белой вороной. Я не знаю, как она попала сюда, но понимаю, что не совсем добровольно.

О том, какие бури прибили к этому берегу Ивана Никаноровича, разговоров было еще меньше. Иногда мне казалось, что виной всему любовь: он был женат на нашей учительнице географии — бросил все и поехал за ней. Но возникает вопрос: почему не наоборот, не она к нему? Ни с того ни с сего университетские профессора не запираются в глуши.

Думаю, что, будь я тогда взрослей, я бы много больше мог разглядеть вокруг себя — в провинции много было уцелевших остатков иных эпох, того, чего сегодня днем с огнем не сыщешь. Но я к былым эпохам (за исключением поэзии и вообще литературы) относился в лучшем случае снисходительно. Даже наша немка, при несомненном уважении, все-таки воспринималась как нечто не совсем современное, а значит, и не совсем серьезное. И часто она казалась мне не менее смешной, чем другим. Я, при всех моих достижениях, во многом оставался дикарем и варваром.

Но Иван Никанорович и среди нас, дикарей, белой вороной отнюдь не выглядел и смешным никому не казался. А, наоборот, выглядел человеком здоровым, строгим и справедливым. В общем, как тогда говорили, — современным. Его побаивались и уважали. Этому человеку я благодарен и обязан особо, как ни странно, за одну неслестную для меня фразу.

Предыстория ее такова. Во всех школах, где я учился, преподавали французский, а здесь — хоть в девятом классе по программе седьмого — немецкий. Поскольку что-то я помнил от дошкольного обучения у Елены Владимировны, а какие-то слова были сходны с бытовым идиш, то, пока дело касалось чтения и перевода, все у меня шло отлично. Но контрольную писать я наотрез отказался. Немка восприняла этот отказ за обычное (для класса, а не для меня) издевательство и потянула меня к завучу.

— Почему вы не хотите писать контрольную? — спросил он.

Я сказал, что ничего не знаю.

— Нет, он знает! Знает! — закричала немка.

Я объяснил причину недоразумения. Иван Никанорович улыбнулся, но немка не унималась. По какому-то поводу она сказала обо мне (она очень хорошо ко мне относилась):

— У него вообще мысли впереди слов.

Иван Никанорович задумался.

— Да?.. А по-моему, слова впереди мыслей.

Такой оплеухи я еще не получал. Меня могли обвинять в мыслях неправильных, ошибочных, а тут фактически в пустой болтовне. Мне эти слова были очень неприятны, но хорошо помню, что я не обиделся — я почувство-

вал, что Иван Никанорович во многом прав. И не побоюсь сказать, что это одна из тех фраз, которые воспитали меня, сделали самим собой. Хорошо, когда молодые люди встречаются на своем пути столь умных и доброжелательно-жестких учителей. Впрочем, за это я могу, по-видимому, «благодарить» и сталинщину — ни при каком другом порядке вещей ни он, ни немка не встретились бы мне в поселковой средней школе — мы вовсе еще не были настолько богаты высокообразованными людьми.

Но это — сегодняшние размышления. Вернемся к впечатлениям тогдашнего девятиклассника, впервые появившегося в новой для него школе. Это была не столько новая школа, сколько новая среда. Должен сказать, что о моих новых товарищах у меня сохранилось меньше впечатлений, чем об учителях. За исключением некоторых, с которыми сошелся ближе. Да и то только в общих чертах. Причина этому была проста. Я прошел там за один учебный год курс двух последних классов, сдавая экзамены экстерном за девятый в первое полугодие и догоняя товарищей в десятом во втором полугодии, — я просто с ними меньше имел дела, чем с учителями.

Но когда я пришел впервые в класс, у меня таких планов еще не было. Девятый класс, как и десятый, был один — никаких «а» или «б», как я привык. Но и этот один не был полон — оставалось много свободных мест. В целом аудитория, особенно девушки, выглядела гораздо взрослей и основательней, чем киевские.

Начался первый урок — как всегда, с вопросов из пройденного в прошлом году. Учительница географии задавала элементарные вопросы. Ответом ей было молчание. Молчал и я, полагая, что уральцы — народ немногословный, не любящий без толку высываться. Вот ведь и учительница не удивляется. То же продолжалось и на уроке литературы. И вдруг в ответ на какой-то -надцатый вопрос, а именно: как звали Гоголя, на задней парте поднялась рука.

— А ну, — сказала учительница.

— Николай Васильевич, — ответил поднявший руку.

— Правильно, Новиков, — поощрительно сказала учительница.

После этого я стал поднимать руку очень часто.

Потом я сблизился с Володей Новиковым и, честно говоря, не могу понять, почему он не поднимал руку раньше — может, просто не слушал вопросов? Парень он был знающий. Но общая ситуация меня удивила. Кстати, молчали не только аборигены, молчала и девочка-москвичка, по происхождению еврейка, хотя существует представление, что уж что-то, а учатся «они» всегда хорошо. Выходит, не всегда. Для нее тоже было открытием, что Гоголя звали Николай Васильевич.

Впрочем, москвичка меня не удивляла: тип, мне хорошо знакомый по Киеву, где таких было немало. Больше удивляли меня местные. На тупиц они похожи не были, а знать, как мне казалось, ничего не знали. Потом выяснилось, что точные науки большинство ребят вполне осваивали — брали соображением. И тут они не уступали тем, с кем я учился раньше. Камнем преткновения были литература, история, даже география. Нет, пока надо было перечислить и показать (на карте), все шло более или менее гладко. Трудности начинались для них, когда проходили общие разделы, такие, как «Послевоенный передел мира», или если дело касалось общих рассуждений — всего того, о чем у нас пренебрежительно говорили: «Ну, это — трепаться!» «Трепаться» они как раз и не умели, и отнюдь не из природной молчаливости, — не хватало общего культурного кругозора. В их культурно-образовательном уровне были повинны не учителя. Учителя, как я понял, занимались ими и в школьное, и в свободное время вполне достаточно. Но они не могли заменить непрочитанных книг, неслышанных разговоров. Конечно, многое можно было наверстать потом, и некоторые наверстали бы, но весной 1943-го, перед самым окончанием школы, их всех взяли в армию, и почти никто не вернулся. Не вернулся ни Володя Новиков — он был сыном нашей географички и, следовательно, пасынком Ивана Никаноровича, — ни Саша Курчатов, ни почти все мои симские одноклассники. Не вернулся и сам Иван Никанорович, которого взяли примерно в то же время.

В этой школе я впервые столкнулся с тем, что ученик старших классов — это, говоря сегодняшними словами, некий социальный статус. Парням этот

статус был более или менее безразличен, но девушки, как мне показалось, несли его с большим достоинством. Женщин чаще волнует статус. Относились одноклассники ко мне и я к ним вполне по-товарищески.

Что я помню еще об этой школе? Помню бублики, которые продавались ученикам. Если было можно, мне давали два. Тогда в России было уже много голодных, но в нашей школе, похоже, пока я один. Мы никак не могли нормализовать наш быт, жизнь опрокидывала все расчеты. Помню, отец, узнав по приезду, что килограмм картошки стоит два рубля, четко рассчитал наш рацион. Но такая цена и недели не продержалась. Я все время хотел есть, и бублики эти были для меня всегда кстати. Я был первым из приезжих (и в школе), кто стал ходить в лаптях. И оказался законодателем моды: потом помаленьку стала стираться привезенная (и местная) обувь и у других. Лапти мне сплел, конечно же, Александр Егорович.

Помню, как на переменах, когда наступала моя очередь в чередке других старшеклассников, я становился у дверей дежурным — обязанность моя была не выпускать школьников на улицу. Не думаю, чтоб младшим, пяти- и семи-классникам, так уж страстно хотелось на улицу, но, поскольку их не пускали, они считали делом чести прошмыгнуть мимо дежурного. Старшеклассники половчей в этой игре легко и весело одерживали верх, я для них поначалу был радостной находкой. Но когда я сказал старавшемуся прошмыгнуть крепышу, что мне, собственно, все равно, прорвется он на улицу или нет, но меня за это будут ругать, и он, и другие потеряли к этому спорту интерес. Раз человеку все равно, прорываться неинтересно. А бессмысленно подводить человека под гнев начальства в России не любят.

К сожалению, по отношению к немке такая человечность не проявлялась. Характерный пример. Идет урок, а ученик Деулин, парень вовсе неплохой, думая о чем-то, машинально что-то пририсовывает к картинке в учебнике. Учительница, заметив это, в ужасе восклицает:

— Деулин! Что вы делаете!!!

Деулин, полагая, что не делает ровно ничего против школьной дисциплины, так и отвечает:

— Ничего.

— Покажите вашу книгу, — говорит она трагическим голосом.

Деулин показывает. Ужас нарастает, глаза закатываются.

— Как вы обращаетесь с книгой? — И наконец, когда возмущение достигает крайней точки: — Вандал!

Естественно, класс заливается хохотом. Деулин ничуть не оскорблен, его это только забавляет, но, стремясь извлечь из положения максимум удовольствия, начинает возмущаться:

— Это вы что такое говорите! Это фашисты вандалы, а вы это про меня.

Несчастливая немка, приученная всей своей жизнью бояться «политики», теряется, снижает тон, но позиций не сдает. Не сдает позиций и Деулин. Класс веселится. К стыду моему, смешно было и мне.

Жила наша немка тогда очень трудно. А позже ее выставили из школы — те самые люди, которые проявили столько участия ко мне.

Еще учась в школе, я связался с местной многотиражкой. Мне очень хотелось помогать фронту, чем могу. Маяковский освятил работу поэта в газете, не просто публикацию в ней своих произведений, а именно «работу» — выполнение любых «боевых» заданий редакции. А я был тогда его поклонником и не сомневался в том, что мои поделки — помощь фронту, «место поэта в рабочем строю».

Редактор Зиновий Самойлович Мильман встретился со мной где-то около завода, поговорил, попросил даже что-то из моего прочесть, спросил, приходилось ли мне писать для газеты, и, узнав, что я печатался в газете киевского «Арсенала», дал мне пробное задание: написать несколько призывов, в том числе — я его единственный и запомнил — беречь электричество (с топливом было плохо).

По этому поводу я написал следующие пламенные строки:

Чтоб лампа час светила нам,
Угля уходит двести грамм.
Товарищи! Гасите свет,
Когда в нем надобности нет.

Кажется, это потом даже расклеили в виде плаката. Мне выписали пропуск, и я стал регулярно бывать в редакции. Под псевдонимом Наум Злой печатал стихотворные фельетоны и другие стихотворные поделки. Фельетоны — поскольку все они были на местные темы — находили некоторый отклик. Я получил возможность обедать в рабочей столовой, что много для меня тогда значило.

Редакция состояла, в основном, из вполне приятных, но случайных в профессиональном смысле людей. Напряженности возникали, в основном, вокруг редактора, который один в этом коллективе был профессиональным журналистом: до войны работал в «Московском комсомольце». Думаю, что он был неплохим человеком, но с другими неплохими людьми в своем коллективе ладил плохо. Это бывает. Не помню, в чем было дело, но помню, что нарекания на него, хотя подчас принимали входившую тогда в моду антисемитскую окраску, сами по себе бывали справедливы. Окраска эта меня смущала не столько даже потому, что была обидна лично мне, сколько потому, что нарушала мое представление о советском обществе. Но люди, которые это допускали, не всегда бывали мне неприятны и относились ко мне хорошо. Антисемитами они не были. Потом я понял то, что до многих не доходит и посегодня, — что и в этом вопросе не всякое лыко в строку. А тогда нервы у всех были напряжены, все взрывалось...

Особенно много мне рассказывать о газете нечего. Работали там взрослые женщины и относились ко мне как к мальчику, по-матерински. Даже недолго у нас проработавшая беременная жена командира Красной Армии, которой действительно приходилось тяжело и которая поносила всех и вся, особенно евреев. Возмущали ее даже старики евреи, которых она встречала в поездах и на вокзалах во время эвакуации, — возмущали тем, что им умирать пора, а они куда-то едут, места занимают, в то время как и молодым мест не хватает. Она прекрасно знала, что я еврей, вовсе не хотела меня обидеть, но приходилось ей туго, и все (не только евреи) ей действительно мешали. Но встречался я и с другими видами антисемитизма, менее извинительными.

Врезался в память, поразив меня по первости, например, такой случай. В редакцию «на огонек» захаживало много людей, среди прочих один инженер, заведующий лабораторией, человек, как мне тогда казалось, интеллигентный. Отношения у меня с ним были вполне шапочные, но вроде доброжелательные. Любил он слегка закладывать и по своему положению завлаба имел к тому возможности. Однажды в состоянии весьма среднего подпития, натолкнувшись на меня где-то в уголке заводского двора, он вдруг тихо, как-то даже интимно и проникновенно, но очень недоброжелательно спросил, указывая пальцем на мои лапти:

— Зачем прибедряешься? У папки твоего небось миллион припрятан...

Опять «папка» и опять «миллион»! Только теперь не в устах темного машиниста «овечки» с невзрачной станции Шакша, а инженера! интеллигента! москвича! Я был потрясен. Дело не в антисемитизме, а в примитивной глупости, которую не стеснялся высказывать этот неглупый человек.

С газетой связано еще одно острое переживание — прикосновение к тайнам. А именно — радиоприемник. У всех граждан приемники были отобраны в начале войны, а в редакции он был — служил для записи официальных материалов, в первую очередь сводок Информбюро. Их ежедневно в определенное время отдельно и медленно передавали дикторы из Москвы. Иногда в эти передачи вплетались немцы. Немецких передач полностью я не слышал ни одной. Только однажды услышал сводку, где была удивившая меня фраза: «По всему фронту германские войска вели тяжелые бои с Советами» — видимо, в противовес нашему: «с фашистами». Я удивился, что наших солдат и офицеров называют Советами. А однажды — летом 1942-го — я услышал и более пламенный пассаж: «Поруганная казацкая честь, вырванная казацкая сабля, уничтоженная казацкая слава — все это сделали жида и коммунисты!» Слова были непривычны, а голос и интонация — вполне знакомые, агитпропские.

Но вернемся к редактору. Я не знаю, насколько он котировался в Москве. В конце войны в «Московском комсомольце» его никто из тех, кого я спрашивал, не помнил. Но, может, я спрашивал не тех, все быстро менялось. Лет

ему было тогда «в районе сорока», и был он уже опытным советским журналистом.

Был он, как я теперь понимаю, из тех «еврейских мальчиков», которые идентифицировали себя с советской властью, делали это со всей страстностью и самоотдачей, но при этом не очень понимая природу собственного энтузиазма. Кто мыслил так: разве эта власть не самая справедливая, если она мне дала все? Не замечая, что при этом такое же «все» она при помощи их активности и неграмотного энтузиазма отнимала у других, иногда более достойных. Между тем это «все», точнее, равные возможности дала этим мальчикам вовсе не большевистская, а еще «буржуазная», Февральская революция, но она была давно, быстро кончилась, а в пропагандистское представление о ней никакие заслуги не входили.

Таковыми «мальчиками», получившими «все» и так это воспринимавшими, были и бывали тогда и потом не одни только евреи. И не все евреи были такими «мальчиками» — в наше время приходится оговаривать такие очевидности. Эта благодарность за «все» была чертой слоя, даже легальным критерием верности, и с национальностью это не связано.

Надо ли доказывать, что считать этих «еврейских мальчиков» наиболее распространенным типом представителя правящего слоя или — того хуже — просто типом молодого еврея тех лет опрометчиво.

Но на самом Мильмане я задерживаюсь больше потому, что он общался со мной интеллектуально, воспитывал меня, и, кроме того, потому, что он представляет сегодня интерес как исторический тип, давно уже сошедший со сцены. Физически те, кто раньше относился к этому типу, продолжали существовать еще долго, но психологически он исчез, перестал ощущаться. Антисемитизм потом направлялся против интеллигентов еврейского происхождения (с тайной целью задеть интеллигентов вообще), а о них просто забыли. Вспоминают только сейчас — в поисках виновных. Но в 1942 году, после всех процессов над былыми своими вождями и кумирами, этот тип еще существовал во всей своей строго оберегаемой инфантильности и внутренне — в мыслях и чувствах — оставался все тем же функционером советской власти, как был всегда. И того, что с ним уже фактически покончено, старательно не замечал.

Но беседовали мы с Мильманом о другом — о партии и ее печати. Помню, как убежденно доказывал он мне целесообразность того, что газета не имеет права критиковать директора — партии нужен его авторитет. Я с этим не соглашался. Кто был прав? Я давно уже понимаю, что все это глупость, ностальгия по «настоящему комсомольству» начала тридцатых. Тогда власть нуждалась в козлах отпущения и в опорочивании всего, что было до нее. Теперь она нуждалась в другом. Мильман воспринял и это. На вопрос, как же можно создать авторитет, если его нет, Мильман мне серьезно ответил:

— Можно. Вот мы, — имелась в виду печать, — создали авторитет Буденному.

Я опешил... Как и для всех советских детей, авторитет Буденного для меня был чем-то, существующим со дня творения. А тут оказывалось — создан. Но Мильман этим гордился: да-да, партия при помощи печати может создать авторитет любому, кому сочтет нужным. Я не знаю, понял ли Мильман когда-нибудь страшный смысл своих слов. А что он вообще понимал?

Допустим, коллективизацию он, как многие, не заметил и легко объяснил. Но ведь тридцать седьмой год он пережил, и там, где шел отстрел. Что происходило в связи с этим в его душе? Не знаю. Не помню, чтоб мы с ним когда-либо разговаривали о тайнах этого времени. Но самолюбивую гордость своей партийности он сохранял полностью.

— Ну и тип! — возмущался он одним из начальников цехов. — Я его насквозь вижу. Он беспартийный!

— Ну и что? — удивлялся я.

— Ты что, думаешь, он просто так беспартийный? Как твоя мама? Не-е-ет! Он прин-ци-пи-аль-но беспартийный!

Деля мир на обывателей и идейных, я тоже настраивался против этого злостного беспартийного, но когда его видел, то он мне нравился. Собранный, доброжелательный. Мне кажется, что и в словах Мильмана кроме ярости звучало и восхищение, и даже зависть. Но была в них и реакция на не своего.

С Мильманом связан у меня один многозначительный эпизод, как бы предвосхитивший мой опыт — первый «контакт» с ГБ. Контакт невинный и как будто для меня безопасный. Не имевший последствий, но давший мне возможность ощутить холод щупальцев этого учреждения.

А началось так. В мужской уборной появились карикатуры на Сталина с антисоветскими и даже пораженческими частушками. Это было в разгар наших поражений на юге. Редактор поручил кому-то все это списать, запечатал в конверт и попросил меня по дороге домой занести его в милицию и отдать уполномоченному МГБ тов. Баранникову. Тов. Баранников занимал один из кабинетов милиции и сам был в милицейской форме. Приняв от меня письмо, он вместо того, чтоб, отпустив меня, погрузиться в его изучение, усадил меня на стул и стал расспрашивать о работниках нашей редакции: какие люди, как настроены и т. п. Я никак не мог понять, чего он от меня хочет. При чем тут работники редакции, ведь не их же подозревает тов. Баранников в написании частушек. Тем более частушки появились в мужской уборной, а они все, кроме редактора, — женщины. Я никак не предполагал, что тов. Баранников ничего даже не узнавал, — он просто на всякий случай копал. Естественно, я ничего компрометирующего ни о ком не сказал, да и не знал, но ушел от тов. Баранникова в большом недоумении. При всех моих прозрениях я все-таки не представлял, что это самое главное зло нашей жизни в быту выглядит столь примитивно. А мой школьный товарищ Додик Брейгин, размышлявший тогда о политике гораздо меньше меня, сразу понял, чего хотел этот «чекист», — любого материала на любого человека, для дальнейшего использования. Ларчик открывался слишком просто. Нормальные люди это все понимали как имеющий место факт действительности — при любом отношении к власти. Я потому и не понимал, что «мыслил», — логики тут не было.

Что же касается надписей, то тогда я искренне верил, что это работа вражеской агентуры.

СВЕРДЛОВСКАЯ ВЫЛАЗКА

Когда школа была закончена, я отправил свои документы в Ашхабад, куда, как я узнал из газет, эвакуировался ИФЛИ, где я всегда мечтал учиться. Теперь я собирался пообщаться с близкими по интересам людьми, а потом все-таки уйти в армию, в газету. Вызов пришел уже из Свердловска, и не из ИФЛИ, а из МГУ. Оказалось, что в связи с военными трудностями ИФЛИ временно (потом выяснилось — навсегда) влился в МГУ. Для меня это ничего не меняло, к тому же Свердловск был нам намного ближе, чем Ашхабад, и я начал собираться в дорогу.

Впервые в жизни я отправлялся в путь один, совершенно самостоятельно. Правда, я уже приобрел некоторый опыт самостоятельного передвижения, остав в Уфе от эшелона и потом экстренно нагоняя его, но это был опыт особый, вынужденный. К этому следует добавить, что и до войны, и с родителями я не предпринимал слишком далеких поездок — почти все в пределах Киевской области, ни одна из поездок не длилась дольше пяти часов. Конечно, плаванье по эвакуационному морю длилось дольше, но кто бы назвал это поездкой? А теперь мне предстояла именно поездка, почти нормальная.

Странное это дело — нормальная поездка в начале осени 1942 года! Наши войска отступают к Сталинграду и Кавказу, каждый день сдаются города, находившиеся, как до этой войны думали, в глубоком тылу, в Киеве уже год как немцы, а я, получив на заводе командировочное удостоверение, отправляюсь в Свердловск. И хотя командировка вроде бы не липа — в ней прямо говорится, что я командируюсь на учебу, — но все же на ней стоит штамп Министерства авиационной промышленности, и выдана она из уважения к моим «заслугам» — для облегчения моего «путешествия». В общем, никуда не денешься: «по благу». По пропуску, полученному в милиции на основании институтского вызова, ездить было бы трудней. Мелкая привилегия мне не кажется грехом. Тем более все ведь окупится с лихвой. Впрочем, жизнь настолько уже пронизана блатом и привилегиями, что это иногда кажется естественным. Сейчас я преисполнен одним — я еду. Один, в самостоятельную, взрослую жизнь.

Наш сосед по квартире, начальник отдела сбыта завода, попросил заведующего заводским складом при станции, с которым имел дела по службе, помочь мне. И дал соответствующую записку к нему.

Заведующий этот оказался широкоплечим, крепким, сосредоточенным, не слишком любезным деловым мужиком, никак не героем моего тогдашнего — глупого — романа. Безразлично пробежав глазами записку моего соседа, он велел мне отправляться на вокзал и там ждать. Как объявят о приближении поезда, появится и он.

И я стал ждать. К столь неформальным деловым отношениям я еще не привык и ощущал свое сиротство. Конечно, ждали меня впереди беседы с интересными людьми, газета, интересная жизнь, но до всего этого надо было добраться. А этот завсклада мог и не прийти... Объявили о прибытии через десять минут скорого поезда № 15 Москва — Челябинск (кажется, он и теперь ходит под этим номером), но еще до этого объявления завсклада появился, взял у меня деньги и документы, подошел к еще не открывшейся кассе, вернулся с билетом и повел на посадку.

Что было дальше? Подошел поезд — он стоял тут минуту или две. Завсклада быстро подавил ритуальное сопротивление проводницы, кричавшей, что мест нет, и буквально всунул меня в вагон. Я попал в вагон не просто плацкартный, но купированный, а я ведь и о существовании таких понятия не имел. Простор и роскошь этого вагона меня поразили.

Вагон вопреки первоначальным воплям проводницы явно не был перенаселен. Купе, куда она меня привела, до меня занимал только один человек. Он явно обрадовался юному попутчику, сразу понял, какого я поля ягода, и встретил меня очень радушно. Разговорились. Выяснилось, что он крупный радиоинженер, лауреат Сталинской премии, которую получил за создание (или участие в создании) нового типа портативной фронтальной радиостанции (рации), и сейчас ехал из Москвы на Урал по аналогичным делам. Фамилию свою он назвал, но за давностью лет она позабылась. Что-то вроде Недзвецкий. Таким образом, едва перешагнув порог купированного вагона, я сразу оказался в «высшем обществе» — в таком, в каком до этого еще ни разу не бывал.

Попутчик проявил ко мне интерес. Слово за слово — дошло и до стихов. Стихи я тогда читал охотно и кому угодно. С любопытством выслушал и стихи. А были они по тем временам особыми. По многим соображениям я их сегодня не включаю в свои сборники, но слушание их тогда представляю серьезную опасность. Например, таких:

Да, не забыт и до сих пор он
 В проклятиях множества людей.
 Метался ночью черный ворон,
 Врагов хватая и друзей.
 Шли обыски и шли собранья,
 Шли сотни вражеских клевет.
 Им обеспечено заранее
 Участье власти и привет.
 За слово несогласья сразу
 Кричат: «Шпион!» — хватают: «Стой!»
 А кто бывает не согласен?
 Тот, кто болеет, тот, кто свой,
 А вот завмагам дела нету,
 Каков в дальнейшем жизни ход.
 У них в карманах партбилеты
 Как не единственный расход.
 Я стал писать о молодежи
 Да о себе и о друзьях.
 Молчите, знайте: я — надежен.
 Что — правды написать нельзя?
 Не я ведь виноват в явленьях,
 В которых виноваты вы,
 Они начало отступленья
 От Белостока до Москвы.

 Россия-мать!.. Не в этом дело,
 Кому ты мать, кому не мать.
 Ты как никто всегда умела
 Своих поэтов донимать.

Не надо списка преступлений:
 И Пушкина на дровнях гроб,
 И вены взрезавший Есенин,
 И Маяковский с пулей в лоб.
 Пусть это даже очень глупо,
 Пусть ничего не изменю,
 Но я хочу смотреть без лупы
 В глаза сегодняшнему дню,
 Что ж, можешь ставить на колени,
 Что ж, можешь голову снести!
 Но честь и славу поколенья
 Поэмой должен я спасти.

Конечно, стихи эти, написанные не позднее весны 1942 года шестнадцатилетним школьником, далеки не только от совершенства или от приобщения к подлинным духовным и жизненным ценностям, но и от по-настоящему трезвой оценки исторических событий, какая сегодня доступна или по общепринятости кажется доступной многим. Стихотворение несет на себе печать этих блужданий. О том, как и в каких трех соснах в те годы блуждал и путался Живой Дух, я уже писал и еще буду писать. Но так это звучало тогда.

Невозможно сегодня воспроизвести разговор, первый на моем самостоятельном пути, — я не помню подробностей, даже буквального содержания. Помню, что он был откровенным — настолько, насколько мы понимали самих себя и происходящее. Не припомню, чтоб мои стихи вызвали у попутчика испуг или защитные реакции. Нет, стихи он, в общем, одобрил. Совет быть осторожнее неодобрением не является. Слухи о том, что в те времена люди друг с другом боялись разговаривать, преувеличенны, они опровергаются опытом всей моей жизни. Всю жизнь разговаривал, а сел не поэтому, — во всяком случае, не потому, что доверялся.

В этой роскоши я доехал до Челябинска. Дальнейший путь помню смутно. Поезд из Челябинска в Свердловск уходил поздно вечером, билет я закомпостировал довольно быстро, потом как-то разыскал в эвакуированном из Киева мединституте, помещавшемся теперь в типовом школьном здании, свою одноклассницу Раю Брянскую и некоторых других знакомых. В коридоре на перемене вокруг меня собралась маленькая группка киевлян. Я почитал им стихи, был воспринят и признан. Конечно, и потому, что в них была общая нам всем горечь поражения и эвакуации, но и опасные «смежные» мотивы тоже вполне воспринимались. И никто не боялся. Думаю, потому, что тогда казалось, что война все поставила на свои места и в чем кого подозревать, если все воюем.

Как я провел остальное время, помню плохо. Ехал я ночью плацкартным через незнакомые места, но скоро заснул и прибыл в Свердловск утром. Разыскал Уральский индустриальный институт, в нем — МГУ и «свой» факультет. Не помню, сознавался ли я читателю, что все свое путешествие предпринял с целью поступить на философский факультет. С чего вдруг? Просто я слышал, что там преподаются основы всех наук, а это я считал полезным для писателя. К самой же философии я никакой склонности не имел, симпатий не питал и, что это такое, представлял плохо. В жизни я потом встречал немало философски образованных людей, представление о том, что такое философия, получил, но ни разу не пожалел об упущенной возможности стать философом. В том, что это дело не мое, я убедился после первой же беседы с юношей, работавшим там вахтером и буквально бредившим философскими системами, о которых я не имел ни малейшего представления.

Война чувствовалась здесь еще острее, чем в Симу. Прежде всего скудостью питания. Из-за этого я вскоре уехал на время домой, поскольку занятия еще не начались, потом вернулся... Помню милую, во всем военном, уже раненную девушку с «моего» факультета, с ней я однажды разговорился. Она была совсем своя, теперь бы сказали — «человек нашего круга», но тогда ни таких выражений, ни таких представлений не было. И таких отвоевавшихся девушек и парней вокруг было уже немало. О войне напоминало и расписание занятий на гуманитарных факультетах, где почетное место занимал предмет «Политработа в РККА», — считалось, что из нас готовят политруков. Это и мне и другим казалось вполне естественным. При всей критичности мы не

отделяли себя от системы. В чем состояли эти лекции, я не знаю, ибо их не слушал. Просто не успел — уехал скоро.

Мне дали направление в общежитие, а там — в комнату. Вот тут и начинается главное, что произошло со мной в Свердловске. Разыскал я эту комнату с большим трудом, упарился, волоча корзину с вещами. Но встречен я был там более чем холодно. Широкоплечий, на вид простоватый парень, фамилию которого я забыл, а имя помню — Паша (впоследствии он оказался симпатичным и добрым парнем), спросил меня мрачно:

— А ты с какого факультета? — и, узнав, с какого, спросил еще более мрачно: — А почему к нам?

На этот вопрос я ответить ничего не мог.

Парень желал избавиться от постороннего. Постепенно, но довольно быстро стали собираться его товарищи. Узнавая от него, кто я такой и зачем пожаловал, они становились все агрессивней. И настаивали, чтоб я выметался. Я стоял со своей злополучной корзиной (она за мной потом следовала в Москву, тюрьму и ссылку) и не знал, куда деваться и где приткнуться. Между тем абorigены, то ли забыв о нахальном вселении нежелательного провинциала в их жилье, то ли смирившись с неизбежностью, стали продолжать прерванный разговор между собой. Неожиданно он оказался интересным и для меня — я услышал знакомые имена. Мир моих интересов опять обретал реальность. И я вмешался в их разговор:

— Ребята, а вы из ИФЛИ?

— Да, а что? — насторожились «ребята». Раз юноша знает, что такое ИФЛИ, он может представлять интерес.

— А вы не знаете Юдина или Люмкиса?

Оказалось, что прекрасно знают. Что Толя на фронте, а Люмкис тоже должен жить в этой комнате, но сейчас, как и многие другие студенты, — на торфоразработках. Скоро приедет на день.

— А ты что, тоже из Киева? А ты стихи Бердичевского знаешь?

И стали мне читать новые стихи Марка, которых я не знал.

Ларчик открывался просто. Знали они их от Люмкиса. А тот получал их в письмах, непосредственно от автора, с которым переписывался. Марк же учился в военно-воздушном училище сравнительно недалеко от Ашхабада, где недавно еще находился ИФЛИ. Это, наверно, облегчало их переписку. Стихи Марка здесь всем нравились, в них был нерв тогдашнего состояния. Мне эти стихи тоже очень понравились¹.

— А ты что, стихи пишешь? — спросил кто-то, поняв, что я из той же компании. — Прочти.

Стихи мои тоже произвели впечатление. Приняли. И пошло сближение. Кто-то сказал, что в стихах тех, чьи города оккупированы, есть особая струнка, кто-то еще что-то, разговор о том, чтоб мне выметаться из комнаты, испарился сам собой — наоборот, мне стали наперебой предлагать помощь, что для такого лопуха, каким был я, было не лишним. Конечно, не ахти какое это было обустройство, все спали на матрасах, но и у меня появился свой матрас. Кроме того, что немаловажно, мы вместе добывали пропитание, и я впервые столкнулся со студенческой, а тут и с якобы богемной лихостью на этот счет. Голодны мы все были очень. Одно из последних моих свердловских впечатлений — столовая, где один знакомый студент, кажется искусствовед, испытывая гамлетовские сомнения, собирался подойти к раздаче и обменять мастерски подделанный им талон из хлебной карточки на реальных двести граммов хлеба — поступок, по тем временам жестоко наказуемый и несколько оскорбляющий мой ригоризм. Я его больше никогда не встречал, отзывы о нем в последующие годы были неизменно хорошими, ни в чем дурном он никогда замечен не был. Но был широкоплечим крепким парнем, которому очень не хватало хлеба, и потому он осуществил тогдашнюю платоническую мечту многих, очень талантливо выраженную Николаем Глазковым:

¹ Марк так и не стал профессиональным литератором — он стал крупным геофизиком, профессором МГУ. Но всю жизнь он писал стихи. На мой взгляд, они у него часто лучше, чем у многих, сделавших это своей профессией.

Что стихи? — В стихах — одни слова.
 ...Мне бы кисть великого художника!.. —
 Карточки тогда бы рисовал —
 Продовольственные и хлебные,
 Эр-четыре и У-Дэ-Пэ².

Не могу сказать, чтоб ему завидовали, — относились к этой проделке скорей смущенно-иронически, чем апологетически.

Но запомнилось мое пребывание в Свердловске все же не голодом — все вокруг, да и я сам в Симу, жили не многим легче, — а возможностью интеллектуального общения. По существу, я там быстро стал членом дружного коллектива молодых интеллектуалов, то есть я получил все, за чем ездил и в чем тогда нуждался.

Ребята в комнате, в которую меня поселили, потом почти все — хотя иных теперь уже нет, а те, как и я, далече — так или иначе стали известны в своих областях. Жили там искусствоведы Саша Каменский и Дима Сарабьянов (будущий директор Института истории искусств АН СССР). Знакомство с ними расширило мой кругозор хотя бы потому, что до этого я вообще не знал, что бывают искусствоведы. Остальное население комнаты составляли литературоведы. Это прежде всего Леша Кондратович, который, по-моему, при мне еще ушел на фронт (в будущем — ответственный секретарь «Нового мира» при Твардовском А. И. Кондратович), затем — Володя Гальперин (будущий профессор Шукинского училища) и совершенно удивительное для меня, тогдашнего, существо — Митя Сеземан, до ИФЛИ учившийся в Сорбонне. О том, как он попал в СССР, мне потом приходилось читать. Кажется, его отец профессорствовал в одном из университетов «освобожденной» Прибалтики, но об этом тогда речи не было. Остальные наверняка давно это знали, а мне неудобно было спрашивать. Он мне очень нравился, но так вышло, что он единственный из всех пятерых, кого я потом ни разу не встречал. Впрочем, однажды я его все-таки видел, в Париже, во время эмиграции — для него вторичной. Видел, но почему-то не подошел. Прежде всего, мы не узнали друг друга. Мне просто — к слову пришлось — показали: «Вот профессор Дмитрий Сеземан, недавно эмигрировал», — а ему и того не сказали. Знакомство наше было столь кратким, а не виделись мы так давно, что представление требовало объяснений. А мне было не до них. Конечно, я не знаю, сошлись ли бы мы теперь, но воспоминания у меня о нем остались самые светлые.

Жили в комнате еще несколько студентов, но из них я помню только Пашу, которого встретил первым, а потом до своего ареста иногда встречал в Москве.

Помню, как Митя Сеземан с книгой в руках расхаживает по комнате и декламирует:

О, Waterloo!.. Waterloo!..

В комнате в связи с этим произносится с уважением — особенно почему-то Сашей Каменским — имя поэта Леопарди, но из его ли стихов эта строка, я до сих пор не знаю. Заходят и другие студенты, в том числе и физик Боря Смагин (потом он станет писателем-фантастом Днепровым). От него я впервые узнаю, что, оказывается, профессия физика важна для обороны. Меня это удивляет. Я понимаю — инженеры, но при чем тут физики? Тут мое восприятие соответствует всеобщему представлению, уничтожающий удар по которому нанесло только изобретение атомной бомбы. А тогда в разложение атома, а тем более ядра, верили не больше, чем в *perpetuum mobile*, и Боря Смагин не имел его в виду. Физикам тогда находилось применение и без атома. Как я потом узнал, однокашником Бори Смагина по физфаку МГУ был Андрей Сахаров. Жил рядом в общежитии, там же, где мы, ходил, где мы, обедал, но к нам в комнату не забредал.

Какие у нас были тогда разговоры? Конечно, говорили много о литературе, о поэзии. Прямого содержания их не помню. Ведь сегодня я об этом ду-

² «Р-4» и УДП — карточки дополнительного снабжения. Впрочем, столкнулся я с этим только в 1944 году, в Москве. Как осуществлялось привилегированное снабжение в Симу помимо дифференциации столовых и было ли оно там вообще — не знаю.

маю совсем не так, как тогда. Ни эстетическая левизна, ни романтика меня давно не прельщают, а тогда я, как и другие, с этим связывал все высокое, духовное и профессиональное. А это в нас было. Поэтому я помню это общее дружеское взаимопонимание, а не отдельные мысли, свои в том числе. Политически никто из них не был оппозиционером, все на самом деле готовы были вести «политработу в РККА», но ведь не политдонесения писать они собирались. Мои стихи и содержащееся в них неприятие духа сталинщины они воспринимали как нечто совершенно естественное, не противоречащее ничему, чему считали себя верными. Конечно, в них, как и во мне, — в ком быстрее, в ком медленнее — «шли процессы», шло осознание и самосознание. Это была образованная элита своего поколения, и они никак не отказывали себе в привилегии мыслить. Но мысль наша была пленной. Всем этим людям пришлось потом жить в трудное время, сквозь которое совершенно целым не прошел никто.

Те, кто, пользуясь чужим задним умом, пытается забросать сегодня грязью наивность и относительность «духа ИФЛИ», должны знать, что эта грязь рикошетом вернется к ним, как всякая плебейская низость. «Ах, право, может только хам над русской жизнью издеваться» — эти слова Блока, сказанные о временах куда более простых и легких, отнюдь не потеряли сегодня своей актуальности. Каждый из этих ифлийцев не только не запятнал себя ничем, но и был тем огоньком культуры, вокруг которых люди не только грелись и выживали, но и формировались.

Наконец приехал Люмкис. Он появился в комнате в брезентовой робе (может быть, выданной «на торфе»), в защитной каскетке с козырьком и в неизменных очках. Вид у него был деловой, сосредоточенный, но неистребимый дух интеллигентности просвечивал сквозь все. Мы крепко обнялись как близкие люди, хотя до этого виделись только раз или два, — все равно в этом все время расширяющемся и неуютном мире нас многое связывало. Куда-то мы пошли. Трудно мне вспомнить куда. Ведь ни кафе, ни баров тогда не было. Коммерческие — по очень дорогим ценам — появились только через два года. В столовую, где кормили по карточкам, мы могли, конечно, зайти, но там были очереди, шум и гам. Помню, что мы долго ходили где-то по каким-то окрестным пустырям и разговаривали — обо всем, что накопилось, что было пережито, о Киеве, Марке, Яше (подумать только — Яша еще был в Киеве жив!). Я читал Люмкису стихи. Он слушал внимательно, серьезно, уже не снисходительно, как младшего: пережитое за год войны нас как бы сравнивало. На мои стихи о «тридцать седьмом годе» (читанные соседу по купе) отреагировал неожиданным образом. Сказал, что в Москве есть такой молодой поэт, Павел Коган (сейчас он на фронте), написал роман в стихах. И он мне прочел отступление из этого романа «О, мальчики моей поруки!», правда, с четверостишием, которого нет как ни в одном издании, так ни в оставшихся после Павла рукописных экземплярах романа. И вполне вероятно, что эти строки ему приписываются. Но пишу я сейчас не текстологическое исследование, где доказывается подлинность именно этого текста, а вспоминаю свою последнюю встречу с Люмкисом, а он после строк, которые входят во все сборники:

На Украине голодали,
Дымился Дон от мятежей,
А мы с цитатами из Даля
Следили дамочек в ТЭЖЭ, —

прочел:

О, эта чертова порода,
Маршрут от ГОРТа до ТЭЖЭ!..
...Зимой тридцать восьмого года
Мы к стенке ставили мужей.

Вот как повернуто — ставили к стенке не «нас», а «мы»! Я знал, что было не так, что политически это переадресовка. Тем не менее слова Люмкиса не показались мне ни дикими, ни даже поразительными. Ибо это переадресовка причин реальной и благородной боли. Мне тогда понравились и были близки эти стихи.

Потом мы говорили о перспективах войны. Перспективы эти, с его точки зрения, были мрачны. Нет, он не сомневался в поражении Гитлера, хоть немцы еще стремительно наступали. Он был уверен, что Россию выручат союзники, но коммунизму и советской власти при этом придет конец. Сегодня любой из нас сказал бы: твоими бы устами да мед пить! Но тогда такая перспектива, казалось, отнимала у нас смысл жизни, Маяковского, весь Sturm und Drang, на котором мы были воспитаны. При этом Люмкис в ближайшее время собирался идти в армию. Он пошел и погиб...

Конечно, эта беседа, эти строки, приписываемые Павлу Когану, и мое согласие идентифицировать их с собой опять открывают дорогу для непонимания и демагогии, с которыми я уже отчасти столкнулся. Но для непонимающих — чтоб они поняли, что их путавшиеся в трех соснах отцы и деды не были ни подлецами, ни идиотами, — я и пишу эту книгу, а возможность демагогического истолкования истины есть всегда — была бы истина.

Однако разговор, который в тот погожий, но уже холодный осенний день 1942 года в Свердловске вели между собой, обрадовавшись друг другу, двое киевских юношей, с сегодняшней, да и с любой нормальной точки зрения был действительно странен.

А ведь они не подлецы, эти мальчики. И не дураки, хоть у них в чем-то мозги набекрень. И не к худшим, а к лучшим представителям молодой интеллигенции они относятся. Своей любовью к «старой гвардии» они защищаются от растворения в подлости. Как верностью мировой революции — от растворения в бессмыслице сталинской пропаганды. Конечно, когда знаешь цену этой «гвардии» и подлость революционного насилия, становится горько на душе. Ведь по-человечески и мне, и Люмкису, и всем ребятам-ифлийцам, и Павлу Когану претит насилие. Мы считаем это чистоплутьством, недостойной мягкотелостью, но нам — претит. Нас поразила не своя, а чужая ублюдочность, наша тяга к высокому утилизирована ею, и мы запутались в ее оттенках и коллизиях. Потом постепенно — кто раньше, кто позже — мы начнем освобождаться от ее чуждой нам власти. Но ни Люмкис, ни Юдин, ни Кульчицкий, ни Коган, ни Майоров, ни сотни тысяч таких же, но никому не известных до этого не доживут. И почему-то именно об этом мне больней всего думать в связи с их ранней гибелью — что они так и погибли, не освободившись хотя бы внутренне...

Больше я Люмкиса не видел никогда.

В Свердловске я случайно наткнулся на своего одноклассника, Володю Левицкого. Он жил здесь с отцом и матерью. Володя учился в том самом Уральском индустриальном институте, в помещения которого вселился, потеснив его, МГУ. Жили они очень скудно. Отец, профессор, после ранений и контузий — он успел побывать на фронте — уже не мог преподавать. Вероятно, он знал о нашей жизни несколько больше меня или моих друзей. Он принадлежал к кондовой украинской либеральной интеллигенции, по которой жестокие бороны сталинских репрессий прошли неоднократно. Да и как Сталин мог относиться к интеллигенции народа, чье крестьянство он сознательно вымаривал голодом? Но отец больше молчал, слушая наши разговоры. И что он мог нам сказать тогда? Он не мог знать, что брат его, живший эмигрантом в Париже, в какой-то момент, по-видимому, решивший — чего с людьми не делает идеология! — что немецкое наступление дает Украине шанс, который нельзя упустить, приехал в Киев. И что, увидев, что творят немцы на Украине, тут же вернулся в Париж. Идеология идеологией, а порядочность порядочностью. Счастлив был, наверно, что брат с женой-еврейкой и их сыном эвакуировался. Но Володин отец, судя по всему, счастлив не был. Думал что-то свое и молчал. У него не было Парижа, куда бы он мог вернуться³ или хотя бы хотеть вернуться.

³ Подумать только! — приехал, не понравилось поведение оккупантов — и вернулся поэтому. И ничего. Я еще один такой случай знаю. С казачьим офицером Никитой Ивановичем Йовичем. Тоже подрядился к немцам, освободить Россию. Тоже, увидев, что освобождением не пахнет, по истечении контракта вернулся. И хоть бы что! Хотя в обоих случаях налицо было прямое неодобрение политики «рейха» в оккупированных областях. Имели оба, значит, такую возможность. Попробовали б они так у нас!

Трудно представить, чтобы перед отъездом из Киева ему не пришлось выслушать высказанные в различной форме предложения не уезжать, отправить жену и сына, раз уж так получилось, что жена — еврейка, а самому остаться. Такие настроения в украинской интеллигентной среде безусловно были. И странно было бы, если бы после всего пережитого их не было. Они, конечно, не свидетельствовали о трезвом понимании ситуации. Тем более когда наготове опять идеология, только другая — «своя». Хватались за шанс. Вряд ли Володин отец их одобрял, но и в подлые изменники столь легко и бездумно, как мы, тоже вряд ли мог их записывать. И все это должно было дополнительно мучить его. Тем более что сила, к которой он волей-неволей прибился, по причинам более или менее для него ясным терпела поражение, обнаруживала отнюдь не неожиданную для него никчемность.

Разумеется, я не знаю, что он думал, — на эти темы он никогда со мной не беседовал. Но ощущение тяжести, которую нес в душе этот образованный и порядочный украинский интеллигент, и то уважение, которое он совершенно безотчетно вызывал, живо во мне до сих пор. Сколько было хороших людей, которые способны были благотворно влиять на жизнь в гораздо большей степени, чем им это дали сделать. Он явно был одним из них.

После встречи с Люмкисом я пробыл в Свердловске недолго. Философия меня не интересовала, изучать филологию в такое время, да еще преодолевая столь изнурительные бытовые трудности, я тоже не видел смысла, ребята понемногу уходили в армию, а мне попасть отсюда в газету явно не светило. И я решил вернуться в Сим. Что я и сделал, выехав из Свердловска на ступеньке позавчерашнего поезда, ежедневно опаздывавшего — совершенно официально — на пятьдесят два часа. По сравнению с прошлым годом, когда часто никто не знал, когда и куда идут поезда, это был прогресс. Противник опять наступал, транспорт работал с натугой, но беспорядка на транспорте не было, и я доехал до Симской довольно быстро. При всей оппозиционности я с надеждой отметил, что для Гитлера это — дурной знак.

(Окончание следует.)

ТОМАС МАНН



ИЗ ДНЕВНИКОВ

«ТОТ, ЧЬЯ ЖИЗНЬ — СИМВОЛ»

Каждое личное существование держится на тайне.

Чехов, «Дама с собачкой».

«Для чего я пишу все это? Чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить? Или я хочу, чтобы мир *знал* меня? Я думаю, он и без того знает обо мне больше, <...> нежели мне в том сознается», — пишет Томас Манн в своем дневнике 1950 года. В этих немногих строчках отразился весь психологический склад Томаса Манна: и постоянная оглядка на себя со стороны, сверхчувствительная рефлексия, способная даже в семьдесят пять лет накалиться до полного смятения, до порыва к уничтожению написанного; и столь же постоянное соотнесение себя с миром, приведение себя в порядок перед его незримым, но всезрящим оком; и новая оглядка — уже на собственную рефлексию, ироничное и мудро-скептическое ее осмысление; и, наконец, как результат — удивительная способность делать всеобъемлющие, объективные выводы из сокровеннейших субъективных посылок.

Приводя эту цитату из дневника, обычно ставят акцент на третьем вопросе («Или я хочу, чтобы мир *знал* меня?») и спешат ответить на него утвердительно, чтобы подтвердить «благоденственную» откровенность Томаса Манна. К тому же, вырывая отрывок из контекста, создают полную иллюзию, будто это — рефлексия по поводу ведения дневников вообще. Однако на цитату всегда найдется контрцитата из того же автора. Что же касается открытости Томаса Манна миру, то в сущности своей она едва ли вообще нуждается в доказательствах. Будучи писателем, он и так открыт миру как никто другой — в силу своего занятия, в силу того, что в творчестве «не о вас идет речь, вовсе не о вас... но обо мне, обо мне»¹. Поэтому во многом прав швейцарский писатель Адольф Мушг, который на вопрос, изменилось ли его отношение к Томасу Манну после прочтения его дневников, ответил, что «нет никакого «разоблачения», никакой тягостной неловкости, раскрытие которой он не подготовил бы уже в своих произведениях: «„Признания“ (в смысле дневники. — И. Э.) Томаса Манна, в конце концов, только тень того же Феликса Круля, раскрываемые им тайны не более „отвратительны“, чем прыщи на теле Мюллера-Розе (имеется в виду эпизод с актером Мюллером-Розе из пятой главы первой книги „Признаний авантюриста Феликса Круля“. — И. Э.). За „Розе“ не скрывается никакого „Мюллера“: он и так Мюллер — как художник он и не может быть ничем иным, как „единым и двойным“, и Томас Манн заботился о том, чтобы не было конца этому искусству и не было никакого ускользания от него в дневник. Его „я“ всегда — форма; в дневнике она ничуть не аутентичнее, чем в гётевском

Перевод с немецкого, предисловие и комментарии ИГОРЯ ЭБАНОИДЗЕ.

Эбаноидзе Игорь Александрович родился в 1967 году в Москве. Окончил (в 1990 году) Литературный институт по отделению художественного перевода, там же учился в аспирантуре (кафедра зарубежной литературы). В 1995-м защитил диссертацию по раннему творчеству Томаса Манна. В журнале «Дружба народов» (1995, № 9) опубликовал перевод фрагментов дневника Т. Манна за 1918 год. В «Новом мире» печатается впервые.

¹ Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах, т. IX. М. 1959 — 1961, стр. 19. Далее при отсылке на это издание указываются том и страница римской и арабской цифрами в скобках.

утреннем монологе в „Лотте в Веймаре” или в стилизованном старонемецком Адриана Леверкюна»².

Конечно, в приведенном нами истолковании есть неприятный оттенок самоуверенной проницательности, которую ничем не удивишь и которой не откроешь ничего нового. И тем не менее сколь многие при его жизни никому не известные интимно-тайные переживания самого Томаса Манна инверсированы в его произведениях так, словно уже раскрыты и обнародованы; сколь незначительные, на первый взгляд, чисто бытовые и даже физиологические подробности перенеслись со страниц дневников в великолепную сцену пробуждения Гёте; и наоборот — будто бы позаимствованной из «Доктора Фаустуса», в своей сумрачной строгости, кажется вот эта дневниковая запись: «...во исполнение давно задуманного уничтожил старые дневники».

Запись датирована 21 мая 1945 года. А первое сожжение дневников состоялось в начале 1896-го; о нем, с некоторой даже лихостью, сообщает Томас Манн в письме своему другу О. Граутоффу: «Я сжег собрание моих дневников! — Почему? Потому, что они меня отягощали, стесняли и все такое <...> Советую и тебе предпринять подобную чистку. Мне лично это доставило удовольствие. Прошрое формально оставил позади и живи теперь бодро и без опаски в настоящем и будущем»³.

Огромное интонационное различие двух этих записей словно бы запечатлело прожитость и исполненность жизни и творческой эволюции. И в самом деле, два сожжения дневников обрамляют если не весь творческий путь Томаса Манна, то по крайней мере то главное, что было на этом пути, — эволюцию: самоосознание судьбы, развертывающееся в едином творческом пространстве. Вскоре после первой чистки дневниковых записей был создан «Маленький господин Фридеман» — первая из «канонических» новелл Томаса Манна и миниатюрное вместилище («Die Welt in Nuss» — «мир в орехе», как говорят немцы) основных проблем его последующего творчества; а второе сожжение приходится на разгар работы над «Доктором Фаустусом» — последним произведением, написанным не по профессиональной инерции, не потому, что «я не могу ничего не делать» (дневник 1950-го), а под диктатом внутренней необходимости и духовного веления времени. Это совпадение и связь между участием дневников и творческой эволюцией представляются отнюдь не случайными. Связь эту смутно ощущал и сам Томас Манн, писавший в 1897 году О. Граутоффу: «С некоторых пор я словно бы расправил плечи, словно нашел способы и пути, как высказать, выразить, художественно изжить себя; <...> прежде я нуждался в дневнике для чуланчика, чтобы изливать в нем душу, теперь же нашел новеллистические, готовые для обнародования формы и маски <...> Я думаю, это началось с „Маленького господина Фридемана”»⁴.

Дневник выступает здесь как некий антагонист художественной объективизации, как бы препятствуя преобразению личного в эстетически-объективное, и так оно, по всей видимости, и было. Судя по различным косвенным свидетельствам, в первую очередь письмам все к тому же Граутоффу, ранние дневники Томаса Манна являют собой взрывоопасную, так и просящуюся в огонь смесь личных излияний, пристрастных психологических самонаблюдений и художественных эскизов — плодов творческой фантазии, не введенной в русло воли к законченному целому. Подобный диарий не мог быть верным, скромным и незаметным слугой творческого процесса. Он неизбежно уводил часть творческой энергии на свои страницы, а главное, разбавлял интенсивность сублимации внутренних проблем и, не изживая, не перерабатывая эти проблемы в художественную сущность, оставлял их при личности. Словом, он был как творчески, так и жизненно, экзистенциально непродуктивен. В статье «Бильзе и я» Томас Манн приводит слова «одного поэта и мыслителя»: «Художник, который не отдает себя всего в жертву, — никому не нужный раб» (IX, 19). Нам представляется, что именно «дневник для чуланчика» не позволял Томасу Манну принести всего себя в жертву, оставляя его до некоторой степени «рабом» собственной жизни. Поэтому сожжение ранних

² Muschg A. Der erfüllte Anspruch. — In: «Was halten Sie von Thomas Mann?». 18 Autoren antworten. Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt. 1986, S. 116.

³ Mann Thomas. Briefe an Otto Grautoff (1894 — 1901) und Ida Boy-Ed (1903 — 1928). Frankfurt. 1975, S. 70.

⁴ Ibid., S. 97.

дневников, будучи актом во многом символическим (разумеется, в Италии в 1896 году Томас Манн сразу же завел новый дневник, характер которого изменился не в одночасье и даже не в один год), ознаменовало тем не менее поворот к продуктивности как императиву, который на тот момент был Томасу Манну необходим.

Что касается второй расправы над дневниками, то здесь главная загадка в том, почему это случилось в 1945 году, а не десятилетием раньше или позже. Томас Манн предрешил участь своих доэмигрантских дневников в 1933 году, после событий, к которым мы еще вернемся, и тем не менее многие годы никак не решался привести приговор в исполнение. Почему? Биограф Томаса Манна и издатель его дневников Петер де Мендельсон попытался объяснить это отсутствием подходящего инструмента казни. Для сожжения такого количества бумаги, пишет он, недостаточно обычного камина — необходим *incinerator*, мусоросжигательная печь, а она оказалась в распоряжении Томаса Манна только в Калифорнии, во дворе его дома в Пасифик Пэлисейдс. Это довольно странная идея. Образ Томаса Манна, разыскивающего по всему свету в течение двенадцати лет мусоросжигательную печь, настоятельно призывает нас найти другое объяснение этому факту. Тем более что одно звено из цепи причин лежит как будто бы на поверхности: на третий день после сожжения дневников Томас Манн должен был отправиться в длительную поездку по восточным штатам. Ему пришлось бы взять дневники с собой, как это и бывало с тех пор, как он оказался в изгнании. Но тут, видимо, следует принять во внимание и еще одно обстоятельство — совершенно особого, иррационального, хотя и по-своему «математического» порядка. «В эти майские дни <...> нервное переутомление» Томаса Манна «доходило порой до полного истощения сил» (IX, 282). Кроме того, ему было семьдесят, и шел 1945 год — цифровое сочетание, полное значения для крайне чуткого к подобным совпадениям и вообще к цифрологии Томаса Манна. В 1930 году в «Очерке моей жизни» он писал: «День празднования знаменательной годовщины нашего союза (двадцатипятилетия брака с Катей Принсгейм. — И. Э.) уже совсем близок. Он приходится на год, в цифровом своем выражении заканчивающийся числом, знаменательным для всего моего бытия: в зените некоего десятилетия появился я на свет; между серединами десятилетий прошли пятьдесят лет моей жизни, женился я на середине десятилетия, спустя полгода после того, как оно перевалило за половину. Моя приверженность математической ясности согласна с этой расстановкой, как и с тем, что мои дети появились на свет и свершают свой жизненный путь в трех созвучно-хороводных, парами расположенных сочетаниях: девочка — мальчик, и мальчик — девочка, и девочка — мальчик». В этом отрывке есть, безусловно, элемент игры в духе «Иосифа...», над которым Томас Манн в ту пору работал, — однако игры достаточно серьезной. Самое же главное то, что в конце этого абзаца речь заходит о предмете вовсе не игривом и даже не игровом: «Я полагаю, что умру в 1945-ом году, в возрасте моей матери» (IX, 143).

Томас Манн ошибся в дате своей смерти: он умер в 1955 году, — но тоже «в зените некоего десятилетия», так что ошибка эта не принципиальная, а чисто математическая, то есть ошибка лишь наполовину. Судьба дала ему не только дописать «Доктора Фаустуса», но и подарила еще десять лет жизни. Однако в 1945 году Манн, по всей видимости, писал «Фаустуса» как свою последнюю книгу, как исполнение предназначения и судьбы, боясь не успеть закончить ее. Напряженная работа вызывала нервное переутомление, нервное переутомление — истощение сил, а последнее, в свою очередь, наводило на невеселые размышления. Не случайно «в эту обычно столь благотворную» для Томаса Манна «майскую пору в дневнике появляются записи о посещениях рентгеновских лабораторий, о врачебных осмотрах, об анализах крови, об исследованиях отдельных органов <...> тела — впрочем, с успокаивающе отрицательным результатом» (IX, 282). Разумеется, Томас Манн не был фанатичным фаталистом; если он отчасти и был фаталистом, то скорее ироничным; тем не менее все же, видимо, решил не рисковать с предназначенными огню дневниками и 21 мая отправил их в тот самый «наконец-то найденный» в Америке *incinerator*.

Что касается событий 1933 года, о которых мы упомянули выше, то они уже описывались Марком Харитоновым на страницах «Иностранной литературы», поэтому расскажем о них здесь лишь в самых общих чертах.

11 февраля 1933 года Томас Манн отправился из Мюнхена в Амстердам, совершенно не подозревая, что этот отъезд станет началом его эмиграции. Путеше-

ствие планировалось как вполне обычная для Томаса Манна поездка, в ходе которой он должен был прочесть в трех европейских городах доклад о Вагнере, а затем собирался отдохнуть на швейцарском курорте Ароза (том самом, благодаря которому возник в свое время замысел «Волшебной горы»). Однако переворот, произошедший за этот месяц в политической жизни Германии, заставил писателя отложить свое возвращение.

Между тем все его дневники оставались в Мюнхене. Испытывая нарастающее беспокойство за их судьбу, Томас Манн попросил своего сына Голо переправить рукопись в Швейцарию. Вот здесь-то эта история и приобрела детективный оттенок. Когда дневники были уже упакованы, Ханс Хольцнер, шофер Маннов, уже некоторое время, как выяснилось впоследствии, работавший на нацистов осведомителем, предложил Голо свои услуги в доставке чемоданов к швейцарской границе. С согласия ничего не подозревающего Голо Манна Хольцнер вечером 10 апреля отвез дневники, полагая, что они содержат «нечто политическое», прямо в мюнхенскую штаб-квартиру нацистской партии.

Между тем Томас Манн получил от Голо известие о «благополучной» отправке чемоданов, и началось напрасное ожидание прибытия дневников в Швейцарию. Только в конце апреля для Томаса Манна постепенно стала вырисовываться истинная картина.

Эти недели ожидания стали серьезным испытанием для Томаса Манна. Глубоко личные, не предназначенные для чужих глаз откровения и факты его жизни — жизни, которая, по его словам, «нуждается в тайне» (дневник 1950-го), — оказались в руках чужой и враждебной силы. Все, что маскировалось в «дискретных формах» его творчества, что служило материалом для преобразования, могло теперь стать материалом для компрометации лично Томаса Манна, могло быть открыто всему миру с пропагандистским бесстыдством и жестокостью. Не нужно было быть семи пядей во лбу, достаточно было только внимательно просмотреть несколько тысяч страниц, чтобы из выборочных дневниковых записей составить тот образ Томаса Манна, который был желателен фашистской пропаганде. Должно быть, именно эти тревоги владели Томасом Манном, когда он записывал в дневнике: «Мои опасения относятся сейчас в первую очередь, и почти исключительно, к этим покушениям на тайны моей жизни. Они мучительны и глубоки. Ужасное, даже смертельное может случиться» (30.4.1933). К этому примешивалась и «непредставимость возвращения в Германию», и шаткость, чисто экономическая ненадежность существования в Швейцарии. После одной из бессонных ночей Томасу Манну нужно было осмотреть дом — сдававшееся внаем за 3000 франков жилище. «Я чувствовал себя плохо, а осмотр дома, после которого у меня создалось отвратительное и угнетающее ощущение деклассированного существования, еще ухудшил состояние моих нервов, <...> вплоть до слез» (3.5.1933).

Неужели действительно так «отвратительно» и «деклассированно» мог выглядеть дом, подысканный специально для Томаса Манна? Думается все же, что неотступная мысль о дневниках наложила отпечаток на это впечатление и словно бы вернула Томаса Манна из эмоциональной сферы «Иосифа и его братьев» на страницы его ранних новелл, где «отвратительность» и «деклассированность» идут рука об руку — под знаком разоблачения и унижения.

«Смертельного» все же не произошло. Ситуация в конце концов благополучно разрешилась — отчасти благодаря усилиям адвоката Хайнса, вызволившего рукописи из нацистских архивов, отчасти же, полагаем мы, благодаря везучести самого Томаса Манна. В конце мая дневники вернулись к их владельцу в целости, хотя и, на его взгляд, слегка «обшаренные». Тем не менее окончательная судьба этих записей была предreshена: слишком много тяжелых часов они доставили их автору.

Тогда же, в марте 1933 года, в Швейцарии Томас Манн завел новый дневник. Именно эти дневники 1933 — 1955 годов — дневники его эмиграции, — а также четыре тетради с записями 1918 — 1921 годов, понадобившиеся писателю во время работы над «Доктором Фаустусом», а затем, видимо, забытые им среди других бумаг и благодаря этому сохранившиеся, и выходят с 1977 года по настоящий момент во франкфуртском издательстве «Фишер»⁵, с которым Томас Манн был

⁵ Mann Thomas. Tagebücher 1933 — 1934; 1935 — 1936; 1918 — 1921; 1937 — 1939; 1940 — 1943; 1944 — 1946; 1946 — 1948; 1949 — 1950; 1951 — 1952. Hrsg. v. P. de Mendelssohn, Tagebücher ab 1944 von Inge Jens. Frankfurt a. M. S. Fischer. 1977 ff.

связан еще с прошлого века — со времен работы над «Будденброками». По количеству томов и их объему это издание приближается к манновскому собранию сочинений; да, собственно, это и есть второе, параллельное собрание его сочинений, по-своему освещающее первое, и главное, и расставляющее в нем новые акценты. Дневники Томаса Манна — это огромные строительные леса, возведенные вокруг собора его творчества, однако задача их не столько в том, чтобы облегчать строительство, сколько в том, чтобы посредничать между существующим в самом себе «автономным» миром созидания и неоформленной, текущей жизнью, прежде всего — жизнью собственной.

«Кто такой писатель? Тот, чья жизнь — символ», — писал Томас Манн в 1910 году в статье «По поводу „Королевского высочества“». «Я свято верю в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество...» (IX, 35 — 36). Эти слова звучат как апология творчества, в них, безусловно, сконденсировались традиционные классические представления о художнике как преображающем зеркале эпохи, медиуме и «глашатае истин вековых». Однако есть в них и другая — тревожащая, драматическая, индивидуально-жизненная — сторона. Она о том, что, становясь вместилищем большего и высшего, сама жизнь писателя вытесняется на периферию, становясь все более символической, репрезентативной, иллюзорной. Этот момент Томас Манн всегда ощущал с особой остротой (хотя всегда умел находить ему «высшие» оправдания и объяснения). И именно поэтому его дневники тщательно, порой даже педантично, фиксируют все сугубо фактическое в его жизни; они поддерживают в нем реальное чувство собственного, индивидуального, не символического существования. Томас Манн вел эти записи практически каждый день, ежевечерне фиксируя все его составляющие: очень часто — сон (если со сновидениями, то с какими) и время пробуждения, почти обязательно — погоду, изредка — детали утреннего туалета, завтрак, обязательно — корреспонденцию, почти всегда давая краткую характеристику полученным и написанным письмам, прочитанное, собственную работу — одной-двумя строчками. И дальше — как покатился день, какие он вызвал мысли и чувства; никакой выборочности, все, как есть. В этом, с одной стороны, упорядоченность и система, писательская, по сути, работа над жизнью, с другой же — попытка хоть как-то уберечь эту жизнь от поглощающего ее писательства, сопротивление, оказываемое символическому и репрезентативному, не обремененному бытовыми заботами писательскому существованию. «Я люблю запечатлевать отлетающий день в его духовных и отчасти чувственных проявлениях» (дневник 1933 года). Примечательно, что «дню» здесь дан эпитет «отлетающий», «улетучивающийся». Он и в самом деле улетучится, растворится без следа в пространстве работы, если не сохранить и не запечатлеть его. Это противоречивое единство — жертвование жизнью творчеству и спасение жизни от творчества — во многом сродни центральной проблематике произведений Томаса Манна — проблемам отношений «духа» и «жизни» или противоречию между «честью духа» и «честью плоти», как это названо в «Иосифе и его братьях», там, где говорится о страсти Мут-эм-энет. И, безусловно, у Томаса Манна были не только художнически типические, но и сугубо индивидуальные причины ощущать это противоречие с особой остротой.

В ежевечерних записях Манна нередко встречаются впечатления и раздумья, вызванные перечитыванием собственных, порою очень давних, дневников. На этих страницах Томас Манн приоткрывает дверь в иную реальность своей души, в скрытое и скрываемое и тем не менее необычайно значимое для него измерение своей внутренней жизни. Это измерение существует как бы независимо от его писательства, от фактов и этического склада его жизни и творчества и, на первый взгляд, параллельно им и даже несовместимо с ними; и тем не менее именно оно создает то поле напряжения, под знаком которого в его творчестве вступают между собой в противоречие «честь духа» и «честь плоти» и, наоборот, совмещаются ирония, сентиментальность и строгий протестантский этос. Это — сфера его гомосексуальных склонностей, или, как он сам называет ее в дневниках, сфера «страсти».

Именно вокруг нее и возникла с начала публикации дневников та атмосфера скрытого ажиотажа и одновременно умолчания, из которой обычно и рождаются всякого рода скороспелые представления, превращающиеся через пару поколений в устоявшееся «общественное мнение». Люди, не читавшие дневников Томаса Манна, но что-то от кого-то слышавшие о них, проникаются убежденностью, будто в этих

записях задокументированы конкретные «разоблачительные» факты; а представители сексуальных меньшинств, задетые сдержанностью специалистов, сами становятся исследователями Томаса Манна и с увлечением отыскивают — ибо ищущий всегда обрящет — «стигму гомосексуальности» в каждом из его произведений.

Мы не относимся ни к тем, ни к другим, а только лишь к тем, кого «исключительность человеческого существования захватывает безраздельнее, чем любой другой объект и любое обобщение». Поэтому, читая дневники Томаса Манна, мы не можем увидеть в них ничего сверх того, что написано, но и не можем не увидеть того, как важна эта эмоциональная сфера для самого Томаса Манна, с каким вниманием и бережностью относится он к ней, время от времени как бы извне оценивая ее «неправильность», но при этом не стыдясь ее, а ощущая как некий центральный, хотя и скрытый, мотив своей судьбы, как внутренний стержень своей эмоциональной жизни.

«Вчера вечером допоздна засиделся за чтением старых дневников 27/28 годов, возвращающих в пору пребывания К. Х. в нашем доме и моих поездок в Дюссельдорф. Я был глубоко взволнован и растроган взглядом назад, на это переживание, которое сегодня представляется мне принадлежащим другой, более сильной жизненной поре и которое я храню с гордостью и благодарностью, поскольку оно было нежданным исполнением страстного влечения к жизни, — «счастьем», как это значит в книге человечества и человечности, <...> поскольку воспоминание об этом означает: «и я тоже». Особенное впечатление произвело на меня то, что и тогда, в пору этого исполнения, я вспоминал о раннем, об А. М. и следующих за ним, и все эти переживания воспринимал как вовлеченные в это позднее и удивительное исполнение, как наполненные, примиренные и исправленные им.

Сегодня поднялся в 8. Вечернее переживание, вызванное жизненными воспоминаниями, воздействует серьезно и значительно» (дневник 1934 года).

Эти ночные мысли не отчуждаются, не вытесняются, не предстают чем-то постыдным в трезвом дневном освещении, но «воздействуют серьезно и значительно», питая глубоким и незримым потоком явное и видимое всем репрезентативное существование.

Люди, игравшие столь важную роль в эмоциональной жизни Томаса Манна, обозначены в дневниках инициалами или по имени, но у всех у них есть еще и другие имена, под которыми они существуют в мире литературы: «Первый, Армин, спился вскоре после того, как возмужалость разрушила его обаяние, и умер в Африке. Ему — мои первые стихотворения. Он живет в „Тонио Крегере“, Вилльри — в „Волшебной горе“, Пауль — в „Фаустусе“. Все эти страсти обрели некое увековечение. Клаусу Х., одарившему меня наибольшим исполнением, принадлежит вступление к эссе об „Амфитрионе“» (16.VII.1950).

Армин — это школьный товарищ Томаса Манна Армин Мартенс; в «Тонио Крегере» он «живет» под именем Ганса Гансена. К той же школьной компании принадлежал Вилльри Тимпе, чей карандаш Томас Манн хранил у себя до последних лет (см. запись от 15.IX.50). Этот карандаш в романе «Волшебная гора» Ганс Касторп одалживает у своего одноклассника Пшебыслава Хиппе, чтобы затем вернуть его Клавдии Шоша. (Литературоведы фрейдистского вероисповедания вкладывают в операцию с передачей карандаша свой, однозначный смысл, о котором читатель при желании может догадаться сам.) Пауль в «Фаустусе» — это художник Пауль Эренберг, с которым Томас Манн был дружен в начале столетия. Он перевоплотился в скрипача Руди Швердтфегера — друга и жертву Адриана Леверкюна, однако этим его функции в манновском творчестве не исчерпываются. «Искал в старых записных книжках <...> и углубился в заметки, которые я делал тогда в связи с замыслом романа «Возлюбленные» о моих отношениях с П. Э. Страсть и меланхолическое психологизирующее чувство того отзвучавшего времени заговорили со мной доверительно и с жизненной печалью. Тридцать лет и даже больше прошло с тех пор. <...> Я уже возвращался к заметкам о страсти того времени, описывая страдания Мут-эм-энет, чью беспомощную одержимость я отчасти благодаря этому сумел воссоздать» (6.V.34).

Здесь мы встречаемся с удивительным феноменом манновского творчества — с тем, как, живя в своем герое, он внезапно перевоплощается в его искусителя, в преграду, в женском ли — как здесь, в «Иосифе и его братьях», — мужском ли — как лорд Килмарнок в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» — облики стоящую на единственном извиристо-истинном пути героя.

Вернемся на некоторое время к последней процитированной записи. Томас Манн продолжает далее: «Переживание с К. Х. было превосходным, более зрелым и счастливым. Но потрясенность, о которой говорят решительные интонации заметок поры П. Э., <...> это было все-таки лишь однажды в моей жизни — как, пожалуй, и должно быть. Ранние переживания с А. М. и В. Т. отступают далеко в отроческое, а то, с К. Х., хотя и было поздним счастьем, носившим характер жизненно-благого исполнения, — все же в нем отсутствовала юношеская интенсивность чувства, то возвышенно-ликующее и глубоко потрясенное, что определяло центральное переживание моих 25-ти лет. И это, пожалуй, по-человечески нормально, более того, именно эта нормальность вовлекает мою жизнь в каноническое подлиннее, чем брак и дети».

Эта мысль Томаса Манна и верна, и строптива одновременно. Верна потому, что, с точки зрения жизненного максимализма, брак Томаса Манна, репрезентативная сторона его личной жизни, что ни говори, конформизм, неподлинное существование, подделка. И в то же время протестовать против этой подделки, разоблачать ее, открывать на нее глаза — это строптивость, чреватая подрывом самих основ библейской этики и европейского существования, жизненным волюнтаризмом, на который «тот, чья жизнь — символ», не имеет права. Эта внутренняя дилемма сродни той мировоззренческо-политической, перед которой Томас Манн стоял во время и после первой мировой войны.

С одной стороны, его протест против надвигающейся — неподлинной — цивилизации в «Размышлениях аполитичного» был глубоко верным, с другой же — он был обреченной и непозволительной строптивостью, чреватой опаснейшими духовными последствиями, свободой, ведущей к трагической и даже позорной изоляции, необратимому разрыву с гуманизмом — к тому, что познал на себе столь близкий Томасу Манну по духу Эрнст Бертрам, к тому, наконец, что вышло с манновским Адрианом Леверкюном.

И все же Леверкюн был самым любимым, близким и интересным для Томаса Манна из всех его героев. Так же, как и взгляды времен «Размышлений аполитичного», о которых уже в последние годы жизни Томас Манн говорил в письме Фердинанду Лиону: «Фашизм <...> ухитрился сделать меня на время странствующим оратором демократии — роль, в которой я казался себе довольно чудным. Я всегда чувствовал, что в пору моего реакционного упрямства в «Размышлениях» я был куда интересней и дальше от плоского» (13.III.52). Далее он, однако, замечает: «Правда, когда имеешь дело непосредственно с человеческими нуждами, интересность, по-моему, не так уж важна. <...> У меня, как ни глупо это прозвучит, есть явная склонность к доброте»⁶. Эта «неинтересная доброта» в переводе на язык того, о чем мы пишем, кажется, и есть репрезентативная сторона жизни Томаса Манна — его воззрения демократа и жизнь семьянина, создающие образцово-достойный, хотя и «немного стеклянный», как он сам выразился однажды о Шоу, образ. Для самого же Томаса Манна, как явствует из его дневников, была важна вовсе не эта «неинтересная доброта», а как раз «недобрая интересность» — не отец и супруг, а страстно, хотя и платонически, влюбленный гомоэротик. Однако так же, как в дневниковых записях, эти расщелины страсти окружены необозримыми плоскогорьями ежедневного труженичества, так же и в творчестве Томаса Манна иррациональное поверяется и контролируется нравственной мудростью и разумом. «Недобрая интересность» Томаса Манна глубже его «неинтересной доброты», однако последняя выше первой (причем, подчеркнем, обе категории — и высота, и глубина — заключают в себе здесь позитивную ценность); именно в таком соседстве и взаимоположении они предстают нам в его творчестве.

Однако и в творчестве, в художественных произведениях, даже за иронией порой слышится с трудом преодолеваемая нервозность и смятенность, и часто ирония сама и есть пытающаяся преодолеть себя смятенность. Сколь же болезненнее должно было сказываться это в действительной психической жизни, где высшее не только и не столько оформляло и воспитывало более глубинное, сколько подавляло и вытесняло его. Экстатическая или, наоборот, подавленная преувеличенность

⁶ Манн Т. Письма. М. 1975, стр. 315 — 316.

выражений чувств во многих дневниковых записях, их несоизмеримость с реальным поводом, туманно-многозначительные характеристики этих поводов — явное следствие и свидетельство такого гнета.

Особенно показательны в этом отношении записи, связанные с «К. Х.» — Клаусом Хойзером, сыном директора дюссельдорфской Академии художеств, гостившим у Томаса Манна в 1928 году. Исследователи Томаса Манна уже, можно сказать, проторили дорогу к К. Хойзеру, пытаясь выяснить у него, что же таится под определениями вроде «позднего счастья», «исполнения тоски по жизни» и «прыжка в мечтаемое». Ответом им было лишь недоумение человека, никогда ничего не подозревавшего о каких-либо чувствах Томаса Манна — этого респектабельного, забавно-педантичного, «чрезвычайно сдержанного» и «бесконечно дистанцированного» господина. И в этом нет ничего удивительного. В сфере «страсти» дневники Томаса Манна не свидетельствуют ни о каких фактах, а только об автономных, никаких реалий за собой не влекущих чувствах. О неподвижном, не ищущем жизненного воплощения «чувстве в себе». Двойной гнет влечения и запрещающих протестантско-бюргерских этических установок заставлял Томаса Манна ощущать любое прикосновение, взгляд, рукопожатие, прощальный поцелуй, с особой, независимой от ситуации интенсивностью и остротой, так сказать, впитывая в свое чувство все, что возможно впитать. То, что было для него полно значения, вызывало в нем трепет и ликование, для другого могло быть просто автоматическим, ничего не значащим и вообще незамечаемым проявлением любезности или вежливости. И, что самое характерное, такое положение дел, это несоответствие, эта «некоммуникабельность» чувства отнюдь не смущали самого Томаса Манна. Ибо двойной гнет влечения и этики способен не только посеять в человеке раздор и смятение, заставить его страдать и корчиться в своих тисках — он способен также высечь в нем и чистое пламя платонизма, о котором в 1950 году, говоря, в сущности, о самом себе, Томас Манн скажет в статье «Эротика Микеланджело»: «Микеланджело никогда не любил ради взаимности, никогда не хотел и не мог в нее верить. Для него, истинного платоника, божество обитает в любящем, а не в любимом, который всего лишь источник божественного вдохновения...», «Этот великий любовник любит самое любовь больше, чем то, на что она обращена». Думается, именно в этом смысле следует и нам понимать Томаса Манна, когда, оглядываясь на переживание 1927 — 1928 годов, он называет себя «счастливым любовником» (20.II.1942). И как с немного наивной и торжественной прямоотой вдруг отказавшегося от всякой литературности большого писателя сказано в том же эссе о Микеланджело: «Да будет нам стыдно, если мы усомнимся <...> в высокой правдивости его понимания любви» (X, 465, 460).

В 1935 году, в очередной раз вспоминая «время Клауса Х.», Томас Манн записывает в дневнике: «...последняя вариация любви, которая, пожалуй, уже больше не возгорится. Странно, счастливый, вознагражденный пятидесятилетний — и на этом всё. Гётевская эротическая стойкость до 70 лет — «всё барышни». Но в моем случае, пожалуй, препятствия серьезнее и утомляешься раньше, не говоря уж о разнице в витальности» (14.9.35). Сопоставление себя с Гёте в который уже раз отозвалось «мистическим единством» с ним, и вопреки «препятствиям», «утомлению» и собственной самооценке Томасу Манну предстояло еще в семьдесят пять испытать «гордость за свою, невзирающую на возраст, витальность» и силу своих чувств. Это случилось в 1950 году, в одну из летних европейских поездок Томаса Манна, в Цюрихе. Томас Манн «принял в галерею» своей внутренней жизни пятый, и последний, образ — кельнера цюрихского гранд-отеля «Дольдер» Францля Вестермайера. Дневники тех дней, которые мы с небольшими купюрами приводим ниже, не только описывают это длившееся почти два месяца переживание, но и позволяют нам проследить самые разные стратегии творческого преобразования этого события внутренней жизни: патетическую самоидентификацию с великим прообразом в «Эротике Микеланджело», созданной в августе того же года под впечатлением лирики великого итальянца и собственной страсти; и ироническое дистанцирование, раскрепощающий перенос своего сокровеннейшего в перспективу чужого видения, тончайшую игру с обменом ролями в «Признаниях авантюриста Феликса Круля», возобновленных также в конце 1950-го.

Итак, дневник.

Париж, суббота, 13.V.50. Отель Регина.

<...> В тот же вечер лекция в амфитеатре Сорбонны. 2000 человек. Бурный прием, речь Вермейля, Жюля Ромена, германиста Бушера. Четверть часа я говорил вступление по-французски, затем сокращенный для радио доклад. Овации. После этого небольшой прием с шампанским. — Журналисты. Газеты. Статья М. Бриона о «Фаустусе» — самое приятное. <...> — Эрика¹ привезла майский номер «Рундшау» с очень милыми пожеланиями счастья от Гессе и главами из Грегориуса². Много других книг, бумаг, картин. Ужин втроем в ресторане поблизости. Очень тепло уже несколько дней. Переутомлен. Бессоница и нервный кризис. Покой только к утру. Довольно, довольно. Французская языковая сфера осточертела. <...> — Отказался от журналистов и отклонил прием в «обществе литераторов». Первую половину дня провел уединенно. Неполадки с машиной, которая тем не менее должна быть в понедельник готова к переезду через Страсбург в Цюрих.

Лугано, вторник, 23.V.50.

<...> — Приглашение от Гессе. — Поехали к ним в Монтаньолу. Вермут и обед с ними. Хорошая беседа. Его спокойное и знающее отношение к капиталистическому миру, положению дел в искусстве, коммунизму. Отдыхал в верхней комнате. Пили с ними еще чай. В саду. Котенок. Уехали около шести и прогулялись еще немного здесь, по променаду у озера. У торговца книгами и бумагой. Знакомый. Были у него в 1933. В гостях у Гессе: сильное ощущение возвращения той ситуации, при столь изменившихся обстоятельствах.

Лугано, среда, 24.V.50.

<...> — Воспоминания о посещении Кастильоне — через 17 лет. Тогда у бедняги Фульды. Что произошло и изменилось с тех пор в потоке времени. Сколькие умерли и испортились. На мою долю выпало и благословение, и много страданий; мировая слава, труд, боль. Мой дом стоит теперь в Калифорнии. Все очень странно, жизнь. Дивишься моей юности и работоспособности. Как глубока часто бывает усталость! — «Иван Ильич» Толстого. — <...>

Лугано, Пфингст — понедельник, 29.V.50.

Встал в половине восьмого. — Работа с рукописью. — Выезд с К.³ в Кампионе. — После обеда с К. и Эрикой к Гессе. Чай, торт, а позднее вино «Мартини». Гессе хорошо одет и приятно болтлив. — <...>

Цюрих, понедельник, 5 июня 1950.

День выступления. Напряжение. Потокотом потекли письма, телеграммы и цветы. Записи для телевидения. — Итак, в 8 часов в театр. Слушал за сценой вступительную речь Вельтерлина и опус 111⁴, исполненный Эггером. Был сердечно принят, вполне доволен своей речью. В конце долгих аплодисментов публика встала с мест. Ужин в Рюдене, организованный пен-клубом и театром. Речь Хельблинга⁵, который чествовал Ганно Будденброка и Непомука Шнейдевейна⁶. Я благодарил. Счастливое течение вечера.

Цюрих, вторник, 6 июня 50.

Мой 75-й день рождения. Занятно. Праздничный день. Осыпан самыми радостными дарами. Нескончаемый поток телеграмм, писем, цветов. Смущение, удовольствие и усталость. Биби⁷, Грет и мальчуган с поздравлениями. Фридо⁸ прочитал премилое стихотворение Эрики. Интервью «Юнайтед пресс». Любекская делегация, фрау Фермерен, сенатор Эверс, господин Марти⁹. Явились полнейшим сюрпризом. <...> Более красивого, гармоничного, радостного хода праздника нельзя было себе и представить. В час ночи лег в постель.

Цюрих, пятница, 9.VI.50.

Продолжающаяся, возрастающая жара. Сегодня утром К. с легким багажом покинула отель и, сопровождаемая Эрикой, переехала в клинику Хирсланден. <...>

Цюрих, воскресенье, 18.VI.50.

<...> — Каждое утро разговор по телефону с К. План переселиться в отель Дольдер. Катина операция назначена на вторник. <...>

Цюрих, пятница, 23.VI.50.

Много горя и беспокойства из-за боли, которая мучает К. <...> Вчера к вечеру у нее. Она призналась, что позавчера, после того как она отослала Эрику и Голо¹⁰, у нее был нервный приступ отчаяния. В последнюю ночь боль была меньше, но только меньше. <...>

Цюрих, Дольдер, четверг, 29.VI.50.

<...> — Газеты о Корее. <...> Разбирался с письмами. Отклонил полуофициальное предложение занять в Восточной Германии пост, на который был приглашен Генрих¹¹. <...>

Цюрих, Дольдер, понедельник, 3 июля 1950.

Снова ясный, жаркий день, хотя вчера вечером сверкали молнии. <...> Заглянул в роман Зегерс «Мертвые остаются молодыми». Хорошее знание народа и простой жизни эпохи, переданное с помощью жаргона, окрашивающего никакой, в сущности, стиль. Без какого бы то ни было пренебрежения констатирую отсутствие всякого артистизма и языковой радости. Также и юмора, и пародии. Храни меня Бог от пренебрежения. Это действительно «социалистический реализм» и хорошее повествование. Но в сколь же большей степени я стою на «буржуазной», «формалистической» стороне, сколь ближе оказываюсь к Джойсу и Прусту! Даже к Хаксли. При этом ощущаю игру, остроумие и иронию как вакуум и стыжусь моего незнания народной жизни. В конечном счете мое творчество — это паллиатив, с некоторой культурной привлекательностью. Сколько, однако, славы и даже благодарной любви сумело оно снискать! — Работа с рукописью. Небольшие корректуры в последней главе. — В полдень с К. После стола в зале с мистером Мампеллом из Америки. За столом разговор с Францем из Тегернзее¹², который время от времени обслуживал. Его родители живут там и ведут «собственное дело», которое впоследствии перейдет к нему. Он очень горд тем, что знает Гангхофера, Тома и Слежака¹³. Спросил о его фамилии, которая, кажется, Вестермейер или что-то в этом роде, затем об имени, что главное. Что за милое лицо и какой приятный голос! «А это для вас». Было бы очень естественным сказать ему «ты». — Подголовники для моей кровати: важное усовершенствование. В полшестого поездка с Эрикой по Баден-Бернерштрассе к Салису в замке Брунегг. Собиралась гроза, но не началось. Общество Линдтбергов, Редеров и еще кое-кто. Вермут в саду. Неважный ужин в рыцарском зале. <...> Линдтберг рассказал мне о чудовищном русском фильме «Падение Берлина». Высочайшее техническое мастерство и отличная игра актеров рядом с детской примитивностью. — При возвращении в одиннадцать нас еще ждал Файст. Ушел очень усталым и читал еще на ночь чванные сообщения о положении в Корее, позиции Лондона и т. д.

Пятница, 7.VII.50. Цюрих, Дольдер.

Со вчерашнего дня грохочущая дорожно-строительная машина перед домом. Очень мучительно. Встал в полдевятого. По телефону с К. Сообщил о вчерашних визитах. У нее боли после операции на груди. — Облачная погода. — Усталость со вчерашнего дня. Занялся всякого рода корреспонденцией. К рукописи не притрагивался. Днем у К. Приезд Терезы Гизе, которая после обеда (слишком долго) навещала К. Пока мы дожидались времени визита к проф. Трауготту, небольшой разговор с Вестермайером, которого я давно не

видел. Очень милый голос. Ему думалось, он должен мне сообщить, что «пришел Цукмайер». Хотел бы остаться еще немного в Швейцарии. Хотел бы в одном из женевских отелей <работать> «на кухне» и выучить французский. Эрика дернула меня за рукав в то время, как я еще смотрел в его лицо, и заставила меня беспокоиться. Пожалуй, не следовало более затягивать этот разговор в зале, однако мне были вполне безразличны взгляды, которые, возможно, наблюдали за сердечностью моих прощальных кивков. Он наверняка заметил, что нравится мне. Я сказал, между прочим, Эрике, что симпатия к красивому пуделю не особенно отличается от этого и что это не более сексуально. Во что она не совсем поверила. — Стало быть, у Трауготта, его замужней дочери, его выросшего в Америке племянника. Привез профессору экземпляр «Фаустуса» с благодарственной надписью. Беседа не скучнее, чем любая другая. <...>

Цюрих, Дольдер, суббота, 8.VII.50.

Раздумья о моих чувствах к юноше, в которых действительно много от любви к созданию. В желаниях не зашел далеко. Позабавила мысль, что тысячи могут наслаждаться коротким разговором как счастьем и наградой — из-за того, что им нечто примерещилось. Несправедливость жизненного выбора. Затем вспомнилось: «Кто глубины постиг, жизнью любуется»¹⁴. Часто цитировал! — Ночью мне снилось, что Фридо, оказывается, девочка. Это было мне очень неприятно. — — Ясная, не слишком жаркая погода. Покончив с почтой (корректур «Волшебной горы» для Вены), немного поработал над новой главой. Днем у К., чье выздоровление счастливым образом продвигается, хотя она нуждается еще в очень бережном обращении. — <...> Чувство к юноше затрагивает по-настоящему глубоко. Постоянно думаю о нем и пытаюсь подгадать встречи, которые легко могли бы стать стимулом. Его глаза слишком хороши, его голос слишком вкрадчив, и хотя мои желания не заходят далеко, все же моя радость, нежность, влюбленность полны энтузиазма и дают пищу на целый день. Я бы с удовольствием сделал ему приятное, помог бы с Женевой или что-нибудь в этом роде. Расположение, которое я к нему чувствую, он наверняка давно уже приметил, — что, естественно, соответствовало бы и моим желаниям*. Никогда бы не подумал, что эта поездка принесет с собой нечто подобное. В прошлые — не было ничего «для сердца». Попытался попить чаю на террасе, но передумал и прошелся прекрасной дорожкой по лесу, не встретив его ни на пути туда, ни при возвращении. Эрика между тем у К. С обеими шутя о нем и моей слабости к нему. — Возвращение Эрики с Терезой Гизе, которая отужинала с нами. Затем с нею в моей комнате. Много о Брехте, его театральном гении и, одновременно, путаном теоретическом доктринерстве. — В Америке частичная мобилизация, призыв, начало военной экономики. Легкий страх перед возвращением. Передовица Липпмана о разнице между Гитлером и Сталиным. Последний пытается избежать ошибок первого, и, в основном, тем, что дьявольским образом *соблюдает* договоренности. Очень забавно.

Цюрих, Дольдер, воскресенье, 9.VII.50.

Чудеснейшее, ясное, свежее утро. Мысли о юноше. Эта страсть все же не увлекает без остатка, — вот сегодня я не побрился вовремя и не приготовился, чтобы завтракать в саду в его присутствии. Боязнь, скрытность или просто уют? — Как обычно, пил кофе и взял к нему беллергаль**. По телефону с К.,

* Ср. с тем, как эта ситуация дистанцирована и увидена извне в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» — в том эпизоде, где служащий официантом в парижском отеле герой сталкивается с чувствами пожилого шотландского лорда: «Голос у него (лорда Килмарнока. — И. Э.) был очень мягкий, и я старался еще мягче отвечать ему, лишь много позднее осознав, что это было нехорошо с моей стороны. Дымка меланхолической приветливости окружала этого, видимо, много выстрадавшего человека. Я не мог быть к нему жестокосердным. Я был очень приветлив, обслуживая его. Но ему это пошло во вред (курсив мой. — И. Э.). <...> С неделю наши отношения сводились к учтивым пустым разговорам, но затем я с удовольствием, не чуждым тревоги, убедился, что он проявляет ко мне участливый интерес» (VI, 475). (Примеч. перев.)

** Ср. в «Признаниях авантюриста Феликса Круля»: «Он (лорд Килмарнок. — И. Э.) курит, — подумал я, — хорошую сигару и запивает ее кофе. В высшей степени уютное заня-

которая на своей террасе восхищена прекрасным утром. Церковные колокола. — <...> Покончив с некоторыми другими делами и пространным письмом Рихнеру о его «эпиллионе», немного поработал над главой. — <...> Чай на террасе с актером Кальзером. Усерден, начитан, увлечен. В сентябре должен играть Шейлока¹⁶, что вызывает в нем и гордость, и немалую тревогу. Едва ли ему это по плечу. Я был возбужден, поскольку ожидал, что на террасе появится Ф. В. Однако его не было. Чувствовал себя не лучшим образом, тем не менее прошелся с Кальзером по лесу и разгорячил себя прогулкой сверх меры. — — *Итак, еще раз это, еще раз любовь, восхищение человеком, глубокое влечение к нему* — этого не было 25 лет, и все же это должно было еще раз со мной случиться. Вечером впервые юноша обслуживал столики вблизи нас. Профессиональная ловкость, учтивость и виртуозность движений. Обратил внимание на его недостатки: профиль едва ли заслуживает воспевания, в то время как в фас лицо выигрывает необычайно, а сдержанный, учтивый, окрашенный мюнхенским диалектом голос трогает «до глубины души». Затылок несколько грубоват, сложение крепкое. Лет, должно быть, около 25, уже не мальчик, но молодой человек. Волосы каштановые, немного вьются. Руки изящнее, чем я думал. Перекинулся с ним несколькими словами. Вначале он смотрел на меня — заметил ли я его присутствие, — затем, однако, появлялся возле нас редко; сервировал в основном говорящий по-французски итальянец в черной бабочке, а его допускал только изредка для незначительной помощи. — После этого чувствовал себя очень взволнованным и радостным в покое моей комнаты. <...>

Цюрих, Дольдер, понедельник, 10.VII.50.

<...> Испытываю гордость за мою невзирающую на возраст витальность, равно как и за все это эмоциональное событие. Банальная активность, агрессивность, попытки разведать, каковы его собственные желания и как далеко это может зайти, не имеют никакого отношения к моей жизни, жизни, которая нуждается в тайне. К тому же для этого нет никакой возможности и удобного повода. Неприятие *очень сомнительной в предлагаемых ею возможностях счастья действительности*^{*}. Вчера с Кальзером о невероятно распространенном здесь гомосексуализме и о Вельтерли<не>, который чересчур активно использует свое положение. Странно, что дело не доходит до скандала. — — <...> Днем посетил К. В 5 часов снова поехали (в ее госпиталь. — И. Э.) в Хирсланден. Эрика паковала вещи К., которая впервые была в дорожном платье. Книги и сладости в подарок медсестрам, которые вышли к машине, когда я вел К. Поездка сюда наверх.

Цюрих, Дольдер, вторник, 11.VII.50.

<...> Отъезд в Сильс-Мария уже близок. Никак не выйду из нервного состояния полунедомогания. — <...> Все пронизано и затенено неутоляемой печалью о юноше; боль, любовь, нервное ожидание, ежечасные мечтания, рассеянность, мука. Мельком видел его лицо, это меня опьянило, поднимаясь сюда в лифте. Он и знать обо мне ничего не желал. Его интерес к моему учас-

тие, а уют — все же малый сколок счастья. Временами приходится им довольствоваться» (VI, 480). Звучит, конечно же, довольно грустно: ведь этим «малым сколком счастья» взамен витального осуществления приходится довольствоваться не «временами», а фактически всю жизнь. И все же сколь велика психологическая требовательность Томаса Манна к себе, если этот безобидный пассивный «уют» наедине с чашкой кофе не только подозревается в родстве с «боязнью» и «скрытностью», но и открыто переносится в перспективу чужого ироничного видения. (Примеч. перев.)

* Ср. в «Признаниях авантюриста Феликса Круля»: «Не ведающий сомнений инстинкт противился такой дареной и к тому же подмоченной действительности, предпочитая ей царство игры и мечты, то есть самовластие фантазии» (VI, 484). Из этих соображений Феликс отклоняет предложение лорда последовать за ним в Шотландию и поселиться в его замке. Он следует здесь «инстинкту», жизненному чувству авантюриста и художника: в выборе между «самовластием фантазии» и «сомнительной», «подмоченной» действительностью он един со своим автором. Таким образом, Томас Манн как существо эмоциональное перевоплощается в этом эпизоде в лорда Килмарнока, а как существо духовное живет в своем герое-авантюристе. (Примеч. перев.)

тию, мне кажется, угас*. Мирская слава и без того достаточно для меня безразлична, но рядом с его улыбкой, взглядом, мягкостью его голоса она вообще теряет всякое значение! Платен¹⁶ и другие, среди которых я не последний, переживали это со стыдом, болью и чувством уныния, в которых, однако, была и своя гордость. Сколь незначительна при этом воля к осуществлению. В конце концов, ведь существуют возможности целеустремленно следовать чувству, подгадывать встречи. Если бы я утром сразу оделся и завтракал на террасе, легко могло выйти так, что он бы меня обслуживал. В том, что меня удерживает, кроме страха потрясения и вынужденности хранить тайну есть еще и удобство, уют — воля, противовесная активности и предприимчивости, — несмотря на всю взволнованность! — Еще три дня, и я вообще больше никогда не увижу этого юношу, забуду его лицо. Но не это приключение моего сердца. Он принят в галерею, о которой не сообщит ни одна «история литературы» и которая, через Клауса Х., ведет назад к тем, в царстве мертвых, — Паулю, Вильфри и Армину.

Цюрих, Дольдер, среда, 12.VII.50.

Спал очень хорошо с помощью таблеток — поначалу несколько часов в кресле. <...> Корреспонденция. Очень приятный отзыв о французском «Фаустусе» в «Лез этюдес», Париж. Подчеркнут религиозный элемент. Цитата из одного моего письма автору отзыва. С К. и Голо в лесу. Немного прошелся в глубь леса в одиночестве, в то время как они дожидались меня на скамейке. Ланч с Голо, без Эрики. По благоприятному стечению обстоятельств вышло так, что юноша почти всю трапезу обслуживал столики поблизости. Улыбки. Я показал его К.: «Вот этот с Тегернзее». Смешки и кокетства. Окликнул его Францлем. Попросил еще салату. Он обслуживал с вежливым изяществом, которое доставляет ему профессиональное удовольствие. Спросил о его перспективах в Женеве. «Все еще нет места». Именно это я и ожидал услышать. Зажег мне сигарету. Ожидание, пока разгорится спичка в его согнутой руке. Улыбки. Снова глубоко восхищен его лицом, его голосом. К. нашла его глаза очень кокетливыми. Сказал ей, он давно знает, что я питаю к нему слабость. Потом он исчез. Был очень счастлив и взволнован таким радостным и простым проявлением в отношениях. <...> Перед обедом прощание с Голо, который едет в Италию. Когда шел с К. из ресторана, встреча с тем. Поприветствовал его совершенно ненужным «хэлло», на что он лишь серьезно и недоверчиво ответил поклоном. Сумрачно и снова мучительно. Нужно больше присутствия духа. Дать ему 5 франков за его искусное обслуживание сегодняшним днем было бы верно. Страх, что больше не выдастся подходящий случай доставить ему радость. — Серьезное письмо Эрики Кнопфу. Подписал. — Читал Шпиттлера¹⁷. — Заснул с мыслями о любимом, так же как с мыслями о нем проснулся. «Словно там, где мы любили»¹⁸. Да, и в 75 — все еще. Еще раз, еще раз! И как похоже все это на бывшее, с его горестями и его просветлениями.

Цюрих, Дольдер, четверг, 13.VII.50.

<...> Письмо писателю О. М. Фонтана в Вену. Оставался затем в саду за чтением. Эмми Опрехт присоединилась ко мне. Аперитив с парой, К. и Эри-

* Ср. в «Признаниях...»: «Не подлежало сомнению, что встречи со мной несколько раз на дню шли лорду во вред. Но я не мог <...> сделать их безвредными, хотя изгнал из своего обращения оттенок ласковой предупредительности, стал холоден и официален, ранил чувства, мною же возбужденные» (VI, 478). Ироничными устами своего юного героя Томас Манн оценивает здесь себя как малого ребенка или неискушенную девицу, которым то или иное отношение окружающих может пойти «во вред» или во благо, сбить с толку или вернуть в разумные рамки. Он сам, таким образом, становится в романе объектом педагогической работы, а его смятенные, растревоженные чувства — объектом «воспитания чувств». В этом самодистанцировании и самовоспитании мы видим ярчайший пример его духовного господства над собственной судьбой — того, о чем Т. Манн писал еще в дневнике 1918 года: «Некий культ своей судьбы позволителен художнику, и дистанцировать эту судьбу, преобразуя ее в художественное произведение, есть по-настоящему объективный, т. е. мужской род субъективности — это тоже способ, и не худший, быть духовным господином своей судьбы. В этом заложена даже определенная воля к приключению, авантюре <...> Я сделал из своей судьбы <...> роман, материал которого принадлежит по большей части моей фантазии и духовным хозяином которого я являюсь» (5.XI.1918). (Примеч. перев.)

кой в зале. Обед влятером за угловым столиком. Отчасти снова обслуживал юноша. Я был усталым, болезненным, угнетенным и нервным из-за его присутствия. Серьезно. Мне было мучительно, и я не принимал участия, когда Эрика сказала о кельнере: «Этот господин из Мюнхена» и т. д. Глубокое страдание. Отсутствие аппетита*. Был рад, когда вслед за К. гости ушли и я был предоставлен самому себе в его обществе. Один раз он стоял совсем близко ко мне, и я попросил его принести томатный суп. Его очень учтивая реакция. Он подал с изысканной заботливостью. Неожиданно он подбежал и поднес мне спичку к сигарете. Мой взгляд был усталым. Я видел, как он довольно рискованно потешался над разряженной, как привидение, тощей старухой, принадлежавшей к национально неопределимой компании за соседним столиком. Он глядел и смеялся про себя, сохраняя внешнюю почтительность. <...>

Цюрих, Дольдер, пятница, 14.VII.50.

Несколько часов глубокого сна. Проснулся рано с чувством утраты. Сегодня нужно паковать багаж. Для этого около одиннадцати придет мюнхенско-кюснахтская¹⁹ Мария. Я не знаю, будет ли еще благоприятная возможность сказать ему «адье», пожелать всего лучшего. Кончено. Возможно, уже конечно, и это будет, пожалуй, облегчением — возвращение к работе как эрзац счастья: так должно быть. Это участь (и происхождение?) всякого гения. — — Кое-какая корреспонденция. Мария. Начали паковаться. Очень тяжелый воздух. Был на террасе, на веранде. Дождь. В основном обслуживал Францль. Спокойная дружеская беседа с ним о планах насчет Женевы, рекомендации, написанной для него другом, сыном хозяина одного здешнего отеля, директору отеля Дю Рон. Сообщение о нашем завтрашнем отъезде. «О!» Несравнимо милое лицо. Был вполне счастлив (*sic venia verbo*) и успокоен после этого. Чувство утешительной гармонии. О Сильс-Мария, Энгадине²⁰ он ничего не знал. Пришел снова и пожелал нам хорошей погоды там наверху. — За чаем был в зале с доктором Байдлером и одним его другом-политиком. Юноша один раз, проходя мимо нашего столика, воспользовался случаем, чтобы дружески меня поприветствовать, на что я сердечно ответил ему через головы разговаривающих о Корее гостей. — Паковались. — В 8 часов ужин. «Он» был в зале. Когда я уходя поднимался с К. по ступенькам, он стоял, явно поджидая, возле лифта и хотел проститься с нами. Мы долго жали друг другу руки. Он: «Если нам больше не придется увидеться». Я не нашелся ничего ответить, кроме: «Францль, всего доброго! Вам уже нужно идти!» Он не был совершенно бесстрастен. Несравнимо милое лицо. Поспешил к лифту, сказал, пока мы входили, еще раз своим тихим, мягким голосом: «До свидания», на что я больше ничего не сумел ответить. <...> В счастливом расположении духа хвалил Эрике то, как мило он прощался. Рад, что под конец на все снизошла некая гармония. Болезненно и благодарно растроган. Должно быть, он почувствовал мое расположение — исподволь, даже то нежное, что в нем было, — и обрадовался ему. Он видел, с какой почтительностью Байдлер прощался со мной в вестибюле**. То, что он меня покорило, должно плодотворно сказаться на его уверенности в своих силах, возможно даже более чем. Вероятно, подобное с ним еще не случалось. Можно быть почти уверенным, что я его никогда боль-

* Можно предположить, что этот реальный эпизод Томас Манн держал перед глазами, работая над следующей сценой: «— Что делать, нет аппетита, — отвечал он (лорд Килмарнок. — И. Э.). — И никогда не было. Я всю жизнь испытывал отвращение к приему пищи. Возможно, это признак известного самоотрицания. <...>

В его взгляде, как всегда, было что-то принужденное, *преодоление чего-то мне неизвестного* (курсив мой. — И. Э.). Только на этот раз я видел, что усилие такого преодоления ему приятно» (VI, 477). Здесь очень показателен чисто манновский внезапный, но исподволь подготовленный и обоснованный переход «пустячной» бытовой детали в глобальное, характеристичное обобщение — мотив «самоотрицания», который — теперь мы это знаем — во многом определял внутреннюю жизнь самого Томаса Манна. (Примеч. перев.)

** Ср. в «Признаниях авантюриста Феликса Круля»: «...ибо здесь я столкнулся <...> с личностью, чьи чувства немало весили на весах человеческих, так что я не мог советовать ему юмористически отнестись к ним или сам над ними подсмеиваться. Не знаю, как другие, но я этого не мог (курсив мой. — И. Э.)» (VI, 474). Последняя фраза — почти вневелитературного свойства: как ключ к шифру, возвращающему нас от лорда Килмарнока к Томасу Манну. (Примеч. перев.)

ше не увижу и ничего не услышу о нем. Живи в вечности, ты, пленительная поздняя, волнующая любовная мечта! Мне осталось еще немного пожить, еще немного сделать и умереть. А ты еще созреешь в своей глубине и однажды уйдешь тоже. О, непостижимая жизнь, утверждающая себя в любви!

Сильс-Мария, воскресенье, 16.VII.50.

Он принял близко к сердцу, он почувствовал мою любовь и оказался достаточно горд для того, чтобы в некоторой степени ответить на нее и ощутить прощание по-настоящему*. В лифте он сказал напоследок: «Может быть, все-таки еще когда-нибудь увидимся, герр Манн». (Обращение мне не понравилось.) Но как мне жаль, что я не нашел в себе достаточно спокойствия, чтобы сказать ему в ответ еще что-нибудь сердечное. «Я надеюсь. Мне всегда было приятно видеть вас». Бежать! И все же прощание было утешительным и осчастливливающим. — <...> Холодно. А вчера вечером была жара. Не совсем понимаю, чем мне следует заняться. Вид на озеро и горы мало говорит мне, хотя вчера путешествие через Швейцарию, как всегда, сердечно меня порадовало. Мысли моей «последней любви» непрерывно наполняют меня, вызывая в представлении всю подпочву и подоплеку моей жизни. <...> — План послать оставшемуся вдали почтовую карточку с просьбой, чтобы он известил об успехе своих женеvских намерений, и сказать ему: «Я не забуду вас».

Сильс-Мария, понедельник, 17.VII.50. Вальдхауз.

<...> С четырех часов снова беспокойство. Утром негодование из-за перебоев с водой. (Нет напора; ожидание горячей воды.) Чай — завтрак на балконе. Очень холодно. Переписал заключительные слова из «Моего времени» для выставки автографов в Геппингене, Вюртемберг. Написал еще и другое. Написал следующее оставшемуся вдалеке: «Господину Францу Вестермайеру, служащему гранд-отеля Дольдер, Цюрих. Дорогой Францль, я был бы рад услышать от Вас о письме Вашего друга директору отеля в Женеве: отправлено ли оно или даже, быть может, уже привело к желаемому результату. Если я сам могу быть Вам полезен какой-нибудь рекомендацией, сообщите мне, пожалуйста. Я сделаю это с большим удовольствием. — С дружескими приветами Т. М.». — Сухой документ участия? Ответит ли он? И как? Естественно, писание дается ему с трудом. И все же как хотелось бы мне получить хоть что-нибудь, вышедшее из-под руки, которая так сердечно пожимала мою.

Сент-Мориц, вторник, 18.VII.50. Сювретта-Хауз.

Хотела бы я всласть
к власам его припасть,
а коль возалчет сам —
к его губам**.

Стихи из молитвы Сибиллы вспомнились мне, как ни странно, только сегодня утром. Беспокойный сон, неустойчивые нервы, взволнованное сердце. При этом удовлетворенность удобством жилья с прекрасным видом на озеро, лес, высокогорье. — Вчера обед в ресторане гостиницы, который напоминает большой пароход. В зале за кофе разговор с Эрикой и К. о положении в Аме-

* И в романе напоследок и задним числом — тоже немного «утешительной гармонии», немного мягкой иронии и добрых слов в свой адрес из уст Феликса: «Смею вас заверить, никакое время не изгладит из моей благодарной памяти дни, когда я вас обслуживал, давал вам советы, какие выбрать сигары, и радовался тому мимолетному участию, которое вы во мне приняли. И кушайте побольше, милорд, если мне позволено просить вас об этом! Ибо ни один человек на свете не в состоянии сочувствовать вам в вашем самоотрицании.

Вот что я говорил, и какое-то благотворное действие мои слова все же на него оказали. <...> Затем он повернулся и вышел. У меня нет слов, чтобы описать деликатность и великодушные этого человека» (VI, 486). И на этом лорд Килмарнок покидает повествование, с британской невозмутимостью навсегда исчезает из поля зрения, оставляя иллюзию, что он был всего лишь странным и случайным персонажем мирового театра, и унося с собой тайну своей идентичности с автором. (Примеч. перев.)

** См. XIX главу романа «Избранник» (VI, 159).

рике и нашем будущем там в случае войны и даже этой продолжающейся полувойны — при возрастающем шовинизме и преследовании всякого нонконформизма. Лишение паспортов довольно безопасно, раз они не общегражданские. По словам Эрики, Голо считает, что мы сейчас вообще не должны возвращаться. Мысль о повторяющейся эмиграции маячит уже давно, и этот дневник возвращается до некоторой степени к своему началу — Арозе 1933-го. <...> — Написал письмо по-английски. Делал заметки к Грегориусу. Под полуденным солнцем немного прошелся с К. по лесной дорожке. Ланч в ресторане. Снова разговор о нашем положении и будущем. Очень живо вспоминается Ароза 1933-го. И все же я снова думаю, что при моем положении в Америке, многих друзьях, которые у меня там есть, самым разумным было бы возвратиться домой, отказаться от всякой политики, создать еще что-нибудь стоящее и переждать происходящее. В случае мировой войны Европа не менее страшна. Всюду живешь наудачу. — <...> Получил от Мюленштайна его переводы из Микеланджело (вместе с оригиналом), которые глубоко затронули меня своей трагической смятенностью и болью любви.

*Perche pur d'ora in ora mi lusinga
La memoria degli occhi e la speranza
Per cui non sol son vivo, ma beato...*

«Воспоминание о глазах и надеждах, которыми я не только жив, но и счастлив»^{*}.
И еще многое другое! —

Сент-Мориц, среда, 19.VII.50.

*La forza d'un bel viso a che mi sprona?
Ch'altro non e ch'al mondo mi diletta!*

Быть может, более, чем я осмелюсь верить,
Твой дух, который это пламя зрит,
Меня немой взаимностью дарит^{**}.

*Nel vostro fiato son le mie parole.
В твоём дыхании мое родится слово.*

*Ch'all alte cose nuove
Tardi si viene e poco poi si dura.*

Природа так, лепя за ликом лик,
В тебе пришла к божественной вершине^{***}.

<...> Поднялся около восьми после довольно спокойной ночи. Что меня сейчас особенно привлекает в тех стихотворениях, это «полноправие» старости в любви, которое я разделяю с меланхоличным ваятелем, как и с Гёте и Толстым. Чрезвычайно стойкие натуры. «Я стал себе дороже, чем бывало, с тех пор, как ты здесь — на сердце моем»^{****}. — — Вчера еще много об Америке и нашем будущем, по поводу невозвращения, о посредничестве Неру, злосчастном страхе правящих там перед своими националистами, Маккарти и его терроре. Они едва ли смогут повернуть назад, едва ли примут китайскую народную демократию в ООН, а это все же необходимость. <...> Вопреки всему я склоняюсь к возвращению, спокойной позиции, работе, выжиданию. Мы не отрезаны от нашего фундамента, как в 1933-м. Стоит мне подумать о выставке в Йеле²¹, поведении людей в Вествуде (магазин Барбера и т. д.), как мне не верится, что нам будет там так же неприемлемо, как было бы в 1933-м в Германии. —

Сент-Мориц, четверг, 20.VII.50.

<...> — Стихи Микеланджело занимают меня с неослабевающей силой. Мне хотелось бы написать о них. Эта чувственно-сверхчувственная любовная болезнь, эта платоническая смятенность души, которая постоянно осмысляет свою подвластность прекрасному как любовь к Богу и духовному, эта грубость

* Перевод Е. Эткинда (X, 459).

** Перевод А. Эфроса.

*** Перевод А. Эфроса.

**** Перевод А. Эфроса.

В описании собственного урожая, собственного жизненного ничтожества очень захватывают меня. — — Продолжил главу («Камень»). Пара почтовых карточек. Отсутствие почты, почти полное, в общем и частном. Если бы юноша в белой куртке знал, как я сгораю от нетерпения получить хоть пару строчек от него, он бы немного поторопился с ответом.

Сент-Мориц, пятница, 21.VII.50.

Встал около восьми. Ясное небо. Начал писать рецензию на стихи Микеланджело. <...> — К чаю поехали в Сильс к Гессе. Дорогой человек, со старым и худым лицом. О его письмах. Попросил, чтобы я ему почитал дальше из «Грегора». — Письмо Агнес Мейер, отчасти очень комичное в ее американской наивности. — 700-летний юбилей Веймара. Нужно что-нибудь написать. — Почта по недоразумению шла из Дольдера в Вульперу, а не в Сильс. Это, однако, не имеет отношения к отсутствию ответа юноши. Почему он не пишет мне, что почтен и обрадован? Любимый болван! А я? «В твоём дыхании мое родится слово»!

Сент-Мориц, суббота, 22.VII.50.

Писал «Микеланджело». <...> Много почты из Пасифик Пэлисейдс и из Вальдхауза. Много чтения, в том числе и газеты. Брошюра доктора Э. Хоффмана из Граца: «Т. М.: патолог-терапевт?» Не обижаюсь на всю его «амбивалентность» и порицания потому, что он видит в «Фаустусе» потрясающий документ автопортретирования, который можно поставить в ряд с великими исповедальными произведениями мировой литературы. <...>

Сент-Мориц, среда, 26.VII.50.

Слишком долго спал. Ванна и одевание вперемежку с завтраком. Спешу сесть за работу. — После двух великолепных дней облачно. — Продолжал работать над статьей, которую я люблю. — <...> С послеобеденной почтой одновременно корректура «Моего времени» из журнала Харпера, в которой сделано только одно маленькое изменение из-за Кореи, и — милое, простое письмо от «Францля Вестермайера». Так он себя называет, клоня к тому, что я его всегда так называл. Он «действительно очень обрадовался, что я думал о нем» (думал о нем). Получил свое место в Женеве, однако должен еще до конца сезона оставаться в Дольдере. Еще раз сердечно благодарит за все. — Письмо, содержащее маленькие грамматические ошибки, раскрыл и читал под рукой во время разговора. Был тронут и счастлив, что он «действительно очень обрадовался», в чем я ему верю. — Обед с Требитчем. Его комическое удивление по поводу политической осведомленности Эрики. — Просмотрел старые главы «Грегора».

Сент-Мориц, пятница, 28.VII.50.

Встал чересчур поздно, около половины девятого. Ясное небо. Во мне остались слова: «Я действительно очень обрадовался, что Вы думали обо мне». Кстати, ничего нет для меня милее, чем когда Эрика шутит по поводу тех дней, разговоров с ним, подарка в 5 франков и т. д. — <...> Большое вечернее общество у Мотшанов. <...> Удивительный кот Опелей: родился в концлагере белым, но постепенно стал полосатым, вероятно, из-за тюремных решеток.

Сент-Мориц, воскресенье, 30.VII.50.

В полтретьего ночи бродил по коридору; услышал вдали музыку и пошел к дальней лестнице, где некоторое время слушал, перегнувшись через перила. Внизу еще танцевали. Проспал и встал только в 9. Быстро принял ванну и позавтракал, одеваясь. — Закончил статью «Эротика Микеланджело». <...>

Сент-Мориц, понедельник, 31.VII.50.

<...> Эрика перепечатала статью о любви. Редактируя, разочаровался в ней. А я работал с таким пылом. Теперь она кажется мне вялой и не очень

хорошо написанной. <...> — Пришли экземпляры «Моего времени» брошюрой из нового издательства «С. Фишер». Читал и был удовлетворен больше, чем эротической статьей, которая все же была мне куда ближе. «In tuo fiato son le mie parole». Это останется мне.

Сент-Мориц, среда, 2 августа 50.

Непрекращающийся дождь. Темно. Искусственный свет. — Простудился, насморк. — Неясность нашего будущего. — Как я провел здесь дни?! Статья о любви кажется совершенно ненужной <...> Ожидание новостей о ходе первого заседания Совета Безопасности под председательством России. — <...> В книге о Ватикане. Неприязнь этого Бернхарта²², которого я вполне раскусил, к Ренессансу. Восхищение Савонаролой, когда он перед этим говорит о «ригористах». Бестия Гёте, как и всегда в католической культуре. <...> Обед (плохой аппетит) с Требитчем, который рассказывал забавные истории из своего кавалерийского прошлого. Его жена собирается с ним в Дольдер, чтобы еще раз повидать нас во время нашей последней остановки в Цюрихе. Намерение *не* подниматься с ними туда и передать привет юноше только через Эрику. Отречение. Лишний раз лучше не надо. — Свара в Совете Безопасности. Неловкость русских, которые никогда не умеют найти верных слов. Притупленность нравственного чувства. — <...> Разоблачения «дела» с греческим лагерем (лагерь для ссыльных на острове Макроннисос. — *И. Э.*) и «оврагом» в нем. Вызывает ужас. Мы терпим это; но не терпим ничего «большевистского». <...>

Сент-Мориц, четверг, 3.VIII.50.

Редактура и сокращения статьи о Микеланджело. <...> Письмо Адорно вместе с отдельным оттиском о Гуссерле, в котором я ничего не смыслю. Пишет о книге Х. Майера. Считает возобновление Байрёйта²³ и возвращение Хайдеггера в состав академии опаснейшими симптомами <...>

Сент-Мориц, пятница, 4.VIII.50.

<...> Состояние нервов не очень улучшилось. Не хватало еще, чтобы я снова увидел юношу! Соблазн тем не менее велик. — Адорно рекомендует возвращение в Америку ради устоявшегося там жизненного уклада, который единственно плодотворен для работы. — История, личность, деятельность Лютера хорошо описаны Бернхартом. Так же и в том, что касается Эразма. Боюсь, что никого не удовлетворяющая, хотя и выдающаяся роль последнего родственна моей. <...>

Сент-Мориц, воскресенье, 6.VIII.50.

<...> — Красота издали. *На теннисной площадке внизу* в определеннь. утренние часы молодой аргентинец, и так превосходный игрок, совершенствуется с тренером. Темные волосы, лицо не вполне различимо, стройного, удивительного сложения, ноги Гермеса. Размашистые удары, артистичное обращение с мячом, шаги, бег, прыжки, задорное пританцовывание, когда есть к тому повод. Упругая беспокойность корпуса, сменяющаяся полной инертностью на скамейке. <...> — Боль о том, в Дольдере, под влиянием воздуха, прекрасного ландшафта, душевного подъема, смешанного с недомоганием, которое на меня здесь навалилось, углубилась и усилилась в эти дни до всеобъемлющей печали о моей жизни и ее любви, об этом лежащем в основе всего безумном и все же страстно утверждаемом восторге перед *несравненным, ничем в мире не превосходимым* очарованием мужественной юности, которое издавна — мое счастье и беда; невыразимо, восхищенно и немо; никаких «promesse de bonheur»*, а только потребность, не слишком определенная, желанно-недоступная желанию. — Подписывая экземпляр, перечитал главу «О красоте» в «Юном Иосифе». Шутки о наиглубочайшем во мне. Иллюзорное, неуловимое, как облако, непостижимое и все же болезненно-восторженнейшее, бессмыслица и заклятие — фундамент творческой потребности. — — «В твоём дыхании мое родится слово».

* Обетований счастья (франц.).

<...> — Старик Требитч увлечен Эрикой. Читал ей влюбленное прощальное стихотворение. «И это со мной должно было случиться еще в 80!» Что ж, ему хорошо. — Эрика указала в ресторане на одного молодого человека вполне заурядной наружности, предположив, что это и есть теннисный бог. Светлячок на раскрытой ладони. Иллюзия! Иллюзия! Старику Требитчу куда лучше. Характер, дух, личность, остроумие, одаренность и к тому же прекрасные глаза влюбили его по уши самым законным и галантным образом. Завтра он уезжает. — <...> Очень смущен всем написанным и не-написанным. <...>

Цюрих, Бор о лак, суббота, 12.VIII.50.

<...> Часто думаю, что я в этой поездке слишком много *забывался*, — ради юношеского очарования, красивых лиц. Это на самом деле лишает чувства собственного достоинства, делает старым и тяжелым, болезненным и завистливым — чему уж никак не позавидуешь. Теперь туда же, в состояние истощения чувств, затягивают насущные жизненные вопросы калибра 1933 года, и некоторым образом даже более тяжкие, особенно потому, что мы так постарели. Глубокое нежелание лишать себя поддержки, которую в нашем возрасте, во всяком случае в моем, означает Эрика. — <...>

Цюрих, вторник, 15.VIII.50.

<...> — Около полудня с почтой (швейцарский отрывной календарь со статьей Фидлера обо мне) сидел в саду на затененной скамейке. Затем последняя поездка с Эрикой в «минксе» наверх в Дольдер, в гости к Требитчам. Ланч с ними в ресторане. Обслуживали незнакомые. Похоже, Эрика под предлогом телефонного звонка позвала юношу сказать нам «добрый день». Он был занят чем-то в служебном помещении ресторана, пока мы с Требитчем шли к столу. Мои глаза все время искали его, но не решались поверить, что это он. «Да это же Францль!» Он подошел. Рукопожатие, радость. «Это же прекрасно, что снова увиделись!» Его очаровательное, игривое и все же при этом взволнованное выражение лица и движение головой при изустном повторении: «Я действительно *очень* обрадовался вашему письму!» Я радовался его хорошим новостям. Но они тем временем стали плохи. Вакансию в Женеве нужно было занимать немедленно, а он связан до конца сезона с Дольдером. Так что «он стоит перед ничем». Я участливо дотронулся до его руки. Ну, найдется что-нибудь другое. Видел его лицо во всех подробностях: <...> чуть раскосо посаженные карие глаза. Крепкая голова и туловище при некой детской нежности его существа, манеры говорить. «Как я писал вам: если я каким-нибудь образом могу быть вам полезен». — Попросил его написать мне о том, как будут продвигаться его дела. Попытался объяснить мой адрес. Он положился на то, что узнает его у администрации... <...> Сильное дружественное рукопожатие при прощании. — <...>

Цюрих, среда, 16.VIII.50.

<...> — Вчерашняя встреча сильно сказывается на душевном настроении. Сущность любви — в удивительнейшем, прокладываемом симпатией упразднении физического неприятия другого существа: не остается никакого отвращения к слишком близкому соприкосновению, к чуждой телесности. <...> Это первично, однако сейчас только становится желанием. Не обязательно сильным желанием и вожделением, страстью. Это может продерживаться и в негативном, в отсрочивании телесных взаимоотношений, оставаться нежностью, короче, тем, что называют «душой». — Не уверен, так ли это. Счастье реального соединения и объятия очень сомнительно. — <...>

Лондон, воскресенье, 20.VIII.50.

День возвращения в Америку. <...> Настроение у меня горькое, фаталистичное, готовое к худшему, но перспектива обрести в нашем доме покой позитивна. Апатичный и усталый от волнений, я надеюсь там за несколько месяцев завершить роман, что всего важнее. <...>

Нью-Йорк, понедельник, 22.VIII.50. Отель Сент-Реджис.

<...> Переезд был действительно дикой авантюрой. Читал «Подростка» Достоевского в переводе Корфица Хольма, который мне кто-то подарил. <...> Полная поглощенность страстями, любовными заботами, более или менее освободиться от которой можно только с помощью творчества. Оно же, однако, в конечном счете — то, что всех нас кормит, и поэтому жизненно важно, чтобы я как можно скорее дописал дома Грегора до конца. — <...> Внезапное явление Агнес Мейер, которая намеревается отправиться в Европу, в том числе и в Германию, где хочет заниматься исследованиями и читать лекции. Предсказывает полную милитаризацию этой страны, в чем она, однако, не желает видеть приметы военной диктатуры. Несет поверхностную чушь, как и всегда. Поцелуи на прощание. — <...>

Нью-Йорк, вторник? 23.VIII.50, Ст. Реджис.

Вчера вечером ужинали с Коллином (и Моникой) в ресторане, возле кинотеатра, где крутят «Трудные времена» — итальянский фильм, на который Коллин нас, явно с пропагандистскими целями, захотел повести. Чувствовал себя неважно и заказал только минестроне и чай. Фильм не без достоинств, однако не так хорош, как «Похитители велосипедов». После этого был переутомлен, поторопился домой, принял 1,5 панадорма и сразу лег в постель. — <...>

Чикаго, Шорланд, пятница, 25.VIII.50.

<...> — Тоска и тяжесть. Тлеют воспоминания о виденной и возлюбленной юности. O Dio! O Dio! O Dio! Раненое сердце. In vostro fiato son le mie ragioni. Это не выходит у меня из головы, глаза, ноги Гермеса, la forza d'un bel viso*. — Это последняя остановка на долгом обратном пути, цель еще далека, и все достаточно ненадежно. Неясность будущего. Хотелось бы, чтобы оно предоставило мне достаточно покоя, чтобы я мог рассеяться в работе и собраться для работы, которая меня по-прежнему больше, чем что-либо, привязывает к жизни. Хотелось бы, чтобы скорее приехала Эрика! Хотелось бы снова увидеть Фридо! Возможно, хотелось бы еще раз написать юноше из Дольдера! — Взгляд на озеро вдали, берег, деревья, улицу со спешащими автомобилями. Слишком много страдал, смотрел разинув рот и восхищаясь. Слишком много позволял миру дурачить меня. Не лучше ли, чтобы всего этого не было? Это было, и рукопожатие, это «Я действительно очень обрадовался» останется мучительным сокровищем. — Для чего я пишу все это? Чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить? Или я хочу, чтобы мир знал меня? Я думаю, он и без того знает обо мне больше, по крайней мере среди сведущих, нежели мне в том сознается. — —

Чикаго, воскресенье, 27.VIII.1950.

<...> В 7 часов ужин с Боргезе²⁴, Петером Принсгеймом²⁵ и Калером²⁶, который приехал сюда. Меди²⁷ — добросовестная хозяйка. Поведение, безудержное эгоцентрическое бахвальство Боргезе, его монологи невыносимы и для Меди мучительны. — <...> Мне предстоит канитель долгой дороги в Лос-Анджелес, в которую мы отправляемся вечером. Но и она размотается до конца. Возвращение через sunset** (без Эрики) состоится, мы осядем в привычном, а там посмотрим... Я не вправе забывать, что подо всей мукой и болезненностью моей жизни заложена солнечная, благословенная основа, прорезывающаяся уверенно и полноправно. — —

* О Боже! О Боже! О Боже!.. В твоём дыхании мое родится слово... Сила прекрасного облика (итал.).

** Закат солнца (англ.).

Здесь, пожалуй, следует остановиться. Ибо так же, как это бывает в романах Томаса Манна, мотивы и темы этих дней и недель, описав вариационную дугу, пришли к своей очередной кульминации, к тому главному и центральному, что примиряет их друг с другом и со всей его жизнью, скрепляет эту жизнь в цельное и, несмотря ни на что, благословенное единство. Это — идея избранности, отмеченности «земным и небесным благословениями», которая «и в 75» заявляет о себе столь же «уверенно и полноправно», как это было и в двадцать, в той юношеской новелле «Паяц», где мы впервые встречаемся с нею: «Есть на свете род людей, видимо, любимцы Господни, чье счастье в их одаренности, и эта одаренность дает им счастье: лучезарные люди, с отблеском и отсветом солнца в глазах, легкой поступью, грациозно, чарующе и беспечно проходящие сквозь жизнь, и все теснятся вокруг них, все ими восхищаются, восхваляют их, завидуют им и любят, потому что и завистники не способны их ненавидеть. А они глядят на всех, словно дети, насмешливо, капризно, своенравно, шаловливо, с некоей солнечной приветливостью, уверенные в своем счастье и своей одаренности, и так, словно все это иначе быть не может...» (VII, 60 — 61).

Этот образ любимца судьбы, благословенного юноши-ребенка — самая постоянная из всех констант жизни и — как следствие — творчества Томаса Манна; в нем запечатлено нечто главное в нем самом: его «идеальное я», мечта о самом себе. Как пишет исследователь Томаса Манна Ханс Вислинг, «не будь этой мечты, как смог бы он перенести свою жизнь, те моменты и годы, в которые он ощущал угрозу извне или свою собственную слабость? Тайна этой жизни в неприкосновенности, более того, нетронутости изначальной ее мечты о счастливой избранности». Неприкосновенная эта мечта спустя почти столетия после «Паяца» снова воплотит «любимца Господня» из той новеллы в манновском Иосифе, манновском Гёте и Феликсе Круле. Однако пройдя через испытания длиной в жизнь, эта мечта приобрела характер психологической подлинности и реальности, это «идеальное я» стало мифологически-подлинным «я». «Так как, — будем честны, — продолжает в 1896 году рассказчик «Паяца», — важно, кем себя считаешь, за кого себя выдаешь, за кого имеешь смелость себя выдавать» (VII, 61). Из зерна этой психологической догадки вырастет ко времени работы над «Иосифом и его братьями» манновская «формула мифа», столь плодотворно и смело размывающая границы человеческого «я», что иной, подобно препровождающему Иосифа в темницу слуге, вправе воскликнуть: «Откуда у тебя, несмотря на твой жребий, берется чванство, ведомо лишь богам, с которыми ты обходишься так, что человека благочестивого берет сразу и смех и оторопь, и кожа у него пупырится, как у гуся. <...> Однако пупырится она <...> главным образом <...> от негодования на твою наглость, на то, как ты позволяешь себе отражаться в самом высоком и смешивать себя с ним, словно ты — это оно и есть, отчего твое «я» образует в воздухе какую-то ослепительную дугу, при виде которой начинаешь раздраженно моргать глазами»*.

Разумеется, всегда находились, находятся и найдутся люди, так же, как и слуга «Ха'ма'т из книгохранилища и из продовольственной кладовой», раздраженно моргающие глазами при виде этой ослепительной манновско-иосифовой дуги. Однако несправедливым будет, подобно «Ха'ма'ту из книгохранилища и из продовольственной кладовой», видеть в ней «неблагочестие», «чванство», нескромность. Так как то, что возвело вопреки всем законам притяжения и гнету тайных страстей эту «ослепительную дугу», не есть ни одно из перечисленных и неперечисленных свойств, а сама жизненная необходимость. Эта зависшая над жизненным и духовным горизонтами «ослепительная дуга», как магический мост, соединяет в творчестве Томаса Манна его идеальное и подлинное «я», соединяет его творчество с его жизнью, а саму эту проблематичную, разную, мучительную, порою столь несолнечную, неграциозную, дисгармоничную жизнь в гармоничное «внутреннее единство». «Это «внутреннее единство», — как пишет Ханс Вислинг, — отвоевано у настоящего, стремящегося к раздроблению и распаду и каждым своим жестом доказывающего, что такого единства больше не бывает. И добиться его, вопреки этому, означает триумф»**.

* Манн Т. Иосиф и его братья, т. 2. М. 1968, стр. 435 — 436.

** «Thomas Mann. Ein Leben in Bildern». Hrsg. v. H. Wysling und Y. Schmidlin. Zürich — München. 1994, S. 16.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эрика Манн-Оден (1905 — 1969) — старшая дочь Томаса Манна, актриса, журналистка и писательница.

² ...главами из Грегориуса. — «Грегориусом» или «Грегором» — по имени героя произведения — Томас Манн называет в дневниках и письмах свой роман «Избранник».

³ К. — этим инициалом Томас Манн обозначает в дневниках свою жену Катю, урожденную Принсгейм (1883 — 1980).

⁴ Опус 111 — фортепианная соната до минор, № 32, соч. 111 Людвиг ван Бетховена, разбору и описанию которой посвящен большой раздел в главе VIII романа «Доктор Фаустус».

⁵ Речь Хельблинга... — Карл Хельблинг (1897 — 1966) — швейцарский литературовед, автор первого швейцарского исследования о Томасе Манне («Образ художника в новейшей литературе», 1922).

⁶ Ганно Будденброк и Непомук Шнейдевейн — наиболее яркие в творчестве Томаса Манна детские «ангелические» образы (оба умирают, не переступив порога юности).

⁷ Биби — домашнее имя младшего сына Томаса Манна Михаэля (1919 — 1977).

⁸ Фридо — сын Михаэля Манна Фридолин, прототип Непомука Шнейдевейна (Эхо) из «Доктора Фаустуса».

⁹ Фрау Фермерен, сенатор Эверс, господин Марти — журналистка Петра Вермерен, однофамилица персонажа новеллы Томаса Манна «Тонио Крегер» Магдалены Вермерен, любекский сенатор Ханс Эверс, писатель Генрих Марти, потомок дяди Томаса Манна, ставшего прототипом Христиана Будденброка.

¹⁰ Голо — второй сын Томаса Манна, историк Ангелус Манн (1909 — 1994).

¹¹ ...приглашен Генрих. — Генрих Манн незадолго до своей смерти был приглашен на пост министра культуры ГДР.

¹² Тегернзее — горное озеро и курорт на юге Германии.

¹³ ...знает Гангхофера, Тома и Слежака. — Людвиг Гангхофер (1855 — 1920) — баварский драматург; Людвиг Тома (1867 — 1921) — редактор журнала «Симплициссимус», в котором Томас Манн опубликовал свои ранние новеллы; Лео Слежак (1873 — 1946) — австрийский тенор и киноактер. Первые двое умерли в Тегернзее.

¹⁴ «Кто глубины постиг...» — строки из стихотворения Фридриха Гёльдерлина «Сократ и Алкивиад». Перевод В. Микушевича.

¹⁵ Шейлок — персонаж комедии Шекспира «Венецианский купец».

¹⁶ Платен — выдающийся немецкий поэт граф Август фон Платен (Платен-Халермунд; 1796 — 1835). О гомосексуальности Платена свидетельствуют, в частности, его дневники.

¹⁷ Читал Шпиттелера. — Карл Шпиттелер (1845 — 1924) — швейцарский теолог и писатель, нобелевский лауреат 1919 года.

¹⁸ «Словно там, где мы любили» — строка из стихотворения Гёте «В настоящем — прошедшее» («Западно-восточный диван», «Книга певца»).

¹⁹ ...мюнхенско-кюснахтская Мария. — В Кюснахте на Цюрихском озере Томас Манн жил в первые годы своей эмиграции. Мария — служанка Маннов.

²⁰ О Сильс-Мария, Энгадине... — Энгадин — высокогорная населенная местность в Швейцарских Альпах, кантон Граубюнден. В одной из деревень Энгадина, Сильс-Марии, в летние месяцы 1881 — 1888 годов жил Фридрих Ницше.

²¹ ...подумать о выставке в Йеле... — Речь идет об одной из посвященных Томасу Манну выставок в библиотеке Йельского университета.

²² Неприязнь этого Бернхарта... — то есть книги Йозефа Бернхарта «Ватикан — престол мира».

²³ ...возобновление Байрёйта... — Речь идет о вагнеровском фестивале в городе Байрёйте.

²⁴ Боргезе Джузеппе Антонио (1882 — 1952) — итальянский историк и литературовед, муж младшей дочери Томаса Манна Элизабет.

²⁵ Петер Принсгейм (1881 — 1964) — физик, шурина Томаса Манна.

²⁶ Калер Эрих (1885 — 1970) — друг Томаса Манна, культурфилософ.

²⁷ Меди — домашнее имя Элизабет Манн-Боргезе (р. 1918), в настоящее время — англоязычной писательницы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА



МЕЖДУ

О месте критики в прессе и литературе

1

Измерять температуру общества можно по его полномочным представителям. Во времена перестройки и гласности в народные депутаты пошли писатели, режиссеры, ученые; телекамера выхватывала в репортажах (о первом съезде) лица Сахарова и Лихачева, Карякина и Гельмана, Коротича и Сагдеева, Шмелева и Климова. Потом «во власть» отправились тележурналисты — Александр Любимов, Владимир Мукусев, Александр Невзоров.

К очередным выборам в парламент общество пришло с совсем иным набором востребованных деятелей искусств. «Демократов» от литературы сменили «массовики» (тут и советская массовая культура пригодилась, хотя бы в облике певицы Зыкиной). Первые номера партий украсили Иосиф Кобзон, Элина Быстрицкая, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Розенбаум. Советчиками, мыслителями, дающими бесконечные интервью по поводу и без повода, стали не писатели, не философы, не социологи, а те, кто знаком публике, кто чаще других (и заметим, в ролях не трагических) появляется на подмостках эстрады, теле- и киноэкранах: Лия Ахеджакова, Александр Ширвиндт, Зиновий Гердт. А если вернуться к литераторам, то чуть ли не главными политологами страны — после пародиста Александра Иванова — стали Михаил Жванецкий, Михаил Мишин, Владимир Шендерович.

Я ничего и никого не оцениваю — а вдруг вклад Александра Розенбаума на весах истории будет повесомей вклада депутата первого призыва Фазиля Искандера? Изменение набора свидетельствует о конце эпохи литературоцентризма, ответственности и значительности слова и о начале торжества нового времени — времени поп-культуры, истинным героем которого является эстрадный балагур.

На наших глазах в словесности тоже произошла смена приоритетов, и одним из существенных ее показателей стало изменение жанрового репертуара — и изменение интересов публики, отложившей в сторону толстый журнал ради газеты. При этом определенные виды литературной деятельности, как нынче говорят, «завязанные» на периодику, претерпели наиболее глубокие изменения. Это прежде всего касается критики, с одной стороны, перешедшей к чуткому обслуживанию вкусов новой публики, с другой — взявшей реванш за долгие годы униженного существования при столь государственно важной и идеологически значительной деятельности, как литература. Если обратиться к статистике, то по количеству отзывов, рецензий, информации о литературных новинках легкокрылая новая пресса безусловно опережает критику крейсерскую, толстожурнальную. Идеологическая, «руководящая» и «направляющая» роль критики отошла в прошлое, тиражи толстых литературных журналов падают, объемы и даже периодичность их сокращаются, книги современных авторов, если не считать массовиков-затейников, выходят редко — однако, открывая очередной выпуск не только «Сегодня», но и «Коммерсанта» или номер самого новомодного журнала вроде «Домового», непременно наткнешься на рецензию, аннотацию, даже обзор; а то вдруг в супер- и гиперзвездном выпуске журнала «Стас» с разгримированной Пугачевой на лакированной обложке редакция закатит на удивление элитар-

ный рейтинг текущей неизвестно куда родимой словесности. Можно ли сделать вывод, что литературная критика стала прессой — со всеми вытекающими отсюда обязанностями, прежде всего — обеспечения информацией о том, что нынче носят?

В «больших и мудрых» статьях на заре «перестройки» при помощи литературных примеров ясно, образно, публицистично, доходчиво, в доступной форме народу объясняли, как надо и как не надо себя вести.

Подобные статьи печатали все без исключения толстые журналы и тонкие еженедельники. Из «заведующих литературой» критики открыто становились глашатаями правды, первопроходцами, просветителями. Появлялись все новые литературно-критические сборники, печатались невозможными ранее тиражами книги критиков-публицистов, возник литературно-критический альманах «Взгляд», вещь уж вовсе небывалая, — значение критики неожиданно стало столь важным, что он выдержал три выпуска!

При этом для выступлений литературных критиков — само собой, критиков-публицистов — было зарезервировано вполне почетное место — в «Огоньке» или в «Столице» чуть ли не в первой половине номера; ну уж во всяком случае — в середине.

Критиков ценили. Их приглашали, даже зазывали, интересовались их просвещенным мнением по всем без исключения вопросам, вытаскивали на люди, печатали их портреты, и мешки читательских писем, получаемые после выхода очередной литературно-критической бомбы, свидетельствовали о чем угодно, только не о равнодушии.

Правда, и вся литература отнюдь не была лишена ласки. Но именно тогда прозаикам и поэтам пришлось потесниться, и критики неожиданно для тех, кто числил их естественной услугой писателей, оказались на виду.

Именно через критику, через литературную полемику шло сопоставление мнений (назвать «диалогом» перемежающиеся монологи Кожина и Сарнова могла только «Литературная газета»), происходила мозаизация общества. Именно через критику — вернее, благодаря ей — зашатался и рухнул миф о единой интеллигенции, о единстве ее дум и чаяний. Окончательно прояснилось, что картина общества не соответствует биполярной схеме, что никакого — тем более идеологического — монолита нет и в помине, что думает и «чаёт» каждая группировка по-своему.

Бурный финал перестройки сказался и на бытовании литературы: читатели почти прекратили читать, а подписчики — подписываться. «Снова замерло все до рассвета», и гневные, пафосные обличения, идеологические разборы литературных полетов, сопровождаемые саркастическими комментариями, уже не находили благодарного отклика в сердце публики, которая занялась делом. Штольц в очередной раз победил Обломова, и девушка ушла к нему. Литература обособилась. А критика — что ж, критика проявила удивительную жизнестойкость в совершенно новых и непривычных условиях конца литературоцентризма, продемонстрировала чудеса гибкости и находчивости.

2

Конец литературоцентризма естественным образом совпал с расцветом журнализма. Новое время востребовало новый язык — прямой, информативный, ясный, безо всяких там эзоповых фиоритур. Возникновение все новых газет и журналов, деление телеканалов, появление радиостанций сказалось на оттоке внимания от книг и традиционных журналов. Изменился быт, в том числе и литературный: литература, к разочарованию одних и восторгу других, стала необязательным аксессуаром жизни, а не ее начальником. Борьба за власть кончилась потерей власти. Тот, кто не смирился с новым положением дел, был неумолимо отодвинут в тень. Тот, кто оказался «не прочь» потерять столь непрочную вещь, как власть, тот, кто не претендовал на звание властителя дум, тот, кто поставил перед собою иные цели и задачи, получил свою выгоду.

Литература стала рыночным товаром — в ряду других товаров в обществе потребления.

Теперь ей пришлось бороться за публику с другой, новой, народившейся властью — с властью газеты, с аудиовизуальной властью. Началось другое сражение, другая, по-новому изощренная борьба.

Ходкость рыночного товара решает не столько его качество, сколько мода и реклама.

Закон рынка состоит в том, чтобы рекламы было много и чтобы мода менялась постоянно. В результате изменились литературно-критические «роли», появились новые амплуа — критического кутюрье и рекламиста.

Я не хочу сказать, что критика «реальная», критика, непосредственно связанная с жизнью общества, анализирующая его, общества, изменения и чутко регистрирующая подвижки, исчезла. Вовсе нет. Но безвременные кончины Владимира Лакшина, Игоря Дедкова словно бы провели рубеж, обозначили границу — с ними ушла целая эпоха.

Эти критики главной своей (не обязательно сформулированной) целью ставили разъяснение и воздействие. По самому складу своих дарований и по своей общественной роли, несмотря на разницу лет и судеб, они оба были движителями общественного сознания, учителями и проповедниками. Критиками-идеологами (как и покойный Алесь Адамович, которого трудно приписать только к критическому цеху, потому я о нем здесь не более как помню).

Все реже и реже выпадает счастье прочесть свежую журнальную статью Станислава Рассадина, оценить неувядающий полемический задор Бенедикта Сарнова; мысли и заботы Игоря Виноградова отданы «Континенту»; Игорь Золотусский если не просвещает финнов, то лишь изредка ворчит на современную литературу, временно замещая позднего Николая Васильевича Гоголя; а Лев Аннинский стал столь необозримо многоруким Шивой, что я уже и понять не могу — он все-таки остается литературным-то критиком или уже нет?

Всего несколько лет тому назад именно вышепоименованные критики составляли авторское литературное ядро «Известий», «Московских новостей», «Огонька», а в «Литературной газете» к ним присоединялись еще и Алла Латынина, Алла Марченко, в «Книжном обозрении» — Татьяна Иванова, Поэль Карп, кажется... Славное было время, жаль, что быстро промелькнуло, да и статьи — будем смотреть на вещи прямо — остались в золотом газетном фонде перестроечной эпохи.

Конечно, при таком повороте разговора надо бы повторить известно какую цитату про «людей, о коих не сужу, затем что к ним принадлежу». Заранее принимаю все упреки, ибо отношусь к данным замечкам как к попытке самоопределения, права на которое критика отстаивает издавна.

Так вот: именно тогда, когда литературная критика неожиданно для нее самой обратила на себя самое небывалое внимание, именно тогда, когда критики — чего давно уже не было в отечественной литературе — стали почти публичными, во всяком случае, ясно различимыми общественными фигурами, именно тогда, когда практически вся запретная и спрятанная литература стала благодаря печатному станку доступной и откомментированной, вместе с возникновением новой журналистики, мобильно реагирующей на то, о чем с запозданием писали журналы, досадно, но неизбежно терявшие темп, — именно тогда из рукава полусамодельных изданий вроде пренебрежительно не замечаемого «высокой» критикой «Гуманитарного фонда», сформировавшегося уже не по принципу какой бы то ни было объединяющей идеологии, а по принципу тусовки, а также с вовсе даже противоположной, сугубо филологической стороны вышли совсем другие критики.

На полосы новых газет.

На полосы еженедельников, быстро меняющих кожу.

И даже на экраны ТВ.

Это было не то чтобы вытеснением устоявшихся авторитетов — сначала новая газетно-журнальная критика возникла по принципу дополнительности.

Критикам толстожурнального типа всегда необходимо было широкоформатное пространство: для маневра, разговора ab ovo, для разворачивания аргументации, неспешного, подробно комментированного пересказа сюжетов литературных произведений, взвешенной и доказательной, вдумчивой оценки. Для глубины подтекста, изящества примеров, обнаружения контекста и так далее, и тому подобное — вещей, от которых новая, на первый взгляд легковесная, газетная критика вовсе не желала быть зависимой.

Она хотела миллион — и сразу.

3

Желание «новогазетных» сорвать банк совпало с определенной усталостью критиков-«реалистов» от литературных забот, с их новой занятостью не только критикой, но и другими видами литературной и внелитературной деятельности. Это во-первых.

Во-вторых, может быть, это и было моментом, определившим паузу, — завершился период эзопова языка, на котором критики-«реалисты» привыкли (вынуждены были) работать. Ведь они не то чтобы дешифровали тексты при помощи своего комментированного пересказа — нет, их работа требовала гораздо более изощренных приемов, приемов по нанесению на уже зашифрованный, скажем, Искандером или Битовым текст еще одного кода, внятного читателю-единомышленнику. Запутывающего след. Стремление запутать иногда приводило к более чем странным результатам. Уж не знаю, нарочно или случайно так все «запутали» вокруг прозы Юрия Трифонова, что ничего, кроме обсуждения проблемы, дозволено ли писать «про быт» или нельзя, хорошая ли вещь интеллигенция или плохая, к моменту его смерти не было высказано. Уж не знаю, специально ли все «запутывали» вокруг Искандера, но в критике от его прозы оставался набор в высшей степени гуманных прописей. Так же, как и от Астафьева, Распутина, Можяева, Белова. Писать «по правде» значило сочинять литературно-критический донос — и оттого... оттого опять вступал в свои права литературно-критический эзопов язык, смелые намеки на власть, от которых ловила кайф либеральная интеллигенция.

Заниматься же поэтикой эта критика никогда не любила. Литературоведу — литературоведово. И о стихах писали, как о прозе, опять-таки в контексте общегуманитарного разговора. Бахтин и Тынянов, Эйхенбаум и Лидия Гинзбург — отдельно, современная литература — отдельно: сферы влияний практически не соприкасались.

Отказаться от освоенного стиля, перейти на прямую речь? Можно, конечно, но результат чаще всего обнаруживал отсутствие новых идей, недостаточность познаний, невладение общемировым литературным и литературно-критическим контекстом. Надо признаться, мало кто из уважаемых обществом авторитетных критиков запросто вписался в новую ситуацию. Будучи к тому же чаще всего представителями одного (или близкого к этому одному) поколения, критики прежней выучки, самостоятельно преодолевшие догматизм, имели за спинами не только вдохновляющий опыт дружбы. Но и — единства поработавшего. «Возьмемся за руки, друзья» — это про них сказано. Что бы друг ни написал, ничего, кроме хорошего, уста ангажированных взаимной поддержкой критиков изречь не могли. Они охраняли свой круг и, исторически говоря, иначе поступать и не могли, иначе бы критики оказались предателями литературы, присоединившись к хору, возглавляемому в лучшем случае Феликсом Кузнецовым. Так что о полной независимости собственного мнения критике приходилось только мечтать.

Новая поросль начала работать по контрасту. Стратегической линией поведения была первоначально избрана именно независимость — от идеологии, от «круга», от «своих». Но утверждение собственной неангажированности затем пошло по наиболее легкому пути — предварительной расчистки площадки, под горячую руку — отстрела тех, кто не с нами, объявления гражданской войны по поколенческому признаку. Лозунг идеологической неангажированности и независимости оказался чисто декоративным, как и слоган «Независимой газеты» — «без гнева и пристрастия». Гнева и пристрастия стало в избытке. Как и идеологии. Но это позже.

Вспоминается первый период жизнедеятельности «Независимой». К радости окружающих (нормальных) критиков всех поколений — открытость, «гамбургский» счет, изящество рубрик, неподдельная образованность, культурологическая игра, отсутствие пафоса. Элегантный, остроумный стиль: именно он и делал музыку замечок Бориса Кузьминского, парадоксов Владимира Новикова и обзоров Андрея Немзера, рецензий Константина Поливанова. За всех не скажу, но я испытала живейшее чувство солидарности, соучастия, если не момент литературно-критического счастья от самой возможности столь неожиданного разыгрывания газетной полосы — особенно в сравнении с «Литературной газетой», которая на то время потеряла лицо (и роль) «первой леди

совета» и обрела облик ворчливой от неожиданно резкого постарения, унылой, занудной пенсионерского вида тетки. Которой «не нравится». Которая во всех играх, прыжках, скачках, энергетическом веселье новой критики, резвящейся на зеленой травке, провидела злой умысел — покушение на святыни. Критики (разных, кстати, поколений) «ЛГ» в роли хранителей огня отстаивали сакральность — критики «НГ» ничего не отстаивали, они вообще не считали, что «литература должна». Кому бы то ни было. Отечеству, народу, партии, правительству, нации, традиции. В узел напряжения «между» попали и журналы, толстые и тонкие. Но главным предметом полемики оставалось все-таки долженствование, по-разному понимаемая ответственность. Самое любопытное, что полемика реализовывалась не в смыслах, а в стиле. Сформулировал же Андрей Синявский: расхождения с советской властью у меня прежде всего эстетические. Так и здесь: «ЛГ» сохраняла высокий стиль ответственных раздумий, «НГ» не раздумывала, а практиковала.

4

То, что было найдено практикующей критикой «НГ», касалось прежде всего расстояния.

Расстояния между литературой и критикой.

Во-первых, критика «НГ» решительно ощутила себя на равных. Литературой. Ощутила, что писать «о литературе», как раньше, «как принято», уже невозможно.

Во-вторых, если литературы становилось все меньше, то критики должно быть не меньше, а больше.

Происходило и сближение, и — одновременно — эмансипация критики от литературы. Близость к журнализму ее не смущала, а вдохновляла, открывала новые перспективы.

Дело в том, что пресса (которой раньше у нас просто не было), можно сказать, преобразила литературный быт. Новая литературная журналистика чрезвычайно быстро, ускоренными темпами сформировала нечто вроде салона — аналога интеллигентской кухни конца 70-х — первой половины 80-х.

Если раньше, условно говоря, литературная жизнь если и происходила, то в стенах редакций, ЦДЛ или домов творчества и о ней не принято было говорить открыто, она была как бы замкнуто-клубной, то в изменившемся социально-экономическом контексте рамки запрета рухнули, жизнь вывернулась наизнанку, быт стал доступен для гласности — и привлекателен для описания, что естественно, ибо ничто так не сладко, как съесть запретный ранее плод.

Описание сцен и скандалов, разыгрывавшихся на собраниях писателей, стало одним из новых жанров в «НГ». И — появился стиль этих описаний; внешне корректный, но по сути «стебный», по интонации высокомерный. Литература предстала делом не только словесным, но и домашним, если не сварно-коммунальным.

Виной тому не столько критика «НГ», сколько само литературное поведение, борьба за власть, за собственность, которая велась, как вы сами понимаете, не при помощи новых литературных произведений.

В новогазетной критике, таким образом, начала происходить смена жанрового репертуара. К «бытовым» картинкам писательских разборок прибавились легкие, изящные кроки литпраздников, литпрезентаций. А сами критики стали выступать не в одном, а в разных амплуа: серьезный аналитик мог надеть маску шута, эксперт — «теннисиста», играючи отбивающего чужую «подачу», культуролог — информатора, литературовед — репортера. Критику стало тесно внутри своего одного-единственного имени — пошла игра в псевдонимы, вплоть до смены пола, не говоря уже о характере и выражении лица. Критика «НГ» отставила роль «помощника», акушера при литературных родах. Оценка таилась внутри интонации, читалась между строк; на смену эзопову языку пришла не прямая речь, а новый эзопов язык, включающий метафоричность стилевой игры, внутрицеховые аллюзии, дешифруемые только «посвященными» намеки, полемические ходы и ассоциации. Стильность стала завоеванием «НГ» (но и штампом, скажем мы, забегаая в теперешний «Коммерсантъ» или «Сегодня». Впрочем — об этом дальше).

Чисто формально для такой всеохватной игры необходимо было пространство, и при всего-то одной газетной полосе (хорошо, если с «хвостиком») надо было менять масштаб — путем разукрупнения. Страница была поделена на множество рубрик и материалов — коротких колонок, этюдов, набросков, ответов, заметок, реплик, информации. Произошла минимизация литературно-критической статьи-обзора — он порой съеживался до одного абзаца. Критик «НГ» должен был (переносу на литпочву постулаты известного кинокритика Дерека Малкольма) писать хорошо и быстро; знать предмет — не только сегодняшнее состояние литературы, но и ее историю; разбираться (хотя бы приблизительно!) в истории живописи, музыки и архитектуры; любить литературу и уважать ее — помнить, что книга пишется несколько лет, а отзыв — иногда — за час.

И еще об одном — о корректности: критики «НГ» старались ее сохранять при любых прочих условиях. То есть они, конечно, язвили, но язвили (до поры до времени, о чем опять-таки дальше) корректно. Особенно — в отношении «старшеньких». Язвительность распространялась в полной мере на коллег-литературоведов любых поколений (здесь никаких внутренних запретов не было; и безграмотность торжествующе бичевалась), коллеги-критики тоже не избежали язвительных определений. О прозаиках и поэтах старшего поколения речь шла в интонации «уважения с придыханием». Выступали в «НГ» критики не только «штатные», но привлекались к сотрудничеству и «свободные» — оттого спектр индивидуальностей был поначалу довольно широк; однако со временем сужался, и критика «НГ» постепенно обретала как бы общие родовые черты. А страница «Искусства» стала авторской (причем коллективным автопортретом единомышленников по стилю).

Достаточно резкой, различающей границей между критиками старой либеральной школы, изредка появлявшимися на страницах «НГ», и критиками самой «НГ» стало отношение к аудитории. Если адресатом первых была «общественность», «читатели», «подписчики» («народ» и «власть»), то адресатом вторых являлись они сами. Кто-то, не упомяну кто, назвал всех их скопом выучениками Льва Аннинского; с этим согласиться трудно. Для Аннинского «узкий» профессионализм, которым больше всего и гордились критики «НГ», работа «фактически на узкий круг профессионалов» — как «во всем цивилизованном мире» — занятие «удушающе бескислородное». Для Аннинского, Рассадина, Сарнова или Золотусского, при всем различии их убеждений и манер, ощущение, что их «никто не читает», — трагическое. Для новых критиков — норма, не вызывающая отрицательных эмоций. Аннинский, Рассадин, Сарнов или Золотусский озабочены прежде всего реальностью, жизнью, или судьбой России, или судьбой свободы и демократии, или тоталитарным наследием — «новым» до этого дело, конечно, есть, но на страницу своего текста они эту реальность не допустят, сочтя такой *mixt* свидетельством недостаточной профессиональности. Архангельский и Немзер будут иметь свои пристрастия и амбиции, от осуждения чрезмерной увлеченности политикой старших товарищей (до 1993-го) вплоть до яростного соучастия в одной и подписания обращений к президенту (в сентябре — октябре 1993-го), вплоть до создания — чуть ли не партии? движения? — по имени 4-го октября; но — в критике разговор об этом для них заказан. Критик — в них — востребован только как критик, равный самому себе. Для «старшеньких» это непривычно, для А. А. и А. Н., для Б. К. — как раз. «Формировать общественное мнение»? Если мы и будем заниматься этим неблагодарным занятием, то в свободное от критики время.

Но «время шло и старилось», критики «НГ» по ряду обстоятельств были вынуждены газету покинуть и — сотворили новый раздел в новой газете, «Сегодня», возникшей методом деления, — впрочем, был такой момент деления явлением распространенным — не одной только редакции «НГ» он коснулся, но и «Литературного обозрения», и «Юности»... Свято место пусто не бывает — пришли в «НГ» «новые новые» критики, пришли отчасти на готовенькое, потому что дело было налажено, а стиль... что ж, стиль круто поменялся. Вернее, формальные находки и стилистические изыски прежней критики «НГ» были доведены до совсем иной температуры.

Это совпало с моментом кризиса политического, разочарования и апатии, охвативших общество от успехов нового «либерально-демократического» режима. И «новая новая» критика «НГ» в этой ситуации стала критикой (в отли-

чие от «старой» редакции) идеологической, свидетельством чему был целый ряд публикаций в том жанре, который в советские времена именовался передовицей, а в «НГ» назывался по-иностранному — «Карт-бланш». Именно здесь открыто был высказан комплекс идей, рубивших канаты былых связей с демократическими силами. Демократы издевательски осмеивались, разоблачались, гневно изобличались, а вместе с ними — и литераторы, властям содействовавшие (или их направлявшие). Пиком кампании по разоблачению стали октябрьские события 1993 года — именно с того времени критика газеты недвусмысленно выбрала политическую (оп)позицию и идеологию. В общем идеологическом спектре этой (оп)позиции и идеологии были гораздо интереснее Невзоров, Лимонов и Проханов, нежели деятели «Апреля» и прочих писательских деминституты.

Чисто поколенчески «новая новая» критика избрала стратегию отстрела либералов-шестидесятников (именно на них была возложена ответственность за идеологию и результат перестройки) и начала работу по персоналиям, осуществляя на деле классовый подход. Избиралась персональная мишень, и с тщательной настойчивостью эта мишень на страницах газеты уничтожалась: Бенедикт Сарнов, Булат Окуджава, Андрей Битов, не говоря уж о менее заметных фигурах, расстреливались из номера в номер. Шла работа по уничтожению репутации, при этом доказательств, в принципе, не требовалось, тексты вышеупомянутых авторов могли привлекаться, но можно было без них и обойтись — важен был рисунок судьбы, в котором выискивались (с упорством, заслуживающим лучшего применения) неприглядные, по мнению высокоморальных, светлых личностей, работающих в критике «НГ», стороны. В дело пошла не литература, а все то, что клубилось около нее.

Для такой деятельности были востребованы маргинальные жанры полусветского комментария, заметки по поводу, стихотворной эпиграммы, «поведенческого» фельетона, частушек. Бескорыстный литературно-критический интерес к тексту исчез — его заменил интерес совсем иного рода. Литературную жизнь сменил низкий литературный быт, литературное произведение утратило свою значительность на фоне болезненного интереса к частной жизни и стратегии поведения той или иной персоны; литературная репутация не волновала так, как волновал «имидж».

Это было связано, надо сказать, с общей атмосферой литературной жизни, с возникновением того, что можно обозначить как с о б ы т и е: внешний рисунок поведения человека-артиста, процесс исполнения на фоне приливной волны аудиовизуальной культуры оказался привлекательнее результата художественной деятельности. Вернее, сам процесс, «перформанс», спектакль, акция вытесняли результат. Поэтому презентация стала важнее книги — книгу, собственно говоря, можно было теперь и не открывать, однако в презентации непременно поучаствовать. Именно в этой атмосфере «новая» критика перешла к жанру «тусовочного стеба», конструктивными принципами которого кино- и телекритик Юрий Богомолов («Искусство кино», № 6) считает «поверхностность ассоциаций, пенкоснимательство, повышенную эгоцентричность авторской точки зрения, раскованность, плавно переходящую в раздражительность».

Первоначально казалось, что критика разделилась: условно говоря, «художественная» осталась за журналами, а «функциональная» обрела прописку в новой прессе.

На самом же деле результат был парадоксальным.

Газетная критика стала не столько «отправлять функцию», сколько создавать свой художественно-идеологический мир.

И тут возник свой (на время) литературно-критический авторитет: Дмитрий Галковский.

Как отметил Виталий Третьяков во врезке к очередной статье Галковского, эта фигура знаковая для «НГ». В общем, если бы Галковского не было, его бы следовало выдумать.

Методом воздействия на публику «новой» критикой был избран шок. Эпатаж. Скандал. И Галковский с его «Бесконечным тупиком», «Андерграундом», «Стучкиными детьми», разборками с шестидесятниками, советскими филосо-

фами, наконец, всей отечественной словесностью здесь был, конечно, автором желанно уникальным.

Галковский переэпатировал даже Виктора Ерофеева, легким движением пера сбросившим всю подсоветскую литературу с парохода современности. (Более того: Галковский умудрился переэпатировать даже «НГ», которая от него в скором времени бурно отреклась заметкой все того же разочаровавшегося в своем протееже Третьякова.)

Притягательность Галковского идеологическая состояла в том, что он проходил как бы поверх идеологий. Подозрение в какой-либо ангажированности отпадало само собой. В момент обменов артиллерийскими обстрелами между «Нашим современником» и либеральной интеллигенцией он взял все необходимые ему крепости и напечатался не только в «Нашем современнике» и «Москве», но и в «Новом мире». Обливая презрением его не призревших, дал интервью журналу «Континент», стал и его автором.

Ему нельзя было отказать ни в стиле, ни в концептуальности, ни в энергии. А главное — он явил собою тип тотального критика, критика, сражающегося с целой системой, выращенной в разных, порою противоположных, как советских, так и антисоветских, как «левых», так и модерновых, проявлениях. В этой тотальности, безусловно, присутствовало свое отрицательное обаяние. Это был поистине «подпольный» критик, но совсем не из «андерграунда», дикорастущий, независимый, несчастный, закомплексованный, написавший о своих комплексах абсолютно открыто и откровенно и, наконец, освобождающийся от них на глазах изумленного читателя, не привыкшего к публичному самообнажению. Тем более — как бы еще и отчасти игровому. Галковским были предъявлены претензии не только литературе, а жизни; он сразу выбрал амплуа сироты, изгоя. Через критику Галковским был осуществлен тотальный жанр отношения к жизни — и к литературе как к главной для него форме ее проявления, «несущей балке» действительности. Отсюда — глобальная амбиция, отсюда — ревизия, которой он подверг литературу, столь долго и упрямо унижавшую и отвергавшую его. В этой амбиции пряталась, конечно же, зависимость, то есть несвобода; но была и своя свобода — от поколения, от группы, от «возьмемся за руки» — то есть от всего того, от чего не были свободны ни шестидесятники, ни «андерграунд», ни «метрополевцы», ни «смогисты». Галковский — одиночка: незаконный сын убитой русской словесности, предъявляющий на наследство свои собственные права. Пафос — вот что отличало Галковского от других «новых» критиков, высокий пафос как бы «ветошки», но «право имеющей». Самоуничтожение компенсировалось великой гордыней, и именно она, гордыня, в конце концов и поставила его, сказавшего напоследок «мерси» всем тем, кто ему отказал в праве на публикацию книги, вернее, в возможности ее выпуска, за рамки печатной литературы. Галковский тотально обиделся — теперь уже на всех без разбора.

Рядом с Галковским остальные «новые» кажутся фигурами совсем иного масштаба и темперамента. То, что у Галковского является судьбой (как бы она ни представлялась иным комической), у критиков типа Ефима Лямпорта — пародия. Отрицательное обаяние Галковского здесь трансформировано в мелкий нигилизм, выяснение отношений с миром — в ничтожную борьбу за пространство на коммунальной кухне, ревность — в зависть, с явными трудностями обретенный сарказм — в обыкновенное хамство. Критика «НГ» не случайно в конце концов отвергла Галковского — «подпольный человек» сменился коллективным Смердяковым. Коллективным, стайным — недаром возникло самоназвание «бродячая стая». «Плохие» манеры были возведены чуть ли не в культ; потоком на страницах «НГ» пошли смакующие детально жизнь и деятельность известных людей сплетни, слухи, подробности. Всякая неудача встречалась с радостью, упоением, восторгом; удача, напротив, должна была быть непременно опорочена. На таком внушающем отвращение фоне единственными движителями общественной нравственности и морали, а также ведущими эстетическими экспертами должны были предстать в белых одеждах только лишь «новые» критики «НГ».

Любопытно, что персоналии старших поколений литераторов этой критикой в ее почти тотальной оппозиционности практически не затрагивались. Напротив, с ними обращались с подчеркнутым пиететом. А отдельные персоналии были избраны даже в качестве культовых — например, Владимир Лак-

шин, к концу своей жизни совершивший явный идеологический поворот в сторону просвещенного патриотизма. Чем, собственно, опять подтвердилась сугубая идеологичность критики «НГ» — ведь не за эстетику же традиционно-литературно-критического реализма он был востребован. Отметим, что ни Золотусский, ни Аннинский, ни Дедков этой чести удостоены не были.

Объектом «обстрела» была все-таки идеология либерализма — каждый, кто так или иначе был ей причастен, подвергался остракизму. Однако самым уязвимым местом «новой» критики стала не столько бойцовская идеологичность, сколько неотчетливая филологическая подготовка, слабый профессионализм, подгримированный поверхностными сведениями из истории советской литературы.

И в особенности на фоне «бродячей стаи», эпигонски подхватившей поначалу стилистику прежнего состава критиков «НГ», выиграл литературно-критический раздел газеты «Сегодня», продемонстрировавший филологическую выучку вкупе с полемической хваткой. Здесь было свое оружие: эрудиция, ирония, многописание. Качество плюс количество.

5

Начну с количества. Мало кто из обозревателей «текущей» словесности может сравниться по количеству написанных текстов с неутомимым комментатором литературных новинок Андреем Немзером. Практически ни одну из сколько-нибудь заметных публикаций не минует его вольный пересказ, переходящий порой в заметку по поводу, снабженную множеством отсылок к «себе предыдущему». Трудолюбивый хроникер, газета «Сегодня» работает по принципу почти библиографическому, не упуская возможности даже постатейной росписи журналов. Историки будущего наверняка скажут Немзеру огромное человеческое спасибо за его титанический труд, последовательно уничтожаемый неутомимым Хроносом к завтрашнему выпуску газеты. Если продвигаться от одной рецензии Немзера к другой, не погружаясь в собственно рецензируемые тексты, то возникает чувство глубокого удовлетворения все возрастающим богатством этой самой русской словесности — когда бы не послевкусие: после чтения выплетенных словес не покидает ощущение титанической, повторяю, работы, результат какой не равен ни рецензируемому произведению, информация о котором чаще всего расплывчато-туманна, хотя и изящно-филологична, ни личности самого рецензента, странным образом сочетающейся в своих восторгах безнадежно несочетаемое — беллетристическую увлекательность Алексея Слаповского с философической скукой Марка Харитонова. Кто нами избран, с тем пойдем до конца. Определенный «лоббизм» критики «Сегодня» диктует и художественный пафос, которым отмечена страница «Искусство». Пафос — и затаенную мечту о художественности, унаследованную от стилистики критиков предшествующих поколений, тексты которых были непременно украшены замечательными образами¹.

Так вот, эта тяга к художественности (по-своему, конечно) преобразилась и в текстах новых газетных критиков, которым быть учителями «народа в массе своей» уже как-то неловко, а просто информаторами (главная все же задача газетной критики) — скучно. Поэтому зачин и в новой критике, при всем ее отличии от старой, остается высокохудожественным: «В годы застоя обозреватель «Сегодня» дружил с молодой домохозяйкой, которая...» — и заметка по-

¹ То тут, то там щедрой рукою критика были разбросаны либо «крик освобождения, вырвавшийся из груди литературы», или катаракта несвободы, «которую только сильные могут содрать со своих глаз. Да и то при условии, если она вообще может покрыть глаза сильных». У художественного критика обязательно возникало или «острие ножа», которым правдивая литература «вспарывает действительность»; или «народ в массе своей», или «паралич», от которого должно «очнуться» общество (медицинские образы, образы всяческих болезней относились к излюбленным в лексиконе художественной критики); или, наконец, «геркулесовы усилия по чистке народного сознания, по выведению его на свет божий». Примеры позаимствованы мною из статьи И. Золотусского «Крушение абстракций» («Новый мир», 1989, № 1), но тяга к образности — не его индивидуальная стилевая мета; так, И. Виноградов в свежей своей статье (я не касаюсь сути этапного сочинения критика о судьбе и месте в отечественной словесности Владимира Максимова — речь идет только о стиле) не может не опереться на тотальный образ — «...коммунистический монстр, без особых потерь преодолев опасную хрущевскую оттепель, стал разбухать от собственного цинизма и безнаказанности,

неслась прямой дорожкой к метафоре незавершенного гобелена, под условным названием «Изнеможенье» («Сегодня», 1995, 21 сентября).

Готова была сама с собой поспорить, что после изложения содержания журнала «Иностранная литература», № 8 критик не избежит искушения в качестве финальной коды закольцевать изнеможенье «изнеможеньем» — так оно и вышло, да еще и с непременным «я», за состоянием души которого с особым трепетом следят читатели ежедневной газеты: «От самого себя: от собственных твоих гордыни, изнеможенья, нежности, любви. Уберечь». Нет, до жеманных инверсий и душистых перечислений предшественники критиков-«газетчиков» не доходили.

В принципе, родственного обнаруживается (при внимательном рассмотрении) не так уж и мало. Там, где у предшественника(ков) присутствует что-нибудь «глубинно-духовное» (И. Золотусский) или по крайней мере «духовно-экзистенциальное» (И. Виноградов), «новый» в газетной заметке блеснет «контекстом» и «семантикой» (А. Н. — «Сегодня», 1995, 13 сентября) или «коллапсом... арматур-идеологий» (Б. К. — «Сегодня», 1995, 21 сентября). А разговорные обороты вроде «кура, попавшего в ошип», в контексте «критики феномена» или все той же «семантики» сменяются не менее смелыми и удачными оборотами, как «плевать с высокой колокольни», «натурально» («натурально, читал»). А у еще более изысканного (правда, после нескольких рецензий А. Н., написанных в стихотворной форме, я, честно говоря, засомневалась, кому вручить пальму первенства по части изысканности) критика, Б. К., появится «надсада неумелой любви». Что еще? О пафосе мы уже говорили. Соблазн учительства, громоподобного «выговаривания» плохо успевающим («грязь блудословия», «бракодел», «мерзко») тоже, увы, остается. Так что текст — текстом, контекст — контекстом, «новые» сменяют «старых», а стилистические отличия при ближайшем рассмотрении не столь уж и контрастны.

6

В вышеупомянутой новомирской статье 1989 года И. Золотусский произнес общеизвестные, но верные слова о «приказной», или «заказной», критике.

В критике «новой» заказ внешний сменился внутренним — самозаказом по обслуживанию своей референтной группы. Например, ничего, кроме хорошего или очень хорошего, мы никогда не прочтем в газете «Сегодня» о прозе Андрея Дмитриева (я не оцениваю сейчас качество его прозы — я лишь о критике, даже скорее о внутренней ее интонированности). Или — Алексея Славковского. Непременного искреннего комплимента всегда будет удостоен Петр Алешковский. Что бы ни сочинили о текущей словесности Александр Архангельский или Андрей Немзер, в их «индексе цитирования» или просто именном перечне эти фигуры будут представлены непременно. Творческая солидарность прежде всего. К «чужакам» же применимо любое оружие — вплоть до тяжелой артиллерии, как к заметкам Коновалова-Голлербаха в «Звезде» (см. «Сегодня», 1995, 14 февраля; «Сегодня», 1995, 24 февраля), что дало выразительную возможность их автору (чью оценку деятельности «НЛО» я не разделяю вовсе), может быть, и не совсем справедливо, но очень грустно заметить: «Сколько трудов положено на создание этой шкалы, на притирку элементов, на выработку единого мнения. Как долго созидалась вся пирамида, каких усилий от каждого требовало создание этой иерархии, какой коллектив сложился...» («Звезда», 1995, № 6). Сложился.

расползаясь наглой идеологической, террористической и прямой военной экспансией по всему миру и высасывая последние жизненные соки из страны» («Между отчаянием и упованием» — «Континент», № 83), — собственно говоря, находящийся в непосредственной стилистической близости с образной системой газеты «Правда» — там мы легко всегда обнаруживали и старого знакомца «монстра», только капиталистического, который «разбухал, расплываясь», непременно «по всему миру» и уж, конечно, «высасывал все соки» из какой-нибудь Мексики, Латинской Америки или в крайнем случае Африки.

Тогда, как правило, и названия книг или статей были метафорическими, образными — скажем, «Тепло добра» или «Ядро ореха»; и зачин статьи шел с какого-нибудь образа, как бы метафоры времени, выразительного примера из жизни, или какой-нибудь байки, которая при внимательном рассмотрении оказывалась чуть ли не притчей: «Недавно в одном высоком собрании, куда я попал, как кур в ошип» — и так далее.

Возникает ощущение, что, несмотря на твердое проведение границ и резкое размежевание «Сегодня» с «новой» критикой «НГ», стилистическому ее влиянию (подспудному) подвержены даже, выражаясь языком А. Н., ее идейные «супротивники». И вот уже мы становимся свидетелями погрома (без преувеличения), учиненного С. Гандлевскому («Трепанация черепа»), поводом к которому послужило неосторожное упоминание автором имени сотрудника газеты «Сегодня»...

7

Все мы варимся (привет образно-художественной критике) в одном, если так можно выразиться, контексте.

И, естественно, влияем друг на друга — несмотря на все различия в языке, стиле, а также происхождении и принадлежности к поколению.

Журнальная (художественно-идеологическая) критика, как мы обнаружили, продолжает оказывать влияние на «новую», как бы та ни отделялась при помощи преувеличенного уважения или, наоборот, отстрела вроде курицынского (последний из примеров — издевательская нигилистическая по поводу романа Г. Владимова — «ЛГ», 1995, 11 октября), изоциренного филологизма или всеохватного наплевизма. А газетная критика, в свою очередь, влияет на журнальную.

Толстые журналы начали «разукрупнять» монолиты — расчет на статьи неодноразового употребления, которые выдержат испытание временем и будут оказывать долгосрочное воздействие, не оправдался. Так возникли новые мобильные, динамичные рубрики — «Эхо» Л. Аннинского в «Дружбе народов», «По ходу дела» А. Марченко и позже присоединившегося к ней П. Басинского в «Новом мире», «Литературный пейзаж» в «Знамени», где рядом с традиционной рубрикой «Критика» возник новенький «Наблюдатель».

В «Наблюдателе» по редакционному замыслу, который начал реализовываться со второго полугодия 1995 года, осуществляется задача как можно больше информировать читателя о текущей словесности — желательно без «прибамбасов», изысков и кокетничанья. В «Новом мире» рядом с рубрикой «По ходу дела», не без раздражителя со стороны насыщенной информацией о новых книгах газет, появились, кроме «Книжной полки», «Периодика» и «Зарубежная книга о России» и «Русская книга за рубежом». В «Звезде» — «Путеводитель по книжному миру».

Так что с литературной информацией ситуация в журналах, ранее сосредоточенных на концепциях, а жанрово предпочитавших крупногабаритные статьи, потихоньку выправляется. С информацией причем объективной: оценку в аннотациях дать сложновато, да и надо ли? не свидетельствует ли само появление аннотации уже об оценке — важности — книги, на которую обращено внимание? хотя встречается оценка, от которой не может удержаться автор (порою безымянный) аннотации, особенно в «Наблюдателе», где эзопов язык тоже переживает внецензурное рождение (поэтика намеков, аллюзий и характерных, акцентированных умолчаний).

Зато объективность эта с лихвой компенсируется авторскими рубриками-откликами, полемическими по замыслу, с обязательным задиранием оппонента и даже (поклон участникам забега «НГ») переходом на личности. Точно сформулировала в рубрике «По ходу дела» («Новый мир», 1995, № 4) Алла Марченко: отсутствие культуры «и превращает наши разногласия в мордобой». Но разве не этот отнюдь не респектабельный жанр с легкостью удивительной здесь же подхватывается и ею самой? Так же, как подхвачен в толстых журналах жанр «светской» литературной хроники, которую отчасти пародийно, отчасти всерьез ведет неутомимый Сандро Владыкин в газете «Коммерсантъ»: ведь и Марченко («Новый мир», 1995, № 6) не удержалась от саркастического описания новогодней «шикарной тусовки» по «раздаче премиальных пряников», устроенной журналом «Знамя», а «Звезда» коллекционирует иронические картинки московских «тусовок» посредством публикации писем в редакцию вашей покорной слуги.

В статье «Сладкая парочка» («Знамя», 1994, № 5) автором настоящих строк уже был зарегистрирован переход критики изящной словесности в сферу литературного быта, и переход этот состоялся именно в новогазетной кри-

тике, а журналы — через определенную временную дистанцию — его сначала отрефлектировали, а потом спародировали.

Тем самым критика в «тонких» изданиях сыграла свою исторически положительную роль раздражителя, существенно расширив жанровый репертуар критических разделов «толстяков», легко усвоивших и в иных случаях по своему усовершенствовавших в силу наработанного профессионализма ее приемы. И польза была несомненной: стало ясно, что критику «следует писать увлекательно» (Д. Быков), что критика есть дело веселое, а качество идей и количество наблюдений если и пострадают от вторжения стилистики свободного разговора, то лишь там, где неразборчиво подхвачена совсем уж чуждая традиционным журналам развязность, — когда уважаемый критик, обладающий заслуженной репутацией серьезного аналитика, вдруг кидается, «задрав штаны», вслед за Денисом Гореловым или Ефимом Лямпортом, что производит на окружающих несколько комическое впечатление, ибо в хамстве их все равно не перещеголяешь, а свою индивидуальную окраску неизбежно утратишь.

Впрочем, у журнальной критики, в отличие от газетной, где состав участников подвергается тщательному отсеиванию, страницы для авторов открыты достаточно широко, деление на «своих» и «чужих» («ты в наш садик не ходи») не такое затвердевшее.

Здесь рядом печатаются Немзер и Басинский, Агеев и Архангельский, Липовецкий и Рассадин, Курицын и Латынина; неожиданно для себя встречаются разные критики, с разными представлениями о критериях, разными, порою противоположными, оценками, отнюдь не сходными литературными убеждениями и представлениями. Журналы — заметим совсем уж невероятный итог — оказались несравненно менее догматичными, чем новая литературно-критическая пресса. Менее ангажированными. Менее идеологизированными. Журнальная критика распрощалась с «руководящей» и «направляющей» ролью, а теперь еще и избавилась от обязательности быть «серьезной». Спасибо прессе — и пожелаем ей всяческих успехов в ее стремительных поисках. Все лучшее, уверена, будет понято и «поднято» критикой «соседней». А худшее... что ж, недаром газета живет всего один день.



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



ПЕПЕЛ ОСТЫВШИХ ПОЛЕМИК

Конец 80-х был наэлектризован до предела. Энергия иных писательских споров грозила коротким замыканием; пересекать литературное пространство по центру приходилось пригибая голову — чтобы не попасть под обстрел. Спорщики были уверены, что отстаивают истину — на всех одну, поэтому противник должен быть вытеснен со своих — с наших! с общих! — позиций. На самом же деле шла спешная «приватизация» читателя, передел адресатов — в преддверии глобального сдвига культуры, когда исчезнет ощущение единого поля и каждый из лагерей (почвенный, западный, авангардный, постмодернистский) начнет действовать в замкнутых пределах своего сегмента, на территории своего «колхоза», «аула», «кибуца» — на чужую не претендуя и даже не обращая на нее особого внимания.

Первая половина 90-х как раз и прошла под знаком затишья. Критики-poleмисты всех групп пережили мучительный кризис. Журналы в большинстве своем растерялись: что делать? кого печатать? о ком писать? Прошел слух о смерти Великой Русской Литературы; на поминках, во утешение живым, договорились считать, что смысл происходящего как раз и заключен в расползании по зимним квартирам; что так и должно быть впредь: у каждого направления свой «сегмент», своя самодостаточная «ниша», свой замкнутый «уровень». Будем теперь до скончания века копошиться на собственных шести сотках. И — большинство занялось тем, чем всегда занимаются во время затишья: «канонизацией» вчерашних изгоев, превращением борцов с иерархией ценностей в часть иерархического истеблишмента. Почвенники поставили в красный угол лавку и рядом со страдающим певцом естественных основ русской жизни Валентином Распутиным усадили веселого певца естественных отправлений Лимонова. Западники повели себя плюралистичнее, делегировали права «канонизации» на места — так что постмодернисты без помех перевели литературного хулигана Владимира Сорокина на положение литературной барышни; шестидесятники продолжили «друг другом восхищаться», а неореалисты облекли Алексея Варламова в тогу нового Льва Толстого... И самое странное, что с этим не поспоришь. Сегмент, он и есть сегмент; не устраивает такой расклад — загляни в соседнюю студию, там все по-другому...

Движенья нет, сказал мудрец брадатый...

И тем не менее сдается мне, что расползание по зимним квартирам было не стратегической задачей завершившегося пятилетия, но всего лишь тактическим маневром, что под мишурой тусовок, под ее блестящим покровом все эти годы, вопреки брадатому мудрецу и в согласии с Александром Еременко, «шел процесс творенья хлорофилля»; то есть — вызревали новые смыслы, новые слова о бытии, которые неизбежно взорвут «сегментарное» деление культуры. Прогноз дело тонкое, почти как Восток, — и все-таки предположу, что скоро мы станем свидетелями очередного качественного сдвига ситуации. И выразится он не только в окончательной (и, увы, бесповоротной) смене поколений во всех лагерях, во всех группах, включая авангард и постмодерн; не только в новой расстановке журналь-

ных сил; не только в новой тактике издательств, самоотверженно печатающих нынешних прозаиков и поэтов. Но прежде всего в смене внутренних установок самих писателей.

Что я имею в виду? А вот что. Писатель — по крайней мере русский, по крайней мере современный, — при всей заикленности на себе любимом, довольствуется литературным одиночеством лишь в начальную пору формирования таланта. Войдя в силу и обретя уверенность, он начинает нуждаться в другом писателе ничуть не меньше, чем в читателе. Если не больше. Причем как в сочувственнике, так и в оппоненте. Двойная энергия притяжения и отталкивания заставляет писателя ревниво искать в чужих стилистиках то, что созвучно его художественным поискам, — и то, что контрастно оттеняет их; чтобы расти и развиваться, он должен одновременно сближаться с кем-то и противодействовать кому-то; естественно — на уровне форм и идей, не на уровне политических баталий.

До начала 90-х эта «сугубая» энергия (помимо и прежде всех внешних социальных причин) толкала писателей в группы «заединщиков», художественно, идейно, личностно противостоящих другим «заединщикам»: деревенщиков — горожанам, шестидесятников — семидесятникам, постмодернистов — реалистам... Но стоило исчезнуть «единству и тесноте» литературного ряда, распасться сквозному пространству культуры — как распалось и само заединство! Нынешний Астафьев (не только «идейно», но и стилистически) отстоит от сегодняшнего Белова еще дальше, чем от теперешнего Маканина; Тимур Кибиров «образца 1995 года» имеет больше общего с Олегом Чухонцевым, чем с Д. А. Приговым. Примеры можно множить бесконечно. И все это очень понятно: в сегменте, студии, тусовке отталкиваться не от кого и незачем, а стало быть, не с кем и сближаться; если же не с кем сближаться, то некуда и расти! Как хотелось верить, что приклатненный поток «сказового» многословия вынесет Зуфара Гареева на большие художественные просторы; что его мозаичная поэтика лишь начинает складываться. Но, судя по редчайшим публикациям Гареева последних двух лет, он начал с конца; выдал на-гора все лучшее — сразу и теперь пишет скорее по инерции, по обязанности, без интереса и страсти, как бы закивая в затхло-эротической компании авторов газеты «Еще». Сколько ожиданий было связано с мощно-неровным дебютом романиста Михаила Шишкина — но (пока) его стилизаторские возможности не обручились с силой и глубиной переживаний; и думаю, отчасти тут дело в его самопредоставленности, в невозможности взаимоупора. Губительная отъединенность может быть не только «тусовочной», но и пространственной; я вижу, как задыхается в отрыве от общероссийского контекста саратовец Валерий Володин; читая его вдохновенно самоизвергающуюся прозу, чувствую, как лава хочет — и в отсутствии естественных преград «родственно-чуждых» стилистик не может — застыть, принять внешнюю форму, организовав тем самым внутреннюю. Недаром ведь другой саратовец, Слаповский, сознательно прорывается за границы литературного региона, равно как Нина Горланова и Владимир Букур из Перми или екатеринбуржец Александр Верников. Дело тут не только в желании славы, обретаемом, увы, лишь через московское посредство; главное — в инстинкте самосохранения, толкающем их — и еще многих и многих — на поиск стилевых контактов со всей текущей русской прозой как неким условным целым... А думая о пронзительном даровании Александра Сегеня и с ужасом листая редактируемую им твердокаменную прозу «Нашего современника», наоборот, не могу избавиться от тревожных предчувствий, что его природная пластика сама готова окончательно отвердеть — ибо какое может быть развитие наедине с сочинениями Петра Алешкина?

И потому — не удивляюсь, замечая, как самые сильные и не желающие останавливаться в росте писатели вчерашних направлений незаметно снимаются с якорей и начинают медленный дрейф — куда? А туда, где с самого начала оказались литераторы, по-настоящему заявившие о себе лишь на рубеже 90-х: Олег Ермаков, Андрей Дмитриев (только что опубликовавший в «Знамени», № 8 за 1995 год, потрясающую по силе повесть «Поворот реки» — о драме земного отцовства и неуро-

ляемой жажде отцовства небесного), энергично работающий Петр Алешковский (в осенних номерах «Дружбы народов» напечатан его новый роман «Владимир Чигринцев», заслуживающий самого серьезного обсуждения), Нина Садур, из новомирских — Михаил Кураев и Олег Павлов, из «знаменских» — Марина Палей и Виктор Пелевин... То есть — в нейтральные воды нового культурного пространства, ничейного и потому открытого для всех. В этих водах нет и не будет больших флотилий; здесь каждый поплывет в одиночку — самостоятельно решая, с кем ему по пути, а с кем предстоит разойтись, «как в море корабли».

Это не значит, что я благодушествую, рассуждая о зарождении новой множественности в пределах нового единства; о процессе собирания современной культуры из индивидуальных лоскутков; что надежды меня ослепляют. Нет; как говорила Маша медведю: «Высоко сижу, далеко гляжу» — и многие противоречия и сбои нового периода очевидны уже сейчас. Но происходит главное: ощущение полновесной жизни вновь возвращается в пределы русской словесности; ее реальность, разъятая на «пазлы», готова сложиться в новую конфигурацию.

А это значит, нам снова есть что обсуждать, над чем посмеиваться, над чем — и с кем — спорить. Что же до угасших полемик времен перестройки... Их пепел — не пепел Клааса; он не стучит в мое сердце. Скорее уж это пепел из дачной печки; полностью перегоревший, распавшийся в прах, он хорошо удобрил взошедшие ныне посевы.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

...И ЕГО АРМИЯ

Виктор Астафьев. Так хочется жить. Повесть. — «Знамя», 1995, № 4.

В прежние времена кто-то непременно написал бы: мол, роман Георгия Владимова «Генерал и его армия», напечатанный в «Знамени» ровнехонько годом раньше (1994, № 4, 5), и новая повесть Виктора Астафьева замечательно дополняют друг друга, являя, так сказать, пример коллективного творчества в подходе к такой сложной теме, как война 1941 — 1945 годов. В самом деле, название владимовского романа не вполне отвечает содержанию: генерал-то в нем есть, а вот «его армии» словно нет. Вернее, есть-то она есть, да только где-то на заднем плане, и автора она, по правде сказать, мало занимает. Писательские интересы на стороне генерала и его окружения, которое не надо путать с армией. Можно долго спорить, плох или хорош ординарец Шестериков, обелил или очернил Владимов этот народный характер; можно, подобно Вл. Богомолу, напечатавшему в «Книжном обозрении» (1995, № 19) сокрушительный ответ на владимовский роман, даже защищать смершевского офицера от несправедливой оценки автора; можно доказывать, что этот роман и вовсе не о войне, а о чем-то ином написан, — но в любом случае разговора про армию не получится. Нет в романе Владимова такой материи.

Зато в повести Астафьева нет генерала. Генералы, а также все чины выше лейтенанта даже не на заднем плане находятся, но где-то там, далеко-высоко, в своих начальственных эмпиреях, и автор только посылает в их сторону взгляд, наполненный такой лютой ненавистью, что не по себе становится. Приблизительно к середине вещи начинаешь понимать, что писатель не вот этих, конкретных, плохих, маршалов и генералов ненавидит, подразумевая, что есть где-то в природе маршалы и генералы хорошие, гуманные (так, в одном из интервью Астафьев клял Георгия Жукова за жестокое отношение к простым солдатам и хвалил Василевского за то, что этот и победы мог достичь, и народ сохранить), но вот именно генералов вообще, генералов как некий биологический вид. И значит, в повести проявилось нечто большее, чем просто взгляд талантливого писателя-фронтовика на события войны, а именно: древняя и неистребимая вражда черной кости к белой, рабов к господам, мужиков к барам. Та вражда, что заливала пламенем не одни Салтычихины дома и парки, но и имения многих и многих славных дворян, любивших крестьян чуть ли не больше самих себя, не пощадила, спалила дотла. Да будьте вы прокляты, все и любые господа! — и те, кому властная осанка и начальственный взгляд достались с молоком матери, и те, кто, как крестьянин Ерка Жуков, приобрели их тяжелым трудом и долгими тренировками (превращение Жукова из «мужика» в «барина» любопытно изображается А. Солженицыным в рассказе «На краях», напечатанном в «Новом мире», где ключевой сценой является встреча с надменным, с ходу бросающим приказы гордецом Тухачевским, поразившим младшего офицера Георгия Жукова даже не содержанием своих приказов, а вообще каким-то в крови заложенным талантом повелевать).

И выходит, что никакого альянса Владимова и Астафьева не получается. Я во все не намерен сталкивать лбами этих по-своему замечательных писателей, но просто констатирую факт. Вот что интересно: владимовский роман о генерале написан изящно, даже с некоторой долей литературного щегольства. Повесть Астафьева о солдате, боюсь, даже самых преданных ценителей отвратит избытком натурализма, обилием матерных выражений, там и сям прорывающимся через повествовательную ткань сердитым и раздраженным голосом автора, проклинаям большевиков, Ленина, Гитлера, Сталина, Советский Союз, Россию во время реформ и все разом. Некоторые места просто литературно необработаны и оставляют странное впечатление. «Убогая поэтическая, сама себя выпестовавшая, на всех и

на все обиженная, глухая провинция прилюдно обнажилась, показывая рахитные ноги, винтом завязанный патриотический пуп на вздутом от картошки животе», — пишет автор «Оды русскому огороду», и даже не тотчас понимаешь, что речь в этой тираде идет не о провинции как таковой, а всего лишь о провинциальных патриотах-графоманах, которых, впрочем, и в столице всегда было довольно. Но даже если смириться с немотивированным вторжением авторского голоса в повесть как с органическим астафьевским свойством, многие сцены, написанные сильной, энергичной кистью художника, все-таки вызывают реакцию прямо-таки шоковую.

Ясно, что, когда запирают людей в товарном вагоне на трое суток без возможности выйти наружу и оправиться, через некоторое время вагон превращается в свинарник. Несложно догадаться, что изголодавшиеся по бабам солдаты и младшие офицеры, в отличие от большого начальства не имевшие полевых жен, испытывали к женской части тылового населения не самые высокие чувства. Понятно, конечно, что в мешках-чемоданах возвращавшейся из Германии в свои нищие села армии лежали не открытки с красотами Берлина, а нечто посерьезней. (Вот история о чемодане, полном кремнями для зажигалок: «Ведь если каждый камешек продать по десятке...» Я слышал и более фантастические истории: о чемодане... со швейными иглами.)

Коробят не факты, но избыток самой грязной и неприличной правды на квадратные сантиметры печатного текста. Это отвлекает от мысли об искусстве и заставляет думать не о том, что сказано в повести, но о том, зачем сказано. Я думаю так: Виктор Астафьев долгие годы пристально наблюдал за тем, как вокруг военной темы создается литературная, кинематографическая и прочая мифология. Она включала не только пошлые и бездарные полотна вроде фильма «Освобождение», но и картины весьма талантливые, например, Чухрая, Германа, Шепитько («Восхождение» по «Сотникову» В. Быкова). В литературе она дала ряд блестящих писателей, среди которых первыми, мне кажется, были Виктор Курочкин и Константин Воробьев. Оба они смогли найти свой образ и свою идею войны, и за это честь им и вечная благодарная память! И сам Астафьев в недавнем своем романе не избежал мифологии, правда обратной. Это ясно из названия «Прокляты и убиты», как бы его ни трактовать. (Кстати, первоначальное название незавершенной повести Виктора Курочкина «Железный дождь» также имело мифологический характер: «Двенадцать подвигов солдата».) Но должна была, в конце концов, появиться повесть, написанная не о войне, а войною; повесть, лишенная даже намек на мифологию; повесть о том, о чем пятьдесят лет молчали фронтовики. Не те, кто, как лучшие военные писатели, обладали даром литературного слова и творческого вдохновения, но те, кто вроде главного героя Николки Хахалина были этой муки и счастья лишены, а только помнили «все как есть». Не мной замечено: многие бывалые фронтовики вообще молчали о войне. Если же и говорили, то выходило что-то неловкое, бессмысленное, хотя и весьма выразительное. Бывшая санитарка рассказала мне, что после боя в расположении их санчасти появлялись бойцы в состоянии шока и с оторванными конечностями под мышкой. «Они их приносили, потому что не могли бросить, хотя и понимали, что никто их рук, ног пришивать не станет». Бред какой-то! Говорила об этом спокойно, но с каким-то легким изумлением в голосе, словно не вполне доверяла собственной памяти.

Вот и повесть Астафьева, местами написанная ровно и даже хладнокровно, опытной писательской рукой, порой срывается в невнятный кошмар. По сути, в ней нет ни конца, ни начала. Не вымышленная проза и не автобиография. Читать тяжело. Кровь, грязь, сопли и моча. Правда о том, как людей отправляли погибать, а они хотели жить. Так хочется жить!

Из прочтения Владимова и Астафьева я понял, что правда о войне, о которой так долго мечтали наши критики, — весьма сомнительная вещь. И если бы Владимов постарался, например, написать роман не о генерале, а глазами генерала, наплевал бы на всяческие дистанции и эстетические барьеры, получилось бы нечто подобное повести Астафьева, только, наверное, еще неприглядней. Война — «солдатская» ли, «генеральская» ли, — чтобы быть фактом литературы, должна быть прежде всего сочинена. О настоящей войне можно говорить или нейтральным языком историка, или наивными словами древних.

В новичках буди отвагу. А победа — от богов...
Мы настигли и убили счетом ровно семерых:
Целых тысяча нас было... —

писал солдат Архилох.

«И избивали Иудей всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя...

В Сузах, городе престольном, умертвили Иудей и погубили пятьсот человек...

И собрались Иудей, которые в Сузах, также и в четырнадцатый день месяца Адара и умертвили триста человек...

И прочие Иудей, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч...»

И так дальше. Во главе этих дел стоял Мардохей. Хороший, как видно, полководец. Настоящий маршал Жуков!

Павел БАСИНСКИЙ.



СВИДАНИЕ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Поздние петербуржцы: поэтическая антология. Составление Виктора Топорова при участии Максима Манойлова. Автор вступительных заметок Виктор Топоров. СПб. «Европейский Дом». 1995.
664 стр.

Полтора столетия с церковью Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади Петербурга связано было лишь одно замечательное литературное имя. Отсюда провожали в последнюю дорогу Пушкина.

Об этом окутанном февральским сумраком дне написано достаточно. Сегодня пришел черед рассказать о хмуроватом майском утре 1992 года, когда здесь же отпевали другого поэта — Олега Григорьева. Пауза в сто пятьдесят пять лет кажется слишком значительной, соблазнительно заполнить ее историческим содержанием.

В XIX веке церковь была приписана к Дворцовому ведомству. Но как раз со дня гибели Пушкина процесс отчуждения культуры от императорского двора стал необратимым. Царствующей фамилии оставалось теперь хоронить лишь своих мертвецов. Что уж говорить о дальнейших советских временах, когда и о церковной службе остались одни воспоминания...

Однако без царя и без креста пишущая братия не пренебрегла близостью новых верховных сил. Много чего вернув кесарю, она не утратила также одной существенной конфессиональной привычки — кланяться.

Вот и встретимся со дня на день всем литературным миром перед алтарем, с какой бы стороны мы к нему ни тянулись. Каждый не без греха.

Приятно поэтому уточнить: вслед за Пушкиным из поэтов первую панихиду под сводами Спаса Нерукотворного служили по Олегу Григорьеву, ни у кого на земле ничего не искавшему, от тюрем не зарекавшемуся. Хоть в одном святом месте безвестный гений утвердился раньше наших елейнокипящих мэтров — из тех, что нынче крестятся на всякую колокольню, а завтра снова засядут в президиумы под портретом Ленина.

Ко дню похорон Олега Григорьева церковь после десятилетий запустения отреставрирована как следует еще не была, но пришедшие проститься с поэтом удивительным и самым естественным образом вписывались в ее не слишком благолепный интерьер. Хорош был и сравнительно молодой священник: без тени раздражения он напомнил присутствующим, чтобы они в алтарную часть храма не забредали и свечи держали в левой руке. Атмосфера установилась скорбная, но не чопорная, элегическая более, чем трагическая:

Смерть прекрасна и так же легка,
Как вылет из куколки мотылька.

Эти стихи усопшего были ценимы и за их словесную остроту, и за то, что еще раз, в последней из мыслимых ситуаций, напоминали о духовном освобождении —

путеводном ориентире питерских творцов из художественного ареала Олега Григорьева. В советскую эпоху вернее всего оно достигалось через предпочтение «вечных ценностей» — «историческим», «изгойства» — «успеху» и «абсурда» — «логике». Соответственно и вся эстетика этого круга авторов строилась на внеположных формальной логике оппозициях. «Реальности» здесь предпочли не «иллюзию», а еще более грубую реальность, «победителям» — «непобежденных». И всему на свете — «маленького человека». Однако ж — с душой, талантом и амбициями «гения».

Собственно говоря, в этом вся суть экзистенциального порыва, овладевшего художниками с невских берегов: создать гения по образу и подобию «маленького человека».

Уже понятно: те, кто пришли (или готовы были прийти) проводить в последний путь Олега Григорьева, — они и есть искомые «гении», «поздние петербуржцы».

Воображению Андрея Битова представилась в то утро такая картина: если Колюшенную площадь наполнить всем тем портвейном, что выпили за свою не слишком покамест долгую жизнь присутствующие на отпевании, все мы здесь, верно, потонули бы.

Не будем поэтому преувеличивать благочестивости собравшихся: «добрыми христианами» из «поздних петербуржцев» можно назвать немногих, и лишь единицы из них относятся к верующим ортодоксам.

Однако никто из них в силу одной только приверженности принципам духовной свободы не впадал в соблазн отрицания православной доктрины перед лицом атеистической власти.

Им и простится.

Независимо от конфессиональной принадлежности всем им передалась от петербургской культуры ее главная интуиция — о неполноте земного человеческого бытия. (Поэтому, кстати, в большей степени, чем по социальным мотивам, всякий человек трактуется этой эстетикой как «маленький человек».) Над жизнью здесь всегда стоит знак вопроса, ибо сама она представляется не больше чем паузой между кошмаром и волшебным освобождением:

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...

Эти стихи Анны Ахматовой конгениально выражают дух петербургского творчества. Петербургский художник не остерегается ни слишком земного, ни «слишком человеческого»: в них он ищет и находит отражение небесного и внечеловеческого. Его «отрицательное знание» (увы, имеющее часто неврастеническую подоплеку) переплавляется в «положительное» — о «мирах иных». Истинно петербургскому поэту, такому, например, как Георгий Иванов,

...полною грудью поется,
Когда уже не о чем петь.

То есть когда скорбные земные итоги подведены и сведены все счета.

Таким фатально вдохновляющим историческим промежутком была для «поздних петербуржцев» эпоха «развитого социализма», достижений которого они «в упор не видели» и культуре которого предпочли культуру канувшего «серебряного века», а также ее абсурдистскую рецепцию, каковой было ленинградское «обэриутство» 30-х годов.

По естественной человеческой слабости «поздние петербуржцы» полагали при этом, что их самих официальные культуроохранители замечать были обязаны, а их нигилистическое к себе отношение если и не приветствовать, то с почтением терпеть. Так что черный юмор Олега Григорьева оказался в подобной ситуации решающим мерилем взаимоотношений двух станов, а не только «эстетикой»:

Григорьев Олег ел тыкву
И упал в нее с головой.
Толкнули ногой эту тыкву,
Покатили по мостовой.

Катилась тыква под гору
Километра может три,
Пока этот самый Григорьев
Не съел ее изнутри.

Проблема, признаемся, обозначалась обоюдоострая: стоила ли выведенная тыква художественного нигилизма «поздних петербуржцев» выведенного яйца господствовавшей идеологии социалистического реализма? Будем надеяться — стоила.

В составленной Виктором Топоровым антологии «Поздние петербуржцы» Олег Григорьев занимает центральное место в буквальном смысле — помещен в самую середину подборки, представляющей миру сорок семь поэтов. И, может быть, это единственный поэт, к которому у остальных его собратьев не было и нет претензий.

В то же время это центральное положение Олега Григорьева есть и несколько размытое, нечеткое положение. Его слово становится опознавательным знаком определенного литературного братства в большей степени, чем принадлежащим самому Григорьеву. Многие питерские поэты пишут стихи виртуознее, сама по себе поэтическая речь для них существеннее григорьевского остроумного сюжетного хода. Недаром строфы Олега Григорьева часто отшлифовывались слушателями в процессе их устного бытования, так что конечный «анонимный» текст оказывался совершеннее оригинала. Например, одно из наиболее известных его стихотворений в авторской версии звучит так:

Я спросил электрика Петрова:
— Для чего ты намотал на шею провод? —
Петров мне ничего не отвечает,
Висит и только ботами качает.

И эта версия, на мой вкус, уступает «фольклорной»:

Я спросил электрика Петрова:
— Для чего тебе на шее провод? —
Но электрик ничего не отвечает,
Только тихо ботами качает.

Конечно, на «официальных» страницах появлялись стихи получше, чем у доброй половины «поздних петербуржцев». И все-таки последние имеют основание не замечать одобренную начальством поэзию всю скопом, рассматривая ее представителей как узурпаторов предшествующей, высшей культуры.

Только психологической аберрацией автора вступительных заметок антологии вызваны его постоянные сетования: одного «не печатали», второго «затирали», третьего «не принимали»... И всех — «задерживали» («поздние петербуржцы» с остроумной двусмысленностью отнесены к «задержанному поколению»).

По чести, сетовать «поздним петербуржцам» не пристало. Один ныне здравствующий неглупый представитель «официальной культуры» резонно заметил: «Мы-то их худо-бедно, понемногу, но печатали. А вот будь их власть, они бы нас не только не печатали, в трамвай бы не пустили!»

Замечание это психологически вполне убедительное, но еще больше — лукавое: власти у «поздних петербуржцев» не было, нет и никогда не будет. «Маленький человек» остается «маленьким человеком», какой бы жемчужиной он ни мерцал в общем социальном муравейнике. В тех же роскошных изданиях «серебряного века» поэты хозяевами не были, существовали за счет меценатов. Легко им было «не пускать» в «Аполлон» «профанных» М. Арцыбашева с А. Вербицкой: материальной ответственности за провальный сбыт продукции они не несли.

Необходимо поэтому еще одно сущностное уточнение, дорисовывающее образ «позднего петербуржца». Виктор Топоров, критик хоть и уязвленный (ибо тоже «позднепетербургский»), но прямоговорящий, достоинство антологии видит в следующем: «Это автопортрет современного интеллигента в интерьере отечественной истории и культуры».

Ключевое слово этой фразы — «интеллигент».

Питерский «маленький человек» — это и есть российский интеллигент, тип личности, выработанный Петербургским периодом русской истории и оставшийся за него представительствовать до нынешнего дня.

Представительство это не может не быть отчасти воображаемым, а потому неизбежно словесным, то есть — творческим.

Утраченный рай обретается «поздними петербуржцами» вновь — через речевое вдохновенное усилие. В нем ощутимы отзвуки христианского понимания духовно-

го труда как высшего по сравнению с физическим. Но выражается эта интуиция с дерзостью более шокирующей, чем веселой:

Пускай работает рабочий
Иль не рабочий если хочет
Пускай работает кто хочет
А я работать не хочу.

Авторов этой стрфы — Анри Волохонского и Алексея Хвостенко — уж точно вкалывать не заставишь: даже знаки препинания им расставлять неохота — «из принципа».

«Поздние петербуржцы» не делают вида, что пишут от имени народа или для народа:

Народу своему какой я судия,
но и народ пускай туда не застит взора,
где радужный журавль, где райские края,
где песнь его летит до вечного жилья...

А впрочем, мало ли какого вздора
понапророчила нам речь-ворожея!

Неуловимая и вероломная «речь-ворожея» Дмитрия Бобышева — единственная тем не менее чудотворная предстательница за человека в нашем брэнном мире. За одинокого человека.

Фундаментальной доблестью, оплотом и прерогативой «позднего петербуржца» является «частное существование». Даже когда он говорит о «соборности», то делает это «келейно», решая экзистенциальные проблемы собственного бытия, как это делали его предтечи из «серебряного века».

Основой мировоззрения и целью мироздания «частное существование» провозглашено и наиболее известным из «поздних петербуржцев» — Иосифом Бродским. Его отвращение от любой власти, его «беспочвенность», его «отрицательное знание» направлены на выявление ценностей внутреннего бытия, являются «апофатическим» откровением (во всяком случае — оправданием) о единственно чистом (потому как неутилитарном) занятии — поэзии:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

Питерский поэт чист не потому, что бесплотен, но потому, что ведает о грязи. Грубая, осязаемая плоть и суть вещей — все в какую-нибудь землю ляжем! — неизбежно задевают его чувства, хотя он и знает: не вещи властвуют над нами, и если «учат» чему-нибудь, то лишь одиночеству.

С этим одиночеством петербуржцам мало дела до смыкания лихих рядов в шеренгах «модернистов» и «постмодернистов». Тем более что их кредо еще на заре века свято выражено Иннокентием Анненским:

...грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...

В петербургской поэзии — а литературное влияние Петербурга на русскую словесность было и осталось поэтическим и метафизическим по преимуществу — «земное» притягивает к себе «небесное». Понятно, что выраженное место и образ их встреч — «закат».

Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.

С этого тридцать лет тому назад «прижатого к сердцу» Александром Кушнером заката и следовало бы начать описание поэтики «поздних петербуржцев». Им же и завершить. Если бы поэт захотел поместить свои стихи в антологию. Но он

не захотел. А критик сделал вид, что такого поэта и вовсе не существует. Ну да в Петербурге как минимум со времен Александра Блока о «надменных улыбках» не спорят.

В известной работе «Петербург и Петербургский текст русской литературы» старший однофамилец составителя антологии Владимир Топоров писал: «Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал».

Подобный «почти религиозный тип» поэта явил собой Бродский — как ответ на «бесчеловечность» и неодушевленность умолкающей петербургской культуры. Он как никто видел этот исчезающий мир во всем многообразии примет тления, видел исчезновение — достаточно вспомнить хотя бы его «Остановку в пустыне».

«Исчезновение» — один из магистральных сюжетов лирики «поздних петербуржцев», так же как память об утраченном культурном рае — источник и достояние их поэтических откровений.

Переживание бытия как «исчезновения» вызывает у художника эгоцентрическую реакцию, страшно драматизирует его взгляд на самого себя. Завет Ахматовой — «не терять своего отчаяния» — восхитительно петербургский совет. Жизнь ужасна — значит, я все еще существую.

Силою вещей более, чем волею составителя, антология открывается словами: «Я существую...» (Николай Голь) и заканчивается признанием неполноты, фрагментарности этого существования:

От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

(Бродский)

Человек освобождается, чтобы исчезнуть. Эта нестерпимая антиномия бытия разрешается у «поздних петербуржцев» эстетическим умалением — и человека, и бытия. «Речь-ворожея» замещает «целое» — «частью». «Часть» здесь вообще больше «целого» — стоит под знаком «вечности». В то время как «целое» — лишь эпизод в исторической жизни. «Царственное слово» не истлевает, в землю не ложится.

О земном благополучии тут мало заботятся. Максимальное «участие в жизни» на семистах почти страницах антологии запечатлено такое:

На карауле не стоял
у мавзолея... Но у склада,
где дядя мыло выдавал, —
стоял и думал. Думать надо.

(Глеб Горбовский)

Потому-то самой высокой оценки заслужила у Виктора Топорова позиция «внутреннего эмигранта» Сергея Кулле, противопоставленная в контексте его характеристик других поэтов позиции эмигрантов «внешних» (они в лице Бориса Берковича, Василия Бетаки, Бобышева, Бродского, Михаила Генделева, Бахыта Кенжеева, Константина Кузьминского, Льва Лосева, Волохонского и Хвостенко заявлены, впрочем, вполне репрезентативно) — публики, по ощущению критика, пропащей. Нетерпимость «поздних петербуржцев» бывает жесточе нетерпимости властных структур.

Сергея Кулле Топоров считает самым стойким из «внутренних эмигрантов», следовательно, и самым свободным в сфере поэтической. Эта свобода продиктовала поэту даже форму его литературного выражения. «Свободный стих, — по догадке Топорова, — не терпит лжи».

Сергея Кулле, так же как и Олега Григорьева, уже нет среди нас, и при жизни он практически не печатался. Тем поразительнее прочитать его стихи 60-х годов — стихи двадцатилетнего поэта, программировавшего жизнь своего поколения как путешествие... «на качелях» и заявившего о сущности этой жизни:

Все жду,
когда песочные часы,
которые до этого молчали,
пробьют двенадцать раз.

Именно Сергей Кулле выразил еще в 1963 году суть отмежевания «поздних петербуржцев» от «официального искусства»:

Мы —
товарищи по несчастью.
Вы —
товарищи по бесчестию.

Позиция эта, конечно, гражданская — дальше некуда! Но важно подчеркнуть: и Сергей Кулле не забывает о завораживающем превосходстве «речи-ворожеи» над тусклой реальностью: «Кувыркатся в словах — вот мой идеал».

С фотографии, предпосланной подборке стихов Сергея Кулле, глядит лицо человека, побывавшего не то на войне, не то в лагере. И хотя ни там, ни там он не был (самый старший из «поздних петербуржцев», Бетаки, родился в 1930 году), это внешнее впечатление о поэте как о человеке «оттуда» — верное. О человеке, которого власть должна была загнать «туда».

За одно открытие читателю Сергея Кулле с Топорова спишутся все его уходящие за рамки антологии критические грехи.

Сумев сорок шесть раз подряд живо изобразить одну и ту же литературную ситуацию, Виктор Топоров сумел и не растерять среди орнаментальных заставок сущностные оценки авторов, взяв за точку отсчета их «личность, талант, судьбу». «У петербуржцев чаще всего выпадает из этого ряда судьба, — пишет он в заметке о Евгении Рейне, — (проявляясь разве что кровавой точкой или многоточием в конце пути), они ведут потаенное существование...».

Это естественно: пренебрегшие «исторической жизнью» пренебрегают и личной «судьбой». Отчего она им кажется еще более значимой и драгоценной. И никакое «постсоветское время» эту «судьбу» никуда не выведет:

Справедливости нет и не будет.
И не ведая, что он творит,
Каждый сам свою душу погубит.
Свет задует. И дверь затворит, —

пишет Ирина Моисеева.

Топоров рисует портреты «поздних петербуржцев», «смазав карту будня» и «плеснув краску из стакана». Но все же и он не удержался от соблазна воздвигнуть пьедестал — Виктору Кривулину, предоставив ему, по отъезде Бродского, «Вакансию Поэта». Напрасно. По честному выражению самого Кривулина, «мы всегда не там».

И даже «вечность» у нас не та, что была, скажем, в начале века. Поэты перестали трактовать ее в возвышенном смысле, она странным и страшным образом к ним приблизилась:

Дверь раскроешь — и вот она, вечность:
те же баня, пивная, дурдом...
Из распахнутых врат чебуречной
за версту тянет Страшным судом.

(Евгений Каминский)

Однако какой бы эта «вечность» ни была, именно к ней «поздние петербуржцы» влекомы всем сердцем и готовы врезаться в нее хотя бы таким вот образом:

Лугальэдинна моя грудь, латарак колени,
Мухра ноги поют тополей...

Это Анджей Иконников-Галицкий, кажется, самый юный из поздних...

А что? Мухра, мухра!.. Латарак! И Виктор Александрович — Соснора — одобрил. И Виктор Леонидович — Топоров...

Тем более что не одобрил Виктор Леонидович и гораздо более известные имена. Кроме Кушнера в антологии нет Владимира Гандельсмана, Михаила Еремина, Елены Игнатовой, Александра Кондратова, Анатолия Наймана, Елены Пудовкиной, Сергея Стратановского, Елены Шварц, Алексея Шельваха...

Два года в петербургской газете «Смена» Виктор Топоров вел рубрику «Поздние петербуржцы» (из нее и составила антология) и оборвал ее так же своевольно, неожиданно и все же закономерно, как оборвался Петербургский период русской истории. Завершивший ее культуру «серебряный век» длился чуть дольше — до смерти Александра Блока и Николая Гумилева и высылки русской интеллектуальной элиты в 1922 году из Петрограда за границу... Оставшимся предоставлялась некоторая возможность «частного существования», ставшая философией жизни «поздних петербуржцев». Преображенная поэзией, эта философия увенчана в лице Бродского Нобелевской премией. Во всяком случае, в таком ключе истолковал награду сам лауреат.

Превосходно сказал кто-то из московских авторов: поэзия бывает хорошая, плохая и ленинградская. В Питере эту шутку воспримут как святую правду. Разве что уменьшат число дефиниций: поэзия бывает петербургская (по географическому положению) и петербуржская (по духовному содержанию). А все остальное — так, кустарный промысел, лубок...

Таков потаенный смысл «надменной улыбки» уязвленного вечностью «позднего петербуржца».

Андрей АРЬЕВ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ БЕЗ БЕРЕГОВ?

Телевидение — один из ярчайших феноменов второй половины XX века — безусловно заслуживает своего философского анализа и осмысления. Развернувшаяся в России бешеная борьба за ТВ, доступная взору общественности лишь в виде вершины айсберга или схватки под ковром, лишний раз подтверждает это. Количество телевизоров в мире перевалило за миллиард и продолжает быстро расти, качество их непрерывно совершенствуется. Добавим к этому, что два «кита», на которых зиждется глобальная система коммуникаций, — волоконно-оптические кабели и стационарные спутники связи — уже сейчас позволяют использовать телевизоры в любой точке планеты с сохранением высокого качества изображения.

С начала нашего века подобной глобальностью стало постепенно обладать радио. Чисто звуковая форма передачи сигналов, впрочем, принципиально ограничивала информационно-эмоциональный заряд (ИЭЗ) радиосообщения. Мы вводим здесь этот термин потому, что любое сообщение, переданное техническими средствами, несет в себе не только информацию, но и ее эмоциональную окраску, мало чем отличаясь в этом смысле от живого слова. В связи с этим принятое в теории передачи сигналов понятие «тезаурус» — способность личности адекватно воспринимать данное сообщение — следует, по нашему мнению, расширить: оно должно охватывать не только смысловую, но и эмоциональную компоненту.

Сравнительно скромная пропускная способность звукового канала информации, растягивая время восприятия, значительно ослабляет, по-видимому, ее эмоциональный заряд. Но так или иначе, гигантская способность радио параллельно тиражировать сообщения во множестве различных точек планеты продемонстрировала с небывалой силой эффект усиления значимости передаваемой информации. Услышанное многими одновременно и повсеместно крепче западает в сознание и душу, солидаризуя и организуя общество, вызывая тем самым, по нынешней терминологии, синергетический эффект. С другой стороны, при этом подавляется личное мнение слушателя. Радио, таким образом, позволяет управлять общественным мнением. Особенно ярко и трагично это проявилось при тоталитаризме, подчинившем себе гигантские просторы России.

Каковы же принципиальные особенности ТВ по сравнению с радио? Вряд ли тут следует подробно объяснять разницу между слепым и зрячим. Воспринимаемая прежде всего зрительно, телевизионная картинка благодаря своей наглядности обладает несоизмеримо большим ИЭЗ. Именно поэтому возможности ТВ поистине беспредельны. Еще не истек XX век, а всевидящее телевизионное око уже побывало на Луне, полюбовалось с близкого расстояния Юпитером и Сатурном с их фантастическими спутниками, проникло в стальное чрево сгнувшегося в морской пучине «Титаника», подсмотрело тайну соития половых клеток человека... Отдадим должное и мужеству телерепортеров, одержимых желанием первыми показать людям правду, сколь бы драматично, страшно или отвратительно она ни выглядела. А такая правда не только колет глаза. Она опасна для всякого рода «теневиков», тех, кто, совершив подлость, насилие или убийство, норовят стусеваться, тихонько раствориться в толпе или лечь на дно. Характерно, что даже самые отпетые преступники, попав в руки правосудия, трусливо прикрывают лицо перед всевидящей камерой...

У телевидения практически неограниченные возможности в формировании сознания масс. Недаром злодейское убийство популярного отечественного шоумена вылилось во всенародное горе, стало национальной трагедией.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — утверждает русская пословица, аналоги которой наверняка имеются во всех языках мира. И правда нет лучшего доказательства для человека, чем убедиться воочию. Неудивительно, что, получая такой наглядный заряд, массы зрителей уже не просто внимают сообщению, а как бы переносятся в особый мир ТВ, претендующий на адекватность реальности. Значительная часть человечества, судя по приведенным выше цифрам и наблюдениям, уже благополучно пребывает в этом мире примерно два-три часа в сутки,

что, если исключить сон, составляет 12 — 20 процентов всей активной жизни. Для детей эта цифра значительно выше: она достигает, по некоторым оценкам, 35 — 40 процентов. Автоматизация производства и услуг и, как следствие, сокращение рабочей недели будут, скорее всего, способствовать дальнейшему увеличению указанной доли в среднем не менее чем на 30 процентов. Это требует учитывать нарастающее воздействие феномена ТВ на формирование личности и ее менталитет.

Самонадеянно окрестив себя homo sapiens, человек оказался в двусмысленном положении. Как можно признать, например, разумными кровавые бойни, обязательно сопровождавшие всю историю человечества и разгоравшиеся со все большей силой и страстью по мере научно-технического прогресса? Лишь в нашем веке Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг научно обосновали древнее философско-религиозное представление, что человек есть некий кентавр: наполовину — зверь, наполовину — разумное существо. И если сознательное начало любой личности уникально, то бессознательное, как пережиток извечной борьбы за право жить, одинаково для всего живого. Это коллективное бессознательное и создает — по Юнгу — архетип, то есть обобщенный стереотип поведения, формирующийся в потемках души и комплексно сопрягающийся затем с сознательным представлением о реальности.

Так возникают мифы, в том числе и современные, где фантастические и аморальные заскоки причудливо сочетаются с новейшими достижениями науки, технологии и культуры. Нарушение баланса в нашей психике между сознательным и иррациональным приводит к активизации архетипов, то есть опаснейшим массовым психозам, охватывающим целые государства, а то и всю цивилизацию, например, в формах фашизма, большевизма или мировых войн.

Возвращаясь к ТВ, мы можем полагать, что оно, как, впрочем, и любой общественный феномен, воздействует параллельно и одновременно на обе составляющие нашей психики. Мера этого воздействия определяется, с одной стороны, содержанием передачи, а с другой — «экзистенцией» телезрителя, которая, в свою очередь, зависит от социального климата и множества других факторов.

Многочисленные попытки исследовать влияние ТВ на человека исходят главным образом из оценки содержания транслируемых программ, что вполне естественно. Подобный чисто семантический подход вносит, однако, мало нового в раскрытие специфики ТВ, поскольку практически одинаков для всех средств массовой информации. Не случайно, что именно он, и только он, позволяет перевести любое сообщение на язык закона и права с последующей его юридической оценкой. В результате специфика ТВ оказывается как бы вынесенной за скобки. К тому же указанный подход основан, в свою очередь, на расхожем мнении, что ТВ само по себе, как, впрочем, и любое великое изобретение, — обоюдоострое оружие в великой битве добра и зла, эффективность которого всецело зависит от того, в чьи руки оно попадет, то есть опять-таки от содержания программ.

Не следует забывать, однако, что любое значительное изобретение, как показывает опыт истории, само по себе, тайно или явно, несет вместе с выгодами не менее существенные опасности и утраты, в том числе и моральные.

Если повторять слово «урюк» даже много раз, во рту слаще не станет. Эта восточная мудрость веско дезавуируется ТВ, где повтор воспроизводится сотни, а то и тысячи раз. В результате количество переходит в качество и возникает нечто поразительное: тиражированная столь многократно блажь смотрится правдой, робкое сомнение — опровержением, а вполне заурядный проходимец — чуть ли не кандидатом в президенты. И если крупнейшие стихийные бедствия действительно соответствуют подобной значимости, то множество других псевдосенсаций, связанных, например, с частной жизнью политиков, спортсменов, звезд эстрады и т. п., не нужных никому, только разжигают и стимулируют праздное любопытство, оглуляя человека.

Не секрет, что одним из столпов, на котором зиждется коммерческое благополучие ТВ, служит реклама. За нехитрой изначальной целью рекламы — помочь покупателю в правильном выборе товара — сплошь и рядом стоит стремление подавить конкурента и, главное, искусственно раздуть реальную ценность продукта, услуги и т. д., то есть сделать из мухи слона. Таким образом, реклама неизбежно разжигает ажиотаж потребительства, изо дня в день заставляя обывателей больше есть, пить, курить, отчаянно гнаться за модой в одежде, образе жизни и т. д. В результате вполне умеренные физические потребности людей в пище, воде и тепле, которые, по существу, за много тысячелетий не изменились, искусственно подме-

няются престижными соображениями, а потому возрастают до несусветных размеров. Но излишества в потреблении — не просто бездумное и аморальное расточительство и разбазаривание ресурсов. Это прежде всего насилие над самой природой человека, его телом и душой, ведущее к тяжелым нравственным, физическим и социальным болезням. И решающую, пожалуй, роль в этой потребительской вакханалии играет ТВ-реклама как наиболее массовое и сильное средство одурманивания потребителей.

Механизм подобного усиления значимости чего-либо сродни своеобразному прожектору, который, действуя избирательно, выхватывает из тьмы нужные оператору фрагменты, заставляя по ним судить о целом. В результате становится сверхзначимым все то, что более или менее произвольно попадает в луч прожектора, то есть на телевизионную картинку. Это особенно наглядно проявляется в сфере искусства, где с помощью ТВ в угоду чьему-то заказу открываются или, если угодно, зажигаются «звезды» весьма сомнительные, если не сказать — мнимые. Эффектная реклама закрепляет и наращивает их популярность. Не менее вредна аналогичная раскрутка национальных, политических и экономических сюжетов с их пророками и лидерами, прямо связанных, как правило, с общественными кампаниями и конфликтами.

Картину довершает довольно откровенная ставка на забитость и неосведомленность телеаудитории, которую можно брать голыми руками. Российская ТВ-реклама с ее умильно-невинным, казалось бы, «мы сидим, а денежки идут», попав на благодатную почву всеобщей экономической малограмотности и чуть ли не языческого, наивного доверия населения к «ящику», походя способствует ограблению миллионов простаков.

Кино служит основой ТВ, имея, в свою очередь, генетического предшественника — театр. Понадобились десятилетия, чтобы по-настоящему понять коренную разницу между кино и театром. Не меньшее, притом опять-таки принципиальное различие существует между ТВ и кино. Коллективный настрой на спектакль, взлелеянный театром и еще сохранившийся в ослабленном виде в кино, полностью исчез в телешоу. Вместо него зритель получил кучу удобств, начиная с прелести домашней обстановки и кончая правом в любой момент прекратить зрелище или переключиться на другую программу. ТВ, создав кинотеатр на дому, обрекло зрителя на изоляцию, в итоге лишив его того самого настроения, выражающего в конечном счете способность социальной синергетической оценки происходящего, где индивидуальное восприятие каждого спаяно единой для всех моралью. В результате сильно ослаб эффект заражения чувством, которое художник вложил в свой шедевр. Напомним, что именно этот эффект Лев Толстой считал основой любого искусства. Таким образом, типичное для ТВ индивидуальное восприятие зрелища, давая зрителю определенные выгоды прежде всего в экономии времени, вместе с тем в чем-то снижает силу и глубину эстетического воздействия, свойственного театру, кино и другим традиционным зрелищным формам искусства.

ТВ ищет новые средства контакта со зрителем. И они появляются по мере дальнейшего усовершенствования ТВ и его основы — кинематографа. Один из путей такого усовершенствования — соединение ТВ с голографией, что дает возможность, в принципе, получить долгожданный «вид из окна», то есть полноценное объемное изображение в рамке телеэкрана¹. Существует, безусловно, и множество других возможностей технического развития ТВ, в результате которых его воздействие на человеческую психику будет многократно усилено.

Не вдаваясь в детали, отметим, что захватывающие перспективы ТВ по-прежнему направлены на то, чтобы максимально ублажить зрителя и извлечь наибольшую финансовую выгоду. Возможность использовать волоконную оптику, соединив при этом телевизионный передатчик с компьютером в так называемом диалоговом ТВ, позволяет потрафить уже каждому клиенту в отдельности по принципу «хозяин — барин», но какой ценой! Вспомним, что личность выковывается прежде всего благодаря сопротивлению ее воле и поступкам. Коварно устраняя это сопротивление, не окажется ли обновленное ТВ тем данайским даром, который грозит окончательно обезличить зрителя, превратив его в несчастную подопытную мышь, лихорадочно нажимающую на «кнопку удовольствия»?

Теперь мы можем уточнить понятие «мир ТВ», использованное выше. С одной стороны, этот мир реален, поскольку построен на событиях и фигурах, взятых из

¹ Имеется в виду такое изображение, которое позволяет заглянуть за спину видимого предмета, перемещаясь относительно «окна», то есть экрана телевизора.

самой что ни на есть действительной жизни. С другой — этот мир определенно является собой деформированную, искаженную реальность, как в русской поговорке «Федот, да не тот». Иными словами, мир, сформированный и переданный ТВ, создает о действительности сильное, но во многом утрированное представление как в пользу «добра», так и «зла». Попросту говоря, мир ТВ, в который вольно или невольно погружается зритель, служит, по существу, подделкой реальности, но подделкой весьма профессиональной, наглядной и впечатляющей, а потому особенно действенной. Важно, что его действенность — не только следствие произвола телевизионщиков, выполняющих так или иначе чей-то социальный заказ, но и неизбежное отражение специфики самого ТВ как сложнейшего социально-технического явления. Отсюда накаленный мировоззренческий, по существу, конфликт между функционерами ТВ и зрителями. Суть в том, что выхолащивать индивидуальный взгляд тележурналиста на события так же невозможно и бессмысленно, как лишать художника его священного права на «я так вижу». Достоверность и объективность телепоказа определяются совестью тележурналиста, его мировосприятием.

Уже ребенок, доверчиво упирающий взор в пленительно-беспощадный экран, сразу попадает не в привычный прозаический мир, который он видит из окна и в котором живет, а в иной — захватывающий мир погонь, приключений, ограблений и убийств. Можно спорить о том, насколько хорош или плох такой кинотеатр на дому. Безусловно одно: характер современного ребенка в значительной мере формируется под влиянием ТВ. С помощью того же ТВ подросток постарше выбирает не только стиль и линию поведения, но и собственное отношение к жизни, которое опять-таки не просто хорошо или дурно, но деформировано и искажено «телемифом», что выясняется при его столкновении с реальностью. Шок, порожденный несоответствием действительности «телемиру», заставляет либо капитулировать перед жестокой и беспощадной данностью, рабски приспособившись к ней, либо попытаться как-то изменить саму эту данность в соответствии с ирреальным и соблазнительным «телемифом». А отсюда — шаг до преступления. Не случайно весьма значительную часть преступлений в развитых странах совершают именно подростки.

Возвращаясь к теории К. Юнга, попытаемся прояснить специфическую и коварную роль ТВ в формировании архетипов. Коллективный инстинкт, слившийся в архетип, особенно наглядно проявляется в полуживотном, близком к аффекту поведении толпы, воспламененной, например, каким-либо примитивным лозунгом и взрывающейся в немедленном разрушительном действии. Влияние ТВ на одиночку, с одной стороны, исключает оупляющее стадное чувство, знакомое каждому, кто побывал в эпицентре экзальтированного сблища. С другой стороны, сильный информационно-эмоциональный заряд ТВ проникает одновременно во все поры общества, создавая у тысяч или миллионов зрителей отсроченное, латентное побуждение к взрывному поступку, то есть некую психологическую бомбу замедленного действия. Напомним, что коллективное бессознательное — по К. Юнгу — одинаково для всех. Поэтому даже индивидуальное возбуждение его с помощью единого детонатора даст рано или поздно свой синергетический эффект.

В итоге мы имеем то, что имеем: непредсказуемое, полное неожиданностей неустойчивое бытие, где блестящие достижения человеческого гения парадоксально сопряжены с иррациональным и необъяснимым поведением людей, достойным театра абсурда. Другими словами, утрируя сначала образ реальности в нашем сознании и душе, ТВ активно вмещивается затем в саму эту реальность, взбаламучивая ее и создавая в итоге новую сюрреалистическую модель бытия. Полуиллюзорный или, если угодно, полубезумный мир ТВ, в котором мы пребываем все дольше, постепенно становится предтечей новой реальности, где телевизор и компьютер претендуют не только на неотъемлемую часть бытия, но уже и на составляющую нашего «я». «Демон» из романа о Франкенштейне остается пока, слава Богу, всего лишь сказкой и щекоткой для нервов. А вот гомункулус, выпестованный втихомолку в недрах ТВ и вживленный в массовое сознание, становится все полновластнее.

Парадоксально, на первый взгляд, что дурно пахнувшие «жареные факты» и «клубничка» пользуются широчайшим спросом в такой цивилизованной стране, как США. Между тем именно в США поставлены на конвейер самые изощренные методы извлечения прибылей «из воздуха» с помощью могущества ТВ. В их основе — поистине inferнальная смесь «сенсаций», круто замешанных на сексопатологии и насилии, с особо хищной и навязчивой телерекламой. Создавая общественное мнение, моду, вкусы и жизненный стандарт, владельцы ТВ успешно под-

тверждают и реализуют в гигантских масштабах афоризм Козьмы Пруткова: «Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе». По существу, в «самой свободной стране мира» — США — телевидение планомерно убивает свободу воли и выбора.

Нет, мы не отрицаем очевидную и ни с чем не сравнимую роль ТВ в информационном обеспечении цивилизации, охватывающем все виды бытия и давшем нашему веку наименование «век информации». Речь, как мы уже говорили, идет о тяжелых, с социально-исторической точки зрения, последствиях и издержках телевизионной «идеологии», приобретающей тоталитарный характер. В пределе мы можем получить некое зловещее равновесие между во многом иллюзорной реальностью и оболваненным телезрителем, что будет означать, по существу, «короткое замыкание», чреватое разрушением личности.

Любопытен в связи с этим логический экскурс С. Лема в область, названную им фантоматикой². В основе ее лежит вполне реальная в наше время возможность создать полностью иллюзорный мир. Для этого достаточно подключить к сенсорной системе индивида генератор импульсов, тождественных тем, что возникают при контакте такой системы с реальным миром. При этом предусматривается обратная связь между поступающими извне импульсами, охватывающими всю гамму чувств, и реакцией на них человека. Иными словами, иллюзорный мир реагирует на человеческое поведение вполне адекватно, как бы превращаясь в реальность. В итоге человек оказывается не только зрителем, но и соучастником событий в «парареальности», существующей лишь на фантомном уровне в виде компьютерной программы. Подобный метод, правда еще в сравнительно примитивном виде, уже широко применяется при обучении водителей машин, авиапилотов, судоводителей, причем пока не видно принципиальных технологических трудностей для доведения такого метода имитации до «проекта» С. Лема. Но если на уровне подготовки таким манером водителей и пилотов «параллельность» максимально подогнана к действительности, то фантоматика С. Лема уже явно покушается на сохранность самой личности в лжеприродном мире. Как это ни парадоксально, высшее, казалось бы, достижение технического прогресса отбрасывает человечество назад — в иллюзорный мир магии и фантомов.

Отметим в заключение, что мы отнюдь не собирались выставить феномен ТВ как некое демоническое явление, неотвратимо подрывающее устои. Мы стремились лишь разглядеть за феноменом ТВ, без которого сегодня мы просто не можем жить, грозные теневые стороны и пытались раскрыть их подоплеку. ТВ, по существу, — зеркало мира, но зеркало не вполне объективное: выпячивающее одни явления и слабо отражающее другие.

И тут логично встает вопрос о необходимости ограничительного контроля над телевидением. Однако многие, слишком многие заведомо принимают его в штыки, считая, что любое ограничение есть цензура, ущемляющая принципы демократии. Но если это действительно справедливо в отношении информации, то локализация распространения продукции масскультуры — всего лишь разумная и необходимая мера общественной гигиены: страна нуждается в защите от аморальности.

Каковы могут быть, собственно, ограничительные механизмы, на каких принципах они должны строиться? Если государство волевым решением назначит нескольких чиновников надзирать за ТВ, то толку, разумеется, будет мало, а возмущенных разговоров о цензуре — хоть отбавляй. Логично, если общепризнанные и уважаемые ученые и деятели культуры (разумеется, не только столичные), чей авторитет безупречен, попытаются разработать общую культурную стратегию телевидения. Государству и интеллигенции надо стать не антагонистами в этом вопросе, но здоровыми единомышленниками, одинаково заинтересованными в моральном здоровье общества.

А когда такая общая культурно-стратегическая программа будет создана, совокупными усилиями придется решать, как проводить ее в жизнь, какие у нее должны быть правовые гарантии.

Одно ясно: во главе ТВ должны стоять не функционеры, назначенные по принципу преданности или приверженности каким-либо пусть даже самым уважаемым идеологическим принципам, но люди, глубоко вникшие в историю и

² Лем С. Сумма технологии. М. «Мир». 1968.

культуру своей страны, люди, чувствующие ее боли, ощущающие за собой не только столицу, но и всю горемычную многострадальную провинцию нашу, живущую в совершенно ином измерении, чем нынешнее ТВ, которое по отношению к ней сегодня выступает как типично колониальное. Не каждый пробивной гешефтник и шоумен должен иметь на ТВ легкий ход, не деньги и связи — доминировать на ТВ, но деятели, положительно зарекомендовавшие себя в культурном строительстве. А возможно, это будет только в том случае, если над телевидением станет осуществляться властный и разработанный в правовом отношении законодательный патронаж.

«Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли, — писал Пушкин в 1836 году. — Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Мысль! великое слово! <...> Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: *в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом*» (курсив Пушкина).

Но если уж от мысли требуется «соблюдение условий», препятствующих «всеразрушительному действию», то тем более необходимы ограничители распространения масскультуры, где вместо мысли — бессовестная коммерция. Гигантский маховик масскультуры, зомбирующий — через ТВ — беззащитное население, не должен набирать новые и новые обороты; вопрос его обезвреживания — не одинокое прожектерство отдельных реакционеров и ретроградов, а самое насущное для цивилизации дело. В противном случае она первой станет добычей джиннов, ею же выпущенных из заточения: эгоизма, агрессии, потребительского беспредела. И если на Западе все-таки худо-бедно, но существуют покуда традиционные психологические и социальные механизмы, являющиеся скрепами общества, то не окрепшая после тоталитарных десятилетий Россия становится легкой добычей любой самой идиотской или разнузданной пропаганды. Формируется новый тип жителя «этой страны», если угодно, выделяющийся даже антропологически, свидетельствующий о новом витке духовного вырождения. На наших глазах возникает как бы новая порода — дети ТВ, своей ментальностью окончательно упраздняющие традиционные отечественные ценности, а значит, и Отечество как таковое.

...Эти новые «гунны» технократической эры в конце концов не оставят камня на камне от этих ценностей. «Мы должны строить Россию *нравственную* — или уж никакую. Тогда и всё равно» (А. Солженицын).

Аскольд СИЛИН,
кандидат технических наук.

КАК «ЛЕЧИТЬ» НАЦИОНАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ?

«Р» усский фашизм»... Данное явление имеет как бы три пласта: появление политических групп и отдельных людей, исповедующих национальный экстремизм и заявляющих об этом, реакция общественности и СМИ на эти заявления и собственно состояние этнического самосознания русских. Последний пласт — главное и решающее звено, которое позволяет судить о реальности или призрачности этой угрозы.

Как профессиональному психологу, специалисту в сфере социальной и этнической психологии, мне постоянно приходится иметь дело с таким феноменом, как неадекватность межгруппового (межэтнического) восприятия, то есть с расовыми и этническими стереотипами, предрассудками, этнофобиями, этноцентризмом, шовинизмом и прочими явлениями этнического сознания.

Эти явления сопровождают жизнь человечества. Во времена стабильные они мирно дремлют в архетипическом сознании народов, однако в моменты социальных или экономических кризисов могут вырваться на поверхность и начать играть не свойственную им роль мотивов поведения.

При анализе социально-психологической реальности необходимо уметь отделять естественные проявления неадекватности группового восприятия (как механизмов защиты этнического сознания) от искусственно насаждаемых и возбужда-

емых этноцентризма и шовинизма как манипулятивных акций в политических целях.

О «естественном фоне» нынешнего национального, да и вообще гражданского самосознания россиян и пойдет разговор.

Есть в социальной психологии понятие «социальная (или этническая) идентичность» — то есть чувство (и знание) человека о его принадлежности к определенной социальной (или этнической) группе. На основании этого чувства человек думает и ведет себя как представитель определенной общности. Нормальная социальная (или этническая) идентичность у всех народов бывает позитивной, то есть человек испытывает радость и гордость от принадлежности к этой группе.

Но в человеческой истории нередки, увы, ситуации, когда этническая идентичность становится отрицательной (обычно это происходит в результате бурных социальных потрясений, войн и катаклизмов), когда, осознав, что его народ либо морально не прав, либо его считают неправым, человек начинает болеть и стыдиться того, что он — русский, еврей, немец и т. д.

Это состояние называется кризисом социальной (или этнической) идентичности. Оно, как всякая болезнь, ненормально, жить в нем нельзя, можно только саморазрушаться. Поэтому просто в силу инстинкта самосохранения человеческое сознание напряженно ищет выход из кризиса социальной идентичности.

Социальная психология знает три способа выхода из этого кризиса.

Первый — поиски выхода из данной (неуважаемой) группы и перехода в другую (более уважаемую). В нашем случае это желание уехать из своей страны (которую кто-то — а не мы ли сами своей нелюбовью и устраненностью от ее проблем? — сделал непригодной для жизни). Не ошибусь, если предположу, что почти каждый россиянин хоть раз в своей жизни думал об этом выходе как о желанном для себя.

Второй — статья «новым русским» (причем отнюдь не в отрицательном смысле, как у нас часто это преподносится), найти в себе силы состояться в своем деле и заставить уважать себя, а вслед за собой — и всех русских.

И, наконец, третий путь — реконструировать прежнюю идентичность, которая давала чувство уверенности и самоуважения. И здесь начинается путешествие в историю, как реальную, так и мифологическую, отвечающую запросам и уровню знаний и интеллекта данного человека.

Набор временных срезов, среди которых можно выбирать, чрезвычайно велик: у России богатая и противоречивая история. Вот только часть из них — по мере удаленности от дня сегодняшнего.

«Благословенный» застой, из которого все мы вышли, как писатели-демократы из гоголевской шинели: все сыты, все уверены в завтрашнем дне, все одинаково небогаты. Из сегодняшней архисложной жизни это выглядит для кого-то как сущий рай, пусть и пахнущий не райскими плодами, а чечевичной похлебкой.

Сталинская эпоха. Поклонники порядка, а точнее, тотального страха и «двоичности мира» — «черное — белое», «свой — чужой», а также грандиозных социалистических строек на костях братьев, — это ваше время.

Россия дореволюционная очень разнообразна: с ней могут идентифицироваться все: и монархисты, и славянофилы, и западники, и просто православные люди.

Допетровская Русь — мифологизированный заповедник самобытного пути России, с которого ее так «неразумно» и грубо совлек император Петр.

Русь языческая, дохристианская — источник вдохновения для тех, кто считает, что все беды в России начались с христианства, привнесенного в мир Израилем. Если бы не евреи со своим христианством, то жили бы мы по сей день, как дети: плели бы венки, поклонялись бы Яриле, Дажьбогу и горя бы не знали.

Обернитесь и посмотрите вокруг себя — вы увидите перечисленные способы идентификации, и в гораздо большем вариантном спектре, чем я представила. Это — наши соседи, родственники, сослуживцы — наши соотечественники.

Все проводимые мною ранее эмпирические исследования — групп русских старожилов в Закавказье, крымских татар в Крыму, потенциальных мигрантов из СССР в Израиль, а ныне — исследования отношений «титовых» этносов и русских в ближнем зарубежье — убедили меня, что главная причина, приводящая к этнической интолерантности (нетерпимости), — общее состояние (и особенно — уровень самоуважения) данной этнической группы.

В исследовании канадских ученых Дж. Берри и М. Плизента, посвященном проблеме этнической толерантности в многонациональных обществах, было уста-

новлено, что только уверенность в своей собственной позитивной групповой идентичности — основание и гарант для уважения других этнических групп, с которыми она вступает в контакт.

Сомнение в позитивной идентичности своей этнической группы (потеря самоуважения) напрямую приводит к этноцентризму, шовинизму и другим формам этнической нетерпимости.

Это происходит потому, что в действие вступают механизмы социально-психологической защиты группы (или этноса) от разрушения.

В результате действия этих механизмов в групповом сознании возникает так называемый феномен «неадекватности группового восприятия»: сверхпозитивное восприятие своей собственной этнической группы и сверхнегативное восприятие другой этнической группы (обычно конкурентной в чем-либо). При этом на предполагаемого виновника списываются все беды.

Это — законы социальной и этнической психологии, столь же незыблемые, как законы земного тяготения. Их невозможно оценивать в категориях «плохо» или «хорошо», «этого не должно быть» или «это надо запретить». Это есть, это надо знать и учитывать в общественной и политической реальности.

Канадские ученые на основании своих исследований сделали очень важный вывод, который в наше время этнических противостояний чрезвычайно актуален: «Заинтересованность в выживании своей этнической группы не может больше служить показателем этноцентризма. Истина заключается в том, что уверенность в таком выживании — основа толерантности, антитезы этноцентризма».

Те проявления национальной нетерпимости русских по отношению к другим нациям и народам, которые представляются в виде «русского фашизма», — это «вершки», а «корешки» в том глубоком и всестороннем кризисе, который переживает Россия, а точнее, русский этнос, в реальной угрозе потери им позитивной идентичности или самоуважения, что ни для кого уже не тайна.

Со стороны, как говорится, виднее. Недавно «Аргументы и факты» напечатали высказывание канадского ученого Фреда Эйдлина по поводу нашей самооценки: «Ваш взгляд на самих себя убийствен. С ним вы не преодолеете трудностей. Это взгляд обреченных. Когда народу тяжело, он должен сохранять достоинство и уверенность. Надо культивировать это, а не мнение, будто вы ни на что не способны».

А что мы культивируем? Важнейшая тема национального возрождения блокируется педалированием страха перед «русским фашизмом», когда сама проблема национального самосознания русских автоматически берется под подозрение. В общественном сознании происходит нагнетание сознательных и бессознательных страхов.

Недаром М. Булгаков называл страх самым большим злом для человека. Страх — питательная среда для лжи и ненависти, ибо он утрирует и искажает реальную природу вещей, толкает к убеждению, что силовым, запретительным порядком можно справиться с социально-психологическими явлениями.

Психологам известно, что любое восприятие, в том числе и межгрупповое, — феномен как минимум двусторонний и включает в себя характеристики как воспринимаемого объекта, так и (в первую очередь) самого воспринимающего субъекта.

На уровне массового сознания страхи, подогреваемые слухами, становятся особенно опасными. Я помню, как накануне вооруженной фазы армяно-азербайджанского конфликта мои коллеги-психологи с той и с другой стороны рассказывали леденящие душу слухи о «тайных» зверствах противоположной стороны, причем меня поразило факт, что в описаниях этих зверств четко проявлялись менталитет и ценности самой воспринимающей стороны. Данное обстоятельство сильнее всего убеждает психолога, что это — феномен и фантом восприятия, а не реальности.

Однако эти слухи сыграли свою страшную роль — они подготавливали общественное сознание к оправданию жестокости и к переходу от слов к делу, то есть провоцировали массовые убийства.

Нужно быть крайне трезвыми и осторожными, когда мы имеем дело с феноменами общественного сознания, с социальными мифами и фобиями. Их нужно разоблачать и развенчивать, когда они становятся опасными, но не раздувать на пустом месте, ибо такое раздувание и есть вхождение в первую, скрытую, фазу этнического конфликта, могущего закончиться вооруженным противостоянием.

В связи с этим хочется сказать нашим журналистам и идеологам: воспитывайте народ, объясняйте, просвещайте, устраивайте диалог с теми, кто по-иному чувствует и объясняет себе нынешние беды России (если, конечно, их взгляды не ведут к физическому насилию), но не лепите из них врагов, пользуясь стереотипами принципиально других времен.

В поисках сенсации, «жареных фактов» соблюдайте, пожалуйста, меру, не приписывайте явлениям национального экстремизма несвойственного им масштаба, не формируйте у обывателя, и так живущего в апокалипсисе, чувства полнейшей обреченности и безысходности.

Если мы и дальше будем в упор не замечать глубокого кризиса русского самосознания, не будем стремиться к возрождению органичной, нормальной гордости своей этнической культурой, чуждой экстремизма и нетерпимости, нам не выйти из тупика нравственного бессилия и взаимной ненависти.

Помимо общечеловеческих ценностей существуют национально-культурные, и попытка их игнорировать или прививать иные, чуждые, идеологии на тысячелетнее древо русской православной культуры с ее отчетливым духовным своеобразием чревата органической несовместимостью и может привести к уродливым мутациям как в духовной, так и в практической сферах. Вспомните, как прививали марксизм.

Что же касается страха, зная, как он ужасен, как выедаёт душу и не оставляет в ней места для надежды, я хочу обратиться к тем, кому особенно страшно, — к моим соотечественникам-евреям, к тем, кто еще не уехал, кто не может или не хочет уезжать. Будьте реалистами, судите по делам, а не по словам. Укрепитесь внутри себя, помните не о тех случаях, когда вас унижали или давали почувствовать, что вы — изгой, а о том, когда вы чувствовали нашу с вами страну, ее культуру своей, родной и близкой. Поймите, что этот бытовой антисемитизм — свидетельство слабости и падения русского духа, его тяжелой болезни и что помочь ему стать бодрым, уверенным в себе и созидательным в наших с вами силах. Не бойтесь его возрождения, ибо подлинная, а не ущербная сила — основа его толерантности к другим.

Во многом именно для вас я пишу эти строки, чтобы не дать утвердиться мифу о государственном, чиновничьем или «народном» антисемитизме. Его нет. Есть близкое к кризисному состояние этнического самосознания, как русского, так и еврейского, а точнее, общегражданского, ибо гражданская судьба у нас одна.

В начале перестройки, на волне страхов перед ожидаемыми погромами, некоторые из моих коллег уехали в благополучные страны. И сейчас, на новой аналогичной волне, тоже, возможно, кто-то уедет со всеми собранными публикациями об активной «антифашистской» деятельности. Пожалуйста, уезжайте, но по возможности чисто и честно, не оставляя за собой пустыню безнадежности и безысходного страха для тех, кто не может или не хочет уезжать из России.

После того, как началась массовая «утечка мозгов» (замешанная и на страхах за судьбу детей, и на невозможности реализоваться здесь так, как хочется), уехали лучшие и ближайшие мои друзья, талантливые ученые и художники, «омертвив» для меня город, улицы, где они жили. Такие друзья приобретаются в юности, им нет замены. Сейчас они трудятся на благо других стран — не России. Решение об отъезде давалось им трудно и болезненно. Они были и евреями, и русскими, но там, в «дальнем зарубежье», для всех они «русские», и я уверена, что беды России воспринимаются многими из них еще острее и болезненнее, чем здесь, ибо родина, земля твоего детства, единственна и отречься от нее невозможно, не отрекаясь от себя.

...Наше нынешнее отчуждение от страны, в которой мы живем, поистине удручающе. Мы чувствуем себя не любимыми ею и не любим ее. В основе нелюбви — страх, ибо антипод страха — не бесстрашие, а любовь. За преодоленным личным страхом стоит понимание, что «нет правых и виноватых», прощение и любовь к тем, кого недавно так боялся и кто, оказывается, столь же сильно боится тебя самого.

Любому человеку, как и любому народу, необходимо самоуважение. «Возлюби ближнего своего как самого себя» и «возлюби другой народ как свой собственный» — обе эти заповеди как исходного условия требуют любви к себе и к своему народу. Это тоже аксиома, но далеко не всегда это априори есть у человека и у народа. Психологи знают, что в основе любого антисоциального, противоправного поведения лежит заниженная самооценка, а она формируется в условиях отсутствия любви.

Имея дело с этническим сознанием, я знаю, сколь велик запас прочности у больших этносов, как медленно и неохотно начинают работать те механизмы социально-психологической защиты, итогом действия которых является этническая нетерпимость. Пока человек испытывает от сознания принадлежности к своему народу гордость и спокойную уверенность, его не заразить вирусом расового или национального превосходства.

Но, к сожалению, все чаще в нынешних моих исследованиях психологического состояния наших соотечественников в республиках нового зарубежья встречаются иные чувства: обида, стыд, вина, униженность, связанные с принадлежностью к русскому этносу. Это очень тревожный симптом, он имеет под собой реальную основу в виде ущемления социальных и гражданских прав наших соотечественников, на что малодушно закрывают глаза те, от кого реально зависит их судьба.

В моем исследовании практически во всех республиках (Эстонии, Литве, Казахстане, Узбекистане, Армении и Азербайджане) была обнаружена прямая зависимость между оценкой своей этнической группы («русских в Казахстане», например) и оценкой «титульного» этноса: чем позитивнее русские воспринимают себя, тем позитивнее они оценивают казахов, и наоборот: чем негативнее самовосприятие, тем больше отчуждение от России и обида на нее, тем сильнее Казахстан воспринимается как «место, где я не чувствую себя в безопасности», и «земля, откуда меня гонят». Все большее значение приобретают так называемые «этнические» ценности: «оставаться русским», «жить среди своего народа» и т. д. То, какой «видит» себя этническая группа, имеет очень важное значение как для нее самой, так и для всех тех, кто с ней взаимодействует.

Что касается русских в России в настоящее время, то их внутреннее состояние в массе своей не столь подавлено, но и далеко от благополучия. Подобный настрой, когда он становится массовым, опасен тем, что задавленная позитивная идентичность ищет выхода в протесте, отчаянии, бунте против всех и вся — это энергия, и очень сильная, но не созидательная, а разрушительная.

Так что главным условием, при котором может возобладать антисоциальная, антигуманная философия и идеология, является утрата позитивной социальной или этнической идентичности. Увы, мы идем к этому состоянию семимильными шагами.

Политика и СМИ, которые ее обслуживают, часто играют дестабилизирующую роль в обществе, особенно в смутные, переходные периоды. Если бы они были замкнуты друг на друге, это было бы еще полбеды, но они имеют многомиллионную аудиторию. Взывать к совести и ответственности политиков — дело практически безнадежное, но так называемая «четвертая власть» вполне вменяема и в состоянии задуматься о производимых ею социально-психологических эффектах. Есть кампании примиряющие и расчищающие хаотическое состояние масс, а есть вносящие еще большую путаницу, смуту и раздор как на межгрупповом, так и на межличностном уровне.

Развернувшаяся в СМИ непродуманная, а порой и спекулятивная «антифашистская кампания» в ряде случаев лишь способствовала усилению более экстремистских настроений в национально-патриотических кругах. Психологически этот процесс выглядит так: когда человека, не дифференцируя его мироощущения, причисляют к некой антисоциальной категории, например к фашистам, вначале он не верит, что это обвинение — всерьез, срабатывает самая «легкая» из психологических защит — юмор: «Вы что, ребята, с ума посходили, что ли?» Потом, когда он понимает, что это действительно всерьез, он пытается столь же серьезно оправдаться: «Я — не фашист, я — русский патриот». Потом, когда человек понимает, что истинное положение вещей уже никого не интересует, что кампания разворачивается и набирает обороты сама по себе, а он — только необходимое топливо для этого огня, наступает холодное и злое отчаяние: «Ах так, вы хотите, чтобы я был фашистом, ну так пеняйте на себя!»

Это не так страшно, если человек созрел для «самостоянья», при котором собственная душа и правда ему дороже даже опороченного доброго имени. Или он христианин и знает, как выйти из навязанного ему немирного состояния души. Или профессиональный психолог, наученный рефлексии и самотерапии. А если ни то, ни другое, ни третье?

Не с огнем ли играем? Я это пишу не для того, чтобы сказать, что экстремистов лучше не трогать. Просто нужно понимать, что стрелы, используемые в идеологических кампаниях, вторгаются в живую ткань социальной и личностной пси-

хологии, производя там такие поражения и нарушения, которые трудно прогнозировать даже специалисту.

Я помню, как в начале карьеры Жириновского, когда пресса начала проводить параллели между ним и Гитлером, психолог А. Асмолов предупреждал об опасности подобных сравнений и просил не увлекаться этим, так как при этом запускается психологический механизм «предписания» и человек невольно стремится уподобиться своему «незаурядному» прототипу.

Моральная сторона дела при этом не играет роли: все, что работает на известность и способствует необходимому для создания образа мифотворчеству, приветствуется и пускается в дело. Жириновский очень грамотно использовал все отпущенные ему судьбой и неграмотностью своих противников шансы и сейчас играет активную и, благодаря численности своей фракции, заметную роль в российской политике. Однако это далеко не все, на что он претендует. И то, что на определенном этапе Россия вознесла его столь высоко, лишней раз говорит о прямо-таки катастрофическом состоянии самооценки и самоуважения нашего народа.

Безусловно, необходимо бороться с пропагандой экстремизма, с распространением печатной продукции откровенно расистского и фашистского характера, так же, впрочем, как и с порнографическими изданиями. Это лучше делать с помощью очень крупных штрафов (что уже входит в судебную практику). В наше рыночное время такая мера сработает всего эффективнее, да и исключит возможность политических дивидендов: дешево доставшуюся известность и возможный — при осуждении — ореол «мученика за идею».

Результатом же нынешней топорной и поверхностной антифашистской кампании, и едва ли не единственным, стала девальвация этого страшного термина...

Людоедских режимов было много, и далеко не всегда они приходили под расистскими и националистическими лозунгами. Нередко совсем наоборот. От того, под «фашистскими» или «антифашистскими» лозунгами приходит диктатура, суть ее не меняется. Лживая еще страшнее, так как у нее много доверчивых и прекраснородушно-искренних сторонников.

Здоровое, бодрое состояние национальной психологии, ее живая преемственность и связь с многолетней российской историей и культурой, спокойное сознание того, что болезнь преходяща, а выздоровление не за горами, — только это может избавить нас от очередных идеологических обманов. Пока механизмы социально-психологической защиты действуют, сохраняют в глазах самой нации ее позитивный образ, можно не бояться национального экстремизма. И здесь национальное самосознание нуждается в помощи и внимании.

Для ряда культур, к которым принадлежит и русская, характерно направлять агрессию негативных переживаний вовнутрь, на себя. Это находит выход в реакциях саморазрушения: алкоголизм, самоубийства и тяжелые соматические заболевания, имеющие психогенную природу: рак, всевозможные язвы, сердечно-сосудистые заболевания.

Все связано со всем. Наша «психологическая среда» не охраняется никем, и всяк в ней разбойничает как хочет: и экстрасенсы, и всевозможные «черные» и «белые» маги, и проповедники «нетрадиционных религий», и другие...

В здоровом социуме экстремистские партии и движения также имеют место, но обычно ограничены небольшим кругом психологически и социально неадаптированных людей. Подобные движения играют свою важную роль — служат пограничными маркерами и способствуют консолидации общественного сознания на более умеренных и центристских позициях.

Вообще по возможности следует избегать как социально-политической хирургии, так и социально-политического конструирования: реальность в виде естественно возникших разнообразных общественных групп и движений гораздо больше скажет думающему человеку о состоянии общества — в ней сокрыты и диагноз, и методы лечения, и прогноз выздоровления.

Стремление к упрощению реальности, сведение к набившей оскомину дихотомии: «черное — белое», «свой — чужие» и т. д. — гораздо ближе в своей философской примитивности к идеологии экстремизма и, если хотите, фашизма.

За естественно возникшим общественным движением всегда скрывается некая болевая точка, ущемленность и нереализованность потребностей определенного слоя граждан, и чем более экстремистским оно является по своим заявлениям, тем болезненнее стоящая за ним проблема. Лечить в первую очередь надо ее, а не людей, которые первыми почувствовали эту болевую точку. Если же закрыть на нее

глаза, разрастаясь, она непременно станет предметом политических игр и столкновений, победить в которых может далеко не самый достойный.

Искусство политики в том и состоит, чтобы вовремя почувствовать болевую проблему и направить на нее внимание — до того, как она станет грозным политическим оружием в руках оппонентов. Эти два уровня — реальное состояние общественного сознания и политические спекуляции на нем — нужно уметь отделять друг от друга и не превращать войну с политическим противником в войну с собственным народом.

Страна нуждается в терапии любовью — со стороны власти — и в национальном примирении и единении. Очень трудно по-настоящему избавиться от своих страхов и взаимной нелюбви. Ведь они позволяют нам ничего не менять в себе и своем окружении, оправдывают нашу лень и бездействие.

Сейчас мы имеем как бы три независимых и изолированных друг от друга России (и три типа россиян): собственно Россию, живущую в ее нынешних границах, Россию ближнего зарубежья и Россию внутри России — наших вернувшихся и пытающихся обустроиться соотечественников. О последних хотелось бы сказать особо. То нечеловеческое напряжение, невидимый будничным героизм, с каким они, практически никем не поддерживаемые, питаемые любовью к обретенной родине, пытаются выстроить на ней свою единственную жизнь вторично и заново, лично у меня вызывает глубочайшее уважение. Испытавшие на себе последствия республиканских национализмов всех видов, вплоть до стояния под дулом таджикских экстремистов, утратившие все — от крыши над головой до родных и близких, занятые тяжелой работой не по специальности и каждодневным строительством, они живут серьезно и подлинно, с достоинством отторгая от себя попытки политической спекуляции на их общей и личной жизненной драме.

Ежечасно сталкиваясь с равнодушием и враждебностью в свой адрес у себя на родине, устав просить о помощи, они хотят одного — чтобы им «хотя бы не мешали», мечтая как о невозможном чуде о переселении в выстроенные своим трудом дома после многолетнего скученного обитания в вагончиках на окраинах наших городов и сел, а то и в чистом поле. При этом основная их забота — чтобы не воспринимали их как чужих, нахлебников и иждивенцев, помочь тем селам и малым российским городкам, что их приютили, стать культурнее, красивее и богаче. Самое удивительное, что многим из них это удастся.

Почему, говоря о русском этническом сознании, так много внимания я уделяю нашим соотечественникам, как оставшимся в республиках, так и вернувшимся в Россию? Да потому, что их судьба и отношение к ним России — показатель истинного состояния русского, российского самосознания. Их беда — это наша общая беда, и их победа — это наша победа. Но для этого мы должны быть вместе и должны поверить в себя. Источник самоуважения нации не в сомнамбулических заклинаниях типа «мы — великий народ с великим прошлым», а в способности здесь и теперь разделить повседневные тяготы тех, кто попал в беду (а мог попасть каждый из нас), заразиться их волей к победе созидания над хаосом и развалом и всем вместе расчищать наши многолетние житейские и духовные завалы.

Реальная, подлинная жизнь не в политическом, «верхушечном» переустройстве, а в изменении низового, бытийного и бытового уклада. Прочные подвижки в сознании, смена установки на разрушение установкой на созидание происходят лишь на уровне семьи и малой общины. Уважение к себе формируется тогда, когда видишь, что реально помог хотя бы одному живущему рядом человеку.

Мне кажется, что разумно организованная всенародная помощь русским и русскоязычным беженцам и переселенцам в Россию могла бы явиться одним из источников возрождения позитивного этнического самосознания, самоуважения, а значит, и толерантности и уважения к другим нациям и народам.

Еще раз хочется подчеркнуть, что подлинная жизнь народа, а не мифы и фобии о нем должны быть в центре внимания тех, кто пытается влиять на массовое сознание.

Возвращаясь же к вопросу о русском самосознании, следует сказать, что живое и теплое национальное чувство единства и подобия, не кровного, но сердечного, — не фетиш, но и не фикция. Это — аккумулятивная в языке и культуре народа энергия общего созидания и личного духовного восхождения.

Это та «этническая картина мира», что, как показала кровавая история последних веков, охраняется любым народом в любом противостоянии вплоть до до-

бровольной гибели последнего ее носителя. На данном этапе человечеству не хватает знаний понять во многом иррациональную природу этнического, но должно хватить мудрости, чтобы понять, что все, связанное с этим, не должно служить объектом политических спекуляций.

Надежда ЛЕБЕДЕВА.

Апрель 1995 г.

О «ВОСПОМИНАНИЯХ» Е. Р. ЭЙГЕС

Прочитав в девятом номере «Нового мира» за 1995 год «Воспоминания о Сергее Есенине» Екатерины Эйгес с предисловием С. Шумихина, я, племянница Эйгес, сочла возможным и, может быть, полезным, хоть и с опозданием, внести дополнения и некоторые уточнения. Автор предисловия, естественно, не мог располагать точными сведениями о семье Екатерины Романовны, которые хорошо известны мне, близко знавшей ее, ее друзей, всех родных, упомянутых в «Воспоминаниях».

Екатерина Романовна Эйгес-Александрова родилась 27 февраля (12 марта нового стиля) 1890 года в Брянске. Была десятым, последним, ребенком в семье земского (позднее городского) врача Романа Михайловича Эйгеса, служившего в разных городах Харьковской, Орловской и других губерний. За участие в русско-турецкой войне в 1874 года Роман Михайлович получил чин действительного статского советника и личное дворянство, что дало ему право служить вне черты оседлости, и все дети Эйгеса получили возможность окончить высшие учебные заведения и впоследствии, став специалистами высокого класса каждый в своей профессии, творчески реализоваться. Рано ассимилировавшись, окончив в 1870 году Московский университет, отец, росший сиротой, не знал и не передал детям еврейских традиций. Младшая дочь в большой, дружной, одаренной семье, Екатерина Романовна росла избалованной и нежно любимой шестью братьями и двумя сестрами. Она рано приобщилась к русской поэзии и музыке. Несмотря на частые переезды из одного провинциального городка в другой, в доме сохранилась хорошая библиотека. Обилие немецкой классики свидетельствовало о вкусах матери Екатерины Романовны — Софьи Иосифовны, которая, несмотря на почти ежегодные роды, находила возможность переводить с немецкого классическую литературу. В ее переводе неоднократно издавался «Вертер» (в издании «Academia» указан инициал не С., а А. — мать, помогая старшей дочери-гимназистке переводить роман, для поощрения указала ее инициал). Софье Иосифовне также принадлежит перевод с немецкого драмы «Шакунтала» Калидасы (в 1914-м поставлена в Камерном театре в Москве в более позднем переводе К. Д. Бальмонта). Небольшие гонорары за эти переводы и пособия «по многодетности» от жертвователей еврейских общин (в городах, где они существовали) помогали весьма скудному бюджету семьи. Отец был бессребреник и не брал денег с бедноты за лечение. Однако, несмотря на бедность, все дети учились игре на фортепьяно и немецкому языку. Мать взяла в дом сироту из прибалтийских немцев, говорившую с детьми только по-немецки и обшивавшую семейство.

Став взрослыми и переехав в разное время в Москву, братья и сестры Екатерины Романовны сохраняли тесные родственные связи, особенно четверо младших; старшие, уже «выбившись в люди», материально помогали младшим. Стойкие трудовые навыки, приобретенные в отрочестве (многие со старших классов гимназии давали уроки, в студенческие годы преподавали, живя в семьях богатых людей), помогли Эйгесам в трудные годы революции и последующей разрухи. Екатерина Романовна поселилась вместе с братьями — художником Вениамином и литератором-пианистом Иосифом — в одной квартире, снятой для всех сестрой Надеждой — биологом, позднее педагогом-педологом.

Несмотря на трудный быт в годы революции и гражданской войны, Екатерина Романовна вспоминала это время как насыщенное творческими интересами и разнообразными устремлениями окружавших ее родных и их многочисленных друзей, ярких индивидуальностей, членов различных художественных объединений (в том числе бывшего «Бубнового валета»), поэтических кружков и проч. В доме происходили диспуты, часто шуточные споры, домашние концерты. Екатерина Рома-

новна, очень красивая и общительная, несмотря на серьезные занятия на математическом факультете, была центром этой компании одаренных молодых людей, писавших стихи, участвовавших в выставках, музицировавших. Екатерина Романовна также с юности писала стихи (сохранилась тетрадь), но в ее поэтических опытах, даже более зрелых лет, заметны сентиментальность, некоторое жеманство, они мало отражали время и не носили следов влияния стихов ее поклонников и друзей, например пролеткультовца Василия Васильевича Казина или футуриста Тихона Васильевича Чурилина.

Хотя познакомилась Екатерина Романовна с Есениным в Союзе поэтов, их дружба не могла быть основана на общности поэтических вкусов. Что же могло привлекать в ней Есенина и что сближало столь разных по биографическим, жизненным, культурным и проч. особенностям людей? Кроме внешней привлекательности (Катя была похожа на Зинаиду Райх — все, знавшие обеих, утверждали это), она была интеллигентна, начитанна, очень добра, образованна, с широкими, хотя, возможно, и поверхностными интересами, отличалась заботливостью и умением создать вокруг себя в любых условиях атмосферу уюта и женственности; с ней было в ее молодые годы легко и «отдыхательно». Возможно, именно эти качества, столь резко отличавшиеся от пристрастий окружавшей Есенина среды, и привлекали поэта к ней, в ее уют и благодать, целомудрие и нежную заботливость старшей и ничего не требовавшей от него подруги. Правда, известны случаи проявления Есениным ревности к Екатерине, очень кокетливой и любящей всеобщее внимание, но никогда не проявлявшей легкомыслия в отношениях с поклонниками и друзьями. Она пишет в «Воспоминаниях», что, в противоположность Мариенгофу, Есенин «любил более скромных и серьезных», ценя ее и за эти качества и причисляя, по его терминологии, к «зрячим».

Отношения Екатерины Романовны с Есениным прекратились в 1921 году в связи с ее замужеством (недолгим и неудачным). Есенин в 1922-м уехал за границу с А. Дункан, и после его возвращения они больше по-домашнему не встречались. Муж Екатерины Романовны, математик Павел Сергеевич Александров (будущий академик, создатель научной школы по топологии), вернувшись в 1924 году из командировки во Францию, порвал с женой, но сохранил дружеские связи с ее родственниками (он был учеником гимназии в Смоленске, где, по его словам, ему привил любовь к математике его учитель, брат Екатерины Романовны Александр).

В начале 30-х годов Екатерина Романовна переехала к самому старшему из братьев — композитору и преподавателю фортепьяно. В ее маленькой уютной комнатке над кроватью висел есенинский коврик с Георгием Победоносцем, почему-то она полюбила все миниатюрное — на полках стояли маленькие, красиво переплетенные поэтические томики, чай наливала в крошечные кофейные чашечки. Все было какое-то игрушечное, детское, изящное, напоминало кукольный домик. Культурных интересов она не утратила, но работала мало. Увянув и утратив поклонников, стала ближе к родне, внимательна к многим племянницам, по-прежнему была ласково-заботлива.

В середине 30-х годов Екатерина Романовна вышла замуж за своего бывшего сотрудника, видного библиографа, работавшего в библиотеках ВТО и Иностранной библиотеке, Николая Ивановича Пожарского и переехала к нему на Машкову улицу, где он жил с семьей сестры. Отношения у них были вежливо-уважительные, но казались прохладными — обращались они друг к другу на «вы». Она окружила мужа заботой, но радости там не ощущалось.

Умерла Екатерина Романовна 17 июня 1961 года в Москве, недолго болев раком, самоотверженно ухаживая за больным раком же мужем, но неожиданно опередив его в смерти.

Л. Г. ЧУДОВА.

КОРОТКО О КНИГАХ

I. ПУТЕШЕСТВИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ. Записки русских паломников и путешественников XII — XX вв. [Составление, предисловие, справки об авторах и примечания Бориса Романова]. М. «Лепта». 1995. 256 стр.

Странное чувство охватывает при чтении этой книги. Все изменилось со времени «Жития и хождения Даниила, Русской земли игумена». Прежде всего — паломники: старушки в белых платочках, многочисленные батюшки, прибывающие пароходами в Хайфу, и всюду бегом, бегом, с бидонами и бутылками для святой воды — на весь свой приход; многочисленные туристы с некой лентой на челе: мол, на Кипрах и Гавайях уже поприсутствовали — и здесь следует отметить. Это категория совсем уже не бедных людей, но и не таких богатых, чтобы заказывать индивидуальный тур. Они, естественно, без бутылей — их заменяют видеокамеры, но зато кресты и иконки покупают исправно и щедро. Есть еще третьи, совсем молоденькие. Бритые затылки, вишневые пиджаки, весело-озабоченные лица. Такси ждет у ворот. Все успеть! «Матушка, открой!» — «Ребята, закрыт монастырь, служба идет». — «Матушка, нам свечи поставить». Они сами пока не ведают, верят они в Бога, не верят, но ничего не предпринимают в своем бизнесе — назовем его так — без благословения батюшек. Мода теперь такая, занятный симбиоз на Руси образовался — некоторых церковников с совсем юными «новыми русскими».

Все совсем не страшно, не то что в XII веке. О страхах и ужасах, пережитых во время посещения Палестины, пишут, впрочем, все путешествующие, вплоть до начала века нынешнего. Уже нет многих монастырей и церквей, которые подробно и талантливо описывает Даниил, судьба исчезновения их вообще неизвестна. Но Гроб Господень, Голгофа, гробница Пресвятой Богородицы, «пуп земли», небольшой такой столбик, который и сейчас показывают, — все на месте.

Авторов сборника, кроме Гоголя и Бунина, читатель открывает для себя,

скорей всего, впервые. Вот А. Муравьев, из книги «Путешествие ко Святым Местам в 1830-ом году». Переиздается с 1835 года первый раз. Искренний, романтически приподнятый тон. Его записки были замечены Пушкиным: «...молодой наш соотечественник привлечен сюда не желанием обрести краски для поэтического романа... Он посетил Святые места, как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться в прах перед гробом Христа Спасителя». Слова, много говорящие о Муравьеве, еще больше о самом Пушкине. Муравьев отправлялся в Палестину, как на войну: «Все были готовы к бою» (с бедуинами). Но с каким трепетом описывает он погружение в священные волны Иордана: «...каждый спешил зачерпнуть немного воды в принесенные меха и сосуды и взять камень из середины реки... чтобы унести... на родину вместе с пальмою своего странствия». (Кстати, «Ветка Палестины» написана Лермонтовым под впечатлением от киота в доме Муравьева и посвящена в рукописи ему же.) Замечу: русские паломники ведут себя почти так же и сейчас. Разница в одном: когда погружаешься в Иордан, иностранные туристы с неописуемым восторгом начинают щелкать своей фототехникой «этих безумных» русских. Да и еще. Рядом, на берегу, расположены теперь раздевалки, душ. Комфорт.

Самое захватывающее и трогательное чтение в сборнике — отрывки из «Сказания... пострижника Святыя Горы Афонския инока Парфения». Можно и плакать, и смеяться, настолько все здесь просто, естественно, с великой силой веры сказано. Казалось бы, монах, отшельник, молчальник, каждое лишнее слово — грех... Но вот он у Гроба Господня, и не в первый раз. «Какой тогда был сон? Мы о нем и позабыли от радости: в одном месте поют, в другом читают; одни ходят, другие молятся, а иные сидят и разговаривают. И ночь нам показалась веселее всякого дня». Или описание похода на Иордан: «...начали палить из пушек, забили в

барабаны, заиграла музыка, и пошли в путь по ровному месту, кругом нас воинство и огни... Куда тогда девалась наша старость. Обновися, яко орля, юность наша. Пустились все бежать, у кого были силы. Старики, седые бороды, уподобились младым отрокам, с ноги на ногу прыгали». Замечательно и то, как миролюбиво относится Парфений ко всем конфессиям, представленным в Иерусалиме; «Франки же, хотя и враги Восточной церкви, но и те с нами торжествуют». Никакого фанатизма, нетерпимости.

Сразу же по выходе «Сказания...» (1856) появились отклики, в основном восторженные. Тургенев, Дружинин. Даже Чернышевского задело за душу. Но самый внимательный читатель — Достоевский, он многое взял у Парфения для своих романов.

Любопытно, что прямо вслед за сочинением Парфения составитель поместил очерк Н. В. Берга из книги «Мои скитания по белу свету. Иерусалим». Тут мироощущение чисто светское, это перо человека искушенного, корректного, в меру верующего, ироничного. Рассказ Берга (кроме тогдашних реалий с неизменными грабежами и разбоями) уже вполне напоминает нынешнюю ситуацию в Иерусалиме. И сейчас, спустя столетие с лишним, в городе больше всего русских паломников. И сейчас та же языковая ситуация: «Русский простой человек знать не хочет иностранного языка в Палестине: он заставил чуть ли не весь Иерусалим и Вифлеем выучиться немного по-русски».

Что же касается греков, католиков и армян, основных владельцев Святых мест, то отношения между ними сложились уже ко временам, описываемым Бергом. Так же, как, по-видимому, тогда, маячит во дворе Храма маленький, щуплый армянин в надежде получить чаевые за экскурсию. И так же дежурит у входа ко Гробу дородный монах-грек, регулирующий движение огромных очередей.

А знаменитый драгоман русского консульства, араб по происхождению, Я. Е. Халеби, скупавший для русского правительства Святые места в Палестине? (Иностранцам в те времена покупать землю было запрещено.) Это он купил Мамврийский дуб, возле которого, по преданию, разложил свой шатер Авраам, и большой кусок земли вокруг дуба, где теперь расположен русский монастырь и где живет один старенький

монах. Эти сведения уже из очерка А. П. Ладинского, русского писателя-эмигранта (1937, София).

Что касается Халеби, так много сделавшего для русской церкви, то все члены его семьи похоронены в русском монастыре Марии Магдалины, могилы их чтутся, и я сама видела потомков Халеби, посещавших кладбище.

Помещены здесь, как уже сказано, и тексты великих — Гоголя, Бунина. Вот письмо Гоголя к Жуковскому с пронзительными по открытости и боли словами: «Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика *черствость* моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, — и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное... Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции...»

Сейчас, когда в Святых местах началась русская суетливая толкучка, если не сказать — тусовка, может, и нелишне напомнить исповедальные слова Гоголя и задуматься над тем, зачем человек отправляется в дальний путь.

II. УЕЗДНЫЙ ГОРОД БОГОРОДСКЪ НА СТАРЫХ ФОТОГРАФИЯХ. Совместное издание ПСК «Ризалит», Совет Ногинского отделения ВООПИК, АК «Богородский печатник», ИПТМ РАН. 1994. 112 стр.

Совсем небольшой, изысканно изданный альбом, на прекрасной бумаге, с изящными виньетками. Составители — М. Дроздов и М. Золотарев. Сдержанно-интеллигентный текст. Дореволюционная история города Ногинска — прежнего уездного Богородска.

Кто бывал в Ногинске (и кто не бывал тоже), легко представят сегодняшнюю картину. Пыльно, скучно, дымят фабричные трубы. В сквере — памятник Ленину. Может, уже снесли, давно не была. Да нет, вряд ли.

А на старинных фотографиях — деревянный уют, зелень, красота. Хотя город вовсе не древний и вроде бы не может так приворожить, как, скажем, Веря или Переславль Залесский. Бого-

родск появился на картах только в 1781 году, по указу Екатерины Великой. И был построен по четкой структуре — улицы вдоль реки, переулки поперек. (Естественно, в последние десятилетия все скосбочилось.)

На старых фотографиях магазины, гостиница, казначейство, Богоявленский собор, Тихвинская церковь с роскошным убранством внутри, групповой снимок охранников местной тюрьмы, нормальные, между прочим, человеческие лица, Сергиевское общество хоругвеносцев, основанное в память 500-летия преставления молитвенника земли Русской Сергия Радонежского (ношение хоругвей доверяли самым уважаемым горожанам). Монументальная часовня Святого Александра Невского, воздвигнутая «по случаю чуда избавления царской семьи от опасности при крушении императорского поезда близ станции Борки 17 окт. 1888 года». Такие часовни воздвигались тогда по всей стране...

Вот она, «другая» Россия, — и те, кто ее строил. В Богородске это прежде всего старообрядческий клан многочисленного семейства купцов Морозовых. Сколько читано о них, но по невежеству моему никогда не приходила мне в голову связь: Ногинск — Богородск — Рогожский старообрядческий храм в Москве — Морозовы.

Строились на берегах Клязьмы в Богородске фабрики и мануфактуры — ответ на вопрос, почему город процветал. Много групповых фотографий. Рабочие. Одеты опрятно и скромно. Служащие — в костюмах-тройках. Главное — лица. Спокойное достоинство рабочего человека. Никакой аффектации, скованности, напряжения, энтузиастического задора, которые так поражают на фотографиях и в документальных лентах 30-х годов, времени первых пятилеток. Те люди, дореволюционные, одеты, кстати, лучше, не в телогрейках и валенках — вот ведь какие дела!

А фабрики? Чистые, красивые здания, обсаженные деревьями, совсем как нынче где-нибудь в Японии или Западной Европе. Сами фабриканты выглядят цивилизованно, интеллигентно. Это люди, меценатству которых город обязан своим обликом.

Как хорошо, что в старой России люди любили фотографироваться, это было в новинку и в радость, сопровождало всем жизненным событиям.

Счастье и то, что жили в городе люди, понимавшие: фотографировать надо и для потомков. Люди с развитым историческим чувством. Таков был Александр Алексеевич Ульянов, помощник исправника, коллежский советник (дед его встречался с Пушкиным), — в альбоме самые ценные и редкие фото принадлежат ему.

Составители в конце как бы оправдываются: «Людам свойственно идеализировать и приукрашивать прошлое — то, что было 100 и более лет назад. Наверняка немножко приукрашиваем и мы». А мне кажется, что нет, что все соответствует ушедшей жизни.

Мне случалось просматривать много альбомов того же периода из жизни США. При сопоставлении фотографий приходит в голову, что Россия начала столетия развивалась более плавно и естественно, чем Америка. «Косточки русские», о которых страдала русская литература устами Некрасова, в 1906 — 1914 годы уже не устилали дороги развивающейся России. А Америка? В это время туда прибывали все новые и новые волны эмигрантов. Дешевая рабочая сила — значит, работа на измор, слом прежнего, родного уклада жизни, сложности с религиозными отправлениями... Насколько тяжелее доставалась простым людям Америки ее индустриальная целеустремленность! Вот уж где косточки, а если не стесняясь, то сплошные кости миллионов людей под небоскребами и хайвеями, до сих пор ошарашивающими в этой стране иностранцев.

В маленьком русском уездном Богородске поражает уже отменно налаженный быт, поражают ясные перспективы нормального развития цивилизованного общества. Телефоны, железная дорога, огромный общедоступный городской парк, больницы, приюты, гимназия, реальное училище, храмы. (А ведь населения всего 10 тысяч человек.) И без той ломки психики, которую испытывали почти все американские рабочие в эпоху бурного промышленного старта.

Маленький альбом напоминает еще и о том, что современная российская провинция стремительно набирает силу. Не будем перечислять подобного рода издания, с каждым годом их становится все больше. Провинция явно начинает перегонять столицы и в краеведческо-издательском деле.

Галина Башкирова.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



ALAIN BESANÇON. *L'Image interdite, une histoire intellectuelle de iconoclasme*. P. Fayard. 1994. 526 p.

АЛЕН БЕЗАНСОН. *Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества*.

Никто в открытой печати никаких переводов сочинений Алена Безансона у нас не выпускал. И все-таки многие слышали имя этого выдающегося современно-го историка идей и знатока русской (и советской) культурной истории, начавшего свой исследовательский путь с работы о Смутном времени «Принесенный в жертву царевич» («Le Tsarevich immolé». P. 1967; переизд. 1991), а затем среди прочих сочинений опубликовавшего книги, сами названия которых говорят о насущности избранного предмета: «Интеллектуальные корни ленинизма» («Les Origines intellectuelles du léninisme». P. 1997, 1986), «Смешение языков» («La Confusion des langues». P. 1978)¹, «Фальсификация добра: Соловьев и Оруэлл» («La Falsification du bien, Soloviev et Orwell». P. 1985).

Помню, как многие из нас, размышлявших тогда, в 70-е годы, над феноменом коммунистического бытия, приходили в радостное возбуждение, знакомясь в «Вестнике РХД» с его «Кратким трактатом по советологии, предназначенным для гражданских, военных и церковных властей» (1976), в котором пронизательность чужестранца, вникшего в коммунистическую систему «логократии» («власти слова»), поражала сходством с нашими собственными догадками, — трактат превратился в своего рода цитатник тех времен.

«Запретный образ» — это обширное исследование европейской, с включением русской, духовной истории искусства, рассмотренной под углом зрения возможностей, границ и пределов, а с другой стороны — насущной неупраздняемости, изобразительных форм. Очевидно, что А. Безансон пустился в новое плавание.

Однако, отвечая на вопросы обозревателя одной французской газеты, в частности на вопрос, «какими путями специалист по России и по бывшей советской России пришел к раздумьям над явлениями эстетическими и даже над более специальной областью — иконоборчества на Западе», автор ответил: «Я интересовался современной проблемой, философской и метафизической проблемой первой величины, это была проблема коммунизма. Но вот он пал, Россия стала страной, как все другие страны. <...> К тому же, когда я был погружен в русские темы, я всегда хватался за искусство, ища в нем духовное прибежище». Но в дальнейшем из ответов А. Безансона становится ясно, что для закоренелого «пневматолога», различителя духов, искусство, как и любая другая духовная область жизни, никогда не может быть только оазисом душевного отдохновения. Автор находит в нем то же поле битвы идей, пристанище для той же злокачественной идеологии, которая лежала в основе коммунизма; имеется в виду гностическое противоборство с миром, спиритуализм и «идеализм» (который мы предложили бы здесь конкретизировать понятием «утопического проективизма»). «И вовсе не случайно, — поясняет единство своих тем — идеологии, искусства и России — А. Безансон, — что такие политически ангажированные художники, как Кандинский, развивали гностическую и идеалистическую систему, которая вела их к абстракционизму, это было не без связи с тягой к коммунизму». Общее между ними — «идея переделать мир, исходя из ничто, иначе говоря, из тотального отказа от мира, каков он есть. Руководствуясь теологической точкой отсчета, я могу уразуметь и коммунизм в качестве гнос-

¹ Рефераты двух последних книг вскоре после их публикации на французском языке вышли в сборниках ИНИОН.

тического движения, и ту, скажем, катастрофу, которую представляет собой искажение образа в западном искусстве».

В истории этого последнего автор обнаруживает логику духовной вражды с образом, которая из века в век, вплоть до нашего времени, каждый раз вспыхивает с новой силой. Безансон воссоздает ее ключевые моменты, прослеживает нить, которая проходит через эстетическую рефлексию от Платона до Малевича. Мы понимаем, да и автор сам объясняет нам, что, хотя его труд погружен в стихию эстетического, главная задача — «проследить лишь историю доктрин и идей, которые выражаются в пластических формах», а не историю форм как таковых.

Исходный пункт идейной борьбы на этом поле Безансон относит ко временам Священной истории и связывает с библейским запретом на изображение, получившим затем столь различную интерпретацию в трех монотеистических верованиях: иудаизме, исламе и христианстве. Автор размышляет над этим вопросом, как и над загадкой, почему распря вокруг образа приняла такую тяжелую форму на Востоке, в то время как Запад был занят умножением образов, будь то священные или профанные. В панораме современного искусства, его волнениях, смятениях и расстройках, во взрывах абстрактного письма Безансон слышит эхо все того же древнего иконоборчества — даже если в новом иконоборчестве старые аргументы остаются неосознанными.

России посвящена последняя, пространный глава книги. Из нее западный, да и наш читатель может узнать, чем была на фоне общеевропейского искусства «русская окраина», специфику которой, как и всякой периферии, автор видит в антиномичном сочетании подражательности и радикального новаторства. Описывается эксцентрическая позиция русской культуры по отношению к двум ее последовательным центрам — Византии и Западу; смена художественных течений, школ, изданий, рассмотренных в ракурсе их платформ. С этой точки зрения проанализированы передвижники, art nouveau, последующие направления модернизма. Главным героем новейшего иконоборчества в России, естественно, становится В. Кандинский (с присовокупленным к нему К. Малевичем), этот, по определению Безансона, «пророк авангардной революции». Описывая идейно-творческую историю художника, автор по ходу дела напоминает нам немодные сегодня, но такие яркие отзывы о Кандинском, например Н. Н. Пунина, или знакомит с менее известными характеристиками Мишеля Анри, автора книги об этом персонаже «Видеть невидимое» («Voir l'invisible». P. 1988). «Художественные воплощения у Кандинского несущественны, — отчеканивает Н. Пунин. — И поскольку все ограничивается сферой чистого спиритуализма, то художник оказывается восприимчивым к определенным ощущениям, однако, когда он начинает говорить на языке вещей, он становится не только плохим, но просто вульгарным живописцем, совершенной посредственностью» (цит. в обратном переводе, стр. 446). Безансон выделяет главные идеи Кандинского по двум его книгам: «Взгляд в прошлое и другие тексты (1912 — 1923)» («Regards sur la passè et autres texts. 1912 — 1923». P. 1974) и «О духовном в искусстве» («Du spirituel dans l'art». P. 1969)². Прежде всего это концепция существования параллельного реальному миру художественного мира абстракций, в связи с открытием которого Кандинский объявляет о наступлении новой эры: «Наша эпоха стоит на пороге нового Откровения, Третьего завета». В этих возвещениях Безансон резонно слышит отголоски учения Иохима Флорского, «переведенного на язык теософских лекций» (а можно также услышать экзальтированные голоса из близкой, российской среды «нового религиозного сознания»). Эра Духа, торжество чистой духовности, освобождение от предметности («отмена предмета в картине») для Кандинского все равно что прыжок веры и спасение души, наконец-то обретшей зрячесть и после всех мытарств осознавшей глубокий смысл искусства — выход в духовную свободу и неразрывно с ней связанную свободу художественную. Поскольку высказанный взгляд на творчество как на «победу в внутренней жизни» над внешней фигуративностью аналогичен, по мысли Кандинского, такому же, как в Евангелии, перемещению морали вовнутрь личности, то свою концепцию он считает христианской, дополненной при этом «неотторжимыми элементами встречи с „третьим Откровением” — „Откровением Духа»».

В этом гностическом манифесте искусства Безансон выявляет пафос, роднящий его с «большевистской властью». Перед нами, подчеркивает автор, как раз

² Новейшее переиздание русского оригинала: Кандинский В. В. О духовном в искусстве. (Живопись). Л. 1990; то же: М. «Архимед». 1992.

один из довольно частых «моментов», делающих наглядными прямую «связь между мистическим гнозисом и идеологией, которые сходятся в общей ненависти к миру и ожидании нового».

Но в такие моменты становится очевидна и грань, разделяющая древнее иконоборчество и новое. Независимо от взгляда на изобразимость Божественного образа в религиозном сознании — будь он запрещенным или поощряемым, — отношение к «предмету» остается равно благоговейным в обоих случаях. И тем оно противоположно концептуально-изобразительному «спиритуализму» с его отвращением к бытию и установкой на его перекройку.

Русский авангард в своем экстремизме, по-видимому, помогает А. Безансону сформулировать общие выводы о новейшем иконоборчестве и отважно продемонстрировать пропасть, отделяющую классический этап культурной истории от следующего, его отрицающего.

«Абстракция, — подытоживается в «Заключении», — это не просто еще одна среди многих других художественных формул и путей, как, например, пуантилизм, фовизм или кубизм. Абстракционизм должен быть понят через его основателей как революция или, более того, как полная мутация — и не только живописи. Чтобы отдать себе в этом отчет, я должен был мобилизовать всю историю, проанализировать сменяющие одна другую духовные позиции с древних времен, позиции, которые воплощались в таких вещах, как стиль и изобразительная система <...>. Разрыв с «предметом» нанес глубокий порез на теле искусства, зарубцевания которого мы вряд ли дождемся. Все произошло так, словно целая вереница современных изобразительных форм, которые кажутся в своей эволюции продиктованными ходом самой действительности, как, например, импрессионизм, символизм, экспрессионизм, кубизм и остальные «измы», все быстрее и быстрее влеклась к этому пункту разрыва, как к бездонному водопаду. И движение это всемирное...»

Рената ГАЛЬЦЕВА.



КНИЖНАЯ ПОЛКА



Валерий Аграновский. Последний долг. М. «Academia». 1994. 335 стр. 15 000 экз.

В жанре семейной хроники рассказ о лагерных судьбах родителей автора, о ранней зрелости старшего брата — Анатолия Аграновского.

Петр Алешковский. Старгород. Голоса из хора. М. Издательство имени Сабашниковых. 1995. 256 стр. 15 000 экз.

Книжное издание частично опубликованного в разных журналах цикла рассказов о современной российской провинции.

Андрей Белый. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. Под редакцией В. М. Пискунова. М. «Республика». 1995. 510 стр. 15 000 экз.

Хорхе Луис Борхес. Энциклопедия вымышленных существ. Людвиг Соучек. Энциклопедия всеобщих заблуждений. Перевод с испанского С. А. Веретилло, И. Бэррэсуэта. Перевод с чешского Т. Ю. Чиченковой. Минск. «Старый свет-Принт». 1994. 207 стр. 20 000 экз.

Игровая метафоричная проза Борхеса и остроумно написанные (но по функции — чисто культуртрегерские) развенчания обывательских представлений об истории и других науках чешского писателя оказались в соседстве по чисто внешней причине: издание «адресовано старшему школьному возрасту».

Владимир Войнович. Малое собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 5. Замысел. Дело № 34840. М. «Фабула», «Рапид», «СИА-банк». 1995. 381 стр. 20 000 экз.

Даниил Гранин. Бегство в Россию. Роман. М. «Новости». 1995. 430 стр. 10 000 экз.

Журнальный вариант печатался в «Новом мире» (1994, № 7 — 9).

Алексей Дидуров. Легенды и мифы Древнего Совка. М. Издательство стандартов. 1995. 224 стр.

«Физиологические очерки» московского быта 50 — 70-х годов пером современного рок-поэта. Часть очерков рецензировалась в «Новом мире» (1995, № 6). В книгу также вошли поэмы «Снайпер», «Подворотня», «Постфактум», «Мертвая голова».

Франц Кафка. Собрание сочинений. В 4-х томах. Составление Е. А. Кацевой. Вступительная статья, примечания М. Л. Рудницкого. СПб. «Северо-Запад». 1995. 5000 экз.

Том 1. Америка. Роман. Новеллы и притчи. 359 стр.

Том 2. Процесс. Роман. Из дневников. 352 стр.

Том 3. Замок. Роман. Письма Милене. Письма Максу Броду. 414 стр.

Том 4. Новеллы и притчи. Афоризмы. Письмо отцу. Письма Фелице. Завещание. 447 стр.

В. Н. Корнилов. Стихотворения. М. «Слово». 95 стр. 1000 экз.

Томас Манн. Собрание сочинений. В 14-ти томах. Составление С. Апта, Н. Павловой, Ю. Тихонова. М. «РАМ». 1995. 12 000 экз.

Том 1. Будденброки. Роман. 714 стр.

Том 2. Фьоренца. Королевское высочество. 467 стр.

Том 3. Волшебная гора. Роман. 478 стр.

Константин Паустовский. Избранные произведения. В 3-х томах. Том 1. Повесть о жизни. Книги 1 — 3. М. «Русская книга». 1995. 719 стр. 15 000 экз.

Поэзия трубадуров. Антология галисийской литературы. Составление Е. Голубева, Е. Зернова. СПб. Издание Центра галисийских исследований СПбГУ при содействии изд. «Алетейя». 1995. 237 стр. 2000 экз.

Виталий Пуханов. Деревянный сад. Стихотворения. М. «Новая Юность». 1995. 128 стр. 1000 экз.

Первая книга поэта. А также — дебют издательства «Новая Юность».

Р. И. Рождественский. Стихотворения. Составители А. Б. Киреева, К. Р. Рождественская. М. «Слово». 1995. 103 стр. 1000 экз.

Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений. Исправленное издание. М. «Текст». 1995. 10 000 экз.

Том 1. Извне. Путь на Амальтею. Стажеры. Рассказы. 428 стр.

Том 2. Полдень, XXII век. Далекая радуга. Повести. 397 стр.

Том 3. Попытка к бегству. Трудно быть богом. Хищные вещи века. Повести. 416 стр.

Том 4. Понедельник начинается в субботу. Сказка о Тройке. Повести. 320 стр.

Том 5. Улитка на склоне. Второе нашествие марсиан. ОТЕЛЬ «У Погибшего Альпиниста». Повести. 430 стр.

М. Холмогоров. Авелева печать. Роман и повести. М. «Книжный сад». 1995. 480 стр. 2000 экз.

Роман «Ждите гостя», повести «Свояси», «Березовые джунгли», «Ушелец», «Завет»; современная городская проза.

Э. Юнсон. Прибой и берега. Роман о нынешних днях. Перевод со шведского Ю. Яхниной. М. «ВАГРИУС». 1995. 542 стр. 15 000 экз.



Антология русской классической социологии. Под редакцией Д. С. Клементьева, Л. Н. Панковой. М. Издательство Московского университета. 1995. 240 стр. 5000 экз.

Представлены работы Д. А. Столыпина, С. Ю. Южакова, С. Н. Трубецкого, П. А. Кропоткина, Н. Я. Данилевского. На фоне этих имен завораживает обстоятельный комментарий, где составители разъясняют молодым гуманитариям содержание таких слов, как (цитируется не выборочно, а подряд): силлогизм, Лисабонское землетрясение, гунны, ганзейские города, ацтеки, инки, Спенсер, Гарибальди, Наполеон III, бургер — «житель европейского средневекового города» — и т. д. (стр. 213 — 214).

Н. М. Бахтин. Из жизни идей. Статьи. Эссе. Диалоги. Составление, послесловие, комментарии С. Р. Федякина. М. «Лабиринт». 1995. 152 стр. 3000 экз.

Около сорока небольших эссеистских работ философа и филолога Николая Михайловича Бахтина (1894 — 1950). В приложении — изложение четырех лекций, прочитанных ученым в 1927 году в эмиграции («Современность и наследие эллинизма»), а также библиография его работ за 1924 — 1931 годы.

Р. Т. Вильсон. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при Европейских армиях во время кампаний 1812 — 1813 года. Письма к разным лицам. СПб. «Инапресс». 1995. 310 стр. 2000 экз.

В. Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. Вступительная статья Н. Л. Васильева. Составление, редактирование, библиография, примечания, указатель Д. А. Юнова. СПб. «Аста-пресс». 1995. 383 стр. 5030 экз.

Ж.-Ф. Жаккар. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб. «Академический проспект». 1995. 471 стр. 5000 экз.

Протопресвитер Василий Зеньковский. Пять месяцев у власти (15 мая — 19 октября). Воспоминания. Публикация и подготовка текста М. А. Колерова. М. Крутицкое Патриаршее подворье. 1995. 240 стр. 5000 экз.

Впервые изданные воспоминания церковно-общественного деятеля и философа Василия Васильевича Зеньковского (1881 — 1962) о месяцах, проведенных им в качестве министра исповеданий в правительстве гетмана П. П. Скоропадского в 1918 году. Одна из основных тем — русско-украинская проблема. Исходя из убеждения в исторической неразрывности Украины и России как двух составных одного организма, автор прослеживает и анализирует драматические судьбы «украинского гения» в политической и культурной жизни России, обосновывает необходимость для интересов России свободного и плодотворного развития украинского национального самосознания.

Р. М. Кирсанова. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX века. Опыт энциклопедии. Под редакцией Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова. М. Большая Российская Энциклопедия. 1995. 383 стр. 50 000 экз.

Краеведы Москвы. (Историки и знатоки Москвы). Составитель Л. В. Иванова, С. О. Шмидт. М. «Книжный сад». 1995. 304 стр. 3000 экз.

Очерки о жизни и основных работах семнадцати московских краеведов XIX — XX веков (Н. М. Карамзин, А. А. Орлов, А. С. Уваров, И. П. Машков и другие). Снаб-

жены примечаниями и библиографическими списками. Сборник вышел как вторая книга трехтомного издания «Краеведы Москвы», первая выпущена в 1991 году.

Легенды и мифы о Пушкине. Сборник статей. Под редакцией М. Н. Виролайнен. СПб. «Академический проспект». 1995. 351 стр. 5000 экз.

Д. С. Лихачев. Воспоминания. СПб. «Logos». 1995. 517 стр. 3000 экз.

Л. Пичурин. Последние дни Николая Клюева. Томск. «Водолей». 1995. 95 стр. 2000 экз.

1812 год в воспоминаниях современников. Ответственный редактор А. Г. Тартаковский. М. «Наука». 1995. 202 стр. 3000 экз.

Корней Чуковский. Илья Репин. М. «Изобразительное искусство». 1995. 97 стр. 15 000 экз.

Петер Энглунд. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. Перевод со шведского С. Белокриницкой и Т. Доброницкой. М. «Новое литературное обозрение». 1995. 287 стр. 5000 экз.

Обстоятельнейшая (18 учетно-издательских листов) научная работа состоит из трех разделов: «Подготовка к сражению», «Битва», «Отступление» и содержит подробное описание всех аспектов и чуть ли не почасовую хронику Полтавской битвы.

Составитель С. Костырко.



МОСКОВСКАЯ КНИЖНАЯ ЛАВКА «19 ОКТЯБРЯ»

специализируется на малотиражной элитарной литературе по философии, филологии, истории, психологии и другим гуманитарным наукам, а также на новейших изданиях прозы и поэзии наиболее выдающихся классических и современных авторов.

Каталоги высылаются бесплатно. Заявки следует отправлять по адресу: 111116, Москва, до востребования, Платонову Александру Валерьевичу. Не забывайте точно, полно и разборчиво указать свои фамилию, имя, отчество и адрес. Рассылка книг и каталогов производится только по России.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Вопросы искусствознания», «Грани», «Звезда», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Континент», «Лепта», «Литературная учеба», «Москва», «Нева», «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Русская мысль», «Чело», «Юность»

Валерия Алфеева. У Мамврийского дуба. Из книги «Паломничество на Святую Землю». — «Континент», № 83 (1995).

Путевая проза. См. также ее «Паломничество на Синай» («Москва», 1994, № 10, 11).

Алла Андреева. Роман Даниила Андреева «Странники ночи». — «Лепта», № 26 (1995).

Глава из утраченного (сожженного на Лубянке) романа. Подробный пересказ содержания несохранившихся глав.

Глеб Анфилов. Письма издалека. Вступление и публикация Б. Н. Романова. — «Лепта», № 26 (1995).

Глеб Иосафович Анфилов (1886 — 1938). Александровское военное училище. Юридический факультет Московского университета. Германская война. Гражданская война (на стороне красных). Мало заметный советский служащий. Бутырки. Бамлаг. Гибель. За исключением дореволюционного поэтического дебюта, поддержанного Брюсовым, стихов не печатал. «Лепта» публикует — из семейного архива Анфиловых — лагерные письма к жене 1935 — 1938 годов и стихотворения 20-х годов.

Господу всемогущему!
Делаю надпись на уставе РКП(б)
И плачу.

Вадим Баранов. Реконструируя биографию человека, «предавшего свой народ». — «Книжное обозрение», 1995, № 38, 19 сентября.

Критический отклик доктора филологических наук на публикацию в «Новом мире» (1995, № 3, 4) глав из книги В. Шенталинского «Воскресшее слово». Одобряются новые документы о Горьком, добытые автором; осуждаются его «безапелляционные выводы».

Леонид Бородин. Киднепинг по-советски. Рассказ. — «Юность», 1995, № 8.

Остросюжетный рассказ из жизни диссидентов. «Детали этой истории, — пишет автор, — по некоторым причинам и сегодня не могут быть оглашены».

Чарльз Буковски. Рассказы. Перевод с английского Виктора Гольшева, Василия Гольшева и Виктора Когана. — «Иностранная литература», 1995, № 8.

«Жизнь в техасском публичном доме», «Одиночество» и другие рассказы из разных сборников американского «маргинального» прозаика и журналиста Чарльза Буковски (1920 — 1994). Его роман «Голливуд» печатался на русском языке в журнале «Искусство кино» (1994, № 9, 10, 11, 12; 1995, № 1, 2). Публикация в «Иностранной литературе» сопровождается статьями Александра Гениса и Дмитрия Стахова о том, что Ч. Буковски — «настоящий писатель». Что неочевидно.

Михаил Вайскопф. Страшная ночь, или Экзекутор. Девятая повесть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». — «Новое литературное обозрение». Теория и история литературы, критика и библиография. № 12 (1995).

Текст представляет собой монтаж цитат из двадцати трех произведений Гоголя. Интрига. Характеры. Стил. «О, вы не знаете украинской ночи! Боже ты мой, какая ночь: ни звезд, ни месяца; ни чертова кулака не видно». Напечатано в рубрике «APPENDIX».

Роберт Томас Вильсон. Личный дневник 1812 года. Перевод с английского и примечания С. Н. Искюля и Д. В. Соловьева. — «Звезда», 1995, № 7.

Генерал Р. Т. Вильсон (1777 — 1849) был британским представителем в ставке русского главнокомандующего и регулярно посылал императору Александру I сообще-

ния, отнюдь не совпадавшие с отчетами М. И. Кутузова. В отечественной историографии считался «английским шпионом».

Гайто Газданов. Мэтр Рай. Рассказ. Предисловие Сергея Кабалоти. — «Нева», 1995, № 7.

Рассказ «Мэтр Рай» — об агенте Сюрте Женераль, переживающем моральный кризис, — печатался в 1931 году в парижском альманахе «Числа». В России рассказ публикуется впервые.

Владимир Гребенников. Письмо Виктору Астафьеву. — «Чело». Альманах. История. Культура. Литература. Издание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 1995, выпуск шестой.

Отклик (по существу, большая статья) на публикацию в «Новом мире» романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты»: «потрясающе мощная книга», сравнимая в литературе XX века с «Архипелагом ГУЛАГ».

Сергей Даниэль. Архитектура в прозе Михаила Булгакова. — «Вопросы искусствознания». Журнал по истории и теории искусств. 1994, № 4.

В основе статьи — текст доклада на Международной конференции по проблемам взаимоотношения литературы и архитектуры (Италия, Бергамо, апрель 1993 года).

Евгений Ермолин. Примадонны постмодерна, или Эстетика огородного контекста. — «Континент», № 84 (1995).

Критика литературной критики в газете «Сегодня» и в «Независимой газете».

Юрий Каграманов. «...И Аз воздам». О страхе Божьем в прошлом и настоящем. — «Континент», № 84 (1995).

«Пока у нас лишь каждый десятый верит в существование ада, Россия останется дехристианизированной страной».

Сергей Каледин. Рождество в посольстве Канады. Когда б вы знали. Рассказы. — «Континент», № 83 (1995).

Сергей Каледин. Берлин, Париж и «вшивая рота». Маленькая повесть. — «Континент», № 84 (1995).

Из цикла «Коридор». Повесть непосредственно примыкает к рассказу «Когда б вы знали» (№ 83).

Михаил Кураев. Памятник Гоголю. — «Континент», № 83 (1995).

Эссе о Гоголе и открытии андреевского памятника Гоголю в 1909 году. Фамилия одного из членов Комитета по сооружению памятника была — Нос. Да, буквально — А. Е. Нос.

Ю. М. Лотман, Е. А. Погосян. «Лишь беззаботный гастроном прозванья мудрого достоин...». — «Звезда», 1995, № 7.

Часть обширной книги о жизни и быте семьи Дурново — с 20-х годов XIX века по 1917 год. Образ жизни. Архивные материалы. Как они ели. Вкусное чтение.

Сергей Лифарь. Заметки о Шаляпине. Публикация Владимира Телешева. — «Лепта», № 24 (1995).

Рукопись заметок 1973 года С. М. Лифаря (1905 — 1986) была выкуплена на аукционе в Париже и хранилась у Владимира Гурвича, известного исследователя шаляпинского творчества, который недавно подарил ее Научно-просветительскому фонду Н. Д. Телешева. Первая публикация.

Владимир Максимов. Борск — станция пограничная. Драма в 2-х актах. — «Континент», № 84 (1995).

Посмертная публикация последней пьесы В. Максимова (умер 26 марта 1995 года). Тут же печатается некролог, написанный Игорем Виноградовым, и «Венок памяти Владимира Максимова» (В. Аксенов, Н. Горбаневская, А. Дементьев, Ф. Искандер, Ж. Нива, В. Страда и другие). В предыдущем номере «Континента» (№ 83) напечатана большая статья Игоря Виноградова «Между отчаянием и упованием» — о творчестве Максимова.

Леонид Мартынов. Стихи и воспоминания. Вступительное слово, подготовка текста и публикация Галины Сухой-Мартыновой. — «Арион». Журнал поэзии. 1995, № 2.

Стихи 40 — 70-х годов. Новеллы-воспоминания — о Твардовском, о Ксении Некрасовой.

Зоя Масленикова. Из книги «Жизнь отца Александра Меня». — «Континент», № 84 (1995).

З. Масленикова в течение двадцати двух лет была духовной дочерью о. Александра и по его просьбе редактировала все прижизненные издания его книг. «Континент» печатает фрагменты большой биографической книги — пастырские письма о. Александра к З. Маслениковой и беседы с ней, ее дневниковые записи и другие материалы.

Адам Михник. Пепел, улан, полонез. Перевод с польского и комментарии Н. В. Прасоловой. — «Континент», № 83 (1995).

Известный польский политик и литератор — о фильмах Анджея Вайды.

Андрей Молчанов. Схождение во ад. Роман. — «Москва», 1995, № 8, 9.

Мистика Третьего рейха.

Ксения Мяло, Сергей Севастьянов. Крест над Россией. Очерки паломничества по Святой Руси в образе и слове. — «Москва», 1995, № 8, 9, 10.

Итог совместных странствований по России двух авторов за последние четыре года. Печатается в сокращении. С фотографиями.

Неизвестная Россия. 1825 — 1917. — Специальный выпуск журнала «Литературная учеба», 1995, № 4.

Впервые издающиеся в России апологетические очерки Николая Дмитриевича Тальберга (1886 — 1967) о русских императорах — Николае I, Александре III и Николае II. Составление и вступительная статья С. В. Фомина.

Михаил Осоргин. Из «Старинных рассказов». Вступление и публикация Ольги Авдеевой. — «Лепта», № 24 (1995).

«Три головы», «Носовые хрящи», «Несклонность к люблению» и другие исторические новеллы 1934 — 1935 годов, печатавшиеся в парижской газете «Последние новости».

Памяти необыкновенного человека. «Живое слово» Николая Бахтина. Вступительная статья, комментарии и публикация Сергея Федякина. — «Лепта», № 24 (1995).

Николай Михайлович Бахтин (1894 — 1950) — поэт и критик. Петербургский университет. Гражданская война. Французский Иностранский легион. Доктор филологии в Англии. Печатаются четыре статьи 1925 — 1927 годов из парижского журнала «Звено»: «Пути поэзии», «Поль Валери — мыслитель», «Два облика Поля Валери», «О разуме».

Евгений Плимак. В советской оккупационной: Германия, 1945 — 1946. Записки ветерана. — «Континент», № 84 (1995).

Первый мемуарный опыт известного историка, доктора наук. Сокращенный вариант. Имена и фамилии персонажей изменены.

Евгений Попов. Лоскутное одеяло. Рассказ-Энциклопедия. — «Континент», № 83 (1995).

Рассказ о Москве. Или не рассказ. Но все равно о Москве.

Алексей Пурин. Конец штиля. О культурологии Б. М. Парамонова. — «Звезда», 1995, № 7.

Об авторе регулярных «философских комментариев» в журнале «Звезда». «Изумляет, однако, не их эпатажность, а полнейшая необязательность и принципиальная несостыкуемость. ...еврей Пушкин оказывается одновременно и педерастом, и гонителем гомосексуализма!»

Роман Редлих. Из истории недавнего безумия. Краткий обзор борьбы вокруг восточной политики гитлеровской Германии. — «Грани», № 176 (1995).

Статья одного из руководителей НТС была напечатана в эмигрантском журнале «Наши дни», № 5 (25) за 1961 год. Тем не менее она и сегодня представляет интерес. Перепечатывается «к 50-летию окончания II мировой войны».

Жан-Поль Сартр. Возраст зрелости. Роман. Перевод с французского Д. Вальяно и Л. Григорьяна. — «Октябрь», 1995, № 7, 8, 9.

Первая часть известной тетралогии «Дороги свободы». Войдет в состав собрания сочинений Ж.-П. Сартра, издаваемого харьковским издательством «Фолио».

Владимир Свирский. Обыкновенный коммунизм. Размышления о причинах смерти А. И. Герцена. — «Грани», № 176 (1995).

Гипотеза о мрачной роли «обыкновенного коммуниста» Нечаева в смерти Герцена. Автор — историк, живет в Израиле.

Владимир Соколов. Алиби. Поэма. — «Континент», № 84 (1995).

Новое произведение известного поэта. Поэма «в нескольких руинах»:

Все ждал чего-то. Все искал прогалин
Во времени, чтоб вырваться «вовне».
И вот — поэма в несколько развалин,
Бессвязная, как эта жизнь в окне...

Александр Солженицын. «Исторически и мировосприятно православие для нас на первом месте». — «Москва», 1995, № 9.

Интервью А. Солженицына с Витторио Страда для «Коррьера Дела Сера». «Мне приписывают, ставят печать неославянофила, я таким ни в коем случае не являюсь, я

не считаю себя носителем славянофильской традиции». К сожалению, интервью не датировано.

Татьяна Толстая. Не спи, не спи, художник... — «Иностранная литература», 1995, № 9.

Язвительная статья о новой форме общественного безумия в США — о так называемой политической корректности (political correctness, или сокращенно РС — Пи-си). Тема проиллюстрирована двумя «Политически корректными сказками на сон грядущий» Джеймса Финна Гарднера (в переводе Г. Чхартишвили) — про Красную Шапочку и Трех поросят.

Борис Хазанов. Хроника N. Записки незаконного человека. — «Октябрь», 1995, № 9.

В городе N... «Но мало ли городов на Руси, которых не отыщешь ни на одной карте?» Автор живет в Германии.

Алексей Цветков. Просто голос. Отрывок из поэмы. — «Октябрь», 1995, № 10.

Отрывок из поэмы в прозе. Монолог римского сенатора, вспоминающего свою многотрудную жизнь. Вместо послесловия — беседа автора с писателем Игорем Померанцовым о книге, о Риме, об античном гомосексуализме и проч.

Ариадна Эфрон. Мироедиха. Послесловие Анны Саакянц. — «Русская мысль» (Париж), 1995, с № 4087 по 4091.

Очерк примыкает к путевым запискам А. Эфрон 1965 года — см. публикацию в «Новом мире» (1995, № 9) «Наш Север манит нас... — зла не помнящих».

Рашид Янгиров. Михаил Булгаков глазами первой эмиграции. — «Грани», № 176 (1995).

Отклики первой русской эмиграции на творчество М. Булгакова 20-х годов.

Составитель **А. Василевский.**



К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Кто держал в руках декабрьский выпуск «Нового мира» за прошлый год, тот, конечно, заметил: в него вошло немало произведений молодых, никому не известных авторов, большинству из которых не исполнилось и тридцати. Так получилось не умышленно. У «Нового мира» вообще нет традиции выпускать специальные «молодежные» номера, заранее взывающие к читательскому снисхождению. Требования к авторам всех возрастов, именитым и неименитым, у редакции одни и те же: прежде всего это возможно более высокое литературное достоинство принимаемых к печати рукописей. И мы можем только радоваться, что этому критерию все чаще отвечают произведения молодых. Значит, в литературу входит новое сильное поколение.

Отрадно и то, что нынешний прорыв на фоне растерянности и унылого бесплодия в литературе последних лет происходит и в «Новом мире». Наш журнал не фетишизирует модные литературные течения, не участвует в пропагандистских художественных кампаниях, но он стоял и будет стоять в авангарде истинно живых и глубоких литературных процессов. И в этом отношении декабрьская книжка «Нового мира» отнюдь не была каким-то исключением; чтобы понять это, достаточно перелистать хотя бы прошлогодний комплект журнала.

Мы отдаем себе отчет, что не каждый новомирский дебютант станет явлением отечественной словесности, займет в ее анналах прочное место. Но не нами замечено: без поддержки всякого, даже кажущегося поначалу невеликим, дарования, без формирования в литературе обширной и разнообразной питательной среды не было бы и «Скоттов, Шекспиров и Дантов».

Несколько лет назад «Новый мир» объявил творческий конкурс для студентов Литературного института. К сожалению, рукописи, поступившие в установленные сроки, редакцию не удовлетворили, но это не расхолодило ни молодых авторов, ни журнал. В 1994 — 1995 годах «Новый мир» опубликовал в рамках этого конкурса следующие произведения:

цикл рассказов «Кормление старого кота» Владимира Березина (1995, № 7);

рассказ «Шахматы» Рамиля Бесермена (1995, № 12);

рассказ «Риф» Валерия Былинского (1995, № 9);

рассказ «Поездка в Липецк» Надежды Горловой (1995, № 12);

рассказ «Погода в ноябре» Алексея Иванова (1995, № 12);

рассказ «Будте любезны!» Василия Килякова (1995, № 8);

повесть «Казенная сказка» и рассказ «Митина каша» Олега Павлова (1994, № 7 и 1995, № 10);

повесть «Кто стучится мне в ладонь» Виктории Фроловой (1995, № 6).

По итогам конкурса денежными премиями отмечены: Владимир Березин за «Кормление старого кота», Надежда Горлова за «Поездку в Липецк», Олег Павлов за «Казенную сказку», Виктория Фролова за «Кто стучится мне в ладонь».

РЕДАКЦИЯ «НОВОГО МИРА» УЧРЕДИЛА ЖУРНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ ГОДА

За произведения, напечатанные в нашем журнале в 1995 году, премии присуждаются:

НИНЕ ГОРЛАНОВОЙ и **ВЯЧЕСЛАВУ БУКУРУ** за «Роман воспитания» (№ 8 — 9);

АНАТОЛИЮ ГРЕШНЕВИКОВУ за статью «Сводки с лесного фронта» (№ 10);

АЛЕНЕ ЗЛОБИНОЙ за статью «Драма театрального сезона» (№ 12);

ЮРИЮ КАГРАМАНОВУ за статьи «Империя и ойкумена» (№ 1), «Чужое и свое» (№ 6), «Отчего затянулась «гибель богов». Фашизм как феномен европейской культуры» (№ 12);

ЕВГЕНИИ КУНИНОЙ за подборку стихотворений «Воздушный дворец» (№ 10);

ОЛЕГУ ЛАРИНУ за статью «Тогда меня звали Вольдемар и Вилли» (№ 5);

ВЛАДИМИРУ МАКАНИНУ за рассказ «Кавказский пленный» (№ 4);

ВЛ. НИКИФОРОВУ за «Записки из подвала» (№ 12);

Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ за рассказы «Мост Ватерлоо» (№ 3);

ИРИНЕ СУРАТ за статью «Стоит, белеясь, Ветилуя...» (№ 6);

ЮЗ-ФУ (ЮЗУ АЛЕШКОВСКОМУ) за поэтический цикл «Строки гусиного пера, найденного на чужбине» (№ 8);

ТАТЬЯНЕ ЧЕРЕДНИЧЕНКО за статью «Русская музыка и геополитика» (№ 6);

ЕКАТЕРИНЕ ШЕВЧЕНКО за подборку стихотворений «В маленькой столовой на краю пустыни» (№ 7);

ГАЛИНЕ ЩЕРБАКОВОЙ за рассказы «Радости жизни» (№ 3), «Косточка авокадо» (№ 9) и повесть «Love-стория» (№ 11);

ОЛЬГЕ ЮКЕЧЕВОЙ за публикацию «Среди пламени стою, песнь плачевную пою» (из смоленского фольклора) (№ 4).

Главный редактор
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Inna Kabysh and Lev Rubinshtein, as well as a poem by Lev Gumilev, «A Dispute on Happiness» (afterward by I. Pitlyar).

We are publishing a short story by Galina Shcherbakova, «At the Lying Women's Feet», as well as the «Kolyma Stories» by Lilia Streltsova and the short story «The Last Show» by Yuri Chernyakov.

In the section «New Translations» we are publishing the short story «Cemeterization» by James Vladimir Gill (translation by Dmitry Chekalov, afterward by Aleksandr Kushner).

The section «Writer's Diary» presents polemical notes by Yuri Kublanovsky, «Does It Hurt the Dead?».

The articles «Russian Economics at the Crossroads» by V. Volkonsky and G. Pirogov and «New Trade Unions Tempted by Fascism» by Evgeny Starikov occupy the section «Publicistics».

The section «Times and Customs» presents the works by Sergei Averintsev, «My Nostalgia», and by Sergei Kostyrko, «A Stalin Prize Winner's House».

In the section «Diaries. Memoirs» we are beginning to publish the second book of memoirs by Naum Korzhavin, «In Temptations of the Bloody Epoch» (to be ended in No 2), as well as some extracts from Thomas Mann's diaries (translation by Igor Ebanoidze).

The section «Literary Criticism» presents an article by Natalya Ivanova, «Between. A Place of Criticism in the Press and Literature».

Notes by Aleksandr Arkhangelsky, «The Ashes of Waned Polemics», are to be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Pavel Basinsky reviews a new narrative by Viktor Astafyev; Andrei Aryev reviews the anthology «The Late Poets of Petersburg».

In the section «Editor's Mail» A. Silin writes about the harm and use of TV; N. Lebedeva writes on the problems of national psychology; L. Chudova comments on the publication of memoirs by Ye. Eiges (1995, No 9).

In the section «Briefly About Books» Galina Bashkirova reviews the notes by Russian pilgrims of the 12th-20th centuries, as well as the album of old photographs of the town of Bogorodsk (today's Noginsk).

In the section «Foreign Books About Russia» Renata Galtseva annotates the book «The Forbidden Image, an Intellectual History of Iconoclasm» by Alain Besançon.

The issue also includes our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырko, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.09.95 г. Подписано к печати 10.11.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт. 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 30.200 экз. Зак. 3807. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СТЕЛЛА АБРАМОВИЧ. Пушкин и традиция нонконформизма в русской литературе;

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

А. БОРОВОЙ. Мой Чернобыль;

МИХАИЛ БУТОВ. Повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда;

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Роман;

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники (из наследия);

БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Свобода выбора (повесть);

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. Путешествие к Набокову; **Неистовый Фиглярин;**

ОЛЕГ ЛАРИН. С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Роман;

ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ. Феномен Пушкина и исторический жребий России;

МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Царство земное и небесное (рассказ);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы;

ИРИНА РОДНЯЧСКАЯ. Маканин нового времени;

ТОРНТОН УАЙЛДЕР. К небу мой путь (роман, перевод с английского);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Медея и ее дети (семейная хроника);

АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. Чехов между верой и неверием;

АСАР ЭППЕЛЬ. Рассказы;

а также новые произведения **АНДРЕЯ БИТОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА**, **ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **ИГОРЯ КЛЕХА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА**, **АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА**, **ОЛЕГА ПАВЛОВА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА**, **ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ**, **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА**, **БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ**, **ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА**, **ДОРЫ ШТУРМАН** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**